







ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

БУДНИ ВОЙНЫ

Повести и рассказы

ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990

ББК 84Р 7-4
С29

Новая книга повестей и рассказов писателя-фронтовика О. К. Селянкина продолжает линию его творчества, представленную романами «Школа победителей», «Вперед, гвардия!», «Костры партизанские», многочисленными рассказами.

В буднях войны есть все: подвиг и рядовая работа, любовь и разлука, ненависть и фронтовое братство. Самые обычные люди проходят перед нами, но на их судьбах — трагический и прекрасный отблеск грозного пламени Великой Отечественной.

Художник Н. Оборин

С29 Селянкин О. К.

Будни войны: Повести и рассказы. — Пермь: Кн. изд-во, 1990. — 431 с.

ISBN 5-7625-0182-5

Новая книга пермского писателя-фронтовика продолжает тему Великой Отечественной войны, представленную в его творчестве романами «Школа победителей», «Вперед, гвардия!», «Костры партизанские» и др. Рядовые участники войны, их подвиги, беды и радости в центре внимания автора.

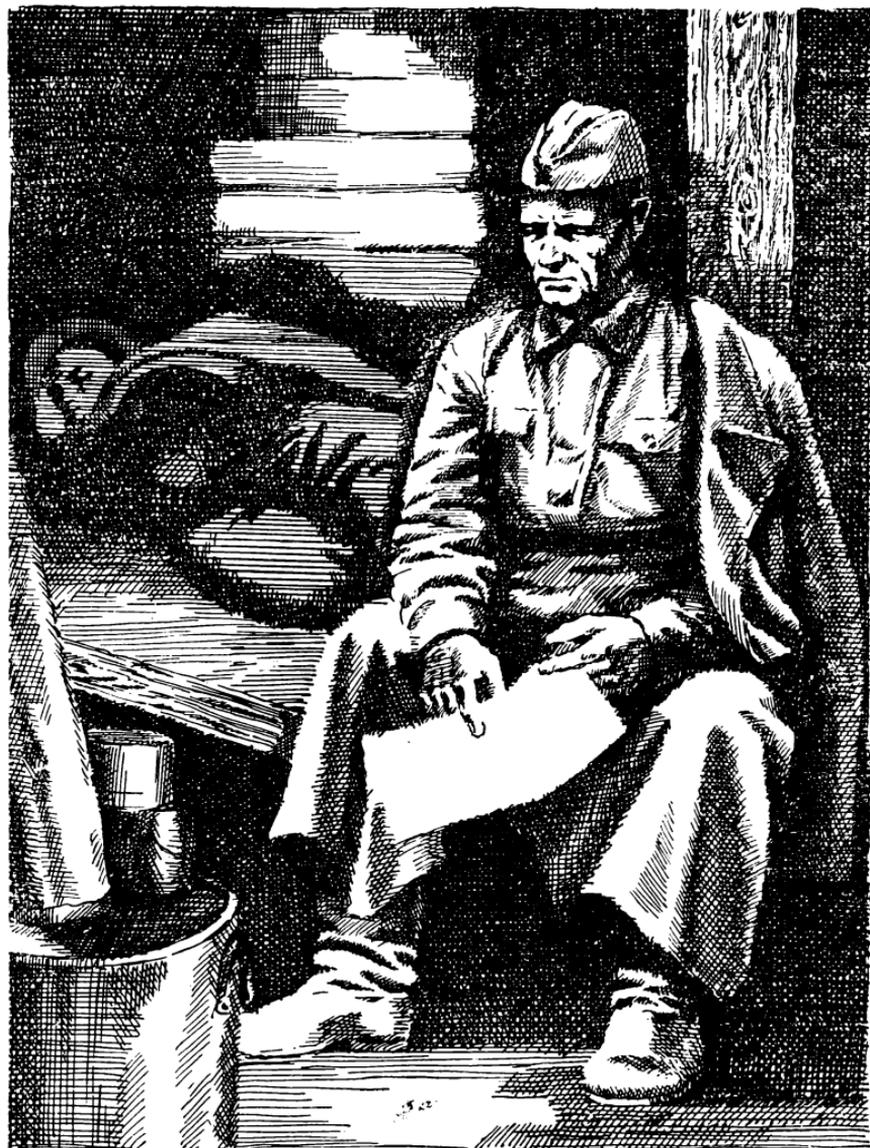
С $\frac{4802010201-19}{M152(03)-90}$ 43—90

ББК 84Р7—4

ISBN 5-7625-0182-5

© Селянкин О. К., 1990

ПОВЕСТИ



Комары плотным клубящимся роем вились над капитаном Исаевым. Успевшие испить человеческой крови гнусавили сыто, удовлетворенно, а прочие — нетерпеливо, даже требовательно. Капитан, казалось, не замечал ни тех, ни других. Как и поплавок из обыкновенной бутылочной пробки; этот поплавок уже пятый час недвижимо лежал на черной воде маленького озера, которое со всех сторон обступили высоченные корабельные сосны, сейчас казавшиеся насупившимися, мрачными. Капитан Исаев мысленно вновь и вновь возвращался к разговору с командиром полка. Состоялся тот разговор вчера перед самым отбоем, когда у солдат по распоряжку дня значится личное время. Командир полка, казалось без какого-либо повода, подошел к нему, капитану Исаеву, в ответ на уставное приветствие не только козырнул, но и руку пожал. Сильно, чувствовалось — искренне. А почему бы и нет? Или пятнадцать лет назад не теперешний подполковник пришел в роту его, Дмитрия Исаева, самым обыкновенным взводным командиром?

Потом командир полка щедро раскрыл свою пачку «Казбека» и увел капитана Исаева под одинокий каштан, около которого никого не было. Здесь, когда первые две папиросы приказали долго жить, подполковник и начал разговор. О жизни вообще, о видах на урожай в этом году, о том, что в последние два месяца немецкие летчики почему-то стали слишком часто терять ориентировку в небе, ну и оказываются над нашей территорией; их бы — хотя бы одного! — сбивать зенитками или с помощью истребителей, а мы вместо этого германскому правительству лишь ноты вежливые шлем. Короче говоря, обыкновенный разговор шел, каких уже состоялось — не счесть. Самый обыкновенный для тех дней и в спокойных тонах. И вдруг подполковник, старательно разминая новую папиросу и вильнув глазами в сторону, повел речь о том, что любой человек сам должен чувствовать, когда ему надлежит обязательно уходить в относительное жизненное затишье.

Тут у капитана Исаева непроизвольно и вырвалась глу-

пая присказка, за которую ему уже не раз крепко перепадало и от начальства, и от жены:

— Вот тебе, кума, и уха из петуха!

В ответ подполковник матюгнулся беззвучно, одними губами, и сказал с горечью, которую и не пытался скрыть или подчеркнуть:

— Ты, Дмитрий Ефимович, не терзай мою душу, с пониманием к моим словам отнесись... Сверил я свою память с твоим личным делом. И получилось, что ничего я не путаю, что в Красной Армии ты служишь уже двадцать первый год и семнадцать из них — в должности командира роты. Разве это порядок?

Капитан Исаев, подумав, сказал, старательно растерев каблуком ялового сапога только что прикуренную папиросу:

— Вас понял... Разрешите идти, товарищ подполковник?

Ушел — какое-то время вроде бы бесцельно побродил по военному городку, в душе с гордостью и одновременно с горечью осозная, что здесь многие домики с помощью и его рук воздвигнуты. Походил — и решил немедленно идти на рыбалку. Чтобы никто думать не мешал, не туда, где всегда хороший клев (народищу там тьма!), а на это начисто забракованное рыбаками глухое лесное озерко. Принял решение — забежал в комнатуху, которая почти весь последний год была его холостяцким домом, не выбирая, взял удочку, напросившуюся в руку, вместо червей или другой какой насадки прихватил кусок хлеба, и почти бегом сюда. А еще минут через двадцать пробковый поплавок шлепнулся на черное зеркало воды. С тех пор недвижимо и сидит здесь капитан Исаев. Напряженно думает. О словах командира полка. О своей жизни вообще.

Правду сказал подполковник: двадцать первый год служит он, Дмитрий Исаев, в Красной Армии. Как только может добросовестно. И намеревался не расставаться с армией до тех пор, пока здоровье будет позволять.

Теперь, конечно, вовсе другой коленкор...

А что до сих пор выше командира роты не продвинулся... В этом, может быть, и не только его вина? Ведь в мирной жизни человеку, насмелившемуся посвятить себя военной службе, иногда бывает ой как трудно пробиться к приличным командным высотам, убедить начальство и самого себя, что есть у тебя талант военачальника. Действительно, как докажешь это, действительно, по каким признакам можно догадаться о наличии его, если пушки, пу-

леметы и винтовки подают голоса только на полигонах во время учений? Нет, не найдено пока таких признаков. Поэтому и случается, что иной генерал или другой какой человек, сидящий высоко, кладет глаз на того, у кого звонкий голос и отменная выправка, на ком казенное обмундирование сидит как влитое.

Среди молодых командиров встречаются, разумеется, и ловкачи. Эти, чтобы привлечь к себе внимание начальства, заслужить его благосклонность, почти на каждом собрании нарочно слово брали, эти во время частных бесед с нужным им человеком, если выпадало такое счастье, точнехонько в нужную минуту правильные слова говорили. Правильные с точки зрения того, кто их должен был услышать.

Да и внешность человека порой бóльшую роль играла, чем следовало бы...

Он, Дмитрий Исаев, словно нарочно, был начисто лишен всего этого. Взять хотя бы внешность. Рост ровно двести один сантиметр. Словом, каланча, а не человек. К этому росту да еще бы широкие плечи, грудь колесом и лицо хотя бы относительной приятности — в царское время без промедления зачислили бы в какой-нибудь гвардейский полк. Но плечи у него самые обыкновенные, спина чуть сутуловатая. Да и лицо скуластое, большой тарелкой. И тощий был такой, что ребятня несмышленная Кощеем дразнила; к тому же — и белобрыс до неприличия. Настолько проигрышной была его внешность, что командование полка, если ожидался приезд начальства, обязательно проверяло, чтобы он, Дмитрий Исаев, не оказался в наряде, чтобы не случилось так, что ему придется идти к бывшим с рапортом.

Если же коснуться умения в нужную минуту сказать требуемое начальству словцо, подобострастно улыбнуться или даже чуть согнуть спину в подобии почтительного полупоклона, то откуда все это могло у него взяться, коль родился и рос он среди молчаливых, вроде бы угрюмых людей, которые превыше всего ценили умение добротнo работать и абсолютную честность человека? Он родился не в рабочем поселке, где кто-то о продовольственном и прочем заботился, а в деревеньке, припавшей своими домиками и огородами к очищенному от колючих и мохнатых елок пологому склону горы, в самой обыкновенной уральской деревушке, где хлеба и в урожайный год до новой осени еле-еле хватало. Так что обыкновенной ржанухи он

досыта поел лишь тогда; когда призвали на службу в Красную Армию. Служить пошел без каких-либо восторгов, даже несколько настороженно, но и без откровенной боязни неизвестности: или мы не знаем, что вовсе нельзя душевно паниковать, когда трудное начинает осаждать тебя со всех сторон? А потом — пообтерся, пообвык и вдруг понял, что военная служба ему очень даже по душе. Не сытная кормежка и справное обмундирование завлекли. Прежде всего потому военная служба по душе пришлась, что невероятно нужным, необходимейшим для Родины человеком он себя в армии почувствовал: ему оружие в руки она дала, ему доверила защиту своих пограничных рубежей; и общий порядок, и сознательная дисциплина, конечно, тоже свою роль сыграли.

Красная Армия тогда еще только становилась по-настоящему на ноги, только наращивала свою мощь, поэтому командиры всех рангов ей были очень нужны, вот, приметив старательного и жадного до знаний бойца, командование для начала и послало его на одни курсы, потом — на вторые, после окончания которых он и возвратился в родной полк уже командиром взвода. С год или чуть подольше пробыл в этой должности, а потом роту принял. И все последующие годы командовал ею. В том же полку, в каком начал военную службу. Вместе с полком, в его составе, повинуюсь приказам командования, побывал и в горящих песках под Ашхабадом, и среди крутолобых сопок на Дальнем Востоке, а летом прошлого года и сюда, в Прибалтику, считай на самую западную границу Родины, прибыл.

Разумеется, все это время еще и учился. Чтобы знать больше, чем подчиненные. А последние годы знаете какой красноармеец пошел? Политически зрелый, грамотный, до всего любопытный; хотя еще и редко, но даже и со средним образованием бойцы встречаются.

Самостоятельно учился: об академии и мечтать не смел, осознавая свою малую подготовленность для учебы в ней, а командование учиться не посылало, считая, что он и без того свое дело хорошо знает. Действительно, все эти годы его рота неизменно была в середине. По боевой подготовке и всем прочим показателям.

Сидел капитан Исаев на берегу глухого лесного озера, мысленно перебирал свою прошедшую жизнь и вдруг, когда почти убедил себя, что всему виной его судьба-злодейка, отчетливо понял, что все эти часы ворошит полу-

правду, что можно угробить на это еще хоть несколько суток, но истина будет по-прежнему далека. А ведь она рядом, ее даже искать особенно старательно не надо: теперешняя должность — командир роты — вполне устраивала и устраивает его самого, потому к большему и не стремился. Или ему никогда не доводилось замещать командира батальона? Раз а четыре, если не больше, случилось такое. Когда тот уезжал в отпуск. Помнится, очень волновался он, даже побаивался: шутка ли управлять такой громадиной? Ведь сотни людей у тебя в подчинении!.. Для этого особые мозги надобны, для этого у человека особый характер должен быть. И весь месяц, пока замещал комбата, часа относительно спокойного на его долю не выпадало; даже ночами, случалось, лежал с открытыми глазами, стараясь вспомнить: а не забыл ли минувшим днем сделать что-то важное? Короче говоря, не жил, а маялся он все время, пока замещал командира батальона.

Постой, постой, а не потому ли командование полка и перестало тебя за командира батальона оставлять, что заметило это?..

Однако сколько и как ни крути, оправдывая себя или обвиняя командование полка, но оно свое мнение высказало. Откровенно, в глаза...

С одной стороны, конечно, это непорядок, когда ротой командует чуть ли не дед с седой бородой по пояс; негоже ему наперегонки с молоденькими лейтенантами бегать. А с другой... Уход с военной службы — крушение всех жизненных планов. Его личных. Прежде всего, разумеется, это будет ощутимый удар по семейному бюджету: ведь у него, Дмитрия Исаева, не будет вообще никакой специальности, если он уйдет из армии. Или его «уйдут» из нес...

Хотя рабочие руки сейчас везде во как нужны, значит, без работы он не останется. Да и много ли, если говорить честно, ему и его домочадцам надо? Вся его семья — жена Анна Кузьминична, сын Порфирий и дочь Полина... Аннушка... Она сама подошла к нему, когда он вторично заявился на танцы в клуб швейников, и спросила, глядя на него подчеркнуто снизу вверх и серьезно:

— Почему вы, товарищ командир, меня все время расстреливаете своими глазами? Или желаете познакомиться?

Он, Дмитрий Исаев, не мог даже предполагать, что эта столь скромная на вид девушка окажется способной на нечто подобное, поэтому откровенно растерялся и лишь

кивнул, судорожно проглотив какой-то непонятный комок, вдруг возникший в горле.

А она церемонно и торжественно уже протянула ему свою будто окаменевшую ладошку и сказала, улыбаясь открыто, от всего сердца:

— Анна.

— Дмитрий... Дмитрий Ефимович Исаев, — почему-то поспешно и осипшим голосом выдавил он из себя, опустив руки по швам и вытягиваясь словно перед самым главным своим начальством.

— Дмитрий Ефимович? Да еще Исаев? — переспросила она нахмурившись, какое-то время помолчала, обдумывая или решая что-то, и вдруг заявила тоном, исключаящим с его стороны какие-либо возражения: — Нет, так очень длинно. И официально как-то... Для меня вы будете просто Митей. Договорились?

— Тогда уж и на «ты» давайте, — внес и он предложение.

А потом, когда с момента знакомства минуло около года, сама Аннушка вдруг и заявила, что прекрасно поняла его тайное желание и согласна расписаться. Чтобы не мучить его, уже сегодня расписаться согласна.

И уж вовсе не ко времени вспомнилось вдруг, что сразу после регистрации брака Аннушка послала его, Дмитрия Исаева, в магазин, строго наказав обязательно купить шесть тарелок и столько же чашек с блюдами.

Он выполнил ее поручение как только мог хорошо и радостный прибежал в свою комнатку, где Аннушка своей суровой рукой безжалостно уже порушила последнее, что могло напоминать о еще столь недавнем его холостяцком житье.

Аннушка, наскоро сполоснув руки, осторожно положила его покупку на стол, накрытый новехонькой цветастой скатеркой, и осторожно развернула упаковочную бумагу. Потом, как показалось ему, долго и восторженно рассматривала тарелки и чашки с блюдами. И как было не любоваться покупкой, если на столе не оказалось ни одной тарелки или чашки с блюдцем одинаковой расцветки. Шесть тарелок, шесть чашек с блюдами — и все разной окраски!

Потом, насмеявшись до слез, Аннушка вдруг и сказала, нежно глядя на него:

— Какой ты, Митяй, еще наивный в житейских вопросах!.. Одним словом, нестандартный ты у меня!

Нестандартный Митяй... Два этих слова для него всегда звучали ласковой песней...

Да, она, Аннушка, никакой работы не испугается, она запросто может пойти и по старой своей специальности — швеей на фабрику или в артель какую определиться. А Полина вот-вот сдаст государственные экзамены, со дня на день учительницей станет...

А еще немного погодя Дмитрий Ефимович уже окончательно решил, что дочь будет учительствовать обязательно в той школе, которая окажется всех ближе к их новому дому; и Порфирия надо будет определить в пятый класс этой же школы. Короче говоря, живы будем — не помрем!

Вроде бы всех семейщиков к делу пристроил, а лично про себя решил, что пойдет учиться на сталевара. Почему именно на него — и сам точно не знал. Скорее всего потому, что в глубине души все эти годы жили рассказы деда, который в молодости из доменной печи кипящий металл принимал. Так или иначе, но под утро у него в голове полная ясность появилась. Однако тоска, обида на командира полка, даже какая-то тупая сердечная боль, вдруг народившись, не проходили, не исчезали. Выходит, к родной армии он прикипел душой значительно основательнее, чем думалось...

Может быть, в понедельник стоит сходить к командиру или комиссару полка, откровенно все высказать? Дескать, прошу оставить в армии на любой должности, я делом отвечаю на доверие...

Еще не принял окончательного решения, когда с удивлением осознал, что предрассветную тишину безвозвратно сокрушил рев авиационных моторов. Он, этот рев, катился от границы. Быстро катился. И капитан Исаев глянул на посветлевшее небо, готовое с минуты на минуту принять первые солнечные лучи. В тот момент глянул, когда из-за вершин высоченных корабельных сосен показались самолеты. Много их было. Туча. Шли бомбардировщики, истребители и транспортные самолеты.

Родная земля еще не отреагировала на появление фашистских самолетов, а капитан Исаев уже понял, что это не очередная провокация, что это сама война. И, схватив удочку, побежал к военному городку. Изюм всех сил побежал. Словно хотел обогнать вражеские самолеты. Удочка, задевая за стволы и ветви деревьев, мешала ему, крала у него секунды, доли их. Чтобы не транжирить время, он безжалостно швырнул ее в чашу.

Бежал изо всех сил, но вражеские самолеты все равно легко обогнали его; до военного городка ему оставалось одолеть еще около километра, когда неистовый вой множества падающих бомб заглушил рев самолетных моторов, а еще мгновение спустя и он потонул в оглушительном грохоте бесчисленных взрывов. От земли к фашистским самолетам сначала робко, а немного погодя резво потянулись столбы сизоватого дыма; скоро они слились в огромную тучу, укравшую у неба его голубизну.

А вот зенитки наши даже не напомнили о себе. И, как точно знал капитан Исаев, только потому, что не было около них снарядов. Не только боевых, но даже и холостых. Снаряды у зенитчиков отобрали еще с месяц назад. Чтобы наши солдаты случайно не поддались на какую провокацию врага.

Фашистские бомбардировщики еще швыряли черные бомбы на жилые домики военного городка, а над футбольным полем, которое распласталось у его западной окраины, уже зависли немецкие транспортные самолеты. Еще мгновение — и небо под ними стало пятнистым от множества почти враз раскрывшихся парашютов. Парашютисты без промедления стали обстреливать землю из автоматов. Еще не знали, как и чем она встретит, а огонь по ней уже вели. Не жалея патронов, ее обстреливали. Эти парашютисты вроде бы хотели отрезать капитана Исаева от его роты. Осознав это, он не попер упрямо вперед, а, сжимая в руке единственное свое оружие — наган и прячась за деревьями, осторожно, с оглядкой побежал в обход футбольного поля, побежал туда, где ярились советские пулеметы и лихорадочно, нервно бабахали русские винтовки, где — он искренне верил в это! — бились с фашистами его товарищи.

2

Давно ли фашистские бомбардировщики сбросили первые бомбы, но, когда капитан Исаев подбежал к военному городку, вместо казарм и аккуратных домиков семей командного состава увидел жарко пылающие кострища. Ни на минуту не задержался около того дома, в котором прожил несколько последних месяцев. До тех пор не позволил себе и мгновенной передышки, пока не спрыгнул в окоп своей роты, пока не выстрелил по врагу из винтовки, еще недавно бесполезно валявшейся около убитого солда-

та. Завладел оружием, которое считал пригодным для настоящего боя, и лишь тогда выглянул из окопа, чтобы оценить обстановку. И сразу понял, что с парашютистами будет вот-вот покончено. Даже подумал: значит, скоро жизнь войдет в норму. И спросил у подбежавшего командира взвода о потерях в личном составе, поинтересовался, как здесь-то вся эта заваруха началась. Лейтенант, еще чрезмерно разгоряченный боем, небрежно бросил: мол, о потерях доложит обязательно и сразу после того, как последнего нахального фашиста в гроб вгоним, — зато восторженно и многословно рассказал о том, что их рота, как только сыграли тревогу, бегом в свои окопы; дескать, они, эти окопы, настолько хороши и надежны, что в них любой бой и с любым врагом спокойно принять можно.

Да, окопы хороши, надежны. Полного профиля. И стенки у них обиты досками, не успевшими потемнеть от дождей, ветров и солнца. И вовсе немудрено, что те доски не успели потемнеть: начали рыть окопы в первых числах марта, а закончили работы лишь в конце апреля. Помнится, когда начали работать, иной раз солдат ломом по мерзлой земле так ударял, что искры высекались. Но сообщая все трудности играючи осиливали, даже с очень большой охотой работали: понимали, для себя все это...

Потом, когда окопы извилистой и глубокой канавой уже лежали на западной окраине городка, когда каждый метр их был закреплен за кем-то из солдат полка, из округа приехала комиссия. Она, молчком, вроде бы для проформы глянув на окопы, стала выборочно дотошно расспрашивать командиров и бойцов: а что говорило командование полка, приказав рыть окопы, чем обосновало это свое решение? Может быть, панику сеяло, ссылаясь на угрозы со стороны дружественной нам Германии?

И сейчас не знал капитан Исаев, откуда и чья подсказка подоспела, но все, кого бы комиссия ни спросила, в голос твердили: не было вовсе разговоров об угрозах со стороны дружественной нам Германии, окопы рыли исключительно для учебных целей; для большей действительности боевой подготовки, как командование полка объяснило.

Капитан Исаев, вспомнив о вчерашнем разговоре с командиром полка как о чем-то вовсе малозначительном, невольно и с уважением подумал, что у того есть особое чутье на тайную опасность, что ему весной этого года все не случайно присвоили звание подполковника.

Еще гремели отдельные выстрелы, а солдаты уже подбрасывали ему и вопросы, и предложения. Вроде — это война, товарищ капитан, или пограничный инцидент? Надо бы, товарищ командир роты, пока другие не додумались, получить со склада побольше боевых патронов: те, что были, почти полностью расстреляли.

Он, хотя и сам толком ничего не знал, хотя еще несколько минут назад и думал иначе, на вопросы о том, война ли это, отвечал утвердительно. И сам не мог объяснить почему, но неизменно говорил, что это она, проклятушая. Еще успел приказать подправить окопы, кое-где пострадавшие от бомб, да от каждого взвода по одному отделению послал за патронами и гранатами; больше брать велел «лимонки». Не успели по-настоящему ни накуриться, ни взяться за порученное — с запада пришел новый косяк фашистских самолетов. В нем были только бомбардировщики. Эти свой груз сбросили исключительно на окопы. Не все сразу, не за один заход, а на полчаса непрерывной бомбежки это нехитрое дело растянули. Вот кое у кого и выиграли нервишки, вот все в окопах почти и оглохли, потому и не слышали рева многих танковых и автомобильных моторов. Танки и автомашины сначала увидели. Они шли по шоссе, которое почти в двух километрах от городка струилось по опушке заболоченного леса. Шли быстро, но без излишней спешки, словно совершали самый обыкновенный переход по своей земле.

Потом, уже миновав то, что осталось от военного городка, танки вдруг остановились, развернули башни и из орудий начали беглый обстрел окопов. А из нескольких больших грузовиков, которые тоже замерли на обочине шоссе сразу за танками, повыпрыгивали фашистские солдаты. И упали на землю, слились с ней так, что вовсе от глаз скрылись.

Не все танки и грузовые автомашины здесь остановились. Лишь малая часть тех, что шли по шоссе, замерла тут, сойдя на обочину. И еще — откуда-то по нашим окопам стали бить фашистские минометы. Прицельно, кучно бить.

И капитан Исаев понял, что все эти действия врага давно продуманы и, может быть, даже отрететированы до самых малых мелочей, что фашисты намереваются окружить и уничтожить его родной полк. Моментально пришло и ответное решение: надо немедленно отходить, выводить полк из-под готовящегося по нему удара! Куда отходить

полку? Сейчас еще возможно и к морю, и точно на восток, откуда в спины солдат полка бьют пока лишь одиночные немецкие автоматы; догадался, что это обнажили свое поганое нутро местные фашиствующие молодчики. Он хотел одним маневром и полк из-под вражеского удара вывести, и тех ублюдков напрочь сокрушить. Но был он только командиром роты. Потому и смолчал. Просто стал стрелять из винтовки по подползающим фашистам или, когда снаряды, мины и бомбы грозились рвануть угрожающе близко, старался вжаться во вздрагивающую стенку окопа.

Это уже завтра утром капитан Исаев узнает, что командир полка не приказал начать отход лишь потому, что ему твердо обещали скорую и действенную помощь, что позднее, когда часть, спешившая им на выручку, вдруг напоролась на вражескую танковую засаду и крепко увязла в кровавом бою, и первый приказ был отменен, командир полка, раненный смертельно, как считали его помощники, доживал последние минуты; вот, чтобы не отравлять их черной вестью, и скрыли от него горькую правду. Но минуты во многие часы слились. Иными словами, хотели сделать как лучше, а получилось...

То, что уцелело от полка, с наступлением ночи, когда угомонился самый настырный фашистский пулеметчик, ушло от пепелища своего военного городка, волею судьбы ставшего полем их первого смертельного боя. Много ли вообще бойцов от полка уцелело — этого капитан Исаев не знал, ему начальством только и было сказано, что он обязан временно принять под свое командование весь тот батальон, в который входила его рота; дескать, все другие командиры, еще вчера имевшиеся в батальоне, сейчас выбыли из строя. От батальона, еще утром полнокровного, ему досталось лишь шестьдесят семь рядовых бойцов и командиров отделений, двенадцать из которых были настолько поранены, что их надлежало нести на восток, а еще лучше, еще вернее — немедленно положить на операционный стол, чтобы, тщательно обработав раны, окружить полным покоем. Но ему предписывалось начать движение без промедления. Сначала к морю, еле слышно и успокаивающе шумевшему волнами, а потом берегом и обязательно через такие-то населенные пункты. Даже место и время встречи с главными силами полка ему было указано с точностью до минуты!

Капитан Исаев был глубоко убежден, что на войне, пока ее не познаешь до самой ничтожной малости, нельзя с

такой точностью все планировать, да еще в условиях, когда противник диктует тебе правила игры. Но приказ был получен, он требовал безупречно точного выполнения. И, выслав вперед разведку, а вправо — охранение, капитан Исаев повел своих людей по указанному ему маршруту. Повел, хотя очень хотелось дать им всем короткий отдых: ведь весь вчерашний долгий день они были в горячем бою, за весь вчерашний долгий день не имели во рту и кусочка хлеба. Но только перед рассветом, когда с моря стали отчетливо доноситься орудийные выстрелы, капитан Исаев, выслав к морю разведку, остальным разрешил отдыхать. Едва прозвучала его команда, кое-кто немедленно опустился — почти упал на чуть сыроватую землю, а остальные столпились около капитана.

— Товарищ капитан, как же так, а? Выходит, отступаем? А уверяли, что обязательно малой кровью и могучим ударом...

Об этом же — и не раз за промелькнувшие сутки — уже думал и он, капитан Исаев. И днем, когда бомбы и мины рвались почти рядом, и недавно. Думать-то думал, а вот ответа не нашел. Такого, чтобы полную ясность в сознание внес. Что фашистские армии сильнее — мысли не мог допустить. Самое же главное — очень многое и предельно точно надо было знать, чтобы сделать правильные выводы. А что известно ему, капитану Исаеву, о положении на фронтах вообще? Или хотя бы только во всей Прибалтике? Он достоверно знает лишь одно: фашисты напали внезапно, вероломно...

Все это капитан Исаев без утайки и высказал в ответ на вопросы солдат. Может быть, с этого и начался бы долгий общий разговор, но тут прибежал один из тех, кого он посылал в разведку к берегу моря, и взволнованно доложил, что в море шесть фашистских катеров атакуют нашу подводную лодку, можно сказать, вовсе к берегу ее прижимают, на прибрежные пески гонят.

Не успел и команды подать, как все побежали к морю, лязгнув затворами винтовок и нескольких автоматов, подобранных на недавнем поле боя. Так к морю заспешили, словно могли чем-то помочь той подводной лодке.

Подводную лодку и преследующие ее катера увидели сразу, как только оказались на опушке леса, подступившего вплотную к песчаным дюнам. Чтобы не обнаружить себя, попадали на влажный песок. Попадали, а дальше что делать? Открыть огонь по фашистским катерам из тех

двух станковых пулеметов, что прихватили с собой с недавнего поля боя? Конечно, можно было бы и так поступить, если бы те катера оказались поближе. Кроме того, не подумают ли подводники, услышав с берега пулеметные очереди, что и тут вражеская засада?

А подводная лодка, погрузившись в море по самую палубу, погрузившись так, что ее рубка казалась спинным плавником какой-то диковинной рыбыны, ходко шла к берегу, отстреливаясь из двух пушчонок малого калибра, похоже — сорокапяток.

Капитан Исаев понял, что именно эти две пушечки и заставляют фашистские катера держаться на приличном расстоянии. Тоже мне, вояки! Да если бы катерами командовал он, Дмитрий Исаев, обязательно и самым полным ходом повел бы их на сближение с подводной лодкой; пулеметными очередями срезал бы орудийные расчеты, не прикрытые от пуль и осколков даже подобием какого-то щита, и взял бы ее на абордаж.

Интересно, почему подводная лодка спешит к берегу, словно знает, что здесь есть артиллерийские батареи, которые прикроют ее своим огнем? Почему она не нырнула в глубину еще там, на морском просторе?

Капитану Исаеву казалось, что лежали они за песчаными дюнами бесконечно долго, а подводная лодка, отстреливаясь от шести фашистских катеров, все шла и шла; теперь были уже отчетливо видны пробоины в ограждении ее рубки.

Но вот сероватая вода вокруг подводной лодки запузырилась, и она привсплыла, словно вознамерилась вообще оторваться от поверхности моря, и изо всех последних сил рванулась к берегу. Не успел капитан Исаев еще понять, ради чего это сделано, как она с полного хода выбросилась на песчаную отмель. Метрах в двухстах от берега взлетела на нее. Так внезапно подводная лодка полностью потеряла ход, что попадали в море матросы, которые из пушечек вели огонь по фашистским катерам. Но, вынырнув, они почему-то не попытались вновь занять свои места у орудий, а поплыли к берегу; и еще десятка два моряков, появившихся на верхней палубе, сами попрыгали в воду.

Фашисты, похоже, не заметили, что личный состав покинул лодку: катера по-прежнему держались от нее на почтительном расстоянии и вели лишь артиллерийский огонь и по подводной лодке, и по морякам, спешившим к берегу.

— Сволочи! — гневно крикнул кто-то почти рядом, и капитан Исаев быстро отыскал его глазами. Это был явно солдат-первогодок, на левой половине груди которого в торжественный ряд выстроились значки ГТО, «Ворошиловский стрелок», ГСО и ПВХО. Подумалось, что они поблескивают впечатляюще, что к ним бы еще победу над фашистами приплюсовать — вот тогда и вовсе ладно станет. Об этом только подумал, спросил же о другом:

— Кого сволочишь?

— Клешников! — нимало не смутился молодой солдат. — Ишь, какой корабль покинули!.. Выходит, они, как и «соколы» наши, только для парадов хороши были. А до боя дело дошло, тут матушка-пехота одна за все в ответе!

— А ты кто такой, чтобы судить их? Кто дал тебе право выносить им приговор? — немедленно вошел в разговор вовсе незнакомый сержант, почему-то зло глянув на того солдата.

Капитан Исаев оставил без ответа реплику сержанта, но самого его запомнил. Чтобы потом узнать, почему у него в этот момент в глазах была такая ярая злость.

Кажется, велико ли расстояние от подводной лодки до берега, много ли времени может понадобиться мужчине в расцвете сил, чтобы преодолеть каких-то двести или триста метров? Но сейчас эти сотни метров предстояло идти по воде, которая все время хватала за ноги. Поэтому капитану Исаеву и казалось, что моряки невероятно долго брели к берегу, то запинаясь под водой о невидимые отсюда гранитные валуны, то вроде бы беспричинно оглядываясь на подводную лодку, на палубе которой по-прежнему не было ни одного человека.

Пока моряки брели к берегу, капитан Исаев не только без спешки и скорее машинально, чем осознанно, пересчитал их, но и понял, что сейчас, в эти секунды, просто не имеет права обнаруживать свой отряд: если подводники и не посчитают фашистами или их единомышленниками, все равно на какое-то время, разглядывая незнакомых солдат да обдумывая свое решение, задержатся под огнем фашистских катеров. И он приказал, чуть сдерживая голос:

— Передать по цепи: всем отойти в лес, без моего разрешения никому носа оттуда не высовывать! — И уже только одному сержанту, с которым хотел сейчас же познакомиться поближе: — Останетесь со мной.

Его приказ беспрекословно выполнили, и скоро лишь он с сержантом оказались на берегу, к которому, еле пере-

ставляя отяжелевшие от усталости ноги, брели двадцать три моряка.

Не успели все моряки еще дойти до желанного берега — подводная лодка вдруг развалилась, выбросив в небо столб ослепительного пламени; с еле ощутимым запозданием долетел и оглушительный грохот взрыва, который, казалось, должен был пригнуть к земле все деревья.

Капитан Исаев понял: моряки, уходя с родного корабля, заминировали его; похоже, между торпедами заложили взрывчатку.

Исчезла с поверхности моря подводная лодка — фашистские катера, сделав в сторону моряков несколько нестройных артиллерийских залпов, развернулись на обратный курс и резво побежали к все еще темноватой западной кромке горизонта. И лишь теперь к морякам, сгрудившимся на линии прибоя, подошли капитан Исаев и сержант. Те, казалось, нисколько не удивились их появлению, вроде бы с полным доверием встретили, но капитан Исаев краешком глаза сразу заметил, что стоит в плотном кольце, что, пожалуй, и нагана не сможет вырвать из кобуры, если попытается это сделать: обязательно намертво сцапает за руку кто-то из этих парней, разглядывающих его спокойно и одновременно придиричиво, с пристрастием.

Наконец, когда капитан Исаев был готов первым назвать себя, три последних решающих шага сделал моряк в кителе, на рукавах которого было по две золотистые нашивки. Был этот моряк на голову ниже его, Дмитрия Исаева, однако плечи у них оказались одинаковой ширины, и поэтому создавалось впечатление, будто он даже коренаст, необыкновенно силен. Правда, лицо у него было чуть удлиненное в нижней своей половине. Может быть, кому-то оно и показалось бы некрасивым, если бы не постоянная добрая улыбка; если бы не серые глаза, одаривающие собеседника душевным теплом. Даже подумалось: а может ли он в силу своего характера командовать людьми, приказывать им?

Этот морской командир, подойдя к капитану Исаеву на положенное расстояние, вежливо козырнул и сказал с внутренним достоинством:

— Старший лейтенант Загоскин, помощник командира подводной лодки.

Тайком облегченно вздохнув, капитан Исаев немедленно назвал его и требовательно посмотрел на сержанта. Тот правильно понял его и почти отчеканил, встав по стойке

«смирно» и прижимая к себе винтовку, что он сержант Перминов, Антон Спиридонович.

После этого капитан Исаев и рассказал морякам о том, что за минувшие сутки выпало на долю их полка и роты его, капитана Исаева, даже точно назвал, сколько сейчас у него бойцов.

Его выслушали сочувственно, а потом поведали и о своей беде. Оказывается, они были в самом обыкновенном походе, предусмотренном планом боевой подготовки, у берегов фашистской Германии были, когда получили радиogramму о том, что гитлеровцы вероломно напали на нас. Конечно, немедля скрылись в глубинах моря и начали поиск фашистских кораблей. И скоро нащупали один, утопили его торпедным залпом из двух носовых аппаратов. А вот этой ночью здорово, непростительно оплошали: чтобы подзарядить аккумуляторы, нечаянно всплыли... почти рядом с фашистским сторожевым катером, который, заглушив моторы, беспечно покачивался на волнах. Короче говоря, он первым ударил из пушек, смел своими снарядами за борт командира лодки и всех тех, кто вместе с ним в то время был на верхней палубе. Что было потом? Самое обыкновенное: они в момент утопили тот катеришко и пошли домой. Думали, что проскочат в свою базу, да вот часа два назад из ночи вывалилась на них эта шестерка катеров, клещом вцепилась. Конечно, если бы дистанция между ними и лодкой в момент встречи была бы хоть чуточку побольше, они по срочному погружению попытались бы уйти на глубину, а тут пришлось просто отходить, отстреливаясь...

Познакомились, выкурили по сигарке солдатской махорки и уже вместе пошли дальше, решив, что, если подвернется такой случай, надо будет обязательно раздобыть оружие для моряков; а вообще-то очень желательно и для солдат занять что-нибудь помощнее, чем винтовка, например наши или немецкие автоматы.

Шли единой частью, подчиняясь всем приказаниям капитана Исаева, шли на восток. А в голубом небе почти непрерывно ревели моторы самолетов. Большой частью фашистских. А с юга, обтекая, грозясь обойти отряд, грохотала артиллерия. И они поняли: сегодня фашисты еще продолжают свое наступление. Настроения эта догадка не улучшила, но шагать стали шире, решительнее: спешили включиться в общее святое дело защиты Отечества, спе-

шили и свою лепту внести в полный разгром врага. А что будет только так — в этом нисколько не сомневались.

Уже под вечер на проселочной дороге, петлявшей по лесу среди приземистых и курчавых сосен, их остановили советские танкисты — осунувшиеся, постаревшие на годы за двое суток боев. Они, бегло опросив капитана Исаева и старшего лейтенанта Загоскина, наскоро просмотрев документы, которые те могли предъявить, того и другого препроводили к генерал-майору; он, как стало известно чуть позднее, еще вчера командовал бригадой, а сегодня лишь пятью последними ее танками. Генерал-майор, выслушав капитана Исаева, сказал, что в Прибалтике фашисты повсюду перешли границу и нахально прут по всем дорогам только вперед, обтекая, окружая наши части, оказывающие им упорное сопротивление.

— Вам, капитан, приказывать я вроде бы не имею права, вам могу вроде бы только советовать... Так вот, окажись я в вашем положении, махнул бы рукой на все графики движения, полученные вчера, и с предельной скоростью, на какую только способен, побежал бы, например, в Таллинн. Почему именно туда? Там — штаб Балтийского флота, там обязательно найдутся люди, которые в лицо знают командный состав той нашей подводной лодки, люди с которой идут с вами. Что это дает вам? Они легко установят, что вы действительно свои, а не фашисты, переодетые в нашу форму... И поспешайте: я-то вам поверил, а ведь можете нарваться и на чрезмерно бдительного товарища...

Так генерал-майор закончил свое напутствие, то ли козырнул, прощаясь, то ли просто махнул рукой, и решительно зашагал к своим пяти танкам, обреченно глядевшим на запад дульными срезами пушек.

3

Чуть больше двух месяцев минуло со дня начала войны, всего чуть более двух месяцев, а жизнь заставила такие вензеля и так молниеносно выписывать, что капитан Исаев, случалось, по нескольку раз в день бормотал свою присказку про уху из петуха. Часа через полтора — не более! — после разговора с генерал-майором она впервые сорвалась с его языка.

Капитан Исаев и его бойцы шли опушкой леса, шли почти параллельно шоссе, если верить карте, выпущенной

в последний год давненько минувшей мировой войны, бежавшему от границы до самого Ленинграда. Чтобы в случае появления фашистских самолетов побыстрее исчезнуть из поля зрения летчиков, опушкой шли. Не излишне медленно и не быстро ноги переставляли, очень редко окидывая взглядом то, мимо чего проходили: гляди не гляди, ничегошеньки радостного все равно не увидишь.

Без песен, шуток и даже разговоров брели люди, лишь по земле скользя глазами, переполненными тоской. У всех думы. Собственные, личные и в то же время общие. О доме (когда-то теперь попадешь туда, да и попадешь ли?), о павших товарищах — никак не верилось, что еще позавчера или даже вчера ты с ними из одного солдатского котелка щи хлебал, из одного кисета сигарки сворачивал, а сегодня их уже нет и никогда не будет.

А капитан Исаев еще хотел и понять, почему фашисты, хотя мы почти каждую их атаку встречаем плотным огнем, так ходко идут вперед. Ну ладно, они тайком готовились к этой войне; как показал бой за военный городок, отдельные моменты возможных грядущих боев, похоже, не раз отрепетировали. Мы же даже обыкновенные окопы и на родной земле сами от себя скрытно рыли. И вооружены фашистские солдаты получше, чем мы. Согласен, все так...

Но все равно нутро вопит, что все это лишь малые слаемые нынешних побед фашистов: в гражданскую войну Красная Армия, как клятвенно уверяют историки, почти без оружия, почти разутая и раздетая царских генералов и вообще всю Антанту расчихвостила!

Может, в том главная причина успехов фашистов, что нет сейчас во главе наших полков, дивизий и армий тех военачальников, которые их к прошлым славным победам водили?

Не сегодня впервые и с опаской капитан Исаев подумал об этом. Эта мысль пришла ему в голову зимой 1939/40 года, когда наша армия с превеликим трудом ломала финские войска, хотя во всей Финляндии народу было поменьше, чем в одном Ленинграде. Или около того.

Нет, капитан Исаев верил тому, о чем писали наши газеты, о чем гневно с высоких трибун вещали люди, известные всему миру. Но все равно как-то плохо укладывалось в сознании, что Блюхер, Тухачевский да и другие столь же прославленные полководцы гражданской войны, в тяжелейшем прошлом не поддавшиеся многим соблазнам, сегодня вдруг переметнулись на сторону врагов всего совет-

ского. Спрашивается, чего им в жизни не хватало? Что особое они могли получить от капиталистов за свое предательство, если у самих только птичьего молока в повседневной жизни, можно сказать, и не было?

Иными словами, что-то тревожное уже какой год гнезилось в душе капитана Исаева.

Однако, хотя в душе его и обосновались первые смутные сомнения в правдивости того, о чем ему говорили, сегодня он нашел лишь одно, как ему казалось, правдоподобное и до некоторой степени даже уважительное объяснение происходящему: здесь, вдоль новой государственной границы (только год мгновением мелькнул с тех пор, как здешний народ решил навеки связать свою судьбу с нашей), нет линий, нет узлов и хитросплетений мощных оборонительных сооружений, все это дальше, на востоке, где пограничная полоса пролегала раньше; вот дойдем до нее, а там перво-наперво остановим гитлеровцев, дадим им время, чтобы они побольше своих дивизий сюда стянули, а затем и шарахнем по ним всей своей силищей!

В очередной раз несколько утешил, успокоил себя этим — глянул на голубое небо, в котором во всех направлениях сновали только фашистские самолеты (наши, говорят, уничтожены еще на рассвете 22 июня, бомбежками и обстрелами на родных аэродромах уничтожены), на шоссе, где, уже наученные войной, люди не брели серединой, на своих бойцов, которые безропотно шли за ним всюду, куда бы он ни свернул. Сразу увидел сержанта Антона Перминова и солдата Карпа Карпова. Нисколько не удивился, что они шли рядом и первыми вслед за ним: уже успел поговорить с ними и теперь знал, что с год назад Антона чуть не исключили из комсомола за то, что посмел отказаться идти учиться в летную школу, попросил обком комсомола на учебу направить его в военно-морское училище. Услышав эту просьбу, высказанную очень даже спокойно, кое-кто, чрезмерно горячий, и поспешил обвинить его в дезертирстве: дескать, мы, комсомольцы, шефствуем над военно-воздушным флотом, ничего не жалеем для того, чтобы он стал самым мощным в мире, а ты от наших забот в кусты бежишь? В то время в кустах отсиживаться намереваешься, когда капиталисты-империалисты всех стран не только угрожающе бряцают оружием?

Антон Перминов в ответ осмелился напомнить, что комсомол и над военно-морским флотом шефствует. Его будто

не услышали. И дружно проголосовали за исключение Перминова из комсомола.

Только потому и уцелел у него комсомольский билет, что вмешался обком партии, осторожно, деликатненько подправил кое-кого, поумерил пыл у наиболее ярых.

Комсомольский билет Антон Перминов сберег, а вот ни в одно из военных училищ заявления не посмел послать: в характеристике, которую ему дала комсомольская организация родной школы, было сказано, что он, Антон Перминов, в политическом отношении еще несколько темноват, хотя в этом году успешно и окончил десять классов.

Если у тебя в характеристике такое написано, то нечего и помышлять не только о военном училище, но, пожалуй, и вообще о дальнейшей учебе. А вот очередному призыву в армию характеристика нисколько не помешала. Служил он честно, потому только за считанные месяцы и продвинулся по службе от рядового до сержанта. На комсомол не обижался, по-прежнему около сердца с гордостью носил комсомольский билет, хотя того торопыгу, который первым приклепнул ему ярлык дезертира, по гроб помнить будет. И вообще всех, кто скор на выводы, он теперь ненавидит. Потому тогда уничтожающе и посмотрел на солдата Карпова.

А душа солдата Карпова Карпа Карповича (за это его уже прозвали Трижды Рыба) родниково чиста, в ней нет и малейшей инородной мути. Единственное, что в нем пока настораживает, — очень категоричен в своих выводах. Причем сделанных без должного обоснования. Потому так безоговорочно и осудил он летчиков и моряков. Хотя, пожалуй, пообомнет ему жизнь бока — многое поймет, наверняка выдержаннее станет.

Все было вроде бы привычно, но к капитану Исаеву вдруг подошел сержант Перминов, сказал, показав глазами на старшину и четырех наших солдат, которые подпиливали и валили телеграфные столбы, рушили линию связи:

— Гляньте, товарищ капитан, на этих дармоедов. Что они делают — чистокровное вредительство!

Капитан Исаев еще раз посмотрел в сторону тех солдат. Теперь не просто так, бегло, а внимательно, даже придирчиво. Действительно, все спиленные столбы лежали комлем к шоссе. И провода с них специально не посрывали, и изоляторов не сокрушили. Невольно подумалось, что восстановить эту вроде бы уничтоженную линию связи —

дело не суток, не часов, а лишь десятков минут. Интересно, кто санкционировал именно такое выполнение задания? И капитан Исаев, нахмурившись еще больше, зашагал к неизвестным солдатам, подпиливавшим очередной телеграфный столб. За ним, словно это было оговорено заранее, потянулись все, кто шел следом.

Приблизился метров на десять — старшина командовал «смирно», подбежал к нему и очень толково и кратко доложил, что группа солдат под его командованием занята выполнением специального задания. Капитан Исаев, козырнув в ответ, сказал строго, требовательно, однако вполне миролюбиво:

— Если у вас специальное задание, то в него и вовсе всю душу вкладывать надо, а вы?

— Я, товарищ капитан, человек маленький, я только честно выполняю то, что мне приказано, — ответил старшина без малейшего намека на смущение или раскаяние.

Еще больше, чем равнодушный ответ, поразило то, что в глазах старшины не было и малюсенького следа той огромной душевной боли, которую эти дни носили в себе все. И капитан Исаев вовсе придирчиво ощупал глазами самого старшину, каждого из его подчиненных. И вдруг заметил, что один из недавних пильщиков, прекративших работу после команды старшины, стоит по стойке «смирно» как-то непривычно для глаз.

Ага, локти у него чуть оттопырены! И подбородок излишне вздернут...

— Руки вверх или немедленно открываю огонь!

Старшина и четыре его солдата подняли руки. Без спешки, без малейшего признака страха или самого обыкновенного волнения. После этого старшина и сказал чуть снисходительно:

— Я — офицер абвера. Советую вам, капитан, воспользоваться благоприятным для вас моментом и немедленно вместе со своими солдатами сдаться мне в плен. Слово офицера, что всем вам будет сохранена жизнь.

Ну, разве это заявление гитлеровца не уха из петуха?!

Однако чувствовалось, фашист говорил, искренне веря в гуманность своего предложения, он ни на минуту не сомневался, что оно будет обязательно принято, если не с благодарностью, то и без протеста, без малейшего промедления. И эта уверенность фашиста, его непоколебимая вера в силу звания и своего слова на несколько секунд ли-

шили капитана Исаева обычного хладнокровия, он сказал, внутренне костенея от злости:

— «Языки» нам не нужны. Да и людей у меня мало-вато, чтобы к пленным, как конвой, занаряжать. Самое выгодное и разумное для меня — расстрелять вас. На этом самом месте. Немедленно... Потому все это говорю, что, если не заткнешь фонтан, расстреляю. А командованию доложу, что все уже так и было, когда мы сюда заявились. Понятно, доходчиво разъясняю обстановку или как?

Не было у капитана Исаева намерения расстреливать фашистских диверсантов, он даже считал, что просто обязан их живыми сдать работникам НКГБ (авось выдадут кого из своих, действующих в нашем тылу). Он хотел лишь проверить их на испуг. Скорее всего потому, что сам за последние двое суток пугался здорово и несколько раз. А фашисты атаквали вроде бы вовсе бесстрашно. Вот и захотелось поточнее узнать, правда ли это.

Убедился, что страх им очень даже ведом: тот, назвавшийся офицером абвера, после его слов будто язык проглотил.

Немецких диверсантов в первом же небольшом городке, название которого запомнить даже не старался, сдали работникам милиции для передачи кому следует. И снова зашагали на восток. Но едва за вершинами сосен скрылись красные черепичные крыши городка — их остановили. Окликнули властно и сразу же предупредили, что при малейшем неповиновении по ним ударят из станковых пулеметов; эти пулеметы — восемь штук — откровенно тарачились с опушки бора.

Капитан Исаев не стал искушать судьбу, он приказал своим людям остановиться, позволил неизвестным красноармейцам увести себя одного к какому-то майору, вероятно серому от усталости и пыли многих проселочных дорог. Майор, державшийся на ногах, казалось, исключительно за счет упрямства, спросил: а почему он, капитан Исаев, и его люди оказались здесь, да еще в едином строю с моряками? Ответы, похоже, не насторожили, не встревожили его. Но он все равно немедленно вызвал для проверочного опроса сначала несколько солдат, а потом и моряков. Когда те и другие подтвердили сказанное капитаном, майор подобрел глазами, однако приказ отдал тоном, включающим даже самые ничтожные возражения:

— Немедленно занимайте оборону на рубеже, который

вам сейчас покажут. Лично отвечаете за все, что там произойдет... Вопросы ко мне?

— Если я правильно понял, нам на соединение с полком не спешить?

— Будете воевать здесь, — словно отрубил майор.

— В составе какой дивизии?

— А тебе не все равно?

— Точно подметили, очень даже не все равно, — нисколько не смутился капитан Исаев и охотно пояснил: — Каждому солдату желательно служить в части авторитетной, известной. Или у вас, товарищ майор, другая точка зрения?.. Между прочим, может случиться и так, что вдруг нагрянет какое-нибудь высокое начальство и спросит хорошо поставленным басом: «А как ты, капитан, здесь оказался? По чьему приказу?»

Майор на мгновение задумался, потом тряхнул головой, словно прогоняя какие-то неприятные думы, и сказал решительно:

— С этой минуты ты — командир отдельного сводного батальона особого назначения. И довел это до твоего сведения майор Петров.

Интересно, он действительно Петров или ляпнул первую фамилию, какая на ум пришла?

Спросил же капитан Исаев о другом:

— Где, когда и у кого можно получить боезапас? Как будет осуществляться питание личного состава моего батальона?

— Боезапас? Питание личного состава?.. А тебе, капитан, палец в рот, оказывается, не клади, — одобрительно усмехнулся майор, потом все же пояснил, что патроны к винтовкам и гранаты как оборонительного, так и наступательного боя следует получить немедленно вон в том лесочке. А что касается питания личного состава... Оно обязательно будет организовано, если позволят обстоятельства.

Когда ранее капитану Исаеву приходилось принимать батальон, он, узнав об этом, начинал немедленно волноваться, а потом, как говорила жена, ломал голову над тем, чего настоящие комбаты в упор не замечают. Все это неизменно бывало раньше. Теперь же — только деловое спокойствие. И, чуть подумав, он, уже как командир батальона, отдал свой первый приказ, объявив всем, что обязанности командира первой роты берет на себя, а на вторую роту и своим заместителем по всем вопросам назначает старшего лейтенанта Загоскина Павла Петровича. Послед-

ний, услышав приказ, не стал отнекиваться, ссылаясь на то, что по специальности он подводник и в сухопутной тактике, следовательно, хромает на обе ноги, можно сказать — даже вовсе не разбирается, он деловито предложил:

— Делим людей пополам или мне пока взять только своих матросов?.. Если нужно знать мое мнение, я за то, чтобы сначала побыть с одними матросами... И тех флотских, кто примкнет к нам позже, ты ко мне в роту будешь направлять. Пока до полного комплекта не доведем ее.

До полного комплекта, говоришь... Пополнение, как таковое, конечно, обязательно будет, может быть, и в неожиданном количестве: даже к ним, пока они опушками лесов брели сюда, несколько человек пристало, а здесь, когда шоссе намертво перекрыли заставы майора Петрова, отбившиеся от своих частей могут как из мешка повалить. Но, во-первых, может быть — это еще вовсе не свершившийся факт, во-вторых, начнутся бои — неизбежны потери. Не окажутся ли они, эти потери, равными притоку новых сил или даже внушительнее его?

Капитан Исаев, подавив вздох, дал согласие на то, чтобы сейчас старший лейтенант Загоскин взял в свою роту только подводников. Он, капитан Исаев, даже немного помечтал о том, что хорошо, просто вообще прекрасно было бы занять роту исключительно из моряков: хотя и был пожизненно влюблен в пехоту, хотя и очень дорожил своими солдатами, с которыми выпало выдержать испытания первых дней войны, он смог увидеть, что моряки физически крепче, что их связывает какая-то особая дружба; свято оберегая ее, они порой идут даже на верную смерть. Между прочим, нельзя забывать и того, о чем вскользь упомянул майор Петров. А он, понизив голос, шепнул, что не только наша армия, но и флот имеет потери. Можно сказать, довольно ощутимые. И в открытом море, и в наших базах погибло несколько военных кораблей; только потому, что фашисты напали в тот момент, когда те корабли находились в ремонте, даже без снарядов к своим пушкам стояли в доках или у причальных стенок морских заводов.

Всю ночь не выпускали из рук лопат — рыли окопы. И хорошо, что себя не пожалели: едва солнце поднялось над лесом, на шоссе, туда, где отчетливо просматривалась еще рваная линия окопов, обрушились бомбы, снаряды и мины. Сначала одиночные, а потом они посыпались так обильно, столько вздыбили земли, что временами солнце,

которое все еще упрямо ползло в зенит, вдруг меркло и день превращался в густые сумерки.

В полдень, когда нормальные люди обедают, фашисты начали первую атаку. Выскочили из своих окопов и, мгновение постояв словно в ожидании кого-то или чего-то, не побежали, а неспешно зашагали навстречу сотням злых, безжалостных пуль. Многие падали и оставались лежать на чужой для них земле недвижимо, разметав руки и ноги или умоляя о помощи. Но остальные по-прежнему печатали шаг. Может быть, лишь чуточку поспешнее, чем в начале атаки.

Казалось, нет такой силы, которая способна остановить фашистских солдат. И кое у кого страх затронул душу. Однако двое минувших суток у капитана Исаева и почти всех его товарищей копилась злость. На себя. За то, что отступали перед нахальным врагом. Хотя еще сегодня ночью или на рассвете об этом и не было сказано ни слова, каждый про себя твердо решил, что пора показать фашистам, где раки зимуют. И еще яростнее забахали винтовки, казалось, бесконечными стали пулеметные очереди.

Вдруг наши солдаты с радостью заметили, что кое-кто из гитлеровцев — не один, не два, а сразу несколько — чуть замедлили шаг, словно раздумывая, где здесь, на поле боя, можно укрыться от смерти. Этой заминки нескольких человек оказалось вполне достаточно: всю атакующую цепь вдруг залихорадило, она из линий с плавными и сравнительно малыми изгибами превратилась в ломаную кривую, которая какое-то неуловимо короткое и одновременно невероятно длинное время потопталась на месте, устилая землю телами в мундирах мышинного цвета, а потом неудержимо рванулась назад, к своим окопам, чтобы там попытаться найти спасение.

Капитан Исаев и его товарищи обрадовались своей первой победе над гитлеровцами. Кое-кто даже подумал: мол, я уже исчерпал свой лимит на отступление — и гордо расправил плечи.

Стемнело настолько, что не стали видны вражеские окопы, — капитан Исаев разрешил добровольцам сползать на поле недавнего боя, чтобы поискать немецкие автоматы и патроны к ним.

Добровольцы, сползав на ничью землю, принесли сорок семь немецких автоматов. Капитан Исаев еще решал, кому их доверить, а из штаба какого-то стрелкового корпуса уже прибыл командир связи и сказал, что настало время от-

ступить до такого-то рубежа обороны, где проклятые гитлеровцы наконец-то и будут остановлены намертво. Там-то уж — непременно!

Организованно отступили сначала до одного указанного рубежа, потом до другого; кое-где и стихийно бежали. Втянулись в эти отступления, даже почти привыкли, что днем смертный бой с фашистами, а ночью опять отступление. Короче говоря, и опомниться не успели, как оказались уже в Эстонии. Здесь, получив короткую передышку, которую использовали на пополнение личным составом и на самый обыкновенный сон, капитан Исаев и сообщил подчиненным, что гитлеровцы все еще наступают повсеместно, что 8 июля они овладели Пярну и наверняка были бы уже в Таллинне, если бы наша армия не перекрыла им дорогу, если бы она ценой огромных усилий и жертв не придержала их.

Здесь, в Эстонии, когда до Таллинна оставалось всего лишь около пятидесяти километров, капитан Исаев наконец-то точно узнал, что его батальон сейчас входит в состав 10-го стрелкового корпуса, имевшего на тот день только около десяти тысяч бойцов, хотя по штатному расписанию в любой дивизии их должно быть побольше. А оборонять им выпало почти девяносто километров линии фронта. Выходит, фашистов, рвущихся к Таллинну, сдерживает цепочка людей, расстояние между которыми около девяти метров? Не густо, прямо скажем, даже очень не густо...

Потом поползли слухи, будто 5 августа гитлеровцы захватили станцию Тапа и тем самым перерезали железную дорогу Таллинн — Ленинград, а 7 августа вышли и на побережье Финского залива между мысом Юминда и Кундой.

Командование не опровергло этих слухов.

4

Вдоль шоссе, бежавшего к Таллинну, отступал отдельный сводный батальон особого назначения, которым командовал капитан Исаев. И вся его «особость» сводилась к тому, что его бросали в бой лишь тогда, когда становилось ясно, что еще минута промедления с нашей стороны, и... фашисты снова полным ходом попрут на восток. Почему почти всегда только так поступало командование стрелкового корпуса? Уверяло, будто непоколебимо верило в стойкость и боевую сплоченность батальона. Но капитан Исаев

в тайниках души предполагал: разгадку нужно искать в том, что не родным, а прибудным был он, его батальон.

Так или иначе, но батальону выпадали и передышки между боями. Однажды даже двое суток отхватили! А поскольку время от времени перепалили часы отдыха — возможно было и занять пополнение (по лесам порядочно шастало наших солдат, отбившихся от своих частей). Значит, батальон, случалось, в очередном бою бывал и почти полнокровным.

В бой батальон всегда вступал зло, даже яростно, знал, какие надежды возлагает на него командование, и гордился этим. Да и понимали его бойцы и командиры: стоит им дрогнуть в бою и раньше обусловленного времени начать отход — он, этот отход, не прикрытый товарищами по всем правилам военной науки, неизбежно обратится в отступление, может быть, даже в паническое бегство, и тогда фашисты, используя свою богатую технику, обязательно бросятся вдогон, непременно настигнут и смешают с землей; еще не известно истории такого случая, чтобы бегущий оказался способен оказать преследователю достойное сопротивление. А жить всем так хотелось... Потому — позвоночник от натуги звенит! — и держали оборону до указанного часа или соответствующего приказа командования. Чаще — до глубокой ночи приходилось стоять в обороне на очередном рубеже. А потом уходили, тщательно маскируя каждое свое движение, каждый звук, способный произвольно родиться в ночи. Уходили в заболоченный лес, куда фашисты соваться остерегались. Или в откровенное болото лезли, где малорослому солдату воды было по самый рот. Уходили ночью и потом брели все темное время суток, потому что тогда, в первые месяцы войны, фашисты ночами еще предпочитали спать.

Все время батальон капитана Исаева вел бои вдоль шоссе. Лишь однажды военная судьба в лице майора Петрова бросила батальон к железной дороге, слева напоминавшей о себе тревожными гудками паровозов, тщетно взывавших о помощи, и взрывами бомб, сотрясающих, раздирающих землю.

— Твоя задача, Дмитрий Ефимович, умудриться сделать так, чтобы для своего наступления фашисты не смогли воспользоваться железной дорогой, — сказал майор Петров и замолчал. Однако капитан Исаев почувствовал, что должно быть обязательно добавлено и еще что-то чрезвычайно важное. Действительно, помявшись в нерешительно-

сти, тот вдруг продолжил зло, категорично: — Чтобы на новом месте фашистов достойно встретить, нам минимум сутки понадобятся!

Говоришь, вам минимум сутки надо, чтобы попытаться выжить в грядущем бою... Он, капитан Исаев, будь его власть, дал бы времени и поболе. Но у фашистов свое командование, у которого свои планы, расчеты... Правда, нам уже неоднократно доводилось ломать их различные хитрые задумки... Ладно, живы будем — хрен помрем!

Эта лихость была напускной. И родил ее в великих душевных муках капитан Исаев исключительно для того, чтобы хоть самую малость взбодрить себя, если не прогнать вовсе, то просто уменьшить усталость души и тела. Она, эта общая усталость, к тому моменту войны была уже столь огромна, что казалось: только допустите, товарищи командиры, самую малюсенькую слабинку — вот прямо сейчас, стоя, уснет любой солдат.

После полуночи вышли не просто к железной дороге, прямехонько к какой-то станции вывел их едкий запах недавнего пожарища. Казалось безлюдным, даже мертвым было это скорбное пепелище. Однако, едва мелькнули первые минуты пребывания батальона здесь, появились люди. Сначала это были одиночные тени. Но скоро капитан Исаев оказался в центре толпы. Женщины и дети всех возрастов окружали его. Человек двести, если не больше. Воспитанники и воспитательницы детского дома, семьи командного состава и учительницы истории и литературы, справедливо посчитавшие, что от фашистов им нужно убежать обязательно. Лица настороженные, в глазах — мольба о помощи.

Все женщины, сейчас окружавшие капитана Исаева, молили только о помощи. А чем он мог помочь? Нет у него ни единой автомашины. Даже несчастной повозки он не имеет!

Он, хмурясь и будто ругаясь, приказал старшему лейтенанту Загоскину со своей ротой занять оборону у западных входных стрелок.

Казалось, давно ли пришли сюда, а уже поступают первые донесения: в станционном поселке было девять домиков, а теперь ни единого; здесь три железнодорожные колеи и тупик; на путях и в тупике четыреста восемьдесят шесть вагонов с различными грузами и порожних, это не считая того, что осталось от сгоревшего госпитального эшелона; на теплушках того госпитального эшелона — и сейчас

кое-где отчетливо видно! — красные кресты во всю дверь намалеваны, однако гитлеровцев это не остановило; есть на станционных путях и паровоз, еще вполне теплый; как говорят люди, поездная бригада убежала в лес еще при первой сегодняшней бомбежке, и с тех пор нет ее; солдат Карпов велел передать: мол, он попросил одного морячка расшуровать топку паровоза; дескать, тот теперешний морячок до службы на военном флоте одну навигацию кочегарил на речном пароходе.

Иными словами, сразу дела, заботы. С полной ответственностью за каждое свое решение! Говорите, на путях более четырехсот железнодорожных вагонов с грузами и порожних? Немедленно осмотреть все! С грузом и вообще нормальные — подать на первый путь, где паровоз пусть и подымает пары. А все прочие, которых уводить отсюда — себе дорожке, доставить на входные стрелки, в район обороны роты старшего лейтенанта Загоскина. Доставить и обязательно опрокинуть там, завалить набок! Чем доставить? Вместо паровоза сами в вагоны впрягитесь и, как поется в той песне, «по шпалам, по шпалам...» А насчет паровоза солдат Карпов толково сообразил. Пусть пары поднимают, как говорится, до марки... А всему батальону, кому конкретного дела не поручено, во что бы то ни стало найти машиниста или просто любого человека, который за него сработает сможет. Чтобы в пять ноль-ноль паровоз увел с этой станции все вагоны, которые будут признаны годными! Ясно? Вопросов нет?.. Разойдись!.. Перминов, давай сюда ко мне свой взвод... Да побыстрее.

— Может, ему просто передать что-то?

— Что уже сказал тебе, то и передай... Сам говорить с твоими людьми хочу.

Этот взвод — первый взвод первой роты, — можно сказать, старая гвардия батальона: в нем служат все, кто с капитаном Исаевым отступает от самой границы. Он, этот взвод, за считанные минуты двумя короткими шеренгами возник перед комбатом и замер, готовый выполнить любой приказ.

— Тут, ребята, такое дело, — не вполне уверенно начал капитан Исаев и замолчал, шаря глазами по знакомым и столь дорогим лицам солдат. Он намеревался даже очень серьезно поведать, что настоящий солдат обязан уметь рыть, к сожалению, не только окопы, землянки и прочее, для сбережения его же жизни крайне потребное на войне, что на него самой войной возложена хотя и скорбная, но

величайшая честь — предавать земле тела товарищей, павших в бою. Вместо всего этого — торжественного, даже несколько напыщенного — оказался только и способен выжать из себя: — Небось, сами уже видели; поди, уже сами догадываетесь, по какой причине позвал вас...

Они, солдаты первого взвода первой роты, разумеется, уже не раз успели глянуть на трупы детей, женщин и недавних раненых. Чуть ли не по длине всего низенького перрона, на изготовление которого пошли шлак и земля, лежали тела убитых. Много убитых. Потому сержант Перминов и предложил:

— На западной окраине этого поселка подобие противотанкового рва имеется. Может, используем? Если не возражаете, всех в одной братской могиле захороним?

В братской так в братской, капитан Исаев против этого возражений не имеет; он одобрительно кивает, а думает уже о том, что на западной окраине многих городов, поселков, сел и даже сравнительно крупных деревень они видели так называемые противотанковые рвы, фронтом развернутые к врагу. Сколько сил в создание их было вложено, сколько сотен или даже тысяч часов человеческого труда в них было зарыто! А зачем, ради чего, спрашивается? Насколько известно капитану Исаеву, пока ни один из этих рвов не остановил наступления фашистских механизированных колонн; они, обнаружив его, просто спокойнехонько устремлялись в обход. Этот ров, похоже, все же принесет пользу...

Бряцая котелком, к капитану Исаеву бежит солдат. Бряцание котелка раздражает, оно звучит упреком: дескать, не научили толком даже котелок крепить к поясному ремню, а в бой солдата уже гоните.

Солдат-посыльный уже рядом, он тараторит, стараясь сдержать свое бурное дыхание:

— На опушке лесочка обнаружены раненые, уцелевшие от того эшелона. Тридцать семь душ... Среди них затесался какой-то высокий воинский чин. Этот вас требует. Чтобы обстановку доложили.

Капитану Исаеву от женщин, работающих наравне с солдатами, уже известно, что не было здесь госпитального эшелона, что только шесть вагонов-теплушек стояло, ожидая раненых: по плану эвакуации, разработанному кем-то, все раненые должны были из медсанбатов доставляться сюда, чтобы в тыловые госпитали следовать уже по железной дороге. Но зачем солдату-посыльному знать все это?

Да и раздражает капитана Исаева, что здесь обнаружился какой-то высокий воинский чин, опасается капитан Исаев, что он, этот чин, и в дальнейшем (очень даже допустимо и такое) будет обязательно мешать своими советами, подсказками или просто расспросами.

И вдруг мысль, вселяющая в душу слабую надежду: может быть, только для солдата тот чин гора высоченная, а приглядеться — так себе, бугорочек среди болотных кочек. И капитан Исаев спрашивает вроде бы безразличным тоном:

— Звание-то у него какое?

— У них нет звания. Оно вместе с петлицами спорото, — отвечает солдат-посыльный.

Звание вместе с петлицами спорото... Точнее не скажешь!..

Слышно, как на стыках рельсов постукивают колеса. Одновременно катятся четыре вагона. С боков их облепили солдаты, женщины и дети, которые постарше. Солдаты переговариваются с женщинами, ребятами. Голоса у тех и других вполне нормальные...

Солдату-посыльному надоело ждать ответ, он осмелевается напомнить о себе:

— Как и что прикажете доложить тому товарищу командиру?

— А почему я обязан ему что-то докладывать? Или он наш начальник? — вопылил капитан Исаев, но тут же со владал с нервами и бросил вполне миролюбиво: — Ладно, испарись.

Ему бы, капитану Исаеву, заботы этого солдата...

Капитан Исаев сейчас не хочет, кажется, даже не имеет права уходить куда-либо с этого подобия перрона неизвестной ему станции, здесь он хорошо слышит все, что происходит вокруг: и деловой перестук колес вагонов, и звон лопаты, ударившейся о железо или камень, и все деловые реплики, которыми обмениваются его теперешние подчиненные. И о том, что делается, и о настроении людей все это докладывает абсолютно правдиво.

Все вроде бы ладилось, и вдруг к бывшему станционному зданию, от которого только истрескавшийся фундамент и остался, подкатил вагон, остановился. Тотчас от него отделился солдат Карпов и спросил:

— А с этим вагончиком, товарищ капитан, как прикажете поступить? — И тут же пояснил: — На дверях этой теплушки написано, что здесь имущество воинской части.

Даже номер ее указан. Только, ежели вот в данную дырочку заглянуть...

Он намеревался показать, в какую конкретно, однако капитан Исаев считал, что сегодня и вовсе нельзя позволить себе столь расточительную трату времени, что сегодня каждая минута имела особую ценность, он приказал:

— Открыть теплушку!

Откатываясь, обиженно взвизгнула дверь. Капитан Исаев и его солдаты всю ночь работали без огня, их глаза полностью привыкли к темноте. К тому же сейчас она уже чуть отступила перед перешедшим в наступление рассветом, стала ощутимо менее плотной, как бы несколько прозрачнее. Поэтому все отчетливо увидели заднюю стенку массивного гардероба шириной почти в дверь теплушки. Кнопками к ней приколоты записка: «Вора из-под земли достану!»

За почти что два месяца, которые выпало провести в частых боях, капитан Исаев повидал всякое. И наших солдат, откровенно дезертировавших из частей, и трусов, что, побросав оружие, просто бежали подальше от врага, и трех явных сволочей. Эти настолько перетрусил, настолько дорожили своей жизнью, что поспешили закопать в землю или «утерять» свои партийные билеты. Еще на прошлой неделе, когда заслоном стояли поперек шоссе, даже одного представителя местной власти поймали! Этот вовсе ошалел от страха. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что на телегу, где сам был и за кучера, он погрузил обшарпанный однотумбовый письменный стол и самую обыкновенную табуретку?

Говорят, что, когда на дом набрасывается пожар, иная мать схватит фотографии своих детей, прижмет их к груди и бежит прочь, спокойно оставляя на потеху огню все остальное, нажитое за многие годы...

Однако все те, с кем пришлось столкнуться раньше, сравнительно мелкая сошка, а тут явно каким-то «тузом» воняет: в такое напряженное время вырвать вагон под личное имущество далеко не каждому посылно.

Кто знает, как бы развернулись дальнейшие события, что сказал и сделал бы капитан Исаев, если бы не солдат Карпов. Он — конечно же! — был уже в вагоне, он из его глубины вдруг извлек обыкновенный ночной горшок, рассматривал его, восхищался им, для пробы даже сел на него и вдруг почти молитвенно закланчил:

— Товарищ капитан, я никогда и ничего не просил у

вас в награду за верную службу. Но эту бесценную вещь, как трофей, без которого на войне никак нельзя, дозволяете мне взять? Сугубо в личное пользование? Ведь он, видеть, генеральшин...

— А это тебе откуда известно? — моментально цепляется за его последние слова кто-то из солдат.

— По его габаритам сужу...

И, на мгновение забыв о том, что на любого из них может обрушиться уже через час или того меньше, откровенно хохочут солдаты и несколько женщин, которых привело сюда любопытство. Даже капитан Исаев улыбнулся, глядя на Карпова, с важным видом восседавшего на ночном горшке.

— Ты, Карпуша, шаровары-то сними, а то... — восторженно подсказывает кто-то, и опять все хохочут. Дружно, заразительно.

Капитан Исаев первый взял себя в руки, спросил сугубо официально, строго глядя на Карпова:

— Почему от паровоза ушел?

— А что мне там делать? Как я понял, моей задачей было — организовать работы по возвращению паровоза в строй действующих.

— Разговорчики! — нахмурился, чуть повысил голос капитан Исаев.

Сразу каждый заспешил. Только Карпов и позволил себе чуть поприкидываться несмышленишем, он спросил с напусковой, почти детской наивностью:

— Этот вагончик прикажете к составу в голове или хвосте прицепить?

Капитан Исаев глянул на него с укоризной и сухо сказал:

— К старшему лейтенанту Загоскину доставить. И чтобы ни одна щепочка, ни одна тряпочка не пропали!.. На растопку костра все это хорошо пойдет. Сухущее...

И вагон-теплушка, набитый вещами так, что между ними даже протиснуться было невозможно, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее покатился к западным входным стрелкам. Дверь его оставалась распахнутой. Значит, любой, кто хотел, мог прочесть: «Вора из-под земли достану!»...

Наконец состав был сформирован. Даже паровоз в голове у него оказался. Правда, если все другие паровозы сами к составу подходили, то к этому вагоны притыкали. По одному, по два и даже больше сразу. На сколько ваго-

нов у людей сил хватало, столько и подкатывали к паровозу, цепляли к нему.

Настоящий железнодорожник — подлинный специалист своего дела — наверняка заявил бы негодующе, что состав сформирован неправильно, что, согласно науке, вот эти вагоны с такими-то грузами должны идти обязательно первыми за паровозом, а не плестись в хвосте состава. Но ведь он, эшелон, был сформирован!

Солдаты капитана Исаева понятия не имели о том, сколько груженных и порожних вагонов может утащить паровоз данной марки (да и не запомнили они ее; зачем она могла им пригодиться?). Им просто крайне нужно было, чтобы он увел вагоны отсюда. Как можно больше. Кровь из носа, но увел! Вот и цепляли их к паровозу, исходя исключительно из важности груза, находящегося в теплушке. Потому последними и оказались те, в которых до крыши высилась тарная дощечка; конечно, и те, которые предназначались для людей: лесу у нас в стране не занимать, значит, ничего страшного не случится, если огонь и пожрет два или три вагона, до предела забитых той дощечкой; а людей чуть что и по другим вагонам рассовать можно; наконец, если очень прижмет, они и на крышах теплушек поедут. Благо и ехать-то всего около часа.

И вот раненые, женщины и дети оказались в вагонах. Тогда капитан Исаев протянул свою лапищу тому матросу, который до военной службы одну навигацию проплавал на речном пароходе, и сказал:

— Счастливого тебе пути. — И вдруг заволновался: — А не подведешь? Справишься с заданием?

— Или у вас кто-то другой есть на примете? — еще больше насупился матрос.

— Если бы...

И матрос неопределенно повел плечами, заявил очень даже рассудительно:

— Поскольку, кроме меня, у вас никого нету, так надо ли гадать?.. Да неужто паровозом и всем батальоном мы эту колбасу из теплушек с места не сорвем?.. Нам бы только ход занять, а потом поезд пойдет, как миленький пожежит!

Все боялись, что паровоз может оказаться бессилён сдвинуть с места эту ленту красных теплушек: и мощь его неизвестна, и взялся управлять им вовсе случайный человек. Потому, чтобы подсобить паровозу, около теплушек толпились все бойцы батальона, кроме тех, которые сейчас

несли вахту — вели наблюдение за подходами к станции; они были готовы, как говорится, сорвать с пупа, но свершить невозможное.

Всех волнует, сможет ли этот паровоз, да еще с таким машинистом, стронуть с места состав, кажущийся невероятно длинным. А у капитана Исаева занозами в сердце сидят еще и другие вопросы. Всем известно, что вести поезд — своеобразное искусство, что машинист помимо всего прочего обязан преотлично знать и профиль своего пути; здесь, если память не подводит, нет затяжных подъемов или крутых спусков, но все равно, справится ли морячок с задачей? Да и как-то уже через несколько километров его встретят наши? Ведь о нем им ничего не известно. Наконец, даже добравшись до нужной станции, сможет ли он, этот отважный морячок, так сманеврировать составом, чтобы, как говорится, дров не наломать, не покрушить и свои вагоны, и уже стоящие там?

Тревога настолько легко читалась на лице капитана Исаева, что матрос, которому сегодня выпало быть машинистом, брюзжит недовольным тоном:

— И вообще, товарищ капитан, отошли бы вы в стонку.

— Боишься, что ненароком поставлю ногу на рельсы и твой теперешний корабль опрокинется? — попробовал отшутиться капитан Исаев.

— Нет, чтобы вы своим видом моих нервов не дергали!

Сказал это — словно выругался, и решительно поднялся на паровоз, устроился у его правого окошечка, сосредоточенно уставился вперед, где небо уже розовело, где над низинами начал клубиться белесый туман.

Паровоз с первого раза и неожиданно легко стронул состав с места и пошел, пошел, с каждой минутой убыстряя бег. Без традиционного длинного гудка уходил паровоз навстречу рождающемуся дню. Никто не кричал вслед ему «ура», никто даже рукой не помахал. Хотя все и были довольны собой и делом своих рук. Только капитан Исаев испытывал чувство некоторой растерянности, только его начали глодать безжалостные сомнения: «Может быть, надо было побольше вагонов нацеплять этому чертяге?»

Теперь, когда на станции остались только бойцы батальона, капитан Исаев, отдав распоряжения сержанту Перминову и другим командирам взводов и рот, деятельно готовящихся к скорому бою с фашистами, вдруг почувствовал огромную опустошающую усталость. Однако все же

зашагал к выходным стрелкам, где уже заняли оборону матросы роты старшего лейтенанта Загоскина.

Здесь, как он и предполагал, все было в порядке: и окопы, полного профиля, и станковые и ручные пулеметы, готовые беспощадно скосить все, что появится непосредственно на насыпи или около нее, и вагоны-теплушки, заваленные набок, почти громоздящиеся друг на друга. Сколько их тут, тех вагонов-теплушек? Пожалуй, не на единицы, на многие десятки счет вести надо...

Главное же — матросы в пристанционном поселке нашли неразорвавшуюся фашистскую бомбу. Она, ударившись о гранитный валун, развалилась надвое. Павел Петрович удовлетворенно пояснил: мол, половинки бомбы мы взорвем на стрелках, и эти два взрыва, разумеется, так перекорежат рельсы, что речь сможет идти лишь об их полной замене.

— Как взрывать будешь? — спросил капитан Исаев, чтобы соблюсти формальность; дескать, мне было известно не только *что*, но и *как* будет взрываться.

— Разве тебе не все равно? — ответил старший лейтенант Загоскин. Потом, немного помолчав, все же сказал: — Не забивай себе голову этой технической чепухой и помни, что ты — пехота, а я по образованию — артиллерист, минаер и торпедист. Иными словами, возиться со взрывчаткой мне сам бог велел.

— И все-таки?.. Не экзаменую, я опыт перенять хочу. Вдруг когда и мне выпадет подобные фугасы закладывать?

— Гранатами подорву. Самыми обыкновенными.

— На детонацию рассчитываешь?

— На нее, матушку.

Еще старший лейтенант Загоскин, поостыв, рассказал, что в подвале одного из сгоревших домиков поселка матросы нашли бутылку с керосином. Литров десять его там... Так вот, этот керосин мы плеснем на опрокинутые вагоны-теплушки сразу, как только взрывами уничтожим входные стрелки. Чтобы дружнее все запылало... Да, подпаливать специальными факелами станем. Видишь вон те три шеста с паклей на конце? Ими...

Потом, воспользовавшись тем, что фашисты здесь пока не обнаруживали себя, сели перекусить. Жевали зачерствевший ржаной хлеб. Запивали водой, слегка пахнувшей болотиной, и сосредоточенно жевали, жевали его. Казалось, они не были способны думать ни о чем другом, кроме сво-

его черствого куска хлеба, и вдруг Павел Петрович сказал, задумчиво глядя перед собой:

— Понимаешь, Дмитрий Ефимович, мне кажется, что я только сегодня понял, что эта война особенная. Ни на одну из прошлых не похожая.

— Обилие техники имеешь в виду?

— И ее... Хотя она, пожалуй, вовсе не главное... Если память не изменяет, в русско-японскую войну наши потери в живой силе составили несколько сот тысяч человек...

— Вот именно — человек! А ты: «...в живой силе», — искренне возмущился капитан Исаев.

— Не цепляйся за неудачное выражение, — отмахнулся от него Павел Петрович. — В первой мировой войне наши потери в людях были вроде бы уже около полутора миллионов... Интересно, а сколько человеческих жизней эта война унесла уже сейчас? За эти почти два месяца?.. На сколько или во сколько раз наши потери в людях будут больше, чем в минувшей мировой, ставшей уже историей?

Действительно, на сколько или во сколько раз?

И оба надолго замолчали, каждый думая о своем, по-своему и в то же время об одном и примерно одинаково. Да, в этой войне техники участвует во много раз больше, чем во всех прошлых, взятых вместе. Причем много и во все новой появилось: быстрые самолеты самого различного назначения, танки, вовсе не похожие на те неуклюжие и плохо маневренные коробки, что двадцать лет назад на всех нагоняли панический страх, крупнокалиберные пулеметы, автоматические и полуавтоматические пушки, минометы, автоматы... Однако, как считал капитан Исаев, основное отличие этой войны от всех предыдущих в том, что она убивает не только непосредственно на фронте, в этой войне смерть безжалостно косит людей и за десятки, даже за сотни километров от него. Взять, к примеру, хотя бы эту станцию. Здесь фронта, как такового, еще нет, здесь еще не клокотали бои. Но уже этой ночью солдаты капитана Исаева именно тут предали земле тела двухсот семидесяти четырех человек. Нет, не воинов, которым быть убитыми на войне и сам бог велел; солдат из этого числа было всего шестьдесят два. Большинство погибших — дети и женщины.

И еще в эти минуты капитан Исаев с тупой сердечной болью подумал о том, что в конце войны наши общие потери в людях будут обязательно больше, чем у фашистов. Прежде всего за счет того, что для гитлеровцев безразлич-

но, кого убивать. Солдата, старика, женщину или ребенка. Ему лишь бы убивать. Или мало известно примеров, подтверждающих это?

А мы никогда, вот так просто, не будем расстреливать или давить танками стариков, женщин и детей. В этом он, капитан Исаев, готов дать самую страшную клятву.

Второе, что тоже будет обязательно способствовать увеличению наших потерь в людях, нам — только Красной Армии! — придется освобождать от фашистского ига почти все народы Европы.

Не будем забывать и того, что по очень многим нашим городам, селам и деревням война, как минимум, дважды прокатится. И во время нашего отступления, и потом, когда на Берлин пойдем.

Да и воевать фашисты пока умеют лучше нас...

Но высказывать вслух эти крамольные мысли никак нельзя: если энгешники ухватятся хотя бы за одну из них, считай, что ты отвоевался, как говорится, сгорел и дыма нету, что остатки дней своих тебе придется скоротать в тундре или дремучей тайге и за несколькими рядами колючей проволоки.

Капитан Исаев и старший лейтенант Загоскин прекрасно понимали это. Потому, хотя полностью вроде бы и верили друг другу, об этих своих мыслях вслух и словом не обмолвились.

А день опять выдался солнечный, теплый. По голубому небу неторопливо плыли белые, будто бы лениво клубящиеся облака, а между, под и над ними, почти непрерывно ревели моторами десятки самолетов. И за весь длинный летний день лишь два советских тупорылых истребителя. Все прочие — фашистские.

С рассветом заговорила и артиллерия. Наша и гитлеровцев. Басовито и — с нашей стороны — несколько истерично. Значит, приказ об очередном отступлении опять уже довели до пушкарей...

Действительно, к ночи, когда солнце, насмотревшись на мерзости войны, с облегчением опустилось за горизонт, наши пушки били уже с позиций, которые находились где-то позади батальона капитана Исаева. А вот здесь, если не считать фашистского самолета-разведчика, повисевшего над станционными путями несколько минут, гитлеровцы о себе ничем больше не напоминали. И капитан Исаев понял, что железная дорога пока им не нужна, что пока они прекрасно обходятся шоссевыми и прочими. Поняв это,

приказал всем ротам батальона собраться на восточной окраине станции. Проверил, все ли здесь, не оставили ли кого спать в тишине под кусточком, и лишь потом отрывисто бросил, глядя на старшего лейтенанта Загоскина:

— Давай!

Тот немедленно над головой поднял правую руку и считанные секунды постоял так. Потом резко опустил ее, и тотчас два взрыва, почти слившихся воедино, вздыбили землю и рельсы там, где были западные входные стрелки. А еще через секунды, едва осело земляное крошево, поднятое взрывами, черный косматый дым выплеснулся, казалось, из вагонов-теплушек, громоздившихся там же, а вслед за ним моментально народилось и ослепительно-яркое прожорливое пламя, с жадностью набросившееся на все, что могло гореть. В том числе и на гардероб, к задней стенке которого кнопками была приколоты записка: «Вора из-под земли достану!»

Убедившись, что полыхает знатно, капитан Исаев закинул свой автомат за спину и зашагал в лес, до которого оставались считанные метры. С этого момента и начался очередной отход, как говорилось в сводках Совинформбюро, «на заранее подготовленные позиции».

Отступали, отступали на эти самые «заранее подготовленные», и вдруг в ночь на 28 августа батальон капитана Исаева прошел пустынными улицами будто вымершего Таллинна и по сходням, показавшимся шаткими, зыбкими, поднялся на палубу транспорта «Красный Дагестан».

— Значит, уходим и из Таллинна, значит, и его оставляем фашистам, — все же надеясь, что его поправят, высказал свою догадку солдат Карпов, прозванный Трижды Рыба.

Его будто не услышали.

Пока батальон ждал очереди на погрузку, пока цепочкой брел по сходням на транспорт, старший лейтенант Загоскин уже успел побывать в рубке транспорта и радостно сказал капитану Исаеву, едва тот поднялся на палубу:

— С местным начальством есть полная договоренность, так что веди наших людей на корму транспорта.

— Будто не все равно куда, — в ответ буркнул тот.

— Не скажи, дружок, не скажи! — И старший лейтенант Загоскин зашептал в ухо капитана Исаева, глазами словно разыскивая кого-то: — Идем мы в Кронштадт. Очень опасный переход предстоит. Фашистские самолеты, подводные лодки и торпедные катера во время него будут

обязательно охотиться на нас. Непременно!.. Самое же страшное — Финский залив заминирован, на всех трех этажах заминирован!

— Последнее как понять прикажешь?

— На дне залива — одни мины лежат, на определенной глубине — другие стоят, а третьи на волнах покачиваются.

— Уж больно точно ты все знаешь, — буркнул капитан Исаев, чтобы скрыть свою некоторую растерянность: впервые, хотя и начал размен пятого десятка, он стоял на палубе парохода, да еще морского; и не просто пассажиром, а человеком, отвечающим за жизнь сотен людей, предстояло ему совершить свой первый в жизни переход морем. Правда, относительно сотен людей он явно соврал, это перед последним боем, который гремел вчера весь день, у него в батальоне было четыреста двадцать семь бойцов при трех гаубицах, шестнадцати станковых и десяти ручных пулеметах. Силища!.. Сейчас бойцов, если считать и самого себя, девяносто два. А гаубиц вовсе нет. И пулеметов всего лишь восемь.

— Не веришь? — удивился старший лейтенант Загоскин. Помолчал, пересиливая обиду, и продолжил по-прежнему ровным голосом: — Это ведомо каждому военному моряку. Только насчет плавающих мин и можно было сомневаться, если бы не сегодняшний ветер. Ишь, как он море раскачал... Оно и посрывает многие мины с якорей.

Разговор оборвался. Хотя старший лейтенант Загоскин мог бы еще сказать, что если транспорт взорвется на мине, то те, кто в момент взрыва находился на верхней палубе да еще на корме, имели пусть и невероятно малый, но шанс на спасение. А капитан Исаев, несколько боявшийся предстоящего перехода морем, очень хотел спросить, какой силы в баллах или в чем другом достиг сегодняшний шторм; ему и в голову не приходило, что до настоящего шторма дело еще не дошло.

А шалый западный ветер, завывая в снастях транспорта, то и дело напоминал о себе, набрасываясь на людей, норовя сорвать с кого-нибудь фуражку или бескозырку, леденящей струей вгрызался в тело.

Затянувшееся молчание прервал старший лейтенант Загоскин, сидевший на палубе рядом с капитаном Исаевым:

— А вообще-то, Дмитрий Ефимович, ты мандражу не поддавайся, от вражеских самолетов мы и сами должны отбиться: на «Красном Дагестане» в порядке подготовки к данному переходу установлено три зенитных орудия, по

стольку же крупнокалиберных и счетверенных пулеметов. Про обыкновенные — не говорю... Впечатляет?

— Куда уж больше, — нехотя буркнул капитан Исаев.

Разговор опять оборвался. А старший лейтенант Загоскин, вновь почувствовавший непередаваемый словами запах моря, был по-хорошему взволнован, ему хотелось действовать и говорить, говорить. И он встал, решительно зашагал на мостик транспорта. За ним потянулись его матросы — все пятеро.

Полностью рассвело — капитан Исаев увидел, что не один «Красный Дагестан» готовится сняться с якоря: десятки военных кораблей — крейсеров, эсминцев, сторожевиков, морских охотников и тральщиков — и обыкновенных транспортных пароходов ждали только приказа начать движение. Увидел и гривастые волны, непрерывной чередой накатывающиеся от горизонта и готовые, казалось, немедленно наброситься и сокрушить тот корабль, который первым осмелится высунуться из гавани.

Фашистские самолеты в этот день почему-то появились только в 12 часов 50 минут. И противный холодок зародился под сердцем капитана Исаева: на земле ты всегда найдешь место, где можно укрыться, а куда деться здесь, на морском просторе, и как спрятать этот огромный и такой неуклюжий пароход?! Однако фашистские летчики упорно не хотели видеть «Красный Дагестан», они зарились исключительно на военные корабли. Поэтому над самыми крупными из тех, какие были здесь, — над крейсерами — и вились стаей, для устрашения включив сирены, пикировали на них, чтобы, сбросив бомбы с допустимо малой высоты, вновь взмыть к облакам, стремительно бежавшим по небу. Военные корабли, разумеется, огрызались из зенитных орудий и пулеметов. Так умело вели огонь, что, хотя с короткими перерывами вражеская бомбежка и длилась около четырех часов, ни один из них не был поврежден настолько, чтобы по сигналу флагмана не сняться с якоря.

Только во второй половине дня «Красный Дагестан» пошел к фарватеру, проложенному нашими тральщиками почти по середине Финского залива, и взял курс на Кронштадт. Оказался транспорт в море — капитан Исаев сразу вспомнил то, что минувшей ночью сказал старший лейтенант Загоскин про мины на всех трех этажах моря: едва снялись с якоря, под одним из морских охотников, бывших в охранении транспортов, вдруг рванула мина; казалось,

из глубин моря поднялся высокий столб воды, прозрачной до белизны, и... миг не стало морского охотника.

Потом военные корабли ушли вперед. Вот тогда на «Красный Дагестан» и нацелились сразу три фашистских бомбардировщика. Сделав над ним по нескольку кругов, тот из них, который ходил головным, вдруг бросился в почти отвесное пике. Трассирующие снаряды и пули решетили воздух вокруг него, но он все падал и падал, стремительно сближаясь с верхней палубой транспорта.

Фашистский летчик швырнул бомбы лишь тогда, когда капитану Исаеву стало казаться, что таран неминуем. Бомбы впились в косматые волны, вырвали из них водяные столбы, рассыпавшиеся вроде бы вовсе бесшумно. Только одна из тех бомб все же угодила точно в цель, только одна угодила, но почти всех зенитных пулеметов враз не стало; теперь лишь два из них — да и то, похоже, менее решительно — вели огонь по вражеским самолетам. А в пике уже сваливался второй бомбардировщик, в запасе еще оставался третий, в хвост которому пристраивался первый!

В этот момент кто-то из сотен людей, толпившихся на верхней палубе «Красного Дагестана», и крикнул истерично:

— Чего глядим? Кидай спасательные круги в море, спускай на воду все лодки!

Как сообщил еще утром старший лейтенант Загоскин, «Красный Дагестан» принял на свои палубы около трех тысяч солдат и жителей Таллинна. И вот в эту массу людей, взбудораженных всем, происходящим вокруг, были брошены слова о личном спасении. Брошены человеком, от страха потерявшим и способность трезво думать, и вообще власть над собой. Этих слов оказалось достаточно, чтобы безумно завопило несколько человек, а на волны вслед за спасательными кругами и двумя шлюпками шлепнулся спасательный плотик — с точки зрения капитана Исаева, во все ненадежное и лишенное собственного хода сооружение. Однако некоторые, наиболее ошалевшие от страха, стали прыгать на него, считая, что, стоит им отойти от борта «Красного Дагестана», фашистские летчики больше и не глянут в их сторону.

В этот момент капитан Исаев и увидел старшего лейтенанта Загоскина с его матросами. Они — всего шесть человек! — встали лицом к толпе и застрочили из автоматов поверх людских голов. Капитан Исаев подумал, что, пожалуй, только так сейчас и можно пресечь панику в зародыше,

не дать ей разойтись. В этот же миг он и крикнул что было мочи:

— Огонь по самолетам! Из личного оружия огонь!

Не только прокричал это, но и застрочил из своего трофейного автомата, застрочил по фашистскому бомбардировщику, пикировавшему на «Красный Дагестан». Нет, капитан Исаев не надеялся сбить вражеский самолет (уже знал, что сиденье летчика бронировано), он просто показывал многим людям, что им надлежит сейчас делать.

Отвалил спасательный плотик от борта «Красного Дагестана» — все три фашистских самолета набросились на него. И бомбили, и обстреливали из пулеметов и пушек. До тех пор над ним бесновались, словно забыв о транспорте, пока на малые щепочки не был искрошен последний брус-распорка, пока не исчезла с поверхности моря последняя человеческая голова.

А «Красный Дагестан» по-прежнему шел на восток, шел туда, где грохотали пушки и тархтели пулеметы, где два раза уже прозвучали взрывы, от которых содрогнулось все море.

5

Теперь, стреляя по врагу, они поверили, что вовсе не так беззащитны от ударов с воздуха, как казалось еще несколько минут назад, почувствовали себя увереннее, стали значительно организованнее. Фашистским же летчикам волнений добавилось: сейчас при каждом заходе на бомбежку или штурмовку они видели множество солдат, стрелявших по ним. Вот и стало менее точным прицельное бомбометание, вот и пошли «за молоком» многие пулеметные и пушечные очереди.

Да, волнений фашистским летчикам добавилось, да, кое у кого из них нервы стали сдавать. Однако атаки с воздуха продолжались с прежней, если не с большей, яростью. И скоро капитан Исаев уже привык к тому, что их транспорт, уклоняясь от нацеленных в него бомб, очень часто почти ложился на борт, поворачивая то влево, то вправо, то выжимая из своих машин все, на что они были способны, то вовсе стопоря их.

Когда до полной темноты оставалось рукой подать, капитан Исаев и другие, находившиеся около него, увидели мину. Плавающую. Может быть, сорванную с якоря вчерашними волнами. На нее указал старший лейтенант За-

госкин, специально для этого прибежавший сюда с мостика. Ничего грозного, даже просто впечатляющего, если смотреть на мину с приличного расстояния: всего-навсего рогатый, почти черный, с зеленоватым отливом шар, лениво покачивающийся на волнах. В ее огромную разрушительную силу армейцы поверили лишь после того, как морской охотник, специально занаряженный для уничтожения подобных мин, угодил в нее снарядом. Метров триста или около того было до мины, когда она взорвалась, но «Красный Дагестан» всем своим корпусом почувствовал упругий удар внушительной силы. Стало ясно: рванет подобная штукавина под днищем любого корабля — считай его погибшим.

А старший лейтенант Загоскин опять теребит за рукав гимнастерки, почти кричит с гордостью:

— Глянь, Дмитрий Ефимович, за корму глянь! Крейсер «Киров» нас догоняет!

За те почти два месяца, что моряки пробыли вместе с солдатами, множество раз возникали самые различные обстоятельные или короткие разговоры-вспышки. В том числе и о флоте, о его кораблях, их мощи. Потому капитан Исаев уже знал, что еще совсем недавно — лет пять или шесть назад — Балтийский флот в своем составе из больших надводных кораблей только и имел два линкора, лишь один крейсер — старушку «Аврору», расцвет молодости которой приходился на годы русско-японской войны, и несколько эсминцев типа «Новик». Лишь в середине тридцатых годов со стапелей наших судостроительных заводов, кроме многих подводных лодок, торпедных катеров и морских охотников, сошли крейсера «Киров» и «Максим Горький», лидеры «Ленинград» и «Минск» и несколько эсминцев типа «Гордый» и «Сметливый». Дескать, вот это корабли так корабли! По самому напоследнейшему слову науки и техники построены, оборудованы и вооружены!

Не только старший лейтенант Загоскин, все его матросы при каждом удобном случае в голос твердили это. Потому, услышав, что их догоняет крейсер «Киров», капитан Исаев повернулся лицом в ту сторону, куда призывал посмотреть старший лейтенант Загоскин. Поспешно оглянулся, хотя сегодня мог рассматривать крейсер с самого рассвета и до тех пор, пока их транспорт не снялся с якоря; от увиденного утром сейчас в памяти только и осталось, что он — большущий корабль, у которого приподнятый нос и две широкие дымовые трубы с косым срезом к корме. И еще

запомнил (казалось — на всю жизнь) его переднюю мачту. Огромную. Являющую собой нагромождение мостиков и самых различных служебных помещений; названия их не запомнил с первого раза.

И сейчас, хотя крейсер был значительно ближе, чем сегодня утром, он не увидел ничего, кроме этой мачты и орудий главного калибра, пока будто дремавших в своих массивных башнях: слишком стремителен был ход крейсера.

Казалось — мгновение назад крейсер был за кормой транспорта, а теперь уже пролетел мимо, наполнив уши людей ровным и мощным гулом турбин; капитан Исаев заметил, что над его двумя трубами — широкими и скошенными к корме — дрожал раскаленный воздух.

Настолько огромен был интерес капитана Исаева к крейсеру, что он лишь значительно позднее, глядя уже вдогон, увидел и эсmineц «Яков Свердлов», собой прикрывавший старшего товарища от предательского внезапного удара с северного берега залива. Глянул на эсmineц и сразу отвел глаза: по сравнению с крейсером он показался малышом, недостойным внимания. В тот момент, когда отводил глаза, вдруг увидел, что эсmineц переламывается почти пополам, выстрелив в небо высокий столб голубоватой воды. Окончательно еще не понял, что же случилось, еще не хотел верить своим глазам, а слева от крейсера, где минутою назад полнокровно жил эсmineц «Яков Свердлов», уже ничего не оказалось. И что особенно поразило, кольнуло в самое сердце — на крейсере будто не заметили, что эсминца не стало, крейсер, по-прежнему ровно и мощно гудя турбинами, ходко бежал на восток, острым носом своим, как плугом, разваливая волны, подминая их под себя.

Капитан Исаев растерянно посмотрел на старшего лейтенанта Загоскина, стоявшего рядом. И увидел, что лицо его будто окаменело, что он, сорвав со своей головы фуражку, стоял по стойке «смирно», стоял у самого борта лицом к тому квадрату моря, где оно поглотило эсmineц. Люди, толпившиеся вокруг него, тоже обнажили головы. Поспешил сделать это и капитан Исаев. Он, как и другие, стоя «смирно», отдавал честь павшим, тем, кто ценой своей жизни спас сотни товарищей. Но в душе у него был полный сумбур, в душе у него такое творилось... Где же оно, хваленое морское братство, если все идут мимо, даже хода не сбавив, если только один морской охотник застопорил моторы на месте гибели эсминца?

Никогда бы не подумал, что моряки способны на такое равнодушные к судьбе еще живых товарищей...

И он спросил, всем телом повернувшись к старшему лейтенанту Загоскину, спросил голосом, полным горечи и разочарования:

— Как прикажете это понимать?

Старший лейтенант Загоскин, похоже, не удивился ни самому вопросу, ни тону, каким он был задан. Он ответил, цедя слова сквозь стиснутые зубы:

— Рекомендуешь всем кораблям останавливаться там, где так славно погиб эсминец «Яков Свердлов»? Будто бы для спасения людей, а на самом деле для того, чтобы фашисты и их попытались торпедировать?

— Ты считаешь...

— Ничего я не считаю, ничего я не знаю, кроме того, что пока и вражеский торпедный залп не исключен.

Вот и весь разговор. За ним последовала длительная пауза, после которой старший лейтенант Загоскин и сказал извиняющимся тоном:

— Прилягу, вздремну... Надеюсь, разбудишь, если потребуется?

Капитан Исаев не ответил. Только свою шинель положил так, чтобы она могла сойти за подушку.

Павел Петрович Загоскин опустился на голые доски палубного настила, подsunул под голову предложенную шинель. Даже глаза закрыл. Будто действительно намеревался уснуть. Но он, Дмитрий Исаев, все невысказанное разгадал сразу и безошибочно: Павел Петрович намеревался просто, может быть, лишь на полчаса обязательно отключиться от окружающего; выходит, и его нервы — нервы подводника! — стали сдавать под этими почти непрерывными бомбежками. Только не удалось даже видимость создать, будто он спит: после гибели эсминца «Яков Свердлов» фашистские самолеты, как казалось капитану Исаеву, вовсе осатанели, «Красный Дагестан» и другие транспорты они не оставили в покое даже глубокой ночью: бомбили, из пушек и пулеметов обстреливали, проносясь на бреющем. Мощными взрывами, от которых, казалось, стонало само море, не давали забыть о себе и мины. Как плавающие, так и таящиеся в морской глубине. Словом, ночка еще та выдалась...

А под утро, когда сквозь легкую туманную дымку стал просматриваться остров Гогланд, похожий на спину двугорбого верблюда, торчащую среди волн, нагрязнула новая

волна фашистских самолетов, летчики которых хорошо отдохнули за ночь. Они, полные сил и желания победить, так положили первую же серию бомб, что три из них рванули вовсе рядом с правым бортом «Красного Дагестана». И, радостно бурля, хлынула вода в его трюмы, почти положила транспорт бортом на волны.

В это время от острова и прибежали сторожевой корабль «Ливень» и два морских охотника. Они помогли на время отогнать фашистские самолеты, с помощью их матросов были заделаны пробоины, на их палубы и в их кубрики перешла часть людей с «Красного Дагестана», перешла, чтобы хоть чуточку разгрузить транспорт, ватерлиния которого во время всего перехода от Таллинна на несколько сантиметров была ниже поверхности моря.

На этом сторожевом корабле капитан Исаев и его люди в ночь с 30 на 31 августа и пришли в Кронштадт. Усталые, потрясенные тем, что довелось пережить и увидеть, и в то же время довольные собой: они совершили то, что казалось невозможным, они и сами пришли на помощь сражающемуся Ленинграду, и многие корабли увели буквально из-под носа фашистов.

Пришвартовались к причальной стенке Минной гавани; только соединили трапом сторожевой корабль с берегом — какой-то майор нашел капитана Исаева и старшего лейтенанта Загоскина, первого попросил следовать за собой, а второму велел немедленно бежать в штаб флота. Капитан Исаев и майор, фамилия которого была неизвестна Дмитрию Ефимовичу, шли затемненными улицами Кронштадта, где особенно отчетливо и грозно звучали шаги редких патрулей. Потом, когда вошли в кабинет майора и, будто хорошо знакомые, уселись за стол, на котором благодатно попыхивал паром большой зеленый чайник, майор и начал расспрашивать о семье и многолетней службе в армии, о том, свидетелем чего стал он, капитан Исаев, за последние два месяца. Почти три часа длился этот разговор. А закончил его майор такими словами:

— Пока, товарищ капитан, побудете в резерве.

Капитан Исаев ожидал чего угодно, но только не этого. Его, кадрового командира, проэкзаменованного самой войной, и в резерв?

Настолько возмущился несправедливостью решения майора, что спросил лишь после длительной паузы:

— А как сложится судьба моих товарищей?

— Судьба старшего лейтенанта Загоскина, думаю, уже

решилась в штабе флота. А ваши люди... Они вольются в первую бригаду морской пехоты. В ту самую, которая тоже пришла из Таллинна.

А дальше майор с гордостью поведал, что, кроме этой бригады, Балтийский флот для защиты Ленинграда уже сформировал из корабельного состава еще семь бригад морской пехоты, что не только винтовки, карабины и автоматы, но и пулеметы, даже пушки свои дал флот защитникам города!

— Девять орудий, снятых с крейсера «Аврора», сейчас отдельной батареей стоят от Петергофа до Пулкова!

Сообщил это и побыстрее, словно стыдясь, что позволил себе дать волю чувствам, ткнулся глазами в какую-то служебную бумагу. Но почти сразу вновь поднял глаза и сказал с неподдельной теплотой:

— Хотите получить совет? Бесплатный?.. Так вот, далеко не каждому человеку даруется судьбой побывать в Кронштадте, для многих он навсегда будет тайной за семью замками. Короче говоря, попробуйте полностью использовать ту возможность, какую вам нечаянно подарила война.

Поселили капитана Исаева в какой-то казарме постройки чуть ли не петровских времен — стены были толщиной почти в метр. Надеялся, что сюда же прибудет и Павел Петрович, но тот словно в воду канул.

Здесь же, в этой же казарме, неизвестно чего ждали еще восемнадцать армейских командиров в чине от старшего лейтенанта до подполковника. Из разговоров с ними, которые обязательно велись вечерами, когда комендантский час всех безжалостно загонял в помещения, капитан Исаев узнал, что его новые товарищи не только в войне с финнами участвовали, но изрядно лиха уже и в этой хлебнули: почти каждый с пулевой или осколочной отметинкой. Еще с неделю назад их, командиров, принявших крещение войной, здесь было около сорока. Куда делись остальные? С бригадами морской пехоты ушли на фронт. Командирами батальонов или начальниками их штабов. Почему их, оставшихся в казарме, не взяли? Раны полностью еще не зажили, временами напоминают о себе. Потому командование пока и обходит своим вниманием. Однако и другая причина не исключается...

Эти командиры, пока еще находившиеся в резерве, и заявляли шепотком, с оглядкой, но почти в один голос, что наши сегодняшние потери в людях были бы еще внуши-

тельнее, если бы полтора года назад финны нам ума-разума не добавили. Что конкретное имеется в виду? И то, что шлемы-буденовки для парадов, может, и хороши (этакую монументальность солдату придают), но для серьезной войны вовсе не пригодны, от настоящих морозов не спасают, и самое главное, вовсе напрочь уничтожающее их: пока ты будешь приноравливаться, чтобы хотя бы только глянуть на врага, хотя бы лишь найти его глазами, лишь узнать бы, где он затаился, — тот тебя уже возьмет на мушку автомата или винтовки; и выдаст тебя врагу шишак твоего впушительного шлема, раньше тебя начавший возникать над бруствером окопа или снежным сугробом.

И более важное, чем шлемы-буденовки, война с финнами высветила: наши просчеты в боевой подготовке, недооценку автоматов и минометов. Да разве вот так, с ходу, вспомнишь все, на что после войны с финнами у нас настоящему глаза открылись?

То, о чем товарищи по командирскому общежитию говорили сейчас, для капитана Исаева не являлось откровением, об этом (пусть и кратко, не так обстоятельно) уже говорилось на командирской учебе. Дескать, из миномета и одного самого паршивого наката над блиндажом не разворотить, а родная пушечка... Зато с минометом по любому бездорожью пройдешь, для стрельбы из него зачастую и огневой позиции оборудовать вовсе не надо... Или взять, для примера, тот же автомат. Он, конечно, за минуту столько пуль выбрасывает, что воздух от них стонет... Что правда, то правда: при стрельбе длинными очередями да еще из многих автоматов воздух обязательно стонет. Однако, а на какое расстояние из того автомата можно вести прицельный огонь? То-то и оно...

А что до войны с финнами боевая подготовка со многими просчетами, шаблонно велась... Разумеется, правильно, что ее сразу же стали перестраивать. Только в том счастье, что наш солдат и в самые лютые морозы в обыкновенной палатке спать учится?

Не один раз и будто бы сам собой вспыхивал разговор о переходе наших кораблей из Таллинна в Кронштадт. Причем, внимательно выслушав капитана Исаева, который единственный из них оказался участником перехода, и приплюсовав сюда же то, что стало известно из других источников, стремились решить вопрос: итог свершившегося наши победа или поражение?

Несколько вечеров азартно спорили. Однако к единому

мнению так и не пришли. Прежде всего потому, что точно не знали ни общего числа наших кораблей, вышедших из Таллинна, ни того, сколько их уцелело. Не мешало бы знать и то, какими силами гитлеровцы пытались уничтожить наши корабли.

Капитан Исаев напряженно думал обо всем, что узнавал из бесед с товарищами. Чтобы полнее воспользоваться уроками, на которые уже расщедрилась жизнь.

А вообще-то, хотя душу и заполняло чувство не вполне осознанной тревоги, капитан Исаев решил последовать совету майора: насколько это удастся, ознакомиться с Кронштадтом. Поэтому обычно сразу после завтрака уходил из казармы и бродил, бродил по городку, о котором так много хорошего слышал ранее; восхищался и мощнейшими фортами, будто поднявшимися со дна Финского залива, и просторными гранитными причальными стенками, и мостовой из чугунной брусчатки перед собором. И многими памятниками на кладбище откровенно любовался. Особенно теми, что были воздвигнуты в память о парусниках и их отважных экипажах, погибших в бурных океанских глубинах.

Прошло несколько дней — появилось у капитана Исаева и любимое место, где он, случалось, почти неподвижно сидел по часу и более. Разумеется, если представлялась такая возможность. Этим местом стал парк у Петровской пристани. Вернее — самая обыкновенная скамейка, затаившаяся под одной из тенистых лип. Тихо, уютно было здесь. И в то же время — многое видно. В том числе и боевые корабли, преклонение перед боевой мощью которых у него несколько не уменьшилось.

Теперь капитан Исаев и без подсказок сам определял, к какому классу принадлежит тот или иной корабль, теперь он уже имел неоднократно возможность до мелочей разглядеть не только сторожевые корабли, морские охотники и эсминцы, но и крейсера, даже линкоры. Теперь, когда начинала грохотать корабельная артиллерия, он уже безошибочно определял, кто и откуда ведет огонь. Он уже твердо знал, что с петергофского рейда и открытой части Морского канала вели огонь линейный корабль «Октябрьская революция», эсминец «Стерегающий» и канонерские лодки «Амгунь», «Москва», «Волга» и «Кама», из Ораниенбаума — лидер «Ленинград» и эсминцы «Славный» и «Грозный».

А крейсер «Киров», который еще недавно так хотелось

рассмотреть во всех подробностях, теперь буквально торчал перед глазами: он из Минной гавани вел огонь по фашистам.

Знал капитан Исаев даже и то, что недавно в Ленинград ушли и там встали на огневые позиции линейный корабль «Марат», крейсер «Максим Горький», эсминцы «Сметливый», «Стойкий» и «Свирепый» и другие корабли.

Хотя у капитана Исаева особых забот пока не было, дни мелькали с непостижимой быстротой. И каждый из них обязательно нес что-то новое, чаще — тревожное. Правда, начался сентябрь с большой и общей радости: шестого числа наши войска полностью очистили от гитлеровцев Ельню, а восьмого вообще ликвидировали так называемый ельнинский выступ.

Про себя или даже вслух очень многие поговаривали или считали, что это и есть начало долгожданного наступления Красной Армии.

Только около суток и радовались этой победе: уже на следующий день приполз слух, будто именно 6 сентября ранним утром около трехсот фашистских бомбардировщиков атаковали наши войска, оборонявшие подступы к Шлиссельбургу. Казалось, всю землю там гитлеровцы вспахали взрывами, но наши не дрогнули, выстояли. И еще двое суток фашисты, почти беспрестанно атакуя, накапливали здесь силы, а потом мощно атаковали скопом. И в конце концов достигли берега Ладожского озера, захватили Шлиссельбург. Попытались и Неву форсировать, однако тут им так дали, так дали, что, побросав пулеметы и даже пушки, они вспять бросились.

Что вспять бросились, разумеется, радуется. Однако, захватив Шлиссельбург, гитлеровцы прервали железнодорожное сообщение Ленинграда со всей страной. Невероятным это казалось, но факт всегда остается фактом: в окружение угодила такой огромный город, каким был Ленинград.

Хотя, если даже и будешь стараться забыть об этом проклятом окружении, все равно не сможешь: давно ли оно бедой на город обрушилось, а паек-то уже урезали, ходят слухи, и в боезапасе вот-вот начнут ограничивать. Иными словами, вот тебе, кума, и уха из петуха...

Случалось и так, что на иной день более двух важных новостей приходилось. Вот и вчера, 13 сентября, капитан Исаев вовсе случайно узнал, что в командование Ленинградским фронтом с 11 сентября вступил генерал Жуков, а 1-я бригада морской пехоты, на пополнение которой и

была направлена его бывшая рота, вчера оставила Красное Село. Трое суток яростно билась за него, но потеряла более половины матросов и старшин, почти всех командиров, ну и отошла.

Известие о назначении генерала Жукова командующим Ленинградским фронтом хорошего волнения не вызвало. Да и не могло этого сделать. Ведь что капитан Исаев знал об этом генерале? Единственное: был нашим старшим военачальником во время боев на Халхин-Голе. А кого, позвольте спросить, он сменил здесь, под Ленинградом? Самого Климента Ефремовича! Того самого, который неизменно победно командовал всю гражданскую войну, который и сейчас из своего личного оружия ни одной пули мимо цели не пошлет, который, как восторженно рассказывали очевидцы, буквально в последние дни своего командования фронтом побывал в окопах под Красным Селом, где поднял и повел в атаку моряков!

То, что и сейчас ходит в атаки и отлично стреляет из нагана и винтовки, конечно, если говорить честно, для маршала не так уж и обязательно, однако и это плотно, добротнo в строку ложится, когда в твоей душе образ легендарного полководца дорисовывается.

Однако есть ли смысл гадать, разумно или опрометчиво высшее командование поступило, пойдя на такую замену? Поживем — увидим...

Чем глубже время вгрызалось в сентябрь, тем тревожнее становились события. Если 14 сентября в газете «Ленинградская правда» была опубликована клятва балтийцев, которую они давали партии большевиков и вообще всему советскому народу, торжественная и предельно искренняя клятва, под каждым словом которой капитан Исаев подписался бы без малейших колебаний, то уже...

16 сентября — израненный линейный корабль «Марат» для срочного ремонта пришел в Кронштадт, встал у причальной стенки в Средней гавани.

19 сентября — первые пятнадцать фашистских самолетов среди белого дня появились над Кронштадтом, сбросили бомбы на боевые корабли, на жилые дома города-крепости.

22 сентября — уже сорок фашистских самолетов и дважды за день бомбили те же цели.

А то, что случилось 23 сентября, казалось, и вовсе навечно врежется в память.

Утром этого дня капитан Исаев встал по сигналу об-

щей побудки, одновременно с солдатами вышел на физзарядку; потом побрился, умылся и до зеркального блеска начистил яловые сапоги, которые, похоже, осиливали последние километры своего жизненного пути. А после завтрака ушел в спальню, где, страдальчески вздохнув, с искренним и единственным желанием — уж сегодня-то обязательно осилить письма и жене, и дочери — сел за стол. Вообще-то писать домой для него всегда было если и не откровенной радостью, то уж наименее неприятным занятием — обязательно. Теперь же... О чем, позвольте узнать, писать теперь? Самым родным, самым дорогим тебе людям? Правду — нельзя: с ней и военная тайна запросто проскользнуть может; да и бессовестно, бесчеловечно свое горе, свои беды и трудности перекладывать на самых дорогих тебе людей, заставлять их сопереживать тебе. Значит, врать? А если это противно всему твоему естеству?

Почти три часа упрямо просидел за столом, но только и родил в превеликих муках:

«Милая ты моя, Аннушка!

Погода у нас сегодня солнечная, без ветра, так что...»

Пострадав, помучившись еще с полчаса, он вздохнул с облегчением (окончилось самоистязание!), аккуратно сложил пополам лист бумаги, на котором были пока только те две строчки, спрятал в тумбочку, стоящую около самой обыкновенной солдатской койки. Спрятал письмо — надел фуражку, привычно проверил руками заправку гимнастерки и решительно зашагал к Петровскому парку, сел там на свою любимую скамейку и неторопливо прошелся глазами по гаваням и причальным стенкам, проверяя, все ли боевые корабли на прежних местах, не убежал ли кто на боевое задание, не появился ли новичок. Все было как и вчера. И он, радостно щурясь от яркого солнца, даже с удовольствием выслушал успокаивающий и светлый перезвон меди на всех кораблях одновременно: отбили три двойных и одинарный удар, значит, если бой склянок перевести на язык человека сухопутного, — половину двенадцатого обозначили.

Вообще же — сегодня благодать, а не погода! Если бы не раскаты артиллерийских залпов, почти ежеминутно рождающиеся на берегах залива, то и нет войны вовсе, и нежно обволакивает землю просто погожий день самого обыкновенного бабьего лета.

Фашистские самолеты возникли в небе внезапно. Десятки. Многие. И моментально взвыли сирены. И сразу

звонко ударили орудия кораблей и зенитных полков, базировавшихся на Кронштадт. И сотни снарядных разрывов — лохматых, грязных — безжалостно запятнали голубое небо.

Но самолетам, чтобы одолеть расстояние от Петергофа, над которым они были обнаружены, до города-крепости, требовались лишь считанные секунды. Вот и загрохотали взрывы. Капитан Исаев, оставшийся в Петровском парке на своей любимой скамейке (ему пока не указали места, где он обязательно должен был быть по сигналу боевой или иной какой тревоги), определил безошибочно, что рванули они у пирсов подводных лодок и в районах Морского госпиталя и Морского завода, где в доке ремонтировались некоторые боевые корабли.

Казалось, уже какой час фашистские самолеты натужно ревели моторами в небе над Кронштадтом, множеством бомб не поразив ни одной стоящей цели. И вдруг ослепительное пламя чудовищного взрыва на мгновение ослепило капитана Исаева, а еще через секунду на него обрушилась и взрывная волна, пригнувшая к земле, сорвавшая фуражку, зашвырнувшая ее в кусты.

Открыл глаза — увидел, что у линейного корабля «Марат» исчезла вся носовая часть. Вместе с башней, в которой обычно несли свою бессменную вахту три орудия главного калибра. Не хотел, не смог поверить глазам, вновь — теперь осознанно — зажмурил их. Когда открыл — линейный корабль, лишившийся своей носовой части, уже осел на грунт. Увидел и множество моряков. С линейного и других боевых кораблей, стоявших поблизости от него. Одни из них тушили пожар, другие бежали и несли огромный брезент-пластырь, чтобы им закрыть пробоину; эти боролись за жизнь линейного корабля. Но были среди моряков и такие, что стояли у зенитных пушек, прочно обосновавшихся на башнях главного калибра. И с полной скорострельностью, словно с их кораблем ничего страшного не случилось, били по фашистским самолетам. Капитан Исаев даже увидел, как один вражеский бомбардировщик, нещадно дымя, потянул к левому берегу Финского залива. И дотянул. Об этом честно доложил клубящийся столб черного дыма и кровавого огня, взметнувшийся за прибрежными деревьями.

Исчез последний фашистский самолет, прозвучал над городом-крепостью сигнал отбоя воздушной тревоги — капитан Исаев, чувствующий себя так, словно чем-то опорочил себя, побрел в опустылевшую казарму. Да, в Крон-

штадте все люди еще недавно насмерть бились с фашистами. Только он, капитан Исаев — кадровый командир Красной Армии! — был сторонним наблюдателем.

И вовсе чернушная туча закрыла весь мир, когда узнал, что в налете участвовало около трехсот вражеских самолетов, что от их бомб пострадал не только линейный корабль «Марат», но и крейсер «Киров», лидер «Минск» и эсминец «Грозящий», а подводная лодка «Малютка», транспорт и буксирный пароход даже затонули.

В тот день капитан Исаев не ужинал: именно во время, отведенное распорядком дня на ужин, он постучал в дверь кабинета того майора, который приговорил его быть в резерве. И вошел в кабинет, получив на то разрешение. И не сказал, а отчеканил с откровенным вызовом:

— Прошу немедленно определить меня на место службы. На любое боевое. Согласен даже рядовым. В противном случае...

Что сделает в противном случае, этого и сам не знал. Но он, капитан Исаев, известный всему полку своей неизменной выдержкой, сказал такое, глазом не моргнув.

6

Без малейшей необходимости капитан Исаев дал волю нервам, разговаривая с майором: оказалось, только минувшая бомбежка и помешала тому еще сегодня днем найти его и сообщить, что он должен немедленно явиться к полковнику Ворожилову Андрею Трофимовичу. Дескать, остальное полковник сам скажет, если... сочтет нужным.

О полковнике Ворожилове капитан Исаев слышал. Дескать, он знающий свое дело командир, наделенный талантом военачальника, организаторскими способностями и смелостью, находчивостью в бою; лучшее тому подтверждение — орден Красного Знамени, которым Андрей Трофимович награжден еще в гражданскую войну за штурм Перекоса.

Полковник Ворожилов, когда капитан Исаев представился ему, крепко пожал его руку и спросил, словно залп из главного калибра обрушил: с какого года в Красной Армии и в какой должности пребывал последнее время?

На первую половину вопроса капитан Исаев ответил без малейшего промедления, а потом на мгновение задумался. Откровенно говоря, очень хотелось назваться командиром

отдельного сводного батальона особого назначения. С другой стороны... А вдруг майор Петров лишь для отвода глаз, предполагая, что у него, капитана Исаева, во всю силушку запылали честолюбивые помыслы, назвал его комбатом? Вдруг не сохранилось (или даже не было вовсе) бумаги, подтверждающей это? Лучше уж и умереть командиром роты, чем прослыть самозванцем! И он назвался ротным командиром.

А еще через несколько минут, даже не присев сам и не предложив сесть капитану Исаеву, полковник Ворожилов ровным голосом и отрывистыми фразами, глядя неизменно только в глаза, поведал, что он, полковник, сегодня уже командир полка моряков-добровольцев, которые, скорее всего, в ближайшие дни станут десантниками. Куда будет брошен полк и в полном составе или расчлененный на батальоны и даже роты — не тема для сегодняшнего разговора. Если капитан Исаев чувствует себя способным участвовать в том большом деле, которое маячит перед полком, — милости просим, хоть сейчас принимайте роту. Между прочим, полк сформирован исключительно из моряков — вчерашних корабельных электриков, торпедистов, рулевых, трюмных машинистов; есть в его составе и курсанты военно-морского политического училища. Короче говоря, из всей сухопутной тактики, как военной науки, эти парни хорошо только и знают, что по команде или сигналу командира надо обязательно быстро подняться в атаку. И они поднимутся. И бросятся вперед. И многие из них лишь из-за своей военной малограмотности полягут на том поле боя. Отсюда какая задача вытекает уже сегодня? Буквально за считанные дни вдолбить, втемяшить — какое из этих слов вам больше нравится, то и выбирайте, — так вот, надо во что бы то ни стало втолковать им хотя бы самое-самое основное, а потом, когда придет пора и они окажутся на сухопутном фронте, учить дальше и одновременно ежеминутно заставлять их строго выполнять все то, что должны были намертво освоить раньше. Требовать, требовать и еще много раз требовать. Жестко. Даже вроде бы — беспощадно!

Понятно или нет, почему сказано: «Вроде бы — беспощадно»? По отношению к ним *жалеть* — быть беспощадно требовательным.

Если капитан Исаев все понял, если у него нет вопросов, предложений или просьб, то первый разговор будем считать оконченным и прошу приступить к исполнению обязанно-

стей. Когда приступить? Хоть сейчас, но никак не позже завтрашнего утра.

Капитан Исаев в казарму, где квартировала его рота, пришел за полчаса до общего подъема, а покинул ее лишь глубокой ночью. Двое суток подряд так было. Спрашивается, когда же спать?

Решение проблемы, казавшейся невероятно сложной, нашлось совсем рядом: только обмолвился в разговоре с одним из командиров взводов, что в положении его, капитана Исаева, разумнее всего, пожалуй, жить под одной крышей с ротой, как обнаружилось, что рядом с баталеркой пустует чуланчик; он, правда, не имеет даже малюсенького окошечка, даже самой примитивной форточки, но разве наличие всего этого так уж обязательно?

В чуланчик втащили койку, застелили казенным бельем. И капитан Исаев без колебаний переселился сюда. Тут и заметил, что матросы даже очень доброжелательно восприняли и переезд, и то, что все его имущество запросто умещалось в сумке от противогаза.

Сейчас все это — и назначение командиром роты в полк десантников, и почти круглосуточные занятия основами сухопутной тактики — уже в прошлом. Сегодня, 5 октября, капитан Исаев вместе со своими матросами сидит на днище шлюпки и, кроме соседей, никого и ничего не видит в темноте, обступившей его со всех сторон. О нос шлюпки бьются маленькие волны, поднятые морским охотником, который на длинном пеньковом тросе ведет за собой вереницу гребных судов. Не один морской охотник, несколько их держат курс на пассажирскую пристань Петергофа. Только там они отдадут буксиры, и все эти баркасы, катера и шестивесельные ялы уже своим ходом доберутся до береговой кромки, где десантники — весь полк! — и попытаются сначала зацепиться за землю, чтобы, оглядевшись и чуть освоившись, стремительно рвануться вперед. Тогда и ударит наша артиллерия. Вся. Вплоть до главного калибра фортов Кронштадта, линейных кораблей и крейсеров; тогда и бросятся на фашистов в атаку солдаты наших армий, оказавшихся зажатыми в Ораниенбауме и держащих оборону на западной окраине Ленинграда. По замыслу советского командования эти удары, точно согласованные по времени, и должны будут сломить, опрокинуть фашистские войска, вырвавшиеся к Финскому заливу восточнее Петергофа.

Вроде бы все спланировано лучше не надо, вроде бы

есть большая надежда на успех задуманного. Однако мы пока погодим праздновать победу: война уже научила не особо спешить с окончательными прогнозами.

Капитану Исаеву казалось, что шли они от Кронштадта до Петергофа неоправданно долго. А что может быть хуже ожидания, да еще в то время, когда наверняка знаешь, что скоро вступишь в неизбежный кровавый бой? Может быть, в последний для тебя? Это лишь бессовестные хвастуны болтают, будто им вовсе неведом страх. Врут беззастенчиво, цену себе набивая! Ведом он, тот страх, каждому человеку. Разумеется, если он, тот человек, нормальный. И первый подвиг, который совершает любой солдат, готовящийся идти в бой, — преодоление своего страха; потом, когда это уже свершится, будет несоизмеримо легче, там сам бой полностью овладеет твоей душой, уничтожив все прочее.

Капитан Исаев был нормальным человеком. Он, вместе с подчиненными сидя на днище шлюпки, откровенно боялся предстоящей первой встречи с фашистами на петергофской земле, гадал: посильно ли ему окажется сразу уловить главную жилу боя?

Чтобы хоть несколько ослабить нервное напряжение, попытался заставить себя думать о приятном — о прошлогоднем отпуске, который целиком провел с Аннушкой, Полиной и Фишкой, в родной деревне провел... Но думать сейчас о том, что не имело прямого отношения к сиюминутному, было против человеческого естества, и вместо светлых воспоминаний, молодящих душу, вдруг пришло в голову, что давно, впервые увидев на почтовых открытках сказочно прекрасные фонтаны Петергофа, он твердо решил обязательно побывать здесь, все увидеть своими глазами. И вот на шлюпке идет в Петергоф. Не любоваться красотами, созданными гением и руками людей. Оказавшись там, он, возможно, даже лично будет вынужден уничтожить, сокрушить что-то, многие десятилетия радовавшее людей. К примеру, тот же Дубок. Чтобы не сокращал сектора обзора или ведения огня...

Берег, на который предстояло высадиться десантникам, надвинулся черной стеной. Неожиданно надвинулся. Безмолвно, угрожающе.

— Товсь! — донеслось из ночи еле слышное.

Капитан Исаев, сразу забыв о недавнем безотчетном страхе, привстал, понадежнее ухватил автомат.

Напряженно ждал приказа полковника Ворожилова или выстрела с берега, но увидел, что пеньковый трос, со-

единявший их шлюпки с морским охотником, неожиданно ослабел, бесшумно и как-то безвольно скрылся в воде, казавшейся черной. Теперь шлюпка шла вперед только по инерции. В полной тишине шла.

Но вот под носом шлюпки заскрипел песок. Моментально, призывно взмахнув автоматом, капитан Исаев прыгнул в воду. Не с носа шлюпки, до которого, сделав шага три или четыре, можно было добраться посуху, а с борта. Там, где сидел во время всего перехода заливом, оттуда и прыгнул.

Все моряки-десантники поступили так же; те, кому выпало прыгать с кормы, в воду погрузились по грудь.

Все еще не веря, что фашисты пока не обнаружили их, не чувствуя холода воды, обручем сомкнувшейся чуть ниже груди, капитан Исаев, как мог быстро, побрел к берегу. Слева и справа, опередив или поотстав на считанные метры, продирались сквозь воду матросы. Сосредоточенные, готовые в любую минуту открыть огонь.

Матросы роты капитана Исаева не только достигли берега, они уже бежали по жухлой траве-мураве между вековыми липами и по песчаным дорожкам нижнего парка, когда с горки, где затаился бывший царский дворец, поползла в небо первая осветительная ракета. Она не одолела еще и половины своего пути, а в небо, пущенные торопливыми руками, рванулись уже многие ракеты. Почти всех цветов радуги. Какая ракета оказалась под рукой у фашистского наблюдателя, ту он и швырнул в черное небо. В их мерцающем свете фашисты и увидели моряков, во весь рост бежавших к дворцовой горке. Увидели — подняли тревогу, ударили по ним из автоматов и пулеметов; не прошло еще и пяти минут — в цепи атакующих начали рваться, ослепляя пламенем, мины и снаряды. Но потери в людях пока не были чудовищно велики, и моряки, хотя чуток и сбавив скорость, все еще бежали вперед, время от времени бросая в ночь подбадривающее себя и товарищей:

— Даешь, братва!

Бросали этот бесхитростный призыв и командиры, которым подбадривать подчиненных даже устав предписывал, и простые матросы, очень хотевшие обязательно победить в этом бою.

Рота капитана Исаева была уже совсем рядом с подножием горки, на которой высился бывший царский дворец, когда Дмитрий Ефимович почувствовал, что продолжать атаку — вовсе погубить роту. И крикнул как только мог громко:

— Третья рота! Окапываться!

Заметив, что десантники залегли, фашисты не бросились на них в атаку, они ограничились тем, что огнем своих автоматов и пулеметов еще плотнее прижали их к земле. Положение у десантников создалось вроде бы безвыходное, но в эти минуты, словно подбадривая их, почти разом и полыхнули огнем орудия фортов Кронштадта и главного калибра линейных кораблей и крейсеров. От тяжелых ударов, во множестве обрушившихся на нее, задрожала земля. И качнулись высоченные липы, и мелкой рябью подернулась вода в канале, прорезавшем парк от бывшего царского дворца до Финского залива. Точно по целям, пристрелянным ранее, ударили наши мощнейшие орудия.

Однако фашисты не дрогнули. Их пулеметные и автоматные очереди стали, казалось, еще убийственнее.

Всю ночь моряки-десантники пролежали на сырой земле в парке Петергофа, от вражеских пуль и осколков укрываясь за стволами деревьев или в одиночных ячейках, вырытых наспех. Хотя приказа такого и не было, патроны экономили, почти не стреляли просто в ночь, ожидая, что вот-вот со стороны Ленинграда и Ораниенбаума, как и планировалось при разработке всей этой десантной операции, раздастся желанное «ура». Всю ночь ждали, не дождались. Только форты Кронштадта да самые мощные военные корабли вроде бы и попытались помочь им. Словом, за ночь не произошло ничего радостного, обнадеживающего. Зато черного, отнимающего надежду на успех операции, — с избытком. То, что обе радиостанции вышли из строя, конечно, беда. Но нормальный солдат или матрос и без связи с командованием и соседями какое-то время обойтись сможет, хотя и невероятно трудно ему будет. Нет, более страшное случилось этой ночью, случилось почти сразу, как только высадились на берег, захваченный врагом. Здесь одним из первых был убит полковник Ворожилов. А заменить его никто из здешних командиров не был способен, самого обыкновенного человеческого авторитета не хватало любому из них. Даже капитан Исаев, который ни на что особое не претендовал, узнав о гибели полковника, непроизвольно подумал, что теперь обязательно будет мысленно обсуждать каждое приказание командования полка, поступившее в роту.

Десантники нуждались в помощи, с нетерпением ждали ее. Она не пришла ни ночью, ни назавтра днем. Ни в по-

следующие сутки. Это уже значительно позднее, анализируя архивные документы, историки установят:

что командование Балтийского флота несколько раз посылало к Петергофу самые различные катера с боезапасом и пополнением, но ни один из них не смог прорваться сквозь плотную стену вражеского орудийного и минометного огня;

что было высажено много групп разведчиков (только со стороны Ораниенбаума — двадцать!), которым было приказано соединиться с десантниками, оказать им посильную помощь и, главное, прочно связать со штабами флота и армии; однако лишь четверем из них с превеликим трудом и потерями в личном составе удалось перейти линию фронта, а добраться до десанта — ни одной;

что, хотя в силу сложившейся обстановки и не было предпринято того наступления, какое планировалось первоначально, на соединение с десантниками из района Старого Петергофа рвались стрелковый полк 10-й дивизии 8-й армии и батальон балтийцев;

что артиллерия флота, желая помочь десантникам, стремясь облегчить их участь, только за двое суток выпустила по фашистам и их огневым точкам до трех тысяч снарядов самого крупного своего калибра.

Ничего этого капитан Исаев не знал в ту ночь. Не было ему известно и то, что в сообщении берлинского радио, переданном 7 ноября 1941 года, было сказано: «5 октября западнее Ленинграда, в Петергофе, был высажен морской десант из Кронштадта. Это были мощные советские силы, состоящие из коммунистов, специально отобранных для борьбы с войсками фюрера. В многодневных и упорных боях с матросами наши войска понесли большие потери, но и комиссарский десант был измотан и уничтожен частично нами, частично самими матросами, так как они не сдавались в плен, предпочитая смерть...»

Мощные советские силы, состоящие из коммунистов... Комиссарский десант...

Прямо скажем, здорово приврали гитлеровцы, сказав такое. Что в десанте участвовали лишь добровольцы — это да, чистейшая правда. Правда и то, что большинство десантников были комсомольцами. Но капитан Исаев и еще двадцать семь человек из его роты не только в партии, даже в комсомоле не состояли. Да они посчитали бы себя счастливейшими людьми, если бы имели право в полный голос назвать себя коммунистами!

Не пришла действенная помощь к десанникам. Зато фашисты к рассвету подтянули к Петергофу внушительные силы, в том числе и танки. И опять, добившись огромного превосходства в силах, фашистское командование не бросило свои войска немедленно в лобовую атаку, оно повело планомерное наступление вдоль берега Финского залива. Чтобы отрезать от него десантников, окружить и уничтожить их в старинном парке. И окружили. Так окружили, что казалось, будто никто из десантников не сможет выскользнуть отсюда.

Увидев фашистские танки на аллеях парка между его ротой и серовато-свинцовой водой Финского залива, капитан Исаев понял, что их полк не сможет решить свою задачу — срубить вражеский клинышек, острием своим воткнувшийся в залив, что лишь одиночкам из них, десантников, выпадет счастье выбраться отсюда.

Поставил ли гибель десанта в вину новому командующему Ленинградским фронтом? Даже мысли о чем-то подобном не позволил народиться: знал, что на войне самый верный расчет может прахом пойти из-за какой-нибудь кажущейся мелочи, которую при разработке операции в мощнейшую лупу углядеть невозможно.

Стало ли страшно, когда осознал, что смерть к нему сейчас так близка? Нет, страха не было. А вот большая тревога заполнила душу. Тревога за судьбу Ленинграда и вообще всей Родины. Угроза, нависшая над ними, была во много раз весомее того, что могло случиться с ним, капитаном Исаевым, с каждым из его бойцов. Потому, поняв главное, капитан Исаев и поставил перед собой вполне конкретную и посильную задачу: сегодня, пока еще жив, постараться убить как можно больше гитлеровцев. И он стал стрелять вовсе скупно, лишь навверняка.

7

Злой западный ветер, разгулявшийся вчерашней ночью, все еще не потерял силы, и обрывки косматых черных туч, почти касаясь вершин раскачивающихся деревьев, в панике неслись на восток, где сторожко спал (или только притворялся спящим?) огромный город, оказавшийся в блокаде. Весь Финский залив — насколько видели глаза — в ершистых волнах. И еще примета сегодняшней ночи — свирепый косой дождь. Он безжалостно хлещет по лицу, будто норовит ослепить, если и не навсегда, то уж на несколько

самых нужных минут — наверняка. Холодно так, что не спасает даже шинель. Невольно хочется перестать верить, что еще дня четыре назад здесь была самая нормальная осень, а не сегодняшнее предзимье.

Солдат Карпов, прозванный товарищами Трижды Рыба, чтобы хоть самую малость уберечься от пронизывающего холода и секущего дождя, как только заступил в наряд, поднял воротник шинели и за ним прячет свое лицо. Он с напарником бредет по береговой кромке Финского залива. У самой воды. Оставляя на мокром песке отчетливые следы, которые скоро и обязательно начисто смоем очередная волна. Карпов и его напарник — дозор. Им приказано обязательно увидеть все, что волны выбросят на этот участок берега. Увидеть и непременно доложить начальству: иной раз простой обломок самой вроде бы обыкновенной доски может об очень многом рассказать.

Уже третий час они мерили шагами безлюдный берег, но только и видели рваные черные тучи, убегающие от войны на восток, да волны, упрямо разбивающиеся о песок этого недавнего пляжа, где в воскресные дни еще несколько месяцев назад было тесно от беззаботной детворы и счастливых матерей. Настолько все это — и черные рваные тучи, и косматые волны — надоело, что солдат Карпов, старший наряда, не всматривался во взлохмаченную ветром воду, а лишь скользил по ней почти равнодушными глазами. И все равно он первый увидел, как вдруг, казалось из самой морской пены, возникли три человека. Они не крались, сжимая в руках оружие. У них едва хватало сил, чтобы стоять, поддерживая, подпирая друг друга; их автоматы, про которые эти люди, похоже, вообще забыли, лишним грузом болтались на груди своих хозяев.

Поддерживая, подпирая друг друга, эти трое и пошли на берег, пошли подальше от волн, грохотавших за их спиной. Сделали шаг. Второй. Третий. Тут у самого высокого из них и подкосились ноги. Он обязательно грохнулся бы, но товарищи подхватили его и выволокли туда, куда не добирались даже самые злые волны, тут бережно и опустили на песок. А сами остались стоять рядом, бессильно уронив руки вдоль своего тела.

Жестом предупредив напарника, чтобы не вмешивался; чтобы затаился на время, солдат Карпов окликнул неизвестных:

— Эй, кто идет?

Те, услышав его голос, не схватились за оружие, не

поспешили ответить, назвать себя. Они, будто враз обесси- лев, опустились на сырой песок рядом с товарищем, ко- торый даже не шевельнулся.

— Пальну? — предложил напарник, нацеливая ствол автомата на одну из косматых туч.

— Будто не видишь, что это наши? — ответил Карпов, закинул свой автомат за спину и зашагал к неизвестным. Он был уверен, что сказал правду. Действительно, за последние сутки близко к Кронштадту не было утоплено ни одного фашистского катеришки, значит, эти трое не могли быть членами его экипажа. И не гитлеровские диверсанты, нацеленные на наш тыл, эти трое. Те на берег скользнули бы змеями, у тех сил было бы предостаточно.

До неизвестных оставалось всего несколько шагов, ко- гда солдат Карпов решил, что лучше все же подстрахо- ваться. И приказал напарнику лечь на песок, взять на при- цел автомата тех троих. Убедившись, что напарник пра- вильно понял все, пошел снова. Но не по прямой, начинав- шейся от напарника, а под значительным углом к той вооб- ражаемой линии; чтобы товарищ, не опасаясь убить или поранить его, мог в любую минуту дать длинную очередь.

Остановился шагах в двух или трех от неизвестных. Не больше. Остановился и придирчиво разглядывал тех, кто так внезапно оказался на этом участке берега Финского залива. Двое были в бушлатах, тельниках и клешах. А вот третий... Постой, постой...

И вот уже вырвалось одновременно радостно и тре- вожно:

— Командир роты? Товарищ капитан?

А еще через считанные секунды приказ напарнику:

— Вызывай сюда наших!

— Можно очередь в небо?

Дать автоматную очередь — объявить тревогу, лишитъ товарищей коротких минут отдыха. Нет, на это солдат Карпов не согласен, и он говорит строго, хотя и немного ворчливо:

— Нет, ножками поработай... Беги и доложи самому сержанту Перминову: мол, я, Карпов, нашел на берегу на- шего командира роты. Около него нахожусь. Так что но- силки надобны.

Несколько путанно высказал свои мысли, однако напар- ник, ничего не переспросив, поспешно затрусил в ночь.

А Карпов, закинув свой автомат за спину, опустился на корточки рядом с неизвестными матросами, рукой по-

чему-то прикоснулся к холоднущему лбу капитана и спросил ни у кого конкретно:

— Что с ним?

— Или я доктор? — пожал плечами один из матросов и поспешил добавить просительно: — Табачком не осчастливишь? Наш-то, пока по воде брели...

Карпов молча сунул ему в руку кисет с махоркой, одной рукой, поддерживая, обнял капитана Исаева за плечи, а второй осторожно и быстро ощупал его голову, грудь и живот. Не только смертельных, но и вообще ран не обнаружил. И несколько успокоился, почти нежно прижимая к себе капитана, стал прислушиваться к тому, о чем сильным от простуды голосом говорил второй матрос, тоже запустивший руку в его кисет. А тот с гордостью рассказывал, что это их ротой командовал в Петергофе товарищ капитан Дмитрий Ефимович Исаев. До тех пор толково командовал, пока фашисты не только роту, но и весь полк по самую маковку не засыпали снарядами, минами и бомбами, пока гусеницами танков в клочья не разорвали, с сырой мать-землей не перемешали.

Дескать, уже под вечер 7 октября, когда на последние патроны как на диковинку глядели и гадали, пустить их в дело немедленно или как память об этих двух кровавых днях упрятать в потайном кармашке около сердца, товарища капитана близко рванувшая бомба одним бревнышком наката так приласкала, что, почитай, весь левый бок товарища Дмитрия Ефимовича — сплошной синячище.

Может, потому он и потерял силу, сдал маленько под самый конец.

Но, когда водой брели, в ложбинках между волн маскируясь, он вполне нормально держался, вовсе не в тягость был.

Так закончил матрос свой скупой рассказ.

Сержант Перминов и три солдата, вооруженные трофейными автоматами, не пришли, прибежали. Без носилок, которые солдат Карпов просил обязательно принести. Вместо них прихватили с собой плащ-палатку. Однако к тому времени капитан Исаев уже пришел в себя. Даже сел. Огляделся. Узнал не только матросов, с которыми выпало выжить, но и Карпова, а потом и Перминова, с ними поздоровался откровенно радостно.

До землянки взвода, как сказал сержант Перминов, почти два километра. И была она не вблизи окопов первой линии, а на таком удалении от них, что вовсе не все

вражеские мины долетали до нее; и жили в ней бойцы, перед которыми пока стояла лишь одна задача—отдыхать, набираться сил для грядущих боев. Почти два километра было до землянки, и все это расстояние капитан Исаев прошел без чьей-либо помощи. Правда, начав шагать резво, вскоре заметно сбавил скорость, раза три или четыре даже шатнулся, но от задумки своей не отступил. Дорогой он и спросил у сержанта Перминова, кто еще из старых боевых товарищей, конечно кроме Карпова, служит здесь. Сержант ответил, что больше никого нет, остальные убиты или поранены в боях под Красным Селом. Дескать, не успели бойцы их роты еще и приглядеться друг к другу, еще и не подружились по-настоящему, их бросили туда, где такое творилось, такое...

Между прочим, под Красным Селом их бригада в тактическом отношении ключевую позицию занимала. Потому, когда самые горячие бои начались, туда самого высокого военного начальства столько понаехало—надо бы больше, да некуда. Во главе с маршалом Советского Союза Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Он, Климент Ефремович, под Красным Селом в одной цепи с моряками в атаку шел!

Об этой атаке капитан Исаев слышал еще в Кронштадте, но ему и сейчас очень хотелось, чтобы про нее—со всеми мельчайшими подробностями!—рассказал участник того события, сразу же ставшего достоянием истории, и он будто бы усомнился:

— Сам товарищ Ворошилов с вами ходил в атаку?

— Лично мне такая честь не выпала, чтобы в той атаке быть рядом с ним. Но рассказывали о том факте люди, во всех отношениях достойные доверия,—ответил Перминов, помолчал и вдруг добавил, почему-то понизив голос:—В той атаке и старший лейтенант Загоскин пали.

— Павел Петрович?—вырвалось у капитана Исаева.

Сержант Перминов оставил без ответа его восклицание, он продолжил прежним несколько меланхолическим тоном:

— Можно сказать, на моих руках они скончались... Так что по их прямому наказу и берегу письмецо, вам адресованное.

— Мне? Письмо?.. От кого, не знаешь?

— Что адресовано вам лично, своими глазами и не раз видел. А кто его писал—откуда мне знать? Вороньих яиц, чтобы самое тайное без труда разгадывать, никогда не

едал... Старший лейтенант это письмо велели вам в Кронштадт обязательно переправить. С надежной оказией... Дескать, остальное вы сами поймете, когда на письмо глянете.

Больше сержант Перминов не добавил ни слова. Правда, и капитан Исаев ни о чем не спрашивал. Он с какой-то вовсе не свойственной ему безысходностью думал о том, что под Красным Селом полегли почти последние из тех его боевых товарищей, с которыми он пришел сюда от самой государственной границы. И Павел Петрович, как говорится, пал смертью храбрых...

Многих, очень многих прекрасных товарищей уже не стало, а конца войны и приблизительно еще не видно...

О мрачном и мрачно думал. Однако это не мешало ему всматриваться во все, что можно было увидеть, чутко ловить каждый звук, родившийся в ночи, чтобы немедленно разгадать и его. Вот и заметил, что над фашистской линией обороны (последние три слова даже мысленно произнес с огромнейшим удовольствием) излишне часто черную чашу неба прорезали осветительные ракеты. Спрашивается, что следует из увиденного? Только одно: подпсиховывают гитлеровцы, напуганные нашими недавними десантами! С гордостью сделал этот вывод. И тут же вспомнил, что землянка, к которой они шли, была не на линии нашей обороны, а в тылу ее, и размещались в ней бойцы, для которых сегодня важнейшей задачей было — отдыхать. Разумеется, может быть, уже через час — или и того меньше — их отдых прервет боевой приказ, но сейчас они отдыхали!

Невольню подумалось, что, когда он с товарищами отступал от государственной границы до Таллинна и стоял под ним в обороне, о подобном и не мечталось; тогда любая ночь была лишь часами тревожного ожидания того, что на рассвете обрушат на тебя фашисты.

Кажется, давно ли все это было только так, а теперь...

Приятно поразила его и землянка, в которую он спустился вслед за сержантом Перминовым. Была она просторна, вместительна, с накатом из бревен вполне приличного диаметра, а не жердочек, пригодных скорее для изгороди вокруг скотного двора-временки; все четыре стены обшиты досками, правда, уже побывавшими забором какой-то дачи, но еще вполне добротными. Эта землянка, сделанная капитально, и поведала капитану Исаеву, что отсюда, с этого пятачка советской земли, мы уже не отсту-

пим, что здесь будем не просто стоять насмерть, но и сделаем все, чтобы разгромить врага. Нет, не в ближайшие дни, может быть, и через месяцы, но обязательно разгромить!

В землянке, когда они спустились в нее, было человек пятнадцать. По внешнему виду — солдат, матросов и ополченцев. Сразу бросилось в глаза и то, что у всех в обмундировании было что-то флотское: бушлат, меченный пулей или осколком, бескозырка с ленточкой, на которой почти стершимися золотыми буквами было выписано название корабля, а уж тельняшка — стираная-перестираная, иная настолько обесцветившаяся, что ее полосы скорее угадывались, чем виделись, — прикрывала грудь каждого.

Выходит, все эти вчерашние солдаты и ополченцы душой уже основательно прикипели к морской пехоте...

В землянке капитана Исаева и его товарищей ждали и самые лучшие места на общей лежанке, надежно укрытой еловым лапником, поверх которого была в несколько слоев наброшена мешковина, и большой корабельный чайник, самодовольно дребезжавший треснувшей крышкой.

Казалось бы — сделано все, что было в силах людей, живших здесь, однако сержант Перминов без минуты промедления достал из своего вещевого мешка немного помятое, но чистое нижнее белье:

— Оно, товарищ капитан, конечно, малость маловато для вас, зато сухое, теплое.

Не прошло и пяти минут — сухое нижнее белье лежало уже тремя кучками.

Переодевались почему-то без спешки, словно нехотя. Зато чаевничали азартно, до третьего обильного пота, покрывшего не только лоб, лицо и шею. Во время чаепития один из солдат-хозяев и спросил:

— Неужто и этих, товарищ сержант, полотчевав чайком и байками, в штаб бригады под конвоем погоним?

Сержант Перминов будто и не заметил в его голосе скрытой издевки, он ответил нарочито спокойно:

— Когда несешь службу и она требует, чтобы ты мозгами пораскинул, всегда логике следуй. Так вот, она, пресловутая логика, сейчас гласит: этих товарищей — вернее самого старшего из них, по воинскому званию самого старшего — мы с Карповым знаем лично. По службе под его командованием, по совместным боям с фашистами. Весомый это аргумент или рядовое пустозвонство? — И сам ответил после небольшой паузы: — Очень даже весомый,

можно сказать, решающий... А что нам было известно о тех, кем сейчас попрекаешь?.. Здесь их никто не знал. Документов они не имели. Что же всем нам оставалось делать? Единственное: переадресовать их в штаб для проверки всех данных, какие они нам выложили...

Скоро разговор угас, так и не став общим, задушевым, доверительным. Только потому, что хозяева землянки вдруг поняли: эти три человека, так внезапно для всех оказавшиеся здесь, крепились из последних сил, что еще совсем немного разговоров — и они грохнутся на лежанку; кто и где сейчас сидит, там и упадет, бессильный даже шинель или что иное сунуть себе под голову.

Тут, вспомнив про письмо старшего лейтенанта Загоскина, сержант Перминов и метнулся вновь к своему вещевому мешку, порылся в нем, а потом протянул конверт, на котором химическим карандашом было нацарапано: «Капитану Д. Е. Исаеву. Личное».

Капитан Исаев, которого усталость почти вовсе сломила, письмо взял, чувствуя, что должен что-то помнить о нем. Но адрес на конверте был написан незнакомым почерком. Только теперь, требуя пояснения, и поднял глаза на сержанта Перминова. И тот немедленно откликнулся на этот безмолвный призыв о помощи:

— То самое письмо, которое старший лейтенант Загоскин наказывали обязательно передать вам.

Дмитрий Ефимович, с душевной болью думая о том, что война ненасытна, что проглотила она уже и Павла Петровича, вскрыл конверт и обнаружил в нем не только листочек бумажки с проступившими на тыльной стороне фиолетовыми пятнами, но еще и конверт, подписанный рукой дочери. Читать послания начал с письма Павла Петровича:

«Дорогой Дмитрий Ефимович!

Так уж, дружище, было угодно командованию, что я покинул К., даже не повидавшись с тобой, не поблагодарив за дружбу и все прочее, чем ты и твои солдаты одарили нас в трудные минуты.

Хотя вношу предложение: всю лирику сберечь до личной встречи. Другие предложения есть? Нет? Тогда перехожу к главному, из-за чего, если говорить откровенно, я около часа искал этот несчастный огрызок химического карандаша. Дело в том, что мне подвернулся случай и я, по делам службы оказавшись в Ленинграде, разумеется, забежал в институт, где еще недавно училась твоя дочь.

И другом твоим ей отрекомендовался, и вот это письмецо прилагаю к моим впечатляющим каракулям.

Дружески жму лапу!»

Дальше — имя, выписанное полностью, и закорючка вместо фамилии.

В душе еще переживая гибель Павла Петровича, капитан Исаев письмо дочери начал читать несколько рассеянно, скорее механически, чем осознанно скользя глазами по ровным строчкам ее послания: что особо важное, интересное могла сообщить она сегодня? Мол, успешно сдала государственные экзамены и получила назначение учительницей начальных классов в такой-то город или городишко?

Однако уже первые строки письма дочери заставили насторожиться, забыть о том, что, казалось, заполняло душу так, что там не маячило и малюсенького просвета. Полина, привычно нежно и уважительно поздоровавшись с ним, вдруг сбилась со светского тона, каким начала письмо, уже не следя за стилем и повторяясь, сообщила, что в конце мая вышла замуж за младшего научного сотрудника Всесоюзного института растениеводства — Илью Комлева и теперь будет работать в том же институте, чтобы всегда быть рядом с Илюшей и помогать ему во всем; правда, как только началась эта проклятая война, Илюша записался в народное ополчение и ушел на фронт, говорят, в бои вступил где-то в районе Копорья; а вовсе недавно одна теперешняя знакомая сказала, что получила от мужа письмо, в котором говорится, будто Илюша погиб в первом же бою. Как же он может погибнуть, если у нее, Полины, нет официального извещения о его смерти?! Кроме того, ведь бывает же и так, папа, что человек оказывается жив и здоровешенек, хотя люди считали его убитым? Бывает так или нет, папа?

Бывает, в жизни всякое бывает, доченька...

А дальше прочел, что Аннушка — его тихоня Аннушка! — приезжала в Ленинград на свадьбу Полины и этого... Илюши. Фишку отвезла к своим родителям в деревню, а сама сюда приперлась. Чтобы полюбоваться счастьем дочери, чтобы советом помочь ей в первые дни семейной жизни. А его, Дмитрия Ефимовича, о свадьбе не известили только потому, что не хотели зря нервировать: ведь командование все равно не отпустило бы его в отпуск даже и на три дня, если полным ходом шла подготовка к переводу полка в лагерь? В июле, когда Илюше обещали дать отпуск, они сами намеревались нагряться к нему в полк...

«...Папа, папочка! Ты только крепись, не падай духом, ты знай и верь, что я всегда буду с тобой, всю жизнь буду заботиться только о тебе и сынишке, который у меня обязательно народится к весне! Понимаешь, мама считала, что война окончится скоро, может, только до наступления холодов и протянется, что после победы над фашистами тебе будет очень приятно сразу же увидеть всех нас. Ты, папуля, лучше меня знал, как она, мамочка, умела настоять на своем...»

Умела настоять на своем...

«...Я уговаривала ее уехать, но она отказалась наотрез, она пошла работать на швейную фабрику, даже сказала, смеясь, что сошьет и тебе гимнастерку, какой ты отродясь не видывал...»

Тут строки письма дочери вдруг стали дрожать, двоиться, вообще расплываться в мутную пелену. И вовсе непонятное — какая-то злая игла вонзилась в сердце, пронизала его до левой лопатки. Надеясь хотя бы на считанные минуты унять эту непрошеную боль, он свою руку положил на грудь там, где страдало сердце. С большим трудом, то и дело теряя смысл письма, прочел и понял те страшные строки, в которых Полина сообщала, что мама погибла в первую же бомбежку Ленинграда. Под развалинами дома. В подъезде которого хотела переждать бомбежку.

Полина исписала еще страницы две, но капитан Исаев больше не смог осилить ни строчки, он категорически отказывался верить в то, о чем сообщала дочь. Он зажмурил глаза, вовсе ссутулился; письмо дочери будто сникло в его обессиленной руке.

Сквозь густой и горький туман, лениво клубившийся в голове, к нему еле пробился голос сержанта Перминова:

— Вы, товарищ капитан, никак ранены? Уже сколько времени левый бок рукой цапаете?

— Понимаешь, сердце покалывает...

— Покалывание сердца — мура сплошная! Тяпните сейчас граммов двести, заваливайтесь баиньки и уже к утру будете как свежий малосольный огурчик! — попытался успокоить его один из тех матросов, с которыми он чудом выскользнул из окружения на земле Петергофа.

Капитан Исаев промолчал, а какой-то ополченец в годах, зачем-то поправив очки, сказал вежливо и одновременно достаточно строго, авторитетно:

— С сердцем никому шутить не рекомендуется... Това-

рищу капитану сейчас не водка, а покой необходим. Полный. Без нервотрепки и физического напряжения.

Ему поверили. И молодой ополченец, голову которого прикрывала чуть поседевшая от времени бескозырка, сразу вспомнил, что Юрий Данилович из соседнего взвода — настоящий сердечник, что у него в карманах всегда полно самых нужных лекарств, и побежал к нему; другие — не помогли лечь, а уложили капитана Исаева, успев подсунуть под него все, что только и было возможно; с новой стороны проявил себя и сержант Перминов, он первого же матроса, свернувшего «козью ножку», без минуты колебаний из землянки переадресовал точнехонько к чертовой матери.

Юрий Данилович пришел сам и вручил капитану Исаеву две маленькие белые таблетки, велел положить их под язык. И ждать. Пока они растают, пока не поутихнет боль в сердце.

Таблетки ли помогли, или просто истекло время, самой природой отведенное на подобную боль, но она стала терпимее. И сразу неудержимо потянуло в сон. Это желание было настолько властно, что даже нелепая гибель Аннушки отступила куда-то, словно растворилась там. И он, боясь глубоко вздохнуть, чтобы не возродить боли, закрыл глаза. Уснул или потерял сознание — этого и потом не мог сказать уверенно. Но все, окружавшее его, вдруг исчезло, уступив место тишине, покою и полному бездумью.

8

К утру боль в сердце еще чувствовалась, хотя и значительно слабее, чем вчера. Настолько менее чувствительна стала, что ее почти полностью заслонила собой весть о гибели жены. Как же это так, Аннушка, ты вдруг оплошала?!

Тоска по жене была настолько безысходна, такие мрачные мысли роились в голове, что намеревался, сославшись на боли в сердце, пролежать весь день. Но, едва сержант Перминов голосом объявил подъем, в землянку колом скатился коротышка в звании капитана. Сразу кто-то крикнул, сдерживая голос:

— Смирно!

Из рапорта сержанта Перминова, следовавшего за этой командой, капитан Исаев узнал, что этот коротыш-

ка — командир батальона. Того самого, в одну из землянок которого судьба вчера и сунула его, капитана Исаева.

Узнал это — встал, даже принял стойку «смирно». Командир батальона будто и не заметил его вовсе; он, хотя и стоял от капитана Исаева всего лишь на расстоянии метра или около того, смотрел только на ополченца, оставшегося сидеть на лежанке, поджав под себя ноги калачиком. Единственного сидевшего из всех, кто на этот момент находился в землянке.

— Здравствуй, Юван.

Спокойно, без гнева, вроде бы даже с искорками веселости в густом басовитом голосе сказал это комбат.

Тот, к кому он обратился, не ответил, он будто вообще не видел и не слышал командира батальона, сидел на лежанке и посасывал холодную трубку-носогрейку. Грубейшее нарушение дисциплины, явное чепе! Но ни один из солдат, матросов или ополченцев, находившихся в землянке, не обнаружил даже самого ничтожного беспокойства. И капитан Исаев понял, что подобное здесь случалось уже не раз. А если так, то для чего оно разыгрывается сейчас? Ответ нашел лишь один: чтобы показать ему, капитану Исаеву, какова атмосфера в батальоне, и заодно дать возможность приглядеться к комбату — своему возможному новому начальству.

Минуты три комбат ласково вроде бы даже бранил Ювана за то, что тот не встал, когда он, комбат, вошел в землянку, потом резко повернулся лицом к капитану Исаеву и, протянув руку, сказал весело, чуть задиристо:

— Капитан Крючков Евгений Демидович, так сказать, царь и бог местного значения. Как ты и сам должен понимать, эту власть без соответствующего приказа никому не отдам. В том числе и тебе, хотя ты и длиннее меня почти на метр!.. Но в помощники свои приглашаю с откровенной радостью. Вот, пожалуй, и все, что намеревался сказать тебе для первого раза. Ответное слово за тобой.

В общей оглушительной тишине, висевшей в землянке, они и простояли с минуту, глядя друг другу в глаза. Один — почти касаясь головой бревен наката, второй — ему лишь по грудь. Откровенно говоря, капитана Исаева пока ничто не влекло вступить в командование этой ротой. Здесь несут службу сержант Перминов и солдат Карпов? Правильно, тут они. И, конечно, это очень радует. Только позвольте спросить: а нет ли, допустим, в соседнем ба-

тальоне или полку более настоящих его солдат? Тех, с которыми служил еще до войны?

Однако усталость от всего пережитого была столь велика, сердце так неприятно то покалывало под лопатку, то сжималось, мешая даже дышать, что он решил остаться здесь, о чем без особой поспешности и сказал капитану Крючкову. Тот отреагировал незамедлительно:

— Значит, вот тебе мой первый боевой приказ: ложись лицом к стенке или еще куда и не реагируй на команды, что в роту поступят. Сил набирайся... На полную поправку здоровья своей властью даю тебе целых трое суток!

Не сказал, а выпалил это с предельной скорострельностью, и будто не бывало его в землянке.

Капитан Крючков дал трое суток на поправку здоровья. Но не минуло и часа после его приказа, как в землянку, ногами ощупывая каждую ступеньку, вошел какой-то младший лейтенант. Зато, оказавшись на ровном полу и положив на обеденный стол свою новенькую планшетку, он вдруг приобрел выправку кадрового военного, стал вроде бы осанистее и сказал, стараясь оставаться равнодушным:

— Я — младший лейтенант Редькин. — Выдержал некоторую паузу и продолжил тоном, исключаящим какие-либо возражения: — Капитана Исаева прошу остаться, а матросов, что с ним перешли фронт минувшей ночью, перейти в соседнюю землянку. Сержант Перминов, проследите за выполнением приказа.

— Наш особист, — еле слышно шепчет кто-то в затылок капитану Исаеву.

Тот будто не слышит подсказки-предупреждения, он вежливо и предельно спокойно спрашивает:

— Назовитесь, пожалуйста, кто вы по должности?

В землянке на самом обыкновенном обеденном столе, изъятом из какого-то заброшенного хозяевами дачного домика, коптила лишь горелка, сделанная из снарядной гильзы. Но и ее чахоточного света оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть, как покраснели уши младшего лейтенанта, когда он, уловивший подсказку, услышал и ответ на нее этого незнакомого капитана. Однако голосом своей обиды не выдал:

— Я — сотрудник Особого отдела... У меня к вам есть несколько вопросов.

— Что ж, спрашивайте, — кивнул капитан Исаев, попытался сесть, но острая боль, напоминая о вчерашнем, коль-

нула под левую лопатку, и он поспешил опуститься на прежнее место; вернее, уже не лег, а почти сел, прислонившись затылком к сыроватой земле, чуть подрагивающей от дружных залпов фортов Кронштадта.

А младший лейтенант, расстегнув планшетку, достал из нее несколько листков бумаги, положил перед собой стопочкой и начал задавать вопросы, которые, похоже непроизвольно, заштампованно, срывались с его языка. Сначала они ворошили детство Дмитрия Ефимовича, службу в армии, а потом скакнули на сегодняшнее житье-бытье; причем младший лейтенант особо упирал на то, что никак не поймет: почему же вот уж какой раз так случается, что солдаты капитана Исаева гибнут в боях, а он целехонек из самых невероятных передряг выходит?

Думал, что этими вопросами озадачит, загонит в тупик капитана Исаева. И крайне удивился, когда тот вместо путаных рассуждений о судьбе человека и военном счастье вообще вдруг спросил с неподдельной заинтересованностью:

— Слушай, младший лейтенант, а ты не помнишь, как та штука называется?..

— Какая штука? — растерянно вырвалось у того.

— Тот сарай из горбыля, который ставят на реке, чтобы бабам малость полегче было полоскать белье. Зимой как защиту от ветра вокруг больших прорубей ставят... Полоскательница?.. Мытница?..

— Мойка, — с тихой радостью и нежной грустью подсказал кто-то из солдат. — У нас на Туре каждую зиму их обязательно ставили.

— Мойка... Скажи пожалуйста, похоже, что так их звали, — подумав, согласился капитан Исаев.

Младший лейтенант Редькин, когда началась война, был студентом предпоследнего курса юридического факультета, он без долгих раздумий записался в одну из дивизий народного ополчения; даже получил там винтовку, противогаз, гимнастерку с шароварами и «длинные сапоги» — ботинки грубоватого пошива и обмотки неопределенного цвета. Однако не минуло и недели — вдруг оказался слушателем курсов, после окончания которых в петлицах его гимнастерки оказалось по одному «кубарю», а в нагрудном кармане обосновалось удостоверение личности, свидетельствующее о том, что он сотрудник Особого отдела.

Так вот и случилось, что он, которому при мирной жизни предстояло только в университете учиться еще год,

вдруг стал величиной осязаемой, кое-кому внушающей если и не откровенный страх, то уж опасения — обязательно.

Каких-либо серьезных дел ему пока не доверяли, единственное, что почти ежедневно поручалось, — опрос выскользнувших из окружения, по какой-то причине отбившихся от частей или почему-то оказавшихся без документов. Одним словом, как он считал, пока через его руки шла лишь пузатая мелюзга. Но он не обижался, он был уверен, что где-то близехонько затаился и его звездный час.

Младший лейтенант Редькин всегда добросовестно исполнял то, что ему поручалось, как правило, до последнего честно выстреливал все вопросы, заготовленные заранее или возникшие по ходу допроса. А вот сейчас, когда этот капитан — кожа да кости! — в самый, казалось бы, кульминационный момент вдруг стал вспоминать название какого-то сарая, возводимого на льду реки для защиты от ветра женщин, пришедших сюда полоскать белье, сразу исчезли последние сомнения в чистоте души этого человека. И он небрежно сунул в планшетку листы бумаги — исписанные и без единой помарки — и сказал, козырнув подчеркнуто четко:

— Прошу прощения за беспокойство.

9

В ноябре фронт под Ленинградом относительно стабилизировался: вражеские полчища, рвавшие к городу через Двинск — Псков и Ригу — Нарву, хотя и докатились до его окраин, хотя, как говорится, и бились лбами о его стены — разрушенные или почти уничтоженные дома пригородов, хотя в порыве отчаянного озлобления, понукаемые своими генералами, порой еще и бросались вперед, но уже без былых азарта и упорства, уже с середины октября активно строя для себя блиндажи и землянки, покрывая землю вокруг Ленинграда сетью окопов и многочисленных ходов сообщения, сделанных по всем правилам военного искусства; и финско-немецкие войска, наступавшие через леса и болота Карельского перешейка, вдруг уперлись в наш старый пояс железобетонных оборонительных укреплений и тоже остановились, тоже начали вгрызаться в землю, уже крепко схваченную первыми ранними морозами. Ленинград оказался зажат, со всех сторон стиснут вражескими фронтами. Но слово *окружили* вовсе не соответствовало тому, что было старательно нарисовано синим карандашом

на картах военной обстановки, висевших за плотными шторками на стенах в кабинетах больших начальников; что-то очень приближенно напоминающее четырехугольник нашей территории тогда зловеще опоясывали вражеские фронты.

Кое-где линия фронта подошла к самому Ленинграду настолько близко, что больница Фореля, мясокомбинат и другие строения и даже кварталы города оказались на линии огня; порт Ленинграда в те дни своими причалами выходил на дамбу Морского канала, а по другую сторону этой дамбы, на южном берегу Финского залива, тянулись уже немецкие окопы, щерились орудиями и пулеметами всех калибров амбразуры их укреплений, откуда наблюдатели в самые обыкновенные бинокли без особого труда разглядывали и причалы, и портовые склады, и даже элинг судостроительной верфи.

Гатчина, Павловск и Пушкин уже были в руках врага, он вплотную подошел к Пулковку и Колпино.

Вражеский фронт, обогнув Ленинград с юга, лежал и на левом берегу Невы до города Шлиссельбурга; лишь сердце его — крепость Орешек — по-прежнему упорно сопротивлялась врагу.

В районе узловой станции Мга замкнулось кольцо вражеской блокады. Вернее — почти замкнулось.

Здесь, на торфяных болотах среди качающихся под ногами кочек, покрытых множеством перезрелых ягод клюквы и морошки, какой месяц стояли насмерть советские солдаты, моряки и ополченцы, сюда от Лодейного Поля на севере и от Тихвина на юге фашистское командование упорно направляло мощнейшие удары своих полчищ, оно во что бы то ни стало хотело полностью замкнуть вокруг Ленинграда кольцо окружения. Однако защитники Ленинграда точно знали, что кольцо вражеской блокады не будет окончательно замкнуто до тех пор, пока в руках у нас остается дорога до Ладожскому озеру — трудная, насыщенная до предела опасностями, но остается; сердцем и умом все понимали, что лишь она сейчас являет собой единственную и последнюю линию связи Ленинграда с Большой землей. Потому, не жалея себя, и бились с фашистами наши солдаты, матросы и ополченцы не только непосредственно под стенами города, но и под Тихвином, и на почти безлюдных берегах холодной и быстрой Свири.

Однако защитники Ленинграда даже на самое ничтожно малое время не имели права забывать и о том, что у

них есть своя «малая земля» — Ораниенбаумский «пятячок». Используя мощь батарей Кронштадта и фортов Серая Лошадь и Красная Горка, наши воины удержали в своих руках участок берега Финского залива от Петергофа до Копорской губы, вроде бы и не очень впечатляющий клочок советской земли, но удержали и удерживали!

А рота капитана Исаева в первой линии окопов оказалась в двадцатых числах октября. В тот день, когда был получен приказ срочно занять окопы первой линии нашей обороны, перерубившей трамвайную линию, по небу на восток опять неслись обрывки черных лохматых туч и разгулявшийся ветер зло, словно намереваясь ослепить, швырял в лицо колючую поземку, перемешанную с пылью и песком. Капитан Исаев считал, что на тот час у него еще не было роты как боевой единицы. Сорок восемь солдат, матросов и ополченцев — вот они; хотите — просто пересчитайте, хотите — списочную проверку организуйте. А вот рота отсутствовала: этих парней и почтенных отцов семейств, очень хотевших разбить врага, следовало еще многому обучить. Но приказ был получен, и капитан Исаев повел своих бойцов на передовую, наспех рассовал по окопам, каждому указал его сектор наблюдения и ведения огня. Потому торопливо это сделал, что командир батальона капитан Крючков предупредил: по имеющимся агентурным данным, враг, если не сегодня, то уж завтра обязательно и точнехонько, здесь — вдоль берега Финского залива — предпримет попытку прорвать нашу оборону.

В бесплодном ожидании минули сутки. Вторые. Потом и вообще октябрь месяц приказал долго жить, а вражеского наступления все не было. А вот минометный обстрел наших окопов — это пожалуйста. В течение дня — тревожащий, чуть ли не по одной mine на десять минут и с рассеиванием почти по всему фронту, да еще утром сразу после подъема и вечером перед самым ужином уже по конкретным участкам нашей линии окопов и такой плотности, что голову над землей приподнять было боязно.

На долю их роты не выпало вроде бы даже боев местного значения, а к середине ноября в роте насчитывалось уже лишь двадцать пять бойцов при единственном командире — капитане Исаеве; если верить всезнайкам писарям, взводных командиров им в роту соответствующими приказами не раз назначали, но не успевали те дойти до землянок роты, и все тут! То какое высокое начальство в пути перехватит и переадресует туда, где, по его мнению, сей-

час командир взвода был и вовсе крайне необходим, то вражеские осколки или пуля коварно пометят.

А Ленинград фашисты бомбили почти каждый день и, случалось, по нескольку раз. Потом, когда ночи и вовсе длиннущими стали, и обстреливать из орудий начали. И бомбили, и обстреливали расчетливо, безжалостно. Капитан Исаев собственными глазами видел на карте, отобранной у захваченного в плен немецкого офицера-артиллера, четко обозначенные и пронумерованные объекты артиллерийских налетов. Увиденное настолько потрясло капитана Исаева, что он запомнил, казалось, на всю жизнь: Дворец пионеров — цель № 192, Эрмитаж — цель № 259...

Окопникам невыносимы были эти бомбежки и обстрелы города: каждый его защитник искренне считал, что ему было бы во много раз легче, если бы те бомбы и снаряды оказались нацеленными в него, солдата, матроса или ополченца, сжимающего руками оружие, а не в женщин, детей и стариков, волею судьбы оказавшихся в осажденном врагом городе.

Трудные дни переживали жители и защитники города, но слова «голод» и «дистрофия» тогда еще не произносились в полный голос.

Хотя и шла тягуче обыкновенная окопная жизнь, капитан Исаев, если появлялась хотя бы ничтожная возможность, упорно продолжал учить своих подчиненных владеть оружием самых различных систем и марок, основам сухопутной тактики и рукопашному бою; мечтал добиться, чтобы и один любой его боец какое-то время мог сразу с тремя врагами драться; искренне считал, что самое страшное, когда на тебя именно столько человек одновременно набросится; говорил: мол, будет их больше — только мешать друг другу станут.

Немного шумноватыми оказывались эти занятия. Поэтому, когда подкрадывался их черед, капитан Исаев тихонько снимал с передовой один взвод и уводил его километра на полтора в тыл, строго наказав оставшимся глядеть в оба.

Знало ли командование бригады об этом? Знало. Однако, пока отлучки не наносили вреда общему делу, делало вид, будто ему ничего не ведомо.

Или потому оно молчаливо поощряло капитана Исаева на эти самовольные отлучки, что много ли бойцов было в том очередном «взводе»?

До седьмого пота капитан Исаев изводил своих подчи-

ненных этими учебными рукопашными боями. И в конце занятий всегда находил, к чему придраться.

Зато после занятий по сухопутной тактике, если был доволен успехами подчиненных, неизменно изрекал:

— Хочу, чтобы, как говаривал сам Александр Васильевич Суворов, каждый из вас отлично знал свой маневр.

Были за эти почти полтора месяца сидения в обороне и бесконечно длинные вечера, когда все, свободные от несения службы, торчали в землянках, где дремали или смотрели на огонь в печурке, если она топилась, и, коротая время, говорили, говорили. О самом разном и с почти предельной откровенностью. Поэтому капитан Исаев теперь уже точно знал, что Юван Попов родился и жил на берегу моря, которое только летом и то лишь на очень малое время освобождалось от торосистого льда. Почему у него, Ювана, такая фамилия? А какой ей еще быть, если, как рассказывали старики, однажды к ним в стойбище в сопровождении каких-то полицейских чинов нагрянули поп с дьяконом, всех людей загнали в озеро по колени и с кисточек побрызгали на них той озерной водицей, словом, окрестили; для быстроты — все же холодновато было — и дьякон самостоятельно крестил. Вот с тех пор у людей их стойбища и есть только две фамилии: Поповы и Дьяконовы.

Между прочим, если капитану Исаю интересно, то старые боги, которых поп с дьяконом сразу после крещения поотбирали и сожгли на костре, были лучше русского. Чем? Их было несколько, и каждый из них отвечал за что-то вполне определенное. Совсем как капитан Исай — только за свою роту. И еще — их можно было поставить или положить перед собой и высказать просьбу так, чтобы они услышали ее. А русский бог один за все в ответе и живет где-то невероятно далеко. Так невероятно далеко, что к нему даже на самой быстрой оленьей упряжке не сбегаешь и не спросишь, понял ли он твою просьбу. Кроме того, старых богов его народа можно было и голодом поморить, и сыromятным ремешком легонько постегать, если они отказывались или ленились выполнить твою просьбу.

Нет, что бы капитан Исай ни говорил, а старые боги народа Ювана куда лучше были...

Назвать свою национальность Юван упорно отказывался, прячась за фразой, произносимой с неизменной гордостью:

— Моя — народы Севера!

Как узнали из разговоров с ним, только потому так отвечал, что его старший сын учился в Ленинграде именно в Институте народов Севера. Что есть такой институт, настолько потрясло Ювана, слова «народы Севера» казались ему такими яркими и невероятно весомыми, что теперь по отношению к себе на меньшее он не был согласен.

А приехал Юван в Ленинград, чтобы повидать сына. Оленины копченой, соленой рыбы и несколько песцовых шкурок ему привез; шкурки — исключительно на подарки. Сын, разумеется, очень обрадовался отцу, так обрадовался, что, только покосившись на подарки, даже не рассмотрев их, ни одной из шкурок рукой не коснувшись, поспешил с гордостью показать ему и институт свой, и тот «чум» в пять невероятно высоких этажей, в котором запросто могли бы разместиться люди нескольких стойбищ, а теперь жил он, сын Ювана; познакомил он отца со многими своими товарищами и некоторыми учителями; даже позволил подержать около уха тот черный ящичек, где сами по себе рождались голоса различных людей и диковинная музыка; сказал, что он, тот ящичек, называется радио. А вот от шкурок песцов сын отказался наотрез, заявив осуждающе, что он, Юван, все еще живет во власти предрассудков, что с ними нужно кончать как можно быстрее и навсегда.

Юван, конечно, согласен покончить с ними. Раз и навсегда, если сын этого требует. Но что такое пред-рас-судки? Или здесь так называются песцовые шкурки? Если и так, то почему это очень плохо, когда ты хочешь сделать подарок хорошему или сильному человеку, которого лично знаешь?!

Началась война, захотели фашисты отобрать у Ювана его тундру и холодное, но такое добычливое море — русские братья взяли в руки винтовки. Сын Ювана тоже взял в руки винтовку. Так мог ли он, Юван, бежать от войны в родное стойбище? Ведь он не слабая женщина, он мужчина в расцвете сил!

Потому вслед за сыном и пошел к тем людям, которые, запятнав бумагу фиолетовыми или черными следами-закорючками, всем выдавали винтовку и патроны к ней. Однако Ленинград — город большой, в нем народу, что оленей в тундре. Вот и потерял он, Юван, своего сына в той толчее. Думал, на фронте людей меньше, чем в Ленинграде, и здесь они с сыном обязательно встретятся, но пока такое счастье не выпало.

Кто сказал, что фашисты напали для того, чтобы ото-

брать у него тундру и холодное, но столь добычливое море? Никто не говорил, Юван сам умный и точно знает: враг, когда нападает, всегда хочет отобрать у побежденного самое лучшее.

Капитан Исаев любил длинными вечерами, незаметно вплетающимися в ночь, сидеть перед распахнутой дверцей печурки-буржуйки, неспешно курить и смотреть на огонь. Почему-то особенно приятно было, если рядом присаживался Юван со своей неизменной спутницей — трубкой-носогрейкой. Тогда они, нещадно дымя вместе и порознь, сидели у печурки часами.

Ох уж этот Юван!.. Он, капитан Исаев, и сегодня не знает, чего больше в его словах и поступках: наивности, почти детской доверчивости или хитрости, потайного «второго дна». Так, когда он, капитан Исаев, впервые приказал своей новой роте построиться, почему Юван встал в строй с трубкой в зубах? На самом левом фланге, молчком, с ней обосновался.

Капитан Исаев тогда будто не увидел ни Ювана, ни того, что во рту у него вызывающе торчала холодная трубка, только раз и глянул на него как на пустое место. Как показала жизнь, очень правильно поступил: едва распустил строй, немедленно подошел Юван, как-то с достоинством поклонился поясно и сказал с искренним уважением:

— Твоя, однако, беда хитрая, твоя не хотела видеть меня с трубкой... Закон не велит там стряпать с трубкой? Почему не велит? Трубка мой мешает твоя говорить? Мешает Ювану слышать твоя команда?.. Однако моя с твоя дружба хочет.

Сказал это и ушел. Но с тех пор ни разу не вставал в строй с трубкой во рту. Спрашивается, почему это случилось именно в тот раз? Говорите, роковое совпадение? Может быть, и так. Однако он, капитан Исаев, считает, что со стороны Ювана это была своеобразная проверка, своеобразная проба его, нового командира роты. На внимание, выдержку, командирские решительность и принципиальность.

Часто капитан Исаев откровенно и о самом разном беседовал с Юваном, вот однажды и узнал, почему тот упрямо не встает при появлении капитана Крючкова, как говорится, в упор не видит его. Оказывается, когда еще не было блокады Ленинграда, когда в возможность подобного никто не хотел поверить, капитан Крючков, забежавший в роту буквально на минуту, чтобы сердечно поблагодарить

тех, кто наиболее отличился в последнем отгремевшем бою, вдруг почти столкнулся с Юваном. Он не успел по-настоящему еще осознать, как здесь оказался этот скуластый человек с жесткими черными волосами да почему на нем поверх гимнастерки надета меховая куртка с диковинным капюшоном, а тот запальчиво уже потребовал и оленину, и свежую рыбу. Не щуку какую-нибудь, а самую настоящую! Чтобы отвязаться от неизвестного нахала, в такое напряженнейшее время заботящегося лишь о своем брюхе, капитан Крючков и буркнул скороговоркой: мол, все, перечисленное вами, дорогой товарищ, непременно будет и даже неожиданно быстро. Юван поверил ему. И какое-то, довольно-таки продолжительное, время терпеливо ждал обещанного. Лишь потом, потеряв терпение, а с ним и веру в силу слова капитана Крюčkова, глубокомысленно изрек, что это очень плохо, если у человека лживый язык. С тех пор и стал делать вид, будто не видит и не слышит капитана «Крючка».

Обычно разговор — неторопливый, степенный и с длинными паузами, которые нисколько не мешали ему, не рвали его полотна, — шел часами. А вот сегодня он быстро заглох. Скорее всего потому, что для начала его капитан Исаев сказал: дескать, пора тебе, Юван, начать учиться правильно говорить по-русски.

— Твоя моя не понимаю? — удивился Юван, хитро стрельнув в него раскосыми, слегка прищуренными глазами.

— Я любого человека всегда пойму, если он дело, правду говорит, — несколько хвастливо ответил капитан Исаев. — Но почему «твоя-моя», если можно сказать и правильно? К примеру, неужели ты, Юван, не можешь запомнить, что у нас...

Юван не позволил ему закончить мысль, он, пряча в черных глазах усмешку торжества, сказал, не вынимая изо рта дымящей трубки-носогрейки: мол, слышал как-то от сына, который теперь беда насколько ученый, что у русских есть род мужа, жены и никого; однако все эти рода и прочее лишь обман глупых людей. Не веришь? Тогда ответь... Олень принадлежит роду мужа или жены? Говоришь, мужа... А почему тогда он, тот самый олень, как только мужчина убьет его, в род жены переходит? Олени-на!.. Почему молчишь, длинная капитана? Сказать нечего?.. Юван, он долго думал, он может привести и другие примеры двуличия бога, которого русские называют Грам-

матикой. Хочешь?.. Рыба у русских при дележке между людьми досталась роду жены. Пусть будет так, хотя и не понятно почему: ведь добывает ее мужчина. Однако разве можно ее, рыбу, и настоящего мужчину одним именем называть? Не понимаешь? Тогда скажи честно: карп — это рыба или мужчина?

Не был готов капитан Исаев ответить на эти вопросы. Достоинство ответить. Потому, швырнув в печурку окурок, уже обжигавший губы, махнул рукой: мол, некогда мне с тобой сегодня разговаривать, — надел шинель, рукой привычно нашарил автомат и вышел из землянки; следом за ним, не вынув изо рта трубки, скользнул Юван: он считал, что просто обязан оберегать длинного капитана, который ночью, как и все другие русские братья, почему-то видел хуже, чем Юван. Может быть, потому, что они отродясь не пивали горячей оленьей крови, не ели с ножа мороженой рыбы?..

Кроме того, Юван считал только себя виноватым в том, что длинный капитан убежал в ночь: нельзя было задавать ему такие умные вопросы.

Юван очень уважал длинного капитана. За спокойствие во время вражеских бомбежек и минометных обстрелов, когда даже ему, Ювану, порой становилось немного страшновато, за четкость немногословных приказов и команд, за умение сидеть молча у огня и главное — за рост. Даже тайком подумывал, что хорошо бы, когда будет убит последний фашист, заманить длинного капитана в свое стойбище и женить на дочери, которой скоро исполнится уже шестнадцать лет; случится это — в их народе самыми высокими, самыми видными станут внуки его, Ювана!

Ночь встретила их легким морозцем, невесомыми снежинками, плавно скользившими в неподвижном воздухе, и полной тишиной. Лишь на том, северном, берегу Финского залива, где-то в районе Лисьего Носа, падая, нехотя догорала вражеская белая ракета.

Даже плохо верилось, что каких-то часа два назад здесь угрожающе звонко рвались фашистские мины и их горячие зазубренные осколки разногласо повизгивали, раздирая воздух.

И даже воя той собаки сейчас не было слышно. Сдохла она, что ли?..

Та собака — огромная овчарка с глазами, налитыми кровью, — впервые дала о себе знать суток десять назад.

Всю ночь она тогда провыла, словно жалуясь на свою судьбу.

На другой день утром, когда отгремели разрывы очередного фашистского минометного налета, капитан Исаев сам пошел взглянуть, что это за собака и почему она почти непрерывно воеет так тоскливо. Нашел ее в разбитом снарядом трамвайном вагоне; вражеский снаряд попал в него так хитро, что начисто срезал название маршрута, по которому трамвай еще недавно бегал; только номер — 29 — и оставил. К обгоревшей железной стойке в вагоне цепью и была привязана собака.

Увидев капитана Исаева и сержанта Перминова, овчарка, оскалив впечатляющие клыки, рванулась к ним. Цепь отбросила ее назад. Так повторилось несколько раз. Но овчарка не успокаивалась, она все бросалась и бросалась на пришельцев, предупреждая их, что до последнего своего дыхания намерена защищать, охранять то, что доверил ей хозяин.

— И чего такого пса здесь цепью прикрутили? — недоумевающе повел плечами сержант Перминов. — Бесчеловечно это. Своего верного друга на голодную смерть обрекать.

— Сейчас ты, пожалуй, пальцем небо дырявишь, пожалуй, чтобы спасти, хозяин и привел собаку сюда. Что ни говори, а теперь она в непосредственной близости от фронта. Чует мое сердце, в душе надеялся ее хозяин: авось кто из фронтовиков подберет кобеля. Ведь у нас паек чуток побогаче.

Верно, фронтовой паек побогаче, чем у жителей Ленинграда; правда, с него жиру и грамма не нагуляешь, зато и доходягой не скоро станешь.

Сегодня тот пес, похоже, настолько ослабел от голода, что и выть не может...

Вокруг было тихо, сказочно спокойно. И капитан Исаев решил, он сказал сержанту Перминову, что сходит до того трамвайного вагона, в котором на привязи томится собака. Сгуляет только до него, лишь глянет, жива ли та псина, и сразу обратно. Думается, более двадцати минут все это не займет.

Сегодня пес, вовсе обессиленный от голода и холода, уже не скалил зубов, он, лежа в закутке, образованном оторванной обшивкой трамвайного вагона, даже не шевельнулся, лишь глазом покосил. И заворчал. Больше, пожалуй, жалобно, чем угрожающе.

Глядя на лобастую голову, бессильно упавшую на вытянутые передние лапы, капитан Исаев понял, что голод и холод сломили (или только согнули?) этого пса, что сейчас он уже почти забыл своего недавнего хозяина, что теперь он ничего не охраняет, а лишь ждет помощи от людей. И в душе капитана Исаева вдруг зашевелилась, заворочалась, пробуждаясь, жалость, которой на войне вроде бы и вовсе нет места.

А Юван, присевший на корточки почти около морды пса и тыча в направлении ее холодной трубкой, неторопливо говорил:

— Совсем плохой собака. Охота нет, ехать нет, холода боится.

Капитан Исаев мог бы сказать, что собак этой породы никогда не использовали в качестве охотничьих или ездовых, что дрожит пес сейчас больше от нестерпимого голода и нервного перенапряжения, чем от мороза. Вместо этого он проговорил как только мог ласково, сочувствующе:

— Выходит, псина, бросил тебя твой хозяин? И стал ты теперь, так сказать, бесхозным имуществом?.. Что ж, в жизни всякое случается, на то она и жизнь... Сейчас мы освободим тебя от цепи, и тогда ты уж сам решай, в какую сторону тебе податься... А пока на, пожуй, — и протянул окаменевший ржаной сухарь.

Опасался, что сухарь будет схвачен с жадностью, был готов в любую секунду отдернуть руку, если грозные клыки окажутся в угрожающей близости, но пес взял сухарь осторожно, за самый краешек и не всей пастью, а лишь передними зубами. словно страшился резким движением отпугнуть человека. Зато, завладев сухарем, сразу же захрумкал им, а еще через минуту или около того вновь уставился уже подобранными глазами на человека, давшего сухарь, был готов не только принять от него еще одну подачку, но и угадывать его желания.

А капитан Исаев, продолжая добродушно бурчать: мол, не настало еще время погибать такой псине, не настало, — отцепил от ошейника цепь и небрежно бросил ее на обгоревшее железо. Сделал это и пошел к окопам, к землянке, где его ждали товарищи и благодатное тепло. За ним, недоумевающе передернув плечами, зашагал Юван. А пес некоторое время еще оставался в обгоревшем трамвайном вагоне, он все еще не мог решить, как следует поступить: остаться здесь, выполняя волю прежнего хозяина, или послушно затрусить за этим высоким человеком.

Немного поскулив больше для приличия, чем по необходимости, он нервной рысцей бросился в погоню. Догнав, виновато опустил голову, поджал хвост и побрел не вообще за ними, а решительно вклинился между капитаном Исаевым и Юваном. Почему брел понуро? Может быть, потому, что без разрешения прежнего хозяина ушел от того остова трамвайного вагона, который ему было приказано охранять.

Вслед за высоким человеком, давшим ему такой вкусный сухарь, он без особой охоты вошел в землянку, где в его ноздри враз ворвалось столько различных человеческих запахов, что он на некоторое время даже растерялся. Немного оробел, но, желая скрыть это, оскалился, глухо зарычал. Однако люди не испугались рыка: они будто вообще не услышали его, только взглянули на пришедших и снова одни улеглись; другие уткнулись глазами в книгу, склонили головы над шахматной доской или просто возобновили разговор.

А высокий человек прошел в дальний угол землянки, протерев, пристроил автомат в изголовье лежанки и лишь тогда сказал, положив руку на голову пса, который мгновенно напрягся каждой мышцей своего большого тела:

— Перминов, прошу тебя: с завтрашнего дня всегда в списке личного состава указывай на единицу больше, чем есть в роте.

— Понял, — без тени колебаний ответил тот.

— Значит, в Ленинграде люди от голода семьями вымирать будут, а мы для кобла обманом человеческие пайки добывать станем? — с ехидцей и тайной угрозой в голосе громко сказал солдат Акулишин — белобрысый парень с настолько плоской и широкой переносицей, что, не приглядевшись, ее можно было посчитать расплющенной сильным ударом.

Солдата Акулишина в роте не любили. За мелочную жадность и постоянное стремление быть в центре общего внимания; пусть даже откровенно плохо, но только бы о нем говорили. И капитан Исаев сразу же резко осадил его, как только он попытался подличать. Не просто запретил впредь поступать подобным образом, не обругал, а чуть ли не при всей роте спросил у того ополченца, на которого Акулишин донес: дескать, правда ли это? Конечно, когда Акулишин «информировал» капитана, рядом никого не было, вроде можно было бы и отпереться: мол, у меня и в мыслях ничего подобного не было, — однако он кожей сво-

ей, каждой клеточкой своего тела почувствовал, что товарищи безоговорочно поверили каждому слову капитана, что попытаться оправдаться сейчас — окончательно сгубить себя. И он смолчал, опустил глаза, чтобы не встречаться с презрительными взглядами.

С тех пор, виновником всего неприятного, случившегося с ним, почему-то считая лишь капитана Исаева, возненавидел его и только ждал случая, который дал бы возможность побольше цапнуть, если не стереть в порошок. Сегодня, казалось, такая возможность представилась, потому громко и «вступился за правду». Ожидал, что командир роты, услышав это обвинение, откровенно вздрогнет или на какое-то время даже потеряет дар речи; в поддержке товарищей, зная их партийную принципиальность, и вовсе не сомневался. Тем неожиданнее было услышать то, что сказал солдат Карпов, задумчиво глядя на потемневшие от копоти бревна наката:

— Вношу поправочку: не кобла, как выражаются некоторые, а сторожевого пса мы подкармливать собираемся... И еще одно... У нас в деревне одно время тоже сволочь жила. Которая с лживыми доносами по начальству бегала, чтобы честных людей опорочить.

Сказал это и замолчал, сжав губы в злую узкую полоску.

— А дальше что? — подстегнул его вопросом кто-то из юных ополченцев.

— Как что? — удивился Карпов. — Жила, жила да вдруг пропала в один распрекрасный день. Вовсе неожиданно. Утром еще воняла, а к ночи взяла и вся вышла. — Помолчал и добавил: — И, как из дому пишут, по сей день не объявилась.

Акулишин намек понял, и зябко стало его затылку, спине, неволью подумалось, что здесь, во фронтовой обстановке, любому человеку, если многие захотят, «потеряться» и вовсе легко. Он торопливо взглянул на капитана Исаева, тая слабую надежду, что уж он-то обязательно одернет Карпова, но тот, помолчав, только и сказал:

— Считаю, этот пес получше иного из нас службу нести будет. Караульную, сторожевую имею в виду. Так и доложу командованию батальона уже завтра на зорьке... Воров в нашем роду не было и не будет.

Пес, когда капитан Исаев заговорил, казалось, ловил смысл каждого его слова. Однако, едва рука капитана

Исаева стала опускаться ему на голову, зажмурил глаза, прижал уши и еле слышно утробно заурчал.

Рука капитана Исаева все равно легла псу на голову, пальцы легонько почесали у него за ушами. И тотчас появились, всплыли из глубинных тайников собачьей души забытые воспоминания о человеческой ласке. А пальцы человека неторопливо и уверенно скользнули уже к ошейнику, прошлись по его внутренней стороне и вдруг замерли на мгновение, чтобы потом вытащить записку. В ней было всего три слова: «Его зовут Пиратом».

Капитан Исаев, прочитав вслух эти три слова, сказал, вновь положив руку на лобастую голову пса:

— Мы и с Пиратом уживемся, если он остережется своих покусывать.

— На наших теперешних союзничков намекаете, Дмитрий Ефимович? — с самым невинным видом спросил Юрий Данилович, хитровато поблескивая стеклышками пенсне.

Люди в землянке ответили сдержанным смешком.

10

Жизнь текла настолько обыденно и удручающе медленно, что казалось, будто невозможно ожидать каких-либо перемен вообще. Не только масштабных, но и малюсеньких, касающихся только их роты. И вдруг в самом конце декабря, когда до новогоднего праздника было рукой подать, фашисты снова начали наступление. Случилось это ранним пасмурным утром, когда казалось, будто тучи, степенно плывущие по небу, вот-вот зацепятся если и не за вершину какой-нибудь вековой липы, чудом уцелевшей в аду, бушевавшем здесь вовсю недавно, то уж за трубы одного из ленинградских заводов — непременно. О начале своего наступления фашисты оповестили ураганным минометным и артиллерийским огнем; сотни вражеских мин и снарядов тогда враз обрушились на линию нашей обороны. Не после завтрака, как неизменно бывало ранее, а за полчаса до него.

Так неистов был вражеский обстрел, что не минуло и десяти минут после его начала, как вокруг наших окопов снег почернел от осевшей на него копоти или вообще скрылся под земляным крошевом, щедро брошенным множеством снарядных разрывов.

В роте капитана Исаева от того яростного огневого шквала потерь не было: едва прогремели первые взрывы

вражеских снарядов и мин, все бойцы, оставив в окопе лишь двух наблюдателей, от вражеского огня поспешили укрыться в блиндажах и землянках, сделанных с полным пониманием обстановки, надежно, добротнo. Здесь, телом своим чувствуя лихорадочную дрожь земли, и сидели, прижавшись друг к другу, пока вражеский огневой налет не оборвался так же внезапно, как и начался. Прогремель разрыв последней вражеской мины — дружно бросились в окоп, каждый точно на свое место, обжитое, даже по росту подогнанное.

В тот момент места в окопах заняли, когда, исхлестанные отрывистыми командами, на бруствер своих окопов стали вылезать фашисты, большинство — неохотно, с явной боязнью. Но были среди них и такие, что вставали во весь рост и с необъяснимой лихостью, словно смерть или увечье их нисколько не пугали. Были фашистские солдаты в шинелях и без них. Те, которые вскарабкались на бруствер лишь в одних френчах, поспешили встать на лыжи, услужливо поданные из окопа, и сразу бросились в атаку, истошно вопя что-то; прочие, тоже разевая рты в яростном вопле, побрели за ними, временами проваливаясь в снег чуть не по пояс.

Атакующих фашистов было в несколько раз больше, чем наших бойцов, державших оборону. Но капитан Исачев не испытывал ни малейшей тревоги за исход этого боя, он даже позволил себе крикнуть от удовольствия, увидев, что на лыжах бежали в атаку лишь немногие, что они — каждый сам по себе и как только мог быстро — просто рванулись вперед, не глядя по сторонам, не оглядываясь назад. Он лишь сказал спокойно, зная, что его услышат те, кому положено:

— Снайперам вести огонь только по лыжникам. Сугубо прицельный!.. Всем прочим терпеть до моей особой команды.

Пять снайперов было в роте, все они почти без промедления выполнили его приказ. Чуть погода, но уже с заметным разнобоем, вновь ударили все те же винтовки. Еще раз, еще, и вот, потеряв почти всех офицеров, фашистские лыжники стали поворачивать назад. Они уже поняли, что смерть близка, что лишь счастливым удастся вернуться в свои окопы; и движения их сразу стали неловкими, излишне торопливыми, крадущими секунды столь драгоценного времени.

А снайперы роты знай себе постреливали. Без особой спешки, выборочно.

В тот момент, когда фашистские лыжники смешались с теми своими однополчанами, которые просто брели по снегу, порой проваливаясь в него почти по пояс, капитан Исаев и крикнул, рубанув рукой по воздуху:

— Огоны!

Будто порыв шалого ветра сорвал часть снега с бруствера, настолько дружен и неистов был пулеметный и автоматный огонь роты. Он бесновался всего лишь несколько минут, а на нейтральной полосе, где, казалось, еще недавно были сотни гитлеровцев, стало безлюдно. Конечно, если не брать во внимание убитых и раненых фашистов. Эти, как и черные воронки от взрывов множества снарядов и мин, неприятно для глаз пятали снег, изрытый сотнями ног; вражеские трупы и воронки от взрывов мин и снарядов казались чем-то инородным, даже враждебным всему земному.

Теперь можно было чуточку и передохнуть. И капитан Исаев, сдвинув шапку на затылок, как человек, которому выпало поработать на совесть, вытер рукавом шинели пот со лба, посмотрел прежде всего на своих соседей по окопу. Сразу же увидел младшего лейтенанта Редькина. Тот, внутренне бесконечно радуясь, что не струсил в первом для себя бою, тщетно пытался дрожащей рукой засунуть в кобуру пистолет, из ствола которого, чудилось, еще тянулась тоненькая струйка сизоватого дыма. Разумеется, можно было, будто мимоходом, обронить: дескать, стрелять из пистолета почти на триста метров, стрелять по цели — лишь трата патронов, которые в блокадном городе особо высокую цену имеют. Но лицо младшего лейтенанта Редькина щедро излучало такую откровенную радость, что капитан Исаев смолчал, ограничился лишь тем, что потрепал загривок Пирата, с самого начала вражеской атаки сидевшего около его левой ноги и внимательно следившего за каждым знаком, за каждым движением своего нового хозяина. Пират, когда тот побежит вперед, тоже выскочит из окопа и все время будет слева, опережая только на длину своего тела, чтобы немедленно броситься на любого, кто осмелится поднять на него руку. В этом — в защите хозяина — сейчас Пират и видел свое наиглавнейшее назначение.

Младший лейтенант Редькин все-таки засунул свой пистолет в кобуру и, по-прежнему сияя улыбкой, подошел к

капитану Исаеву, сказал подчеркнуто официально и чуть торжественно:

— Прибыл в ваше распоряжение. Для восполнения потерь в личном составе, так сказать, для усиления боевой мощи вашей роты.

Рядом, услышав такое, кто-то из матросов восторженно хохотнул и тут же смолк, даже засмутился под укоризненными взглядами товарищей: нельзя, недопустимо высмеивать хорошие порывы человеческой души.

А младший лейтенант, которому его внутренняя восторженность помешала услышать ехидный хохоток, теперь радостно смотрел на Пирата, наострившего уши, спрашивал уже о том, что к недавнему бою не имело никакого отношения:

— Это и есть та самая собака, о появлении которой в вашей роте нам недавно просигнализировали?

Выходит, хотя и предупреждали, все же посмел накапать Акулишин!

Младший лейтенант не уловил смены настроения у людей, находившихся рядом, ему сейчас было просто необходимо говорить и говорить. Чтобы слушать свой голос, как убедительнейшее подтверждение того, что он, Сашка Редькин, не только побывал в недавнем яростном бою, но и вышел из него без единой царапины! И он сказал исключительно для того, чтобы хоть в малой степени удовлетворить это столь внезапно возникшее желание:

— Между прочим, командование бригады одобрительно отзывается о ней, говорит, что она вовсе не даром ест свой паек.

Радуясь, что фашисты дали возможность передохнуть да и с Пиратом все обошлось, Карпов с откровенным самодовольством заявил:

— Должен заметить, товарищ младший лейтенант, что в нашей роте дармоеды вообще не в почете. Им, если сказать откровенно, у нас полная и окончательная хана.

А младший лейтенант Редькин все еще не может полностью прийти в себя, теперь он, уже напрочь забыв о Пирате, наседает на капитана Исаева, наседает без раздражения или упрека в голосе:

— Мне думается, что потери у фашистов были бы еще более ощутимыми, если бы мы ударили по ним сразу всей ротой?

Нет, он не требовал объяснения, даже вообще не жаж-

дал услышать что-то в ответ. С него было вполне достаточно и того, что звучал его голос.

Смолчал капитан Исаев, оберегая радость младшего лейтенанта, хотя, исходя уже не из учебников или чьих-то рассказов, а из собственного боевого опыта, мог бы клятвенно заверить, что самой жизнью установлено: почему-то всегда процент попаданий в атакующих меньше, чем в убегающих от тебя. Не потому ли, что у любого самого надежного солдата начинают пошаливать нервы, когда он видит врага, яростно несущегося на него, именно ему угрожающего неминуемой смертью? Вот чуток и рябит у солдата в глазах, вот чуток и подрагивает рука. Значит, что бы случилось, если бы он, капитан Исаев, не одним снайперам, а сразу всей роте приказал открыть огонь? Согласен, врагов уничтожили бы побольше. Однако позволительно спросить: а сколько боевых патронов было бы израсходовано, вернее — профуковано? В допустимой ли пропорции к потерям гитлеровцев?

Возможно, исключительно для того, чтобы всем добавить ума-разума, капитан Исаев все это и высказал бы младшему лейтенанту (что ни говорите, а замечание его немного царапнуло по больному месту). Мысленно даже прикинул, что было бы и вовсе преотлично, если бы удалось втолковать этому восторженному юнцу, что война — это не просто так, пуляй, пока патроны есть, или ори «ура», если командир приказал наступать, что в любом бою мозгами ой как напряженно шевелить надо. Следовало бы прямо сказать и о том, что в бою нужно обязательно прислушиваться и к собственному внутреннему голосу, если обстановка и боевой приказ позволяют не перечить ему. А что есть он, тот внутренний голос, капитан Исаев имел возможность убедиться не раз. Но он еще только думал, с чего начать этот разговор, поучительный для многих, а фашисты уже вновь обрушили на наши окопы множество снарядов и мин. И немедленно откуда-то слева сквозь грохот разрывов прорвался истошный вопль:

— Санитара сюда!!!

Пять раз за этот день фашисты бросались в атаку и пять раз бесславно бежали назад, оставляя на ничьей полосе своих убитых и раненых.

Между теми атаками было четыре передышки. Во время одной из них, когда успели накуриться и несколько отойти, отмякнуть душой, младший лейтенант Редькин и сказал, что о сегодняшнем наступлении врага очень своевре-

менно сообщила наша разведка, поэтому, чтобы хотя и ничтожно мало, но усилить роты, многие из которых едва-едва могли сойти за взвод мирного времени, командование бригады и послало в окопы всех, кто нес службу в штабе бригады. Командир и комиссар бригады, взяв автоматы, ушли в окопы! Или у особистов кишка тонка?! Короче говоря, все, кто только мог, сегодня с рассвета на передовой. Рядовыми бойцами. Ему, младшему лейтенанту Редькину, приказано находиться здесь, в роте капитана Исаева.

Уйти из окопа в землянки капитан Исаев своим бойцам разрешил лишь в полной темноте, которую сегодня фашисты даже не пытались искромсать в ключья осветительными ракетами. Как считал капитан Исаев, чтобы немногие солдаты, чудом уцелевшие после пяти неудачных атак, не смогли увидеть всех окоченевших тел в серовато-зеленых мундирах и шинелях; похоже, фашистское командование надеялось: авось к утру их припорошит снегом.

Усталые, можно сказать, не пришли, а приползли бойцы роты капитана Исаева в свои землянки, растопили печурки-буржуйки и уселись около них на лежанки или просто на земляной пол, бездумно глядя прямо перед собой или на язычки пламени, торопливо, жадно пожиравшие те немногие щепочки, которые были пожертвованы им сейчас. Хотя старшина роты уже давно притащил в термосах сразу обед и ужин, есть не спешили. На это у них сил пока не было.

Посидели, помолчали, сколько душа требовала, а потом, когда Карпов еле слышно звякнул котелком, доставая его из вещевого мешка, так дружно набросились на еду, что за считанные минуты все подчистили — самая настырная мышь крохи для себя не смогла бы найти.

Уничтожили сразу обед и ужин, перекурили. Без спешки, всласть. Чтобы настроение стало и вовсе нормальным.

Не любил, даже ненавидел солдат Карпов подобные минуты всеобщего молчания. В армию его призвали из деревеньки, почти затерявшейся среди бездорожья на севере Кировской области; жители их деревушки шутили: дескать, круглый год к нам только волки шастают, да и то лишь потому, что местных лесов уроженцы, вот и не тонут в здешней весенней и осенней грязюке.

До службы в армии Карпов искренне считал, что ему на всю жизнь и с избытком хватит тех знаний, которые успел получить за четыре года обучения в сельской школе.

И отец, и оба дяди так же считали. Но лишь начал осваиваться на военной службе — вдруг понял, что все его знания, которыми еще недавно так гордился, можно сказать, даже кичился, вовсе ничего, почти пустое место. В разговорах с товарищами по роте это почувствовал. Тогда и стал чуть что вроде бы отшучиваться, пряча стыд в глубину души: дескать, мы — от сохи-матушки, дескать, мы университетов разных не кончали. С особым презрением и смаком выговаривал «университетов разных», хотя даже понятия не имел: а чем они от институтов отличаются; только названием или есть закавыка и во внутренней начинке?

До тех пор за этими пустыми словами свое невежество пытался прятать, пока однажды не ляпнул их при командире взвода. Тот, посуровев лицом, и врезал полным голосом, что отсутствие должного образования — не доблесть, не заслуга, а большущая беда любого человека, так что, красноармеец Карпов, не хвастаться, а плакать горькими слезами тебе надо; главное же, побыстрее, пока время окончательно еще не убежало и есть возможности, наверстывать упущенное.

Перечить лейтенанту красноармеец Карпов не осмелился, лишь после его ухода немного еще похорохорился перед товарищами: мол, нас, вятских, учить не надобно, мы до всего рубцами и синячищами на своих боках привыкли доходить. Хорохорился, но взял на заметку то, что сказал лейтенант. А потом и сама жизнь доказала: только суровую правду подарил тогда лейтенант ему, красноармейцу первых месяцев службы.

Убедился в этом — стал учиться. Нет, взять в полковой библиотеке учебники еще стеснялся, пока он решил идти к знаниям другим путем: пополнял, подправлял и расширял свое образование в основном за счет того, что теперь ни одной лекции старался не пропустить, на встречи со всеми знаменитыми людьми, которых в часть приглашали, сломя голову несся, вообще в любой разговор товарищей вслушивался, если он не был вовсе безответственным трепом.

Особенно полезными для него разговоры товарищей стали с тех пор, как в роту влились ополченцы; были среди них и студенты институтов и техникумов, а Юрия Даниловича — того самого, у которого во всех карманах настоящие залежи самых различных таблеток, — кое-кто из них иногда не по имени-отчеству, а профессором навеличивает. Что ж, очень даже возможно, что так оно и есть: говорит

он всегда как-то округло и с внутренней убежденностью в правоте, в правильности всего сказанного.

И профессия у него, если Карпов все правильно понимает, до крайнего ужаса ученая: филолог он, то есть за весь русский язык перед партией и народом в ответе.

Прошло еще какое-то время — заметил солдат Карпов, что стал жадным до знаний. Причем особенно теперь, когда война в любую секунду могла оборвать его молодую жизнь. Поэтому, если все молча пилились на огонь или равнодушно утрамбовывали лежанку своими боками, считал время безвозвратно потерянным. В такие минуты, случалось, задавал вопросы или бросал реплики. Исключительно для того, чтобы растормошить товарищей, вызвать их на разговор. Хоть о чем. Ведь чрезвычайно редко людская беседа бывает абсолютно пустой.

Вот и сегодня, отводя в сторону плутоватые глаза, Карпов вдруг спросил:

— Товарищ младший лейтенант, разрешите вам подкинуть вопросик? Сугубо личного плана?

Тот кивнул вполне доброжелательно.

— Только прошу ответить честно, как самому себе... Небось впервой-то в бою здорово страшно было?

Младший лейтенант, как показалось всем, находившимся в землянке, молчал долго. Потом с превеликим трудом все же выдал из себя:

— Понимаете, я, кажется, весь минувший день до мелочей помню...

— Ну и? — торопит, подстегивает Карпов.

— Не посчитайте за бахвальство, но у меня сложилось впечатление, будто мне вовсе не было страшно... Нисколечко...

— Врешь, — со свойственной ему прямотой и откровенно грубо вмешался в разговор капитан Исаев.

— Товарищ капитан! — вспыхнул от обиды младший лейтенант.

— Дмитрий Ефимович я, когда не в строю, — парировал тот. — А что касается страха, тут врешь. Или за превеликим волнением, порожденным первым в твоей жизни настоящим боем, позабыл про него вовсе... Был он у тебя, тот страх, обязательно был. Поскольку ты нормальный человек...

— А не чурка с глазами, — врезал в начавшийся разговор свою реплику Карпов, тут же схлопотал от сержанта Перминова шуточный, но чувствительный подзатыльник

и с наигранной поспешностью юркнул на лежанку, блаженно жмурясь, поудобнее улегся на ней. Он был доволен: очень внимательно солдат Карпов вслушивался в любой разговор, стараясь уловить и запомнить что-то новое для себя, но особенно любил он слушать своего капитана. И только потому, что мысли того не петляли, они уверенными стежками вели за собой и высказывались не заумными словами, а попросту, теми самыми, какими и мужики в родной деревне пользовались, когда обсуждали мирские дела.

А сегодня именно товарища капитана удалось втянуть в разговор, это он сейчас говорил для всех, хотя глядел только на младшего лейтенанта:

— Человеку, если он нормальный, все свойственно. И любовь эта самая хваленая, и зависть, и страх, и доброта, и все прочее, что мать-природа в жизненный обиход вплела... Вот и мыслю я, ежели вообще-то можно так говорить, что страх — исходные данные для задачи, которую человеку за годы своей жизни множество раз необходимо решать, что сам по себе он, тот страх, жить долго не способен. Почувствовал его иной человек, вступил в борьбу с ним и оборол — вот тебе и готово вовсе новое душевное состояние. Мужеством оно называется. И уважаемо всеми. А почему, спрашивается, оно людьми уважаемо? Потому, что оно и само по себе прекрасно. Да и в любую минуту запросто в настоящий героизм превратиться может... Не совладал человек со страхом, поддался ему — получай уже не мужество благородное, а самую обыкновенную пропагану трусость... Случилось такое, считай, вот и погиб человек бесславно. Только потому, что в самую трудную, в самую решительную минуту своей жизни дозволил себе ничтожно малую слабину.

Высказался капитан Исаев — в землянке на какое-то время воцарилась глубокая тишина. Потом Юрий Данилович уважительно сказал:

— А я, Дмитрий Ефимович, даже не подозревал, что у вас философский склад ума...

— Какой уж есть, не обессудьте, с тем и живу, — несколько запальчиво, даже грубовато ответил капитан Исаев, которому казалось, что он погорячился и зря почти при всей рофе высказал то, до чего с превеликим трудом додумывался долгими бессонными ночами.

Юрий Данилович, похоже, хотел ответить, объяснить, что не осуждает, а в принципе одобряет его мысли, что

если в той теории и не все абсолютно верно, если она даже и нуждается еще в додумывании, в доработке, то даже и это уже прекрасно: не пустышкой разродился. И пенсне свое водрузил на горбинку носа Юрий Данилович, что делал всегда, если намеревался вступить в принципиальный спор! Но тут в землянку шариком скатился капитан Крючков, бросив еще с порога: мол, команду «смирно» подавать не следует, чтобы не мешать общему отдыху. Как всегда, стремительно подкатился к столу, не сел, а плюхнулся задом на лежанку напротив капитана Исаева и выпалил весело, задорно поблескивая серыми глазами:

— Так вот, дорогой Дмитрий Ефимович, официально довожу до сведения всех твоих бойцов, что командование бригады за умелое руководство ротой в минувшем бою пожаловало тебе сутки отпуска, провести которые надлежит в Ленинграде. Целые сутки в Ленинграде!.. Почему не плывешь в радостной улыбке, почему не слышу от тебя слов горячей благодарности?

— Да я...

— Молчать! — шутливо, нарочито театрально прикрикнул капитан Крючков, настроение у которого было прекрасным. И тотчас Пират, неслышно лежавший около левой ноги капитана Исаева, стремительно вскочил, уперся передними лапами в столешницу, и его морда, оскаленная яростно, оказалась в считанных сантиметрах от лица командира батальона.

Капитан Исаев поспешно схватил Пирата за ошейник и крикнул как только мог властно:

— Фу!

Пират ответил глухим ворчанием. Правда, менее грозным, чем можно было ожидать, и неохотно лег на прежнее место.

— С чего он это, а? Не сбесился часом? От нервного перенапряжения? — понизив голос почти до шепота и осторожно выбираясь из-за стола, спросил капитан Крючков.

— Сведущие люди рассказывали, что у собак этой породы особенно здорово развит инстинкт защиты своего хозяина. Значит, с точки зрения науки Пират действовал даже очень логично.

— А мне, если говорить честно, начхать на всю собачью логику! — вспылал капитан Крючков, но тут же совладал с собой и продолжил, уже явно подтрунивая над тем, что случилось недавно: — Выходит, Дмитрий Ефимович, теперь я и голоса повысвить на тебя не могу?

— Отчего жё? Я — человек не гордый, так что повышай, сколько душе угодно, — с внутренней усмешкой ответил капитан Исаев, довольный, что командир батальона не затаил обиды. — Как только внутренне распалишься настолько, что захочешь обязательно обласкать меня словом, так сразу и беги метров на пятьсот или поболее того, стой там недвижимо и повышай голос хоть до самой возможности.

Солдаты, матросы и ополченцы, заметив, что комбат правильно реагирует на шутку командира роты, тоже посмеялись, правда сдержанно, с некоторой оглядкой. Потому сразу будто и подавились смехом, как только командир батальона свел брови к переносице. А он, держась поближе к выходу из землянки, сказал, словно между прочим:

— Значит, мы с тобой, Дмитрий Ефимович, так и договорились: завтра на утренней зорьке ты шагаешь в Ленинград. Прихватишь с собой младшего лейтенанта Редькина и шагаешь.

— Его-то зачем прихватывать? Вместо конвоя, что ли? — насторожился, нахмурился капитан Исаев.

— Глупее ничего не мог придумать? — осторожно покосившись на Пирата, не спускавшего с него злых глаз, огрызнулся капитан Крючков. — Или ты так хорошо знаешь Ленинград, что и без провожатого самое историческое, самое красивое мигом найдешь?.. То-то и оно, а ты, дурило...

Не договорил капитан Крючков того, что намеревался сказать. Просто махнул рукой пренебрежительно и ушел в ночь, которая угрюмой тишиной укутала поле недавнего боя.

Ушел командир батальона — солдат Карпов немедленно посоветовал идти в Ленинград не на рассвете, до которого еще около полусуток, а сейчас: надо ли, допустимо ли терять часы, если они могут запросто больше никогда не повториться? Говорите, у вас нет специального пропуска для хождения по ночному Ленинграду? А младший лейтенант Редькин на что? Да с его документами хоть в Смольный смело шагай!

11

Не воспользовался капитан Исаев подсказкой солдата Карпова: в базарный день грош цена тому командиру, который дисциплину в своей части сам изнутри подрывать

начнет. Однако вышли они из землянки все же часа за три до рассвета: решили пораньше попасть в город, чтобы, не выжидая окончания срока, дарованного командованием бригады на отдых, управиться со всеми своими делами и пусть даже глубокой ночью, но уже сегодня же обязательно вернуться в окопы. Или, как сказал капитан Исаев, «домой вернуться».

Шли как могли быстро, шли по улицам и улочкам Ленинграда, вовсе безлюдным в эти ранние утренние часы. Между снежных сугробов, дотянувшихся своими гребнями, кое-где подернутыми желтизной, почти до окон первых этажей. Мимо домов, казавшихся покинутыми жителями и поэтому особенно громоздких, мрачных. Видели и несколько окоченевших тел, припорошенных снежком.

Снег звонко скрипел под валенками. И больше никаких звуков в ночи, еще упрявившейся, еще не хотевшей отступить перед неумолимо приближающимся днем. Молча шли. Потому, что капитан Исаев уже твердо и бесповоротно решил, что с историческими местами и красотами Ленинграда обязательно ознакомится когда-нибудь в следующий раз, если жив будет и судьба вновь даст ему возможность побывать в этом городе, а сегодняшний день — весь, без остаточка! — проведет с Полиной, поможет ей советом и делом. Конечно, если сил и ума хватит. Вот только как сказать о своем решении этому особисту, сказать так, чтобы не очень обидеть? Ишь, как решительно он вышагивает...

Ничего подходящего не придумал капитан Исаев, а младший лейтенант Редькин уже вошел в подъезд какого-то невероятно мрачного дома, шагая через ступеньку, поднялся на второй этаж и несколько раз основательно ударил пяткой в дверь, кое-где еще сохранявшую следы недавней обшивки.

Через какое-то время глухо звякнул откинутый железный крюк, дверь приоткрылась и в ее проеме стала смутно видна женщина. Она и оказала просто, даже приветливо:

— побыстрее входите, Саша. Чтобы не выстудить квартиру.

Капитан Исаев узнал этот голос. И шагнул вперед, нетерпеливо протянув руки. А Полина какое-то время еще вглядывалась в него. Зато потом, еще не вполне веря выпавшему ей счастью, припала к отцу всем своим исхудавшим телом, которое сейчас состояло, казалось, лишь из живота, вызывающе топорщившего ватник, надетый поверх

мужского пиджака. Припала к отцу и заплакала. Беззвучно. Прижимая отца к себе, как-то торопливо, словно желая еще раз убедиться, что все это не сон, пробегала своими невесомыми пальцами то по его спине, от любой непогоды надежно укрытой шинелью грубоватого сукна, то по лицу, осторожно касаясь выпирающих скул, нависших над глазами надбровных дуг и упрямых складок в углах рта.

Отец и дочь были так захвачены, захлестнуты своими чувствами, что безропотно, вернее — бездумно подчинились младшему лейтенанту Редькину, когда он легонько подтолкнул их от входной двери сначала в глубину прихожей, а затем и в маленькую комнатушку. Только здесь капитан Исаев осторожно, боясь обидеть, освободился от одновременно жадных и ласковых рук дочери, упорно и с надеждой цеплявшихся за него, огляделся, выбирая место, куда можно было бы положить шинель и шапку, приткнуть автомат. В комнатушке — две кровати, стоящие рядом. На одной из них еще недавно спала или просто лежала Полина, а на второй и сейчас под ворохом одежды кутались в одеяло женщина неопределенного возраста с пятилетним сынишкой; если видишь только глаза, переполненные тоской и ожиданием чуда, не так-то просто определить возраст человека: дистрофия и холод, от которого не было спасения даже дома, всех преждевременно состарили.

Ни самого простого стола, ни одного хотя бы колченого стула не было в комнатушке. Зато в центре ее, на железном листе, к старинному деревянному паркету прибитом обыкновенными гвоздями, вольготно расположилась печурка-буржуйка. Точь-в-точь такая, какие стояли в землянках его роты. Может быть, лишь самую малость поменьше.

И кровати, стоявшие рядом, и присутствие в комнатушке женщины с мальчонкой — все это известно из писем Полины, которые он получал почти еженедельно. Из них даже знал, что эту женщину зовут Викторией, а сына ее — Игорьком; Виктория замужняя, но супруг — инженер-железнодорожник — где-то в действующей армии. Жив или уже, как говорится, пал смертью храбрых, это пока неизвестно. Вот и решили они, эти две женщины, уже пораженные войной, жить в одной комнатушке. Дескать, так экономнее и вообще разумнее во всех отношениях.

А вот аккуратно разделанные дрова, выглядывавшие из-под кроватей и своеобразной поленницей высотой около метра загораживающие одну из стенок комнатушки, яви-

лись для него полнейшей неожиданностью, о них в письмах Полины не было ни слова. Глядя на эти щепочки и чурбачки, он понял, что именно они единственное и главное богатство этих двух слабых женщин. Интересно, откуда и как оно свалилось сюда?

На эту поленницу, непривычно для глаз торчавшую вдоль одной из стенок комнатухи, капитан Исаев и положил свой автомат. А вот шинель, заметив, что при каждом выдохе изо рта вырываются клубы пара, снимать не стал.

В блокадном городе каждое полешко, каждая щепочка были на вес золота. Если не дороже. Но Полина, радуясь приходу отца, которого не видела более года, решительно потянулась к поленнице. Младший лейтенант Редькин, угадав то, что она намеревалась сделать, опередил ее. Он же, присев на корточки, и положил в печурку только три полешка, запалил их от зажигалки, сделанной из гильзы винтовочного патрона.

Только теперь, когда в печурке восторженно загудело пламя, оповещая, что жизнь продолжается, что она все равно прекрасна, Полина и Виктория, поспешно вылезшая из-под вороха одежды, торопливо придали кроватям терпимый вид, а капитан Исаев вдруг вспомнил, что младшего лейтенанта Полина узнала сразу, по голосу, и без промедления или намека на стеснительность назвала Сашей. Вспомнил и то, что тот как-то по-хозяйски втолкнул их в эту комнатуху, прикрыл за собой дверь. И дрова, лежавшие под кроватями и в поленнице вдоль одной из стенок комнатухи, и печурку-буржуйку, сделанную и установленную здесь явно не женскими руками, все это вдруг увидел будто другими глазами. Даже мгновенно вспомнил, что за все часы, пока шли сюда, с младшим лейтенантом о Полине и словом не обмолвились, однако вышли точно к тому дому, в котором она жила. Спрашивается, какой вывод из этих фактов следует? Только один: пока он, Дмитрий Исаев, тайком вздыхал ночами, переживая за дочь, волею судьбы оказавшуюся одинешенькой в огромном городе, стиснутом кольцом беспощадной блокады, этот младший лейтенант, любое появление которого в роте он, капитан Исаев, лишь терпел в силу необходимости, даже нормального человеческого имени которого не знал до сегодняшнего утра, уже побывал здесь, похоже, не раз, оказывая посильную помощь. Бесспорно, с разрешений своего (вроде бы невероятно грозного) начальства. Может быть, и с молчаливого одобрения всей роты? Или, что и того

вернее, командования бригады? Ведь не случайно же оно наградило его, капитана Исаева, сутками отдыха, провести которые надлежало в Ленинграде!

И еще — вдруг с отчетливой ясностью вспомнил, что на двух или трех письмах, которые он получил от Полины последними, не было даже намека на почтовый или иной штампель. Значит, ножками они в окопы к нему притопали, ножками...

Сейчас капитан Исаев был готов дать голову на отсечение, что Карпов потому и советовал шагать в Ленинград еще вчера вечером, что прекрасно знал все это!

Дочь капитан Исаев любил больше, чем сына. Скорее всего потому, что в детстве она очень часто болела; пожалуй, как искренне считал он, во всем мире не осталось такой детской болезни, которая в те годы обошла бы ее стороной. И всегда, когда во время очередной напасти ей бывало тяжело, когда казалось, что стоит еще самую чуточку промедлить, и она от внутреннего жара вспыхнет ярким пламенем, вопыхнет, чтобы сгореть навечно, он брал ее на руки. Случалось, долгими часами мерил бесшумными шагами единственную комнату своего казенного жилья, прижимая к себе такое хрупкое и беспомощное тельце дочери; ему было до слез сладостно ловить на себе ее взгляды, полные искренней веры в то, что, пока он, отец, здесь, рядом, ей нечего бояться, что болезнь неминуемо убежит прочь. А сейчас, глядя на Полину, он понял и то, что она невероятно похожа на его Аннушку, которой уже нет и никогда больше не будет. Такие же ласковые голубые глаза, такая же добрая и теплая улыбка...

Очень хотелось по-отцовски обнять Полину, сначала помолчать, вспоминая прошлое и мечты, порушенные войной, а потом и поговорить об Аннушке. О том, как и чем жила она последние дни, — не вообще поговорить, а обязательно добраться до деталей, которые иному человеку покажутся мелочами; может быть, и о нем, своем «нестандартном Митяе», она в последние дни жизни говорила что-то такое, временно выпавшее у Полины из памяти или непригодное для письма.

Правда, поздоровавшись с женщинами, как с давнишними знакомыми, Редькин сразу же схватил два ведра и убежал на Неву, до которой, как сообщила Полина, было пять кварталов, но ведь Виктория со своими глазами, полными беспросветной тоски, и Игорьком, смотревшим на все глазами уже взрослого человека, была здесь неотлучно.

Кроме того, именно в эти минуты в душе капитана Исаева шла ожесточенная борьба. С того дня, как только узнал, что дочь осталась в Ленинграде, он втайне надеялся на встречу с ней. Поэтому, если представлялась такая возможность, откладывал от своего скудного фронтowego пайка то отломившийся кусочек ржаного сухаря, то буквально щепоточку сахарного песка. Скрытно от товарищей сам у себя брал эти крохи: искренне считал, что не имеет права делать что-либо подобное, ибо это — своеобразная кража; если бы только у самого себя, но он крал и у своего рабоче-крестьянского государства, которому был предан каждой клеточкой тела. Ведь это оно, Советское государство, основательно обделяет продовольствием около двух миллионов женщин, детей и даже рабочих Ленинграда, обделяет, чтобы побольше дать ему, их защитнику, а он, капитан Исаев, ишь, добрее, умнее и хитрее всех, он от своей фронтовой пайки кое-что и для дочки урывает!

А что неизбежно случится, если каждый защитник Ленинграда, у кого семья здесь же живут, так же «хитрить» станет? Ответ один: если и прочие бойцы-фронтовики последуют примеру его, Дмитрия Исаева, то со временем они настолько ослабеют, что в какой-то момент фашисты голыми руками всех их похваляют. Вот и думай, капитан Исаев: ладно ли допускать до такого позорного факта? Да ни в жизнь!

Так думал — искренне думал! — капитан Исаев, осуждая себя, но выпадал случай — опять тайком и вроде бы даже сами собой падали в кيسет несколько крупинок сахарного песка из его личного скудного пайка, опять прятал он в самую глубину вещевого мешка обломок ржаного сухаря такой твердости, что, казалось, его и самый крутой кипяток не осилит.

Даже после 24 декабря, когда, убедившись, что Дорога жизни вот-вот заработает по-настоящему, Военный совет фронта своим решением хлебную пайку рабочим и инженерам увеличил на сто, а служащим и детям на семьдесят пять граммов, он отложил для дочери еще один обломочек ржаного сухаря.

Все его богатство — граммов пятьдесят сахарного песка и ровно двадцать обломков и обломочков ржаных сухарей — сейчас лежало у него за пазухой, словно раскаленное добела железо, жгло его грудь. В то же время невероятно жалко было все это не только дочери, но и Виктории

с парнишкой отдавать, настолько жалко, что и слов не смог бы найти, чтобы высказать как.

Капитан Исаев все же оборол себя. Подавив тяжелый вздох, решительно распахнул шинель и, казалось из самого сердца своего, не достал, а вырвал и кисет со считанными граммами сахарного песка, и новехонькую нижнюю рубаху, в которую были завернуты много раз ошупанные пальцами кусочки ржаных сухарей; как что-то невероятно хрупкое, положил все это на подоконник, почему-то — на его середину.

— Так сказать, наш фронтовой подарок к Новому году, — несколько косноязычно пробормотал он и облегченно вздохнул, радуясь победе над самим собой.

Ни дочь, ни Виктория не сделали даже попытки отказаться от неожиданного подарка. Только губы у Виктории вдруг предательски задрожали, и она, спеша скрыть волнение, как могла быстро, вышла из комнатушки. Зато мальчонка не спускал голодных глаз с маленького свертка, лежавшего на подоконнике, лежавшего одновременно близко и невероятно далеко; капитан Исаев был готов поспорить с кем угодно и на любую ценность, что Игорек в тот момент думал только о чем-нибудь съедобном, затаившемся там, скорее всего, о малюсенькой корочке самого обыкновенного чуточку зачерствевшего ржаного хлеба, вернее — того месива, что в блокадном Ленинграде называлось хлебом.

Когда Виктория вышла, вроде бы и настало время начать с Полиной тот откровенный разговор, о котором так истосковалось все нутро, но дочь вдруг заторопилась, сказала, напяливая поверх ватника добротное зимнее пальто явно с чужого плеча:

— Папа, сходим до моих товарищей по работе, навестим их? И сразу обратно, сюда... Очень прошу тебя, папа.

Не мог он отказать дочери в такой пустяковой просьбе. И, вновь застегнув шинель на все пуговицы и взяв автомат, еще не успевший толком и отпотеть, послушно пошел за ней. А на улице, где не только проезжую часть, но и тротуары уродовали сугробы отвердевшего, слежавшегося снега, он заставил Полину взять себя под руку, чтобы ненароком не поскользнулась, не упала, не нанесла вреда себе или ребенку.

Шли улочкой вдоль канала или какой-то речки, берега которой были надежно упрятаны в гранит сурового темно-серого, почти черного цвета. Медленно шли: их тропочка

кое-где была подернута ледком, и самое существенное — на большую скорость Полина оказалась неспособна, основательно силы свои порастеряла за три месяца голодовки.

Город уже просыпался: трех человек он, капитан Исаев, почти одновременно увидел на этой улочке, вовсе не относившейся к разряду центральных. Двое (один — с ведром, а другой — с большой суповой кастрюлей) брели явно к Неве. А вот женщина неопределенного возраста, глядевшая, казалось, только себе под ноги, тащила детские саночки. Возможно, те самые, которые еще прошлой зимой под радостный смех детворы стремительно летели с ледяной горки. Сейчас на них окаменело лежал кто-то. Ногами вперед, зашитый в простыню или тюфячную наволочку.

Трупам капитана Исаева удивить было невозможно, их он повидал уже предостаточно, на несколько человеческих жизней вперед насмотрелся на них. Его поразило, до глубины души потрясло, что те двое, которые брели к Неве, даже не глянули в сторону детских саночек и человека, недвижимо лежавшего на них. И Полину вроде бы нисколечко не царапнули по сердцу эти скорбные похороны. Как шла, всей тяжестью тела опираясь на согнутую в локте руку отца, так и продолжала идти, почти не отрывая от снега ног, всунутых в чьи-то непомерно большие и несколько раз латанные валенки.

Выходит, он, фронтовик, менее очерствел за месяцы войны, чем эти вроде бы сугубо гражданские люди?!

Настолько потрясло это открытие, что пропала охота начинать душевный разговор. Потому за все время, пока шли, лишь эти вопросы, будто между прочим, и подкинул дочери:

— Он-то, младший лейтенант, часто к вам заглядывает? К тебе или Виктории больше?

— Третий раз забежал, — ответила Полина и остановилась, чтобы отдышаться, хотя бы самую малость унять сердцебиение. — В те разы, как ты и велел ему, наготовил дров... Из многих квартир, где бомбежками или артобстрелами все нутро было изуродовано, обломки мебели к нам стаскал, разделал, чтобы в печурку удобнее совать было...

— По моему приказанию, говоришь?

— Он так сказал.

— И печурку он же раздобыл?

— Ее Виктория выменяла. Еще до того, как мы в одной комнате жить стали... У нее был подарок мужа. Массивное золотое кольцо и сережки с камнями...

Больше за всю дорогу не было обронено ни слова. Это уже потом, остановившись у подъезда какого-то пятиэтажного дома, Полина, привалившись спиной к его стене, припорошенной снегом, сказала, почему-то волнуясь и от этого комкая, глотая окончания отдельных слов, что их институт эвакуировался, но кое-кто из сотрудников вынужден был остаться в Ленинграде. По причинам сугубо научного характера. Например, чтобы для грядущих посевов и посадок наверняка сберечь отборный семенной фонд. Не понимаешь? Боже мой, да это же проще простого!.. Многие годы — даже десятилетия — русские и советские ученые упорно работали над выведением таких сортов, допустим, картофеля, какие наиболее урожайны в климатических условиях России и одновременно менее подвержены различным заболеваниям, встречающимся здесь. И добились кое-чего существенного. Конечно, надо было продолжать работу, но тут грянула война, обстановка на фронтах так сложилась, что было принято решение об эвакуации института. Все шло вроде бы нормально, и вдруг кто-то, занимающий высокий пост то ли в наркомате, то ли еще где, желая побольше вывезти людей, приказал оставить в Ленинграде около двух тонн элитного картофеля, почти тонну отборнейших семян лучших сортов риса и еще кое-что... Именно к тем двум научным сотрудникам, которые сейчас перед всем советским народом отвечают за сохранность картофеля и риса, здесь оставленных институтом до лучших времен, они и идут. Потому идут, что два этих человека достойны всеобщего уважения: они охраняют, берегут для людей то, что в блокадном Ленинграде вообще цены не имеет; эти люди — только пожелай! — за считанные часы давно могли бы стать настолько богатыми, что по сравнению с ними пресловутый граф Монте Кристо выглядел бы человеком среднего достатка. Надеюсь, ты знаешь, какие ценности за считанные граммы съестного предлагаются на черном рынке? Не тарачи на меня глаза, папочка, не тарачи удивленно: теперь есть и такой рынок. Вернее — только такой и функционирует. И, конечно, нелегально.

Или думаешь, тем двум героям намного легче, чем побороть себя, было уберечь картофель и рис от крыс? От самых обыкновенных, каждая из которых имеет предлинный облезлый хвост и готова сожрать все, что попадет ей на зубы? Они, изголодавшиеся твари, вдруг учуяли залежи картофеля и риса. Учুяли — скопищем бросились на

штурм подвала!.. Хорошо, что Эдуард Владимирович и Вадим Сергеевич не растерялись, не потеряв и одной лишней минуты, обратились за помощью к солдатам-зенитчикам, батарея которых стояла буквально за углом...

Да, они, эти два человечища, не продали, не сменяли на золото или бриллианты, вообще за все эти месяцы блокады не потеряли ни единого картофельного клубня, ни единого рисового зернышка. Скажу тебе, папа, больше: они охраняют, берегут то, что даже очень питательно, хотя сами находятся уже на грани смерти от... дистрофии! Могли ты, папа, предполагать, что человек, который каждую ночь почти спит на сотнях мешочков с рисом, который каждый день имеет возможность перебирать картофельные клубни, отыскивая поврежденные временем, может умереть от длительного и систематического голодания?

Их, этих двух честнейших людей, нужно, просто необходимо спасти. От самих себя, от чрезмерной честности!.. Ой, кажется, я что-то не то говорю... И еще, пожалуйста, запомни, папа: Иванов Вадим Сергеевич (это тот, который за сортовые зерна риса отвечает) сравнительно молод, ему всего лишь тридцать три года; из-за плоскостопия и страшной близорукости (без очков, изготовленных по рецепту специально для него, может рядом с тобой пройти и не заметить) он вообще освобожден от службы в армии, из-за этих болезней его даже в ополчение не взяли.

Однако Вадим Сергеевич еще ничего, он держится лучше, чем Эдуард Владимирович, что даже очень логично: тот и старше значительно (в прошлом году ему исполнилось целых пятьдесят пять лет), и за всю жизнь (он сам признался в этом!) ни единого раза физзарядки — хотя бы частично! — не проделал. Иными словами, в нем душа вообще чуть держится...

Почему о них так подробно сейчас начала рассказывать? Они очень обижаются, если кто-то путает или перепутывает их имена. Особенно обидчив Эдуард Владимирович. Из-за возраста и воспитания, вероятно (он из дореволюционных интеллигентов). А живут они вместе. Уже почти месяц. Так что, дорогой папочка, дверь нам любой из них открыть может.

Между прочим, папа, ты, наверное, уже догадался, почему одинокие люди сейчас стараются жить вместе с кем-то? Например, она, Полина, — с Викторией, а Вадим Сергеевич — с Эдуардом Владимировичем? Говоришь, нет времени забивать голову чепухой... К твоему сведению, папа,

это вовсе не чепуха, а суровая жизненная необходимость! Во-первых, что бы ученые ни говорили, но чем больше людей в комнате, тем там теплее. Во-вторых, сосед или соседка всегда помогут, если заболеешь или какая другая беда вдруг на тебе споткнется. В-третьих... В-третьих...

Так и не придумав того, что могло бы достойно прозвучать «в-третьих», Полина неожиданно выдала тоном начальника, все основательно обдумавшего и убежденного, что только так и надо поступить, как диктует она:

— Да, папа, очень прошу тебя, как только придем, сразу и поговори с ними серьезно. О том, чтобы они немедленно начали подкармливать себя. За счет того, что им поручено охранять... Конечно, пусть едят лишь ровно столько, чтобы жизнь не угасла.

Так вот зачем ты потащила меня с собой! Хочешь, чтобы я своим авторитетом фронтовика заставил честных людей пойти против своей совести, толкнул их на преступление?!

Не повернул обратно лишь потому, что мгновенно решил: прогулка по свежему воздуху Полине очень даже полезна, а что сказать при встрече тем героям — это он сам придумает, благо время на раздумье еще есть; вспомнив, что дочь ждет ребенка, сдержал и резкие слова, которые уже были готовы обрушиться на нее. Только потому и промямлил, пытаясь выиграть время, чтобы придумать что-нибудь такое, что поможет более или менее тактично уклониться от поручения, против которого душа взбунтовалась сразу и бесповоротно:

— Как же их уговаривать, если...

— А ты просто прикажи им. Не уговаривай, а прикажи. От имени своих бойцов, доблестно защищающих Ленинград, прикажи.

Неужели ты, Полина, действительно не понимаешь, что толкаешь отца на подлый поступок? Да и должна бы ты знать, что приказать, конечно, любому человеку и что угодно можно. Даже луну с неба сорвать и прибить к двери чулана. Видать, тебе, доченька, еще ни разу не приходило в голову, что выслушает иной разумный человек подобное приказание, посмотрит с уничтожающим презрением на отдавшего его и скажет от чистого сердца: «Иди-ка ты...»

Об этом капитан Исаев только подумал, буркнул же:

— Чего распетушилась-то? Или забыла, что оно (по-

нимай — дите) все твои психозы в себя запросто впитать может?

Полина благодарно взглянула на него, решительно вошла в гулкий подъезд дома. Здесь опять вдруг остановилась и сказала, почему-то стуча пальцем в грудь отца:

— Между прочим, у Эдуарда Владимировича есть слова-паразиты: «милостивый государь» или «милостивая государыня». Чем больше волнуется, тем чаще вставляет их в свою речь. Не так, как я сейчас сказала, а слитно, кое-что проглатывая. «Милгосдарь», — вот что у него получается. К тому говорю, чтобы ты сразу понимать его стал.

— Эта ли присказка сейчас самое главное? — пожав плечами, спросил он.

Потом они долго поднимались по лестнице, поднимались на пятый этаж, отдыхая на каждой площадке.

Едва Полина несколько раз дернула железный прут, внутри квартиры проволокой соединенный со звонком, дверь широко распахнулась; словно хозяина этого жилья несколько не волновало, что последнее тепло может немедленно выскользнуть в подъезд, где от стен на версту разило холодом сродни могильному.

— А, Полинушка, — несколько разочарованно сказал мужчина, открывший дверь. Был он в годах, но держался подчеркнуто прямо, смотрел на капитана Исаева так спокойно и доброжелательно, будто был не только давно знаком с ним, но и дружил, словно именно его прихода и ждал с нетерпением, стоя под дверью своей квартиры. — Прошу входить, милгосдари, — сказал он, поклонившись только головой, и поспешно добавил, заметив, что капитан Исаев потянулся пальцами к пуговице шинели: — А вот верхнюю одежду снимать не рекомендую. Даже очень настойчиво не рекомендую.

В квартире, если судить по фасону и количеству дверей, выходящих в просторную прихожую, кроме кухни, было минимум четыре комнаты. Однако Полина привычно направилась к кухне, дверь которой была прикрыта особенно плотно. Но Эдуард Владимирович решительно преградил путь туда, он рукой указал на самую отдаленную от нее дверь. И они, повинувшись жесту его руки, вошли не в комнату, а скорее — в клетушку, где, безжалостно тесня друг друга, еле-еле смогли разместиться узкая, солдатского образца кровать-койка с тумбочкой у изголовья, венский стул, родившийся, похоже, в середине прошлого века, и какое-то подобие гардероба уже без дверок и полочки, на которой

еще год назад обязательно лежал головной убор хозяина этой комнатухи. Летом это была, разумеется, шапка-ушанка. А вот что на хранении лежало там зимой? Шляпа или кепка? Пожалуй, она, кепочка: до войны именно ее больше, чем что-либо иное, любили многие интеллигенты старой закваски. Или только притворялись любящими, а сами просто очень ценили ее за то, что она помогала за- теряться в уличной толпе?

Эдуард Владимирович перехватил несколько ирониче- ский взгляд капитана Исаева, неспешно обшаривавший комнатуху, тщательно ощупывающий все то, что было в ней, и сказал:

— Это комнатка нашего старшего сына — Кеши. — По- молчал и добавил с искренней грустью: — И вообще вся эта квартира еще недавно была только нашей.

Вот теперь капитан Исаев и разгадал, что поражало его здесь, что волновало и даже тревожило душу: не жилым помещением пахла эта комнатуха, в ней стойко держался въедливый запах кладовки, которую давно не проветрива- ли, в которой не то чтобы вещи перебрать, дать им поне- житься в солнечных лучах, но и самую обыкновенную пыль смахнуть остерегались.

Интересно, почему сюда, а не в ту комнату, где они жи- вут с Вадимом Сергеевичем, или хотя бы в кухню, привел их Эдуард Владимирович?..

И еще он понял, что все то молодечество, с каким Эду- ард Владимирович встретил их, было лишь маскировкой собственной физической слабости и некоторой душевной растерянности. Понял это — захотелось сказать что-нибудь ободряющее, но хозяин квартиры широким жестом руки уже показывал им с Полиной на койку, предлагая сесть. Они беспрекословно подчинились. Вслед за ними сел и Эдуард Владимирович. Вернее, будто боясь промахнуться, осторожно опустился на венский стул, робко жавшийся к боковой стенке гардероба, к той, которая давненько и ос- новательно была исцарапана кошкой.

А Полине не терпится, она вот-вот выпалит свою идею, которая капитану Исаеву сейчас казалась и вовсе дичай- шей. Чтобы этого не случилось, он и спросил, сняв шапку и положив ее рядом с собой:

— Извините, конечно, если мои вопросы прозвучат не- скромно, однако сейчас-то где ваши? Эвакуировались ку- да? С организацией или в одиночном порядке?

Эдуард Владимирович какое-то время молчал. Так, что

подумалось: а услышал ли он вопросы. Потом вдруг твердо глянул в глаза капитана Исаева и ответил:

— Спрашиваете, милгосдарь, где мои сейчас? Что ж, вопрос, так сказать, в духе времени... Наш старший сын — Иннокентий — после окончания военного училища уже командовал танковой ротой. Он очень долго и настойчиво упрашивал свое командование, чтобы оно отпустило его в Испанию. Нет, нет, мы с женой никогда не осуждали Кешу за это!.. Потом нам вдруг сообщили, что он награжден орденом Красной Звезды. Посмертно награжден.. А младшенький — Тимоша — смертью храбрых пал в декабре тридцать девятого. Когда, наполнив карманы и пазуху взрывчаткой, полз к одному из многих дотов в линии финских укреплений...

Невольно пришло в голову, что зря недавно думал, будто еще год назад демократическая кепочка коротала зиму в этом гардеробе. Стыдно стало за эти мысли, захотелось встать и дружески обнять поникшие плечи этого старика (а старика ли?), но тот уже продолжил после короткой, тягостной для всех, паузы, продолжил бесцветным голосом:

— Мудрено ли, милгосдарь, что после всего этого наша мама начала часто болеть, а потом и вообще чахнуть... Я похоронил ее в апреле этого года.

Где-то близехонько с предельной скорострельностью, но без намека на истеричность бьют зенитки, где-то вовсе рядом захлеб рокочут счетверенные пулеметы. А вот все это на какие-то считанные мгновения заглушили раскатистые взрывы бомб.

Капитан Исаев слышал и пальбу зенитчиков, и взрывы вражеских бомб. Однако почему-то сейчас все это для него было лишь фоном, подчеркивающим трагичность того, о чем так буднично рассказывал Эдуард Владимирович.

И этого человека Полина надеялась заставить свернуть с пути, который он сам выбрал?!

Эдуард Владимирович вдруг спохватился, в нем вдруг пробудился хлебосольный хозяин:

— Извините, милгосдари, старика, который вовсе забыл, что одними разговорами сыт не будешь. Может, позволите предложить вам по чашечке кипятку?

Он, упершись дрожащими руками в собственные костлявые колени, с трудом оторвался от стула. Вот тут капитан Исаев и сказал решительно, сказал с искренним уважением к собеседнику:

— Просим не беспокоиться. К вам, Эдуард Владимирович, мы ведь только на минутку заскочили. Чтобы проведать...

— Как так на минутку? — удивился и даже обиделся тот. — Разве вы, Дмитрий...

Тут он замялся, спохватившись, что не знает отчества капитана, к которому почему-то сразу проникся доверием. Выручила Полина, подсказавшая в полный голос:

— Папу зовут Дмитрием Ефимовичем.

— ...Разве вы, Дмитрий Ефимович, не будете убеждать, что для меня настало время позаботиться и о себе, что моя жизнь, жизнь рядового советского служащего, невероятно дорога, даже во много раз дороже незапятнанной репутации честного человека? Неужели наша Полинушка еще не посвятила вас в свои планы?

Почудилось, что в голосе Эдуарда Владимировича на-мекон прозвучало что-то, похожее на насмешку. Но капитан Исаев не обиделся, он ответил честно:

— В ее личных планах была и такая задумка. Только, если говорить от своего имени...

Тут Эдуард Владимирович одновременно вежливо и повелительно положил на его плечо свою руку. И он не посмел ослушаться, он замолчал, так и не высказав до конца своей мысли.

После паузы, показавшейся капитану Исаеву очень длительной и тягостной, разговор опять начал Эдуард Владимирович:

— У меня, Дмитрий Ефимович, есть просьба к вам. Сугубо личного порядка... Дело в том, что...

Он не смог досказать то, что намеревался, он устало замолчал, уставившись вдруг заслезившимися глазами на давно не мытый пол. Капитан Исаев еще не решался окончательно поверить в свою догадку, а Полина уже выпалила, всплеснув руками:

— Так и знала, что с Вадимом Сергеевичем в эти дни должно что-то случиться! Я права, да? Правда?.. И вообще, где он? Почему не выйдет из комнаты, не включится в наш разговор?

Последние два вопроса вырвались у нее по инерции, вырвались в тот момент, когда она уже поверила в жестокую правду, о которой умолчал Эдуард Владимирович.

Разгадала невысказанную правду, поверила в нее и бросила гневно в сторожку тишину:

— Разве это справедливо? Ведь он был еще молод, ему бы еще жить и жить...

— Иными словами, милгосдарыня, вы считаете, что умереть должен был я? Что это было бы во всех отношениях справедливее? — без самого малого признака обиды, лишь откровенно горько усмехнувшись, спросил Эдуард Владимирович. — Позвольте узнать, а почему именно так справедливее? И вообще, дорогая Полина Дмитриевна, что вы знали о Вадиме Сергеевиче? Не по слухам, которые — случилось и такое — он нарочно распускал сам, а точно? Например, было ли вам, милгосдарыня, известно, что он жил с врожденным чудовищным пороком сердца? Не было у него плоскостопия, не было! — теперь, сжав кулаки и потрясая ими над головой, почти кричал Эдуард Владимирович. — Он сам придумал для себя это презренное плоскостопие! Чтобы не вызывать к себе повышенного интереса, жалости и сострадания, унижающих настоящего мужчину. Да, да, именно настоящего мужчину! И знайте, на всю жизнь запомните, милгосдарыня, что признаками настоящего мужчины являются не только широкие плечи и гордо сидящая красивая голова, а главным образом — сильная воля, доброта, благородство, не показное, а искреннее, и неутолимое стремление непрестанно добиваться высокой намеченной цели!

Выкрикнул это Эдуард Владимирович и устало, опустошенно опустился, почти упал на сиденье старинного венского стула, даже глаза закрыл; и дышал он тяжело, прерывисто.

Капитан Исаев, чтобы ненароком еще больше не разволновать его, неслышно подошел к кухонной двери, к той самой, к которой, оказавшись в квартире, сразу устремилась Полина. Оттуда и взглянул на дочь сурово, требовательно. Она, подтверждая его догадку, на мгновение прикрыла глаза. Тогда он решительно распахнул дверь. Даже и сейчас, хотя почти половину кухни занимали массивная двуспальная кровать и цилиндрическая чугунная печурка, чудом сохранившаяся, скорее всего, еще со времен гражданской войны, она казалась неоправданно, расточительно большой, чудовищно вместительной.

На кровати, сложив руки на провалившемся животе, и лежал Вадим Сергеевич. Спокойный, вроде бы даже счастливый и такой молодой, что, если бы Полина раньше не сказала, сколько ему лет, его можно было бы принять за юношу, недавно окончившего школу или техникум.

То, что в кухне ничего не было сдвинуто с привычного места, уверило капитана Исаева, что Эдуард Владимирович и не пытался убрать с кровати окоченевшее тело товарища. Больше того, оберегая его, минувшей ночью и печурку не растапливал, и сам спал, скорее всего, в холодной комнате.

Капитан Исаев еще напряженно думал, как ему надлежит поступить теперь, а из какого-то тайника памяти уже выскользнула спасительная подсказка: не вашего прихода, товарищ капитан, ждал Эдуард Владимирович, стоя под дверью своей квартиры, не вашего! Тогда чьего же? Скорее всего — тех людей, которые по вызову или в порядке надзора иногда обходят квартиры, забирают окоченевшие в холоде трупы и потом по-человечески предают их земле.

Пришла догадка — прошептал Полине:

— В оба гляди за ним. — Кивок в сторону Эдуарда Владимировича, словно уснувшего на стуле. — Добегу до зенитчиков и мигом обратно.

Она послушно и торопливо кивнула. Но не ушла с лестничной площадки, стояла там до тех пор, пока гулкое эхо не перестало перебрасывать по подъезду отзвуки быстрых и уверенных шагов отца; лишь потом вернулась в квартиру, плотно прикрыла за собой входную дверь. А вот на железный крюк только глянула мельком: кого и чего им с Эдуардом Владимировичем бояться? Да и верила, что отец вот-вот вернется.

Отца не было почти час. Зато пришел он в сопровождении двух солдат, которые и втащили в квартиру не детские саночки, а настоящие сани, чем-то напоминающие нарты. На пятый этаж втащили!

Не успела Полина свыкнуться с присутствием этих солдат — снова дверь нараспашку; теперь пришли три девушки-зенитчицы. Та из них, что вошла в квартиру первой, лихо козырнула и доложила почти с порога:

— Прибыли, как и обещали.

— Вижу, — буркнул отец, даже не глянув на нее: именно в эти мгновения с одним из солдат укладывал на сани нарты тело Вадима Сергеевича. Осторожно укладывал.

Девушку-зенитчицу не смутил такой прием, она, молча проглотив обиду, теперь попыталась вмешаться в действия мужчин:

— Его нужно обязательно зашить хотя бы в простыню... Таня, сбегай...

— В простыню? Вадима Сергеевича? Недопустимо! —

возмутился отец. — Он — солдат, смертью храбрых павший на боевом посту... В мою плащ-палатку завернем. Когда тело земле предавать станем.

— Эвона, сколько в тебе гонора, капитан, — укоризненно покачал головой тот из солдат, что был постарше годами. — «В мою плащ-палатку завернем!» — передразнил он и закончил с откровенной обидой: — Думаешь, у нас нет ее, той плащ-палатки?

Больше не было сказано ни слова. Но немного погодя второй солдат, сбегав на батарею, принес плащ-палатку. В нее, оставив открытым лишь лицо, и упаковали тело Вадима Сергеевича. Потом уложили в сани и на несколько минут замерли. В эти мгновения они видели только восковой желтизны лицо усопшего, на котором не было ничего, кроме радостного спокойствия; будто перед смертью Вадим Сергеевич уже твердо знал, что не зря пересилил столь многое и самого себя, будто уже тогда был уверен, что товарищи будут поминать его только добрыми словами.

Отстояли в почтительном молчании несколько минут, уже были готовы приподнять сани-нарты с телом Вадима Сергеевича, — тут из темной глубины квартиры, шаркая по старинному деревянному паркету подошвами подшитых валенок, к ним подошел Эдуард Владимирович и сказал внятно, глядя в глаза капитана Исаева:

— Их в комсомол с кандидатским стажем приняли... Как детей служащего...

Сказал это и поплелся обратно в бывшую комнатушку старшего сына, равнодушный не только к телу недавнего сослуживца, но и к почти забытым запахам настоящей человеческой еды, исходившим от солдатского котелка, победоносно обосновавшегося на порозовевшей печурке, в которой задорно потрескивали смолистые чурочки.

Только капитан Исаев понял то, что хотел высказать этот человек, вовсе состарившийся за несколько последних часов, лишь он и кивнул: дескать, знаю, иной раз какой-то внешний признак для нас почему-то становится главнейшим, хотя вроде бы и не имеет на то права; дескать, порой случается и так, что именно по нему мы и судим о характере, душе, возможностях и даже надежности того или иного человека. Прежде всего и вопреки всему судим!

На улице один из солдат предложил:

— Может, помочь надо, товарищ капитан?

Капитан Исаев отрицательно мотнул головой и ухва-

тился за добротную веревку, прикрепленную к передку сани-нарт. Даже чуть потянул за нее, словно хотел проверить: а осилит ли груз, который вознамерился тащить многие километры. И вдруг, когда все поверили, что он уже пошел, бросил веревку на снег и каждому из солдат (теперь их здесь было уже семь) крепко пожал руку. Как давнему и хорошему знакомому. Потом сказал чуть дрогнувшим голосом:

— После войны домой вернуться всем вам, ребята и девчата.

Те благодарно закивали, заулыбались. Может быть, кто-то из них и сказал бы что-либо, соответствующее моменту, но капитан Исаев, ни разу даже не оглянувшись, уже зашагал центром улицы, изуродованной сугробами, зашагал мимо будто вымерших домов и так легко, словно сани, тащившиеся за ним, были пустыми.

Молча шел до дома, в котором жила Полина. Лишь у его подъезда сказал:

— Береги себя и дите, Полинушка... А сейчас марш в тепло и немедля гони сюда младшего лейтенанта.

— Не зайдешь? Хотя бы чашечку кипятка выпить...

— Время не позволяет, — отрезал он.

Вот и все прощание. Вроде бы — чрезмерно сухое. Но для них оно до краев было наполнено внутренним теплом, столь необходимым каждой человеческой душе. А еще через несколько минут на улицу из подъезда выскочил младший лейтенант Редькин. Он только глянул на сани-нарт, на тело, лежавшее в них, и сразу тоже ухватился за веревку. И они с капитаном Исаевым зашагали к фронту, где в эти минуты лениво перекликались лишь немногие орудия. Хотя, скорее всего, из-за дальности расстояния пулеметной и винтовочной стрельбы просто не было слышно.

Шли так быстро, будто за ними гналась сама смерть. Даже для перекура не останавливались, а на ходу сворачивали толстые сигарки и нещадно дымили ими до тех пор, пока они не начинали обжигать губы. Однако ночь оказалась проворнее их. Она, когда они еще только подходили к передовой, уже прочно обосновалась там, надежно упрятав от человеческих глаз и почти полностью разрушенные домики некогда красивейшего дачного поселка, и пни, только и уцелевшие от величавых вековых лип, еще год назад пренебрежительно косившихся на вечно серовато-желтую воду Финского залива и с долей откровенной

зависти поглядывавших на золотистую шапку Исаакиевского собора.

Капитан Исаев остановился только на развилке тропок, одна из которых вела к штабу их бригады. Остановился и сказал, не скрывая дружеского расположения:

— Спасибо, младший лейтенант Саша. Искреннее и большущее спасибо... И шагай отсюда прямо к себе или еще куда. Дальше я один потопаю.

Младший лейтенант Редькин неожиданно разозлился, спросил с откровенной издевкой в голосе:

— Если я правильно понял, вы, товарищ капитан, решили тело Вадима Сергеевича не в роту свою, а в штаб бригады доставить? Однако опасаетесь, что там неверно поймут наши с вами действия? Потому и намереваетесь прикрыть меня своей широкой спиной?

— Не пыли... Ты еще молодой, твоя жизненная тропочка, можно сказать, еще только контурно прорисовываться начинает...

Младший лейтенант бесцеремонно перебил его, он заговорил громко и откровенно зло:

— Помню, я еще в первом классе учился, когда однажды случилось так, что на меня вдруг напали сразу три моих одноклассника. Напали только потому, что я шел по их улице. Не помню, когда и из-за чего началась вражда наших улиц, но была она, это точно... Короче говоря, мне от тех мальчишек уже перепало, должно было достаться и еще, но тут я увидел отца. Конечно, бросился под его защиту... Если бы вы, Дмитрий Ефимович, знали, как отец вздул меня дома! Обихаживает мой зад своим широким командирским ремнем и приговаривает: «Не прячься за чужую спину, не прячься!..» С гражданской войны домой он с орденом Красного Знамени вернулся... Да, был в моей пока еще короткой биографии и такой печальный факт, таковы мои воспоминания детства.

Говоришь, воспоминания детства... Кое-кто, вспомнив этот жизненный эпизод, прикрыл бы ярлыком «воспоминания детства» то, что на него напали трое мальчишек, крепко всыпали, а потом дома еще и отец ремнем рубцов добавил.

В общем-то правильно, ведь было же все это, было! А вот младший лейтенант Редькин, еще недавно казавшийся простоватым и даже до наивности несведущим в жизненных вопросах, в картинке из прошлого увидел больше, для него подлинным воспоминанием детства стал суровый

наказ отца: никогда, сын, на прячься за чужую спину, это не достойно настоящего мужчины!

И капитан Исаев невольно с уважением посмотрел на младшего лейтенанта Редькина, посмотрел так, словно давно не видел и теперь вдруг обнаружил существенную перемену в нем.

Держась за одну веревку, они притащили сани-нарты с телом Вадима Сергеевича к штабу бригады. А вот здесь, решительно заслонив собой младшего лейтенанта, капитан Исаев и рассказал комиссару и командиру бригады все, что узнал о Вадиме Сергеевиче от своей дочери и Эдуарда Владимировича, о последних неделях, днях и часах его жизни.

Выслушали его не перебивая, не задавая вопросов. А закончил он свой короткий рассказ, комиссар бригады из нагрудного кармана кителя достал листок бумаги, на котором типографским шрифтом было что-то напечатано, и сказал, протянув его капитану Исаеву:

— Будешь своим людям рассказывать о подвиге Вадима Сергеевича и Эдуарда Владимировича, заодно прочти вслух и эту справку. Думаю, всем будет полезно ознакомиться с этим.

Капитан Исаев, уловив момент, глянул на текст, напечатанный на листке бумаги. Это была своеобразная памятка. Она поведала ему, что с июля по конец 1941 года ленинградские предприятия изготовили 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3 тысяч полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 800 тысяч реактивных снарядов и бомб. Дескать, за второе полугодие текущего года всего этого было выпущено в десять раз больше, чем за первое.

Ниже было подчеркнуто, видимо, комиссаром бригады: «Только в октябре — декабре из Ленинграда отправили в помощь защитникам Москвы более тысячи полковых минометов».

Капитан Исаев, прочитав все это, сразу не понял, почему комиссар бригады именно сейчас вручил ему письменную справку о том, что сделали ленинградцы для защиты своего города. Это уже позднее, дважды вслух прочитав ее своим бойцам, вдруг осознал, что все, о чем упомянуто в памятке, по-настоящему грандиозно: в городе, горло которому захлестнула петля блокады, не отдельные

люди, а весь народ работал и на свою оборону, и Москве помогал!

Позднее это главное дошло до капитана Исаева, а тогда он просто положил справку-памятку в карман своей гимнастерки, тогда он большую часть своего внимания отдал комиссару, который, лишь переглянувшись с командиром бригады, уже приказывал подыскать в дачном поселке подходящий домик, отнести в него тело Вадима Сергеевича Иванова. И кому-то все время быть в почетном карауле около него.

Не капитану Исаеву, а матросам комендантского взвода было приказано найти соответствующий домик и доставить туда тело героя; не капитану Исаеву, а командиру того взвода теперь надлежало заботиться о непрерывном карауле.

Капитану Исаеву пожали руку и разрешили идти в роту. А вот младшего лейтенанта Редькина командир и комиссар бригады будто вообще не заметили. Капитан Исаев, произнеся всего лишь несколько слов, разумеется, мог бы переключить их внимание на него, внутренне был даже готов заявить во весь голос: дескать, товарищ младший лейтенант Александр Редькин — очень человечный человек; дескать, он достоин всяческого поощрения. За душевную чуткость, за постоянную готовность немедленно прийти на помощь. Однако ничего этого не сказал. Только потому смолчал, что у Саши Редькина было свое начальство, если верить шепоткам, очень суровое и непредсказуемо своенравное. Но мысленно решил, ежели в том необходимость возникнет, до самого наркома их дойдет и расскажет правду. Капитан Исаев искренне верил, что любой человек может добиться справедливости, если очень этого захочет.

Зато в роте, едва вошел в знакомую до мелочей землянку, едва самую малость успокоил Пирата, радостно бросившегося к нему на грудь, сразу же заговорил громко и внятно:

— Отдельные личности, имеющиеся и у нас в роте, те самые, которые себя главной опорой всего фронта считают, время от времени плачутся, чуть ли не в голос рыдают. Мол, мы на фронте ежедневно своей молодой жизнью рискуем, а другие, кому такое «счастье» не привалило, в это время в тылу, за нашими спинами, на пуховых перинах нежатся. Вот я и расскажу вам сейчас о том, как там, в тылу, наши товарищи живут, что почти повседневно вершат...

И он без малейшей утайки выложил все то, что сам узнал за сегодняшний день. Не забыл прочесть вслух и листовку, полученную от комиссара бригады. Затем, помолчав, добавил, глядя на огоньки, метавшиеся в печурке, бока которой порозовели от внутреннего жара:

— Как видите, ежели пораскинуть мозгами, то по сравнению с тыловиками, о которых вам сейчас я рассказал, мы с вами самые обыкновенные человеки...

— С такой постановкой вопроса, Дмитрий Ефимович, я согласиться не могу, — тактично попытался высказать свое мнение Юрий Данилович.

— А я разве спрашивал у вас согласия? — непривычно резко осадил его капитан Исаев. — Или теперь без него, без пресловутого вашего согласия, я и мнения своего высказать не имею права?!

Святая злость на фашистов и вообще на несправедливости жизни копилась сегодня с утра, с того самого момента, когда он оказался между заледеневших домов Ленинграда. Сейчас она требовала выхода, грозила вырваться наружу почти истерическим криком. Он не мог, не имел права допустить этого. Вот и замолчал. Глядел на огоньки в печурке, машинально перебирал пальцами густую шерсть на загривке Пирата и молчал. Так долго и пронзительно, что сержант Перминов с немим укором глянул на Юрия Даниловича. Тот в ответ неопределенно повел плечами, потом радостно заулыбался, достал из нагрудного кармана гимнастерки заветную стеклянную пробирочку с нитроглицерином и, показав Перминову, зажал ее в кулаке.

Закончил капитан Исаев после паузы тоже неожиданно и пугающе спокойно:

— Как-то у нас с вами шел разговор о том, что временами бывает страшно любому человеку, что трус перед тем страхом ниц шлепается, а настоящие люди сами его на обе лопатки кладут... Каждый из нас с вами — случилось, что и по нескольку раз в день! — преодолевал его, проклятого. Но ведь та внутренняя борьба в нас лишь считанные секунды или минуты длилась! А эти люди... Они часами, нет, сутками, вернее — неделями и непрерывно, без единой минуты передышки, против страха держали бой. И выстояли!.. А ну, встань во весь рост, кто уверен, что будет умирать с голоду, но не возьмет и крохи съестного, если оно не его будет!.. Молчите? То-то и оно... А ведь товарищ Иванов, можно сказать, спал на тех мешочках с рисом, ему, чтобы жизнь свою спасти, только руку про-

тянуть и надо было!.. Он умер, от дистрофии умер, но не взял ни единого зернышка риса. Тонну риса сберег для советской науки этот человечище, ценой своей жизни сберег!.. Такова, кума, уха из петуха... Так что пораскиньте мозгами, пораскиньте.

12

Вадима Сергеевича Иванова похоронили в братской могиле. Вместе с бойцами бригады, павшими в последнем бою. Ночью похоронили. Чтобы фашисты не заметили похорон, бомбежкой или артиллерийским обстрелом не омрачили торжественно-траурных минут.

До дня похорон тело Вадима Сергеевича трое суток пролежало на столе в маленьком дачном домике, где все стекла были выхлестаны пулями, осколками и просто многими близкими взрывами. Столько времени он пролежал там по требованию бойцов бригады и соседней по фронту дивизии народного ополчения: многие из них изъявили желание взглянуть на этого человека, шагнувшего в подлинное бессмертие так просто, даже вроде бы буднично; не имея возможности сделать что-то большее, они хотели обязательно хотя бы минуту постоять около него. Обнажив голову, в суровом молчании постоять.

13

После Нового года, как и следовало ожидать, нагрянули затяжные крепчайшие морозы: почти весь месяц более тридцати, иногда — даже за сорок. Людям, ослабевшим от долгого голодания, стало вовсе немоготу, и многие жители города в те дни, когда кровавое солнце еле пробивало лучами морозную дымку, превратились в холодные и безразличные ко всему трупы. Но зато те, кто пережил эту волну морозов, приободрились, стали глядеть на жизнь несколько веселее. И не только потому, что 24 января хлебный паек был увеличен еще раз; теперь рабочие стали получать в сутки 400, служащие — 300, иждивенцы и дети — по 250 граммов хлеба. Это, конечно, тоже сказалось на общем настроении, но главное: люди, пережив длинные холодные ночи, когда в голову лезли лишь черные мысли, вдруг поверили, что самое страшное уже позади, что теперь только и надо лишь малость потерпеть, пересиливая

голод, и все окончательно образуется, уверенно пойдет к доброму довоенному времени.

В последних числах января, когда мороз в сорок градусов крепко держал в своих тисках и Ленинград, и людей, живших в нем или оборонявших его, капитану Исаеву командование бригады через посыльного вручило приказ, в котором говорилось, что с сего числа он назначается командиром батальона. Вместо майора Крючкова, направляемого для учебы в академию.

Война еще всюю полыхает, конца ей вроде бы и не видно, а наше командование наиболее одаренных командиров снимает с фронта и направляет учиться в академию! Без экзаменов!

Внимательно капитан Исаев прочел приказ, подумал, с чего следует начать на новом месте, и вдруг понял, что не испытывает и малой робости. Хотя, может быть, потому он волнения в своей душе не заметил, что по землянке, как только он вслух прочитал полученный приказ, стала стремительно разливаться гнетущая тишина? Она ощутимо густела с каждой секундой, в ней отчетливо прозвучал голос солдата Карпова:

— Как говорится, каждому кораблю свое плавание. — И после ощутимой паузы с огромной натугой выжал из себя вроде бы игриво, вроде бы даже радостно: — Короче говоря, с вас причитается, товарищ комбат.

Капитан Исаев не подхватил шутки, он, небрежно сунув приказ в планшетку, подсел к Ювану, устроившемуся у приоткрытой дверцы печурки, в которой тревожно металась язычки пламени, от его трубки-носогрейки прикурил свою сигарку. Молча сидели и лежали люди в землянке. Что ни говорите, а за минувшие месяцы привыкли они к своему ротному. Некоторые даже полюбили его. По-фронтному полюбили. За суровую справедливость, за то, что свое плохое настроение он никогда не срывал на подчиненных. Были среди бойцов, разумеется, и такие, кто не принимал его (взять хотя бы того же Акулишина). Но сейчас все бойцы роты, поглядывая на капитана Исаева, думали об одном: а будет ли новый командир роты лучше этого или хотя бы чуточку похож на него? Ведь командование бригады, не разгадав его души, на эту должность может и такого формалиста-буквоеда или зверюгу подкинуть, что жизни не рад станешь. Знаем, к сожалению, случается и подобное.

А капитан Исаев думал о том, где ему теперь надлежит

обосноваться. Сначала вроде бы окончательно решил остаться в этой роте, отсюда руководить жизнью и боевой деятельностью батальона. Или он лишен права выбора своего командного пункта? Потом с сожалением осознал, что командир батальона — не просто человек, что это еще и управление сотнями людей, и вполне определенное сравнительно высокое служебное положение в армии. Так что, хочешь или нет, а кое-каким законам, наставлениям и просто жизненным традициям следовать придется.

И еще с горечью подумал, что майор Крючков не просто командовал батальоном, он, зная капризный нрав войны, исподволь еще и присматривал себе замену. Не обязательно на черный случай, но присматривал. А вот у него, капитана Исаева, прямо скажем, на свое место замены нет. Конечно, можно сослаться, что выбирать не из кого... Но виновен в этом, если судить по совести, один он: просил в роту командиров взводов, а не требовал, ждал, сложив ручки, когда их кто-то подготовит для него, а не сам искал, не сам воспитывал. К примеру, чем сержант Перминов не командир взвода? Звание маловато? Или исправить эту несправедливость не в наших силах?

Он даже решил, что сделать это лучше всего сейчас, вернее — чуть-чуть задним числом, когда сам он был еще командиром роты, а майор Крючков командовал батальоном: двое ходатайствующих всегда лучше, чем один.

Ни с кем не стал советоваться капитан Исаев, он просто, примостившись на уголке общего обеденного стола, на имя командира бригады написал соответствующее ходатайство. Написав, внимательно прочел, чтобы не допустить грамматической ошибки, и лишь тогда сложил его пополам и сказал Карпову:

— Ты, Карпуша, уже по старой памяти, как говорится, хватай ноги в руки и марш к майору Крючкову. Где хочешь, там и найди его, только ему в руки и передай это послание. И жди. Ежели увидишь, что майор сию бумаженцию в карман сует, скажи настойчиво, весомо скажи: мол, капитан Исаев на соответствующую резолюцию очень надеется... Все понял?

— А чёго понимать-то? — обиделся Карпов, успевший уже надеть шинель и не только взять, но и проверить свой автомат. — Мне еще годочка четыре было, когда двоюродный братан впервые меня с письмом к девке послал. У нас в деревне с подобными записками завсегда самых неслышленных гоняли...

— Если обижаешься...

Солдат Карпов не дал ему закончить мысль, он, приложив руку к шапке, нарочито громко выпалил:

— Разрешите идти, товарищ капитан?

Вернулся Карпов почти через час, и не один, а в сопровождении десяти незнакомых солдат. Он, едва за последним из пришедших с ним солдат закрылась дверь, и доложил восторженно, что сегодня в бригаду прибыло пополнение — двадцать человек! — и ровно половину командир бригады распорядился передать им; конечно, не роте, а всему их героическому батальону; чтобы окончательное решение принял сам комбат.

Для фронтовика прибытие пополнения — всегда событие чрезвычайно волнующее. Прежде всего потому, что каждый надеется среди прибывших обнаружить земляка. Правда, подобное случалось редко, но ведь кому-то бывает и такое везение? А если оно и мимо скользило, все равно от пополнения узнавали, чем и как живет народ в тылу. Вот и окружили бойцы роты прибывших, для доверительных бесед, можно сказать, поодиночке раздергали.

Капитан Исаев, которому Карпов передал ответную записку майора Крюкова, где только и было написано: «Ходатайство твое поддержал. А вообще-то жди, перед отъездом обязательно забегу», — сам не зная, кого ищет, вглядывался в лица прибывших; каждого, словно близкого человека, с волнением разглядывал, хотя на лицах их не было ничего, кроме покорности своей судьбе. Вглядывался, никого конкретно не отыскивая, и вдруг в одном из рядовых узнал майора Зелинского — еще весной прошлого года командовавшего батальоном в полку, тоже входившем в их стрелковую дивизию. Осунувшегося, постаревшего лет на десять и без каких-либо знаков воинского различия, в основательно поношенной и явно не по росту короткой солдатской шинелишке. Сначала не поверил своим глазам. Потом понял, что одна из многих молний, рождаемых гневом неведомого высокого начальства, ударила точнехонько в этого вчерашнего командира батальона; еще говори спасибо, что вовсе не спалила, что хоть в облике рядового бойца, но дозволила продолжить жизнь. А ведь некоторые, кто еще сравнительно недавно видные посты занимал (это он знал точно), вдруг просто исчезли, будто и не бывало их вовсе. Мгновенно вспомнил, что майора Зелинского не стало примерно за месяц до нападения фашистов; еще вчера после отбоя отдал дежурному по ба-

тальяону несколько распоряжений, а утром, когда сыграли общую побудку, его уже не было. Говорили, что ночью увезли его в черной легковушке. И больше ни слова! Молчок! Лишь назавтра, собрав немного растерявшихся командиров рот и взводов, комиссар полка, потупив глаза, объявил, что враги нашего народа прячутся под любой личиной, что на сегодняшний день бдительность — одна из первых наших общих задач.

Нет, он, капитан Исаев, слишком мало знал майора Зелинского, чтобы оправдывать или осуждать его; тогда слова комиссара полка он просто принял к сведению. Вроде бы и с полным доверием, но где-то в самой глубине его души уже зарождалось зыбкое сомнение: вдруг почему-то стало плохо вериться, что Блюхер, Тухачевский и другие еще недавно известнейшие наши военачальники, те самые, которые в гражданскую войну, не жалея себя и отвергнув золото, какое сулили им беляки, безжалостно крушили всех врагов молодой Советской Республики, теперь полностью перелицевались, стали матерыми врагами всего, за что так самоотверженно бились в годы гражданской войны.

Народились первые сомнения, боясь, чтобы кто-нибудь не уловил его на этом, он вовсе замкнулся, даже с Аннушкой не поделился этими своими мыслями, которые искренне считал откровенно крамольными. Может быть, со временем они и заглохли бы, умерли бы сами по себе, но случилось так, что вскоре — летом сорокового года — командир полка поручил ему неотлучно быть при генерал-майоре, прибывшем с инспекторской проверкой. Конечно, как стало уже традицией, старались предугадать все желания генерала. Но тот, начавший военную службу еще при царе, ко всему внешне был равнодушен. Даже на рыбалке, специально для него организованной, он выпил только стопочку водки и, взяв удочку, демонстративно ушел в камыши, где для его удобства даже установили старое, но еще вполне приличное кресло. Всю вечернюю зорьку безвылазно он просидел там.

Зато адъютант генерала — старший лейтенант, казалось, пропахший цветочными одеколонами, — испробовал и водочки, и коньяка. Настолько изрядно хлебнул всего, что окосел основательно. Вот тут из него и поперло все то, что скрывалось под внешним лоском. Прежде всего — он заважничал, повел себя так, словно не он при генерале, а тот при нем состоял. Упиваясь своим мнимым величием, он

вдруг и ляпнул, что кое-кто из больших военачальников на соперников по службе умышленно возводит напраслину: дескать, я сейчас, не сходя с места, могу назвать тебе, капитан, двух членов той тройки трибунала, которая самого Тухачевского к расстрелу приговорила. Назову — от удивления целый год, как минимум, слова «мама» сказать не сможешь.

Капитан Исаев с первого раза предпочел не услышать этого. Тогда хмельной старший лейтенант уже потребовал гневно:

— Говори, хочешь, чтобы назвал их? Хочешь?

Капитан Исаев ответил нарочито грубо:

— Заткнись, если сам себя похоронить не желаешь!

Старший лейтенант будто сразу протрезвел.

А сказал так грубо капитан Исаев скорее всего потому, что боялся за свою судьбу: ведь сравнительно близко солдаты были, которые могли услышать этот разговор. Но слова старшего лейтенанта он накрепко запомнил: ему, как и прочим людям, тоже было свойственно-обыкновенное любопытство...

Итак, почти полгода не было даже слуха о судьбе бывшего майора Зелинского. А сегодня вот он — остриженный «под нуль», с ввалившимися щеками и злыми глазами — стоит в последнем ряду прибывших. Он, встретившись взглядом с капитаном Исаевым, не потупился, на грош не смутился, вроде бы даже вызов своими глазами бросал всем, кого видел сейчас.

Капитан Исаев решительно шагнул вперед и молча протянул руку бывшему майору и бывшему командиру батальона. Тот, похоже, ничего подобного не ожидал, он считанные секунды будто не видел протянутой руки, а потом, с большим опозданием, порывисто, судорожно и двумя руками ухватился за нее. Тискал руку капитана Исаева и молчал. Наконец все же прошептал:

— Спасибо... Большое вам спасибо.

— За что? — искренне удивился капитан Исаев.

— За последние полгода вы первый, кто мне руку подал...

Солдаты, матросы и ополченцы, разумеется, увидели все это. И поняли: у этих двух человек есть что-то такое, что они просто обязаны были высказать друг другу. И кое-кто вдруг вспомнил, что ему обязательно нужно поглядеть соседей, и именно сейчас, а прочие так быстро и умело сгрудились в дальнем от печурки конце землянки,

что капитан Исаев и его знакомец оказались вовсе одни. Только теперь, опять понизив голос до шепота, бывший майор и предложил:

— Прошу вас под каким-нибудь предлогом выйти со мной из землянки... Очень прошу... Пожалуйста...

Капитан Исаев догадался, что предлагаемый маневр предназначен лишь для того, чтобы подстраховать его судьбу от злого доноса. Одновременно в голову пришло и другое: или он, как командир, увидев среди пополнения человека, которого органы за что-то привлекали к ответственности, не имеет права узнать у него самое необходимое, что тому разрешено рассказывать? Не только имеет право, но даже и обязан это сделать! И лучше всего, чтобы исключить кривотолки, здесь, при людях. Потому и спросил, правда тоже понизив голос почти до шепота:

— О себе, Михаил Станиславович, ничего рассказать не желаете? Хотя бы кратко и самое главное?

— В моей сегодняшней биографии теперь все самое главное, — криво и горько усмехнулся тот, но, помолчав с минуту, все же сказал, что причина его ареста — фамилия. Зе-лин-ский. Чувствуете, товарищ капитан, как вызывающе звучит в ней польская кровь? А отсюда, по мнению некоторых, могло следовать только одно: он, внук ссыльного поляка, не на жизнь, а на смерть бившегося с царизмом, в командные кадры Красной Армии пробился исключительно по заданию иностранной разведки. Это у допрашивавшего сомнений не вызывало, ему только и надо было узнать, какой именно...

Бывший майор не жаловался на свою судьбу, не расписывал черной краской, через что ему пришлось пройти, в своем рассказе он обходился без подробностей, которые хотя бы чуть-чуть приподняли завесу над его вчерашним днем. Лишь мельком упомянул, что последние месяцы в Крестах провел. Не знаете, что это такое? Да тюрьма для особо опасных преступников...

А закончил свое печальное повествование он так:

— Не нашел гражданин следователь в моих действиях ничего преступного, хотя и очень старался, не смог доказать даже приблизительно, что я вражеский шпион... Но все равно, чувствую, долгие годы валить бы мне лес на суровом Севере, да невозможно сейчас арестантов вывозить из Ленинграда. Самолетом — неоправданно дорого, а все прочие виды транспорта блокадой исключены. Поэтому, основательно все это взвесив, и объявили, что мне

дается возможность кровью искупить свою вину. А вот какую — убей бог, не знаю... Так вот я и оказался здесь, в окопах первой линии.

Что на это мог ответить капитан Исаев? Дескать, полностью верю в вашу невиновность? Это было бы ложью: хотя вроде бы и голую правду выложил Михаил Станиславович, но в душе капитана все еще таилась некоторая настороженность — сказывалась привычка верить в справедливость органов и вообще всего нашего государственного аппарата.

Или, может быть, сейчас следует подбодрить бывшего майора, заявить: мол, я за вами добрыми глазами присматривать буду, так что при первом удобном случае напомню начальству о вас?

И этого не мог, не имел права сказать он: немедленно надо отстранять от должности того командира, который заранее настраивается на своих подчиненных смотреть предвзято.

Потому капитан Исаев только и положил свою руку на плечо красноармейца Зелинского; как хочешь, так и понимай этот жест. Но тот все понял правильно, он сказал, впервые благодарно улыбувшись:

— Вы, товарищ капитан, не переживайте за меня, самое страшное у меня уже в прошлом. Нет ничего отвратительнее, когда не имеешь за собой вины, а на тебя заметный издали ярлык врага народа уже навесили. И до конца дней своих носить тебе тот проклятый знак... Сейчас даже смерть для меня явится величайшей наградой по сравнению с тем, на что мог быть обречен.

Капитан Исаев хотел сказать, что прекрасно понимает его душевное состояние, тогда и теперь, но тут в землянку ввалились майор Крючков и какой-то незнакомый старший лейтенант — всего лет двадцати, не исхудавший до истощения и с тоненькими стрелочками ухоженных черных усиков. С первого взгляда этот старший лейтенант не понравился капитану Исаеву. Скорее всего потому, что равнодушными оставались его глаза, когда скользили по лицам рядовых и сержантов. Зато какое благожелательное тепло враз хлынуло из них на него, капитана Исаева!

Да и приветствуя лишь капитана Исаева, старший лейтенант не руку, а сжатый кулак поднес к своему правому виску, на секунду замер и вдруг выстрелил из кулака сразу всеми пальцами. Кому-то, возможно, нечто подобное и могло понравиться. Но капитан Исаев был прин-

ципиальным противником различных фортелей. Ведь, как объяснял один лектор, что такое взаимное приветствие военнослужащих и почему именно правая рука поднимается ими к головному убору? И обязательно хоть чуточку раскрытой ладонью вперед? Во всех армиях мира именно так военные приветствуют друг друга!

Тот лектор сказал: поднимая так — самую сильную, самую развитую — правую руку, один воин убеждает второго, что не затаил в руке оружия.

Иными словами, незнакомый старший лейтенант сразу и категорически не понравился капитану Исаеву.

Майор Крючков, оказавшись в землянке, стал немедленно прощаться. С каждым из бойцов. С обязательным рукопожатием. И, что откровенно удивило капитана Исаева, — солдаты, матросы и ополченцы (это было видно и невооруженным глазом) искренне сожалели, что майор уходит от них. Даже Юван, тот самый Юван, который — единственный во всем батальоне! — принципиально не вставал при его появлении, сегодня сам подошел к нему, уважительно пояснично поклонился и сказал:

— Однако после война приезжай гости. Оленя зарежу. Лучшего.

— А куда ехать? Адресок дашь?

— Большой город Архангельск твоя знает? Там увидишь человека народов Севера и спроси любого. Он скажет, где стоит чум Ювана.

Простившись со всеми за руку, майор Крючков будто только сейчас вспомнил о старшем лейтенанте, вроде бы скромно стоявшем почти у входа в землянку. И поднял руку, призывая к вниманию. Потом сказал враз обесцветившимся голосом:

— Сие есть старший лейтенант Пряжкин Иосиф Устинович. Он вступает в командование ротой. — И уже только старшему лейтенанту: — Будете в различных ведомостях копать, проверять личный состав по списку или позволите процедуру приемки считать состоявшейся?

Старший лейтенант ответил без промедления, четко козырнув и давая этим понять, что свято чтит ту дистанцию, какая есть между ним и товарищем майором:

— Роту я уже принял. — Вежливый поворот головы в сторону капитана Исаева: — Вот только бы доставить сюда мой чемоданчик. Он на командном пункте батальона...

— Товарищ старший лейтенант, дозвольте, я за ним

мигом слетаю? — поспешил предложить свои услуги солдат Акулишин.

Капитану Исаеву было жаль расставаться с ротой, до боли в сердце жаль. А тут еще и молокосос, летом прошлого года досрочно выпущенный из училища, а теперь ставший уже старшим лейтенантом! Явный подхалимаж Акулишина доконал окончательно. И он сказал буднично, как обычно и разговаривал со своими бойцами в присутствии кого-нибудь постороннего:

— Помните, ребята, что не я от вас убежал, а бригадное начальство меня от вас забрало. Такова, кума, уха из петуха... А вообще-то мы с вами и теперь рядышком будем, так что, если понимаете, сейчас прощаюсь с вами условно, лишь до утренней зорьки.

Сказал это, взял автомат, почти пустой вещевой мешок, жестом руки приказал Пирату следовать за собой и решительно вышел из землянки, плотно прикрыв за собой ее дверь. И немедленно майор Крючков спросил, требовательно глядя в глаза старшего лейтенанта Пряжкина:

— Надеюсь, наша договоренность остается в силе?

— У меня слово всегда лишь одно, — несколько напыщенно и с откровенной обидой ответил старший лейтенант.

— Ну-ну, вам, конечно, лучше знать. Однако я очень прошу...

Не досказав того, что намеревался сказать, майор Крючков козырнул сразу всем бойцам, находившимся в землянке, и поспешил вслед за капитаном Исаевым.

А старший лейтенант Иосиф Устинович Пряжкин, оказавшийся единственным начальником над этими солдатами, матросами и ополченцами, на каждого из них посмотрел так, словно хотел прожечь насквозь своими серыми, почти бесцветными глазами, и лишь тогда не сказал, а отрубил:

— Вчера днем фашистским снарядом убило дочь капитана Исаева. Прямое попадание...

— Ой, маменька, — непроизвольно вырвалось у солдата Карпова.

И немедленно старший лейтенант повысил голос:

— Разговорчики!

Он продолжил, лишь выдержав впечатляющую паузу:

— Предупреждаю, если кто из вас сболтнет об этом капитану, с тем у меня будет особый разговор. — Помол-

чал, будто вспоминая, не забыл ли сказать еще что-то важное, и вдруг выкрикнул вовсе не к месту: — Разойдись!

14

О гибели дочери капитан Исаев узнал уже на следующий день. От солдата Акулишина. Тот, вдруг явившись на командный пункт батальона, с излишне наигранной скорбью заявил:

— Разрешите, товарищ капитан, от имени личного состава нашей роты выразить вам искреннее соболезнование по поводу трагической кончины вашей дочери Полины Дмитриевны.

Стало ясно, что эту фразу он выучил надежно: залпом выпалил, без единой запиночки.

Люди, в тот момент находившиеся около капитана Исаева, потом уверяли, что лицо его мгновенно стало серым; и скулы будто бы вмиг заострились еще больше. А вот первые пока еще слабые признаки знакомых болей в сердце почувствовал лишь он сам.

Ничего не ответил капитан Исаев мнимому посланцу роты. Даже презрительного взгляда не удостоил.

А что он именно мнимый — догадался сразу: никогда бойцы столь щекотливое, столь деликатное дело не доверили бы человеку, в их глазах полностью лишившемуся авторитета; для выполнения подобного поручения они сержанта Перминова, солдата Карпова, Юрия Даниловича или любого другого человека занарядили бы.

Ни слова не обронил капитан Исаев. Лишь челюсти сжал так, что упругие желваки заходили на скулах. Однако немного погодя он жестом руки отпустил всех, подошел к своему топчану, коротавшему время в самом дальнем углу землянки, и осторожно лег на него, умершими глазами уставился на бревна наката.

Пират, постоянное место которого было под топчаном, вылез оттуда, положил свою голову рядом с рукой хозяина, ждал, что вот сейчас она, эта ласковая рука, коснется его головы. Может быть, даже побродит пальцами у него за ушами.

Рука хозяина не шевельнулась. Тогда Пират, решив, что хозяин устал и сейчас отдыхает, улегся на земляной пол рядом с топчаном и мордой ко входу в землянку. Теперь любого, кто без разрешения хозяина попытался бы

войти сюда, он был готов встретить предупреждающим оскалом впечатляющих клыков.

15

Узнав, что в Ленинграде погибла и Полина, капитан Исаев, и ранее немногословный, стал и вовсе молчаливым. Отдаст необходимые распоряжения или ответит на вопросы и снова, случалось, на часы замолчит; сидит, положив руку на голову Пирата, смотрит, не мигая, не поймешь на что, и слова не обронит. Или вдруг поднимется и буркнет своему начальнику штаба:

— В свою роту загляну.

Он никогда не говорил — в бывшую мою роту.

Буркнет это и уйдет. Иногда на весь долгий вечер.

Капитан Исаев не любил старшего лейтенанта Пряжкина, всем нутром своим не принимал его, а вот в роте его гостил часто. Сразу невзлюбил Пряжкина. В том числе и за то, что тот всего за полгода службы командиром из младших в старшие лейтенанты пробился. Нет, капитан Исаев по-настоящему никогда не завидовал товарищу, продвинувшемуся по службе, так сказать, обошедшему его. А вот с Пряжкиным... Дело в том, что, ознакомившись в штабе бригады с немногими документами, касающимися Пряжкина, капитан Исаев теперь знал, что в последних числах июня прошлого года ему с товарищами по курсу было досрочно присвоено звание младшего лейтенанта. Выпустили из училища и немедленно всех (кроме Пряжкина) направили взводными командирами в действующую армию. Один он, Еся Пряжкин, получил назначение в военную комендатуру города и не на должность, требующую ума и настоящей работы, а на должностишку! Нет, отличником он не бывал, так что о праве выбора места службы разговор вести не следует. И среди его ближайших родственников не обнаружилось влиятельного лица, способного по своему желанию сделать судьбу любимого или нужного человека: учителями начальных классов в Пензе были его отец с матерью. Взвесив все это, невольно захотелось спросить: а чем следует объяснить столь успешное начало его командирской карьеры? Только одним: видать, умеет он и находить нужных ему людей; и подходить к ним соответствующим образом. Ишь, давно ли опубликовано, что на время, пока будет длиться война, сокращается выслуга лет на право получения оче-

редного воинского звания, а он, Еся Пряжкин, эту вовсе не обязательную льготу, можно сказать, более чем на сто процентов использовал!

Но уж здесь-то, пока батальоном командует он, капитан Исаев, ему все тайные тропочки вроде бы надежно перекрыты...

Больше же всего отталкивало капитана Исаева от старшего лейтенанта Пряжкина то, что тот откровенно сторонился своих солдат, похоже, почему-то считал их ниже себя во всех отношениях: хотя и жиденкой, но занавесочкой в землянке от них отгородился, до простых человеческих разговоров с ними не снисходит; только, когда он, капитан Исаев, сидит в центре их кружка, тогда, как говорят моряки, и «пристраивается в кильватер».

Прекрасно видел все это и кое-что другое капитан Исаев. Потому зорко и поглядывал на боевые дела роты, напряженно следил за обстановкой в ней, чтобы, если вдруг возникнет такая необходимость, вмешаться незамедлительно.

Тогда он в душе еще таил надежду, что Пряжкин прозреет, осознает пагубность такого своего отношения к людям и жизни.

Размеренно, лишь с боями местного значения, текла жизнь во всей бригаде, а следовательно и в батальоне, и остаток зимы, и всю весну — солнечную, полноводную. Лишь одно волнующее событие и случилось за все эти месяцы: к первомайским праздникам соответствующим приказом капитану Исаеву было присвоено звание майора, а сержанту Перминову — младшего лейтенанта. А в первых числах июля, в одну из прозрачных белых ночей, когда хотелось думать о чем угодно, но только не о смерти, вся бригада, повинувшись приказу, тайком от врага вдруг ушла с передовой, без сожаления уступив свои окопы стрелковой дивизии, быстро зашагала сначала к Ленинграду, потом, старательно обойдя центр, пересекла город с юго-запада на северо-восток, вышла почти на берег Ладожского озера и там встала будто бы на отдых. В темном сосновом бору встала. Он, тот бор, был настолько темным и неприветливым, что на земле не просматривалось ни единой зеленой травиночки.

Хотя не потому ли, что не было здесь ни одной травиночки, бор и казался темным, неприветливым?

Здесь, среди высоченных сосен, чьи стволы, похожие на бронзовые колонны, лишь на самой вершине имели шапку

из нескольких мохнатых и густых веток, изредка можно было увидеть лишь наших одиночных солдат и даже командиров, спешивших куда-то. У одного из старшин, шагавшего с термосом за спиной, майор Исаев и спросил:

— Случайно не знаешь, имеет этот бор название или нет?

— И бор, и холмик — все Красная Горка, — не замедлив шага, ответил тот.

Майор Исаев точно знал, что мощнейшие форты исторической Красной Горки были чуть западнее даже Кронштадта. А если так, то как следует понимать ответ старшины?

Юрий Данилович, заметивший его некоторую растерянность, охотно пояснил:

— Эти места, Дмитрий Ефимович, в свое время я вполне прилично изучил. Ведь мы с вами сейчас буквально в километре от нашей старой линии укреплений. Хотя, пожалуй, и того меньше отсюда до нее осталось... Местность здесь в основном болотистая, богатая на маленькие сосенки и речушки, зачастую похожие на заброшенные людьми канавы. Между прочим, местные жители некоторые эти речушки величают Мойкой. Уверяют, что они начало той реки... И около станции Мга, и в Синявинских болотах я ее встречал, один раз, немного разбежавшись, даже соизволил перепрыгнуть!.. Повторюсь: местность тут больше болотистая. Вот люди, поселившиеся здесь, может быть, века назад, многие холмы и даже холмики, поросшие такими красавицами соснами, и нарекли Красными Горками... Или вы не согласны, что по сравнению с окружающей болотистой это место очень даже красивое и удобное?

Постой, постой, неужели мы действительно подошли к нашей старой линии обороны? Туда, где с прошлой осени стоит клин вражеских войск?

Если так, то почему не слышно яростной стрельбы?

Этот вопрос гвоздем вошел в сознание. И майор Исаев, увидев первого же старшего офицера, подошел к нему и прямо спросил, как все это следует понимать. В ответ только и услышал, что здесь против нас стоят финны, которые в недавней войне проявили себя вполне достойно.

Услышав это, майор Исаев не испугался противника, с которым ему еще не доводилось сталкиваться в бою. Но и не посчитал, что с ним управиться будет легче, чем с отборными частями заматеревших гитлеровцев.

А уже следующей ночью — дождливой, ветреной, — ко-

гда от своего предшественника принимал линию обороны, он узнал, что на этом участке фронта взаимоотношения с финнами сложились очень своеобразные, можно сказать, исключительные, требующие большого понимания. Виновато отводя глаза в сторону, капитан — командир сменявшегося батальона — сказал: дескать, здесь, на этом участке фронта (за другие не ручаюсь!), сил у нас так мало, что о наступлении никто из наших военачальников и не помышляет. А финны... Они сейчас, похоже, и вообще не хотят воевать, заявляют: нам, мол, и своей земли хватает. Во всяком случае, они не атакуют, не бомбят, не обстреливают из минометов и орудий так неистово, как это было еще в прошлом году. Больше того...

Тут командир батальона, будто бы уходящего на отдых (ведь и их бригаде обещали то же самое!), и вовсе засмутился, какое-то время помялся в нерешительности, а потом бесшабашно махнул рукой и честно выпалил:

— Понимаете, начальство, оно всегда остается начальством, оно просто обязано от своих подчиненных требовать активности. Не станет требовать — свою башку бесславно потеряет. Ну, порой и «активничаем», открываем огонь по заранее запланированному квадрату... Короче говоря, здесь мы друг друга предупреждаем, если такое должно случиться. И координаты того квадрата даем, куда снаряды и мины уже завтра швырять будем.

— Как так предупреждаете? — боясь окончательно поверить услышанному, спросил майор Исаев.

— Предупреждаем, и все тут! Или вас конкретный способ, каким для предупреждения пользуемся, сейчас больше всего интересует? — разозлился капитан.

— Ни черта не понимаю! — в сердцах воскликнул майор Исаев.

— А чего тут понимать? Или я не русским языком говорю?.. Послушай, а ты не из тех? — выпалил это и словно с полного хода на стену налетел.

— Из каких «тех»? Договаривай, — нахмурился майор Исаев.

И тогда, в душе обматерив себя за болтливость, капитан продолжил, заметно сдерживая злость, расправившую его:

— Из тех, которые доблестно несут военную службу в нашем глубоком тылу, спят с женой фронтовика и каждый день начинают с того, что ищут себя в списке награжденных, опубликованном в газете!

Какое-то время молчали, избегая глядеть друг на друга, чтобы не распалиться еще больше и не сказануть чего-то такого, о чем придется сожалеть.

Майор Исаев первый совладал со своими нервами и сказал спокойно, весомо укладывая каждое свое слово:

— Я от самой границы до этих болот дошел. Сам понимаешь, не под звуки духового оркестра.

Обращение на «ты» — свидетельство того, что обиды нет, оно предложение дальнейший разговор вести на равных.

— А я что говорю? — откровенно обрадовался капитан и заторопился пояснить причину своей недавней вспыльчивости: — Еще и неделя не минула, как на утренней зорьке прибыл ко мне поверяющий. В твоём чине... И одеколоном от него попахивало...

— Или это плохо?

— Не в одеколоне дело... Поверяющий сначала меня умными вопросами донимал. Потом вдруг замечаю, он головой вертит, по сторонам глазами стреляет. Конечно, спрашиваю, что он потерял. Он мне: «Где тут отхожее место?» Отвечаю: «Где стоишь, там и валяй». Он не соглашается. Дескать, ему по большому надо. Тогда я вполне доброжелательно, на полном серьезе и предлагаю ему отойти от меня метра на полтора и там... Потом, мол, лопаткой все свое недавнее богатство, лишним оказавшееся, и вышвырнешь из окопа.

Сказав это, капитан замолчал, дрожащими пальцами стал сворачивать сигарку. Потом протянул кисет майору Исаеву и продолжил:

— Не послушался он меня, видать, решил, что разыгрываю... Метрах в пяти от окопа мои солдаты углядели его. Финский снайпер ему точнехонько между глаз угдидил... Вот так у иного человека и обрывается жизнь... Местность здесь, сам видишь, болотистая, в землю тут больше чем метра на полтора не углубишься: вода обязательно и немедленно дно твоей ямы зальет... Потому в своих землянках, чтобы постоянно ногами грязь не месить, мы специальные настилы из стволов сосенок сделали... И в окопах кое-где тоже... Вот плюсуй все, что я тебе честно рассказал, обдумай, прикинь, как в таких условиях нормальный бой вести, даже самый заштатный артналет пережить, и лишь тогда приговор нам выноси.

Капитан Исаев еще не решил, как будет поступать сам, он лишь спросил не очень уверенно:

— А наши старые оборонительные сооружения...

— Там, конечно, другой коленкор.

Из дальнейшего разговора стало известно, что здесь воюющие стороны друг друга предупреждали и о таких простых вещах, как стирка или сбор грибов для общего котла; чтобы противник, заметив оживление, не подумал, будто это подготовка к наступлению. Финны, те обязательно даже о завтрашнем прибытии в окопы шюцкоровцев нам говорили!

— Ты, майор, конечно, сам соображай. Да и начальство у тебя свое. А что касается нас, то мы вот так здесь жили. И, если откровенно, не считаем себя особо виноватыми перед Родиной. Мы, как говорится, по одежке протягивали ножки. Ведь, может быть, благодаря именно такой нашей тактике и потери в личном составе у нас не были чрезмерно большими. Значит, хоть мы постоянно не требовали пополнения людьми... А почему финны так ведут себя... Как мне думается, их основательно протрезвил разгром немцев под Москвой, ой как протрезвил...

Все сказанное оказалось правдой. Были и укрепления, в которых, отбивая атаки врага, как казалось майору Исаеву, можно было без связи с соседями успешно сидеть и месяцы, были и окопы глубиной чуть побольше метра и с лягушками, изредка квакающими на их дне, и землянки, полом в которых служили стволы молодых сосенок, пружинящие при каждом шаге, и смачно чавкающая под ними грязь, пахнувшая болотом. И приказано было командный пункт батальона разместить в одном из дотов, а ротам достались именно такие окопы и землянки.

На расстоянии метров четырехсот скорее угадывались, чем просматривались, окопы финнов. Окутывала их настоженная тишина, переполненная ожиданием. Но вот пулеметная очередь — длиной почти во всю ленту — резанула по утренней прохладной и прозрачной тишине; пули ее пропели вызывающе высоко. Майор Исаев понял, что это своеобразное приглашение к разговору, что от его ответа, который сейчас обязательно должен дать он, командир советского батальона, зависит многое. И, подумав вовсе считанные секунды, приказал пулеметчику:

— Очередью примерно такой же продолжительности стегани-ка по вершинам тех сосенок, что линию горизонта к нам приближают.

Пулеметчик не спросил, ради чего надо стрелять впу-

стю, он, похоже, прекрасно понимал и одобрял решение своего комбата, приказ выполнил абсолютно точно.

Единственное, о чем при пересменке не было сказано ни слова, так это комарье. Звенящее, гнусавящее, пищущее. Его над каждым солдатом темным пляшущим столбиком вилось множество. И, матерясь вполголоса, бойцы нещадно дымили махорочными самокрутками, положив оружие на оравнительно сухое место, непрерывно обмахивались сосновыми веточками, порой ожесточенно хлестали ими себя по шее, вспухшей от множества комариных укусов. Лишь Юван будто вовсе не замечал комаров, облюбовавших его скуластое лицо. Он, затаившись за стволом тонюсенькой сосенки, не спускал затуманенных глаз с болотных кочек, запятнанных морошкой и еще зеленой клюквой, с малюсеньких проплешин воды, отражающей голубизну неба.

Долго он смотрел. И вдруг сказал:

— Тундра похожа.

— Говоришь, здешняя местность с тундрой схожа? — моментально полез в разговор Карпов.

Юван будто не услышал его.

Прошло еще несколько дней, и попривыкли к комариному звону, стали воспринимать его как что-то хотя и неприятное, но неотделимое от сегодняшнего дня.

Жизнь шла терпимо, и вдруг в середине августа, когда все, выслушивая сводки Совинформбюро от первого до последнего слова, внимательно, с огромным напряжением следили за ходом боев на Сталинградском направлении, стало известно, что сюда с проверкой частей и их боеспособности едет генерал Селезень. Сам командир бригады, собрав командиров батальонов, объявил об этом.

Майору Исаеву захотелось немедленно спросить: «Тот самый?»

Командир бригады, словно предвидя этот вопрос, сказал:

— Да, тот самый.

«Тот самый» генерал-майор Селезень до войны, если память не подводит, имел чрезвычайно высокое воинское звание и занимал какой-то ответственный пост. Настолько ответственный, что никто из простых смертных и не знал, за что конкретно он отвечает. Ему вроде бы симпатизировал сам товарищ Сталин, а следовательно, и многие члены правительства. Еще, шепотком говорили те, кто с ним сталкивался по работе, он чрезвычайно самолюбив,

упрям до невозможности; злопамятен: дескать, другой начальник, дав кому-то сегодня даже основательную взбучку, скоро и забудет о ней, если ты не повторишь ошибки, а этот запоминает все, чтобы вдруг вывалить на твою голову в самый невыгодный для тебя час.

Многие из тех, кто знал Селезню, откровенно радовались, когда прошуршал слухок о том, что осенью прошлого года зазнайка Селезень явился в Москву с фронта не в парадном мундире, увешанном орденами и медалями, не в хромовых сапожках, начищенных до зеркального блеска, а в армяке и в самых заштатных липовых лапоточках, не во главе воинов, грозно сжимающих руками оружие, а одинешенек, опираясь на самую обыкновенную суковатую палку.

Хотя, может быть, и не было у него в руке той суковатой палки: те, кто рассказывал все это майору Исаеву, сами в тот момент тоже не видели Селезню...

Да, многие радовались, предполагая, что уж теперь-то больше не доведется Селезню издеваться над людьми, которые волею судьбы окажутся у него в подчинении, и одновременно жалели его: знали, что товарищ Сталин крут характером и скор на суровые решения; хотя об этом особо громко и не трубили, но многие знали, что стало с генералом Павловым и некоторыми другими почти столь же видными военачальниками, не оправдавшими возлагавшихся на них надежд. И недоумевающе запереглядывались, когда стало известно, что Селезень отделался чрезвычайно легко, что его не расстреляли, как других, даже в тюрьму не посадили. Его только понизили в звании. До полковника будто бы понизили.

И вот уже снова, правда лишь генерал-майором, он приезжает сюда. Ему вновь дано право докладывать Верховному Главнокомандованию, кого следует казнить; кого помиловать или даже наградить...

16

О прибытии генерал-майора Селезню на их участок фронта не оповестили, об этом догадались по нервозности, которая по телефонным проводам заструилась из штаба бригады.

Солнце уже покатилося с горки, правда, пока еще медленно, и майор Исаев стал подумывать, что нежелательный поверяющий минует его батальон, и вдруг из штаба

бригады позвонили и сказали кратко, зато выразительно, предостерегающе:

— Отбыл к вам.

Что ж, отбыл так отбыл...

За годы службы в армии майору Исаеву довелось не раз видеть и приниматьверяющих. Разными они были. Вернее—все были более или менее одинаково требовательны, но некоторые из них, проводя проверку, во главу угла, случалось, ставили не боевую подготовку части, а что угодно другое. Так, один из поверяющих (помнится, году в тридцать восьмом это было) вдруг пожелал непременно увидеть нижнее белье командного состава, то, которое сейчас надето. Он был искренне удивлен, даже возмущен, обнаружив, что многие явились на службу не в казенных, а в собственных трусах. Как это понимать прикажете? Как намек на то, что вам казенного нижнего белья мало выдают?!

Это и многое другое уже знал майор Исаев, потому со вчерашнего дня и скоблили, чистили и мыли и самих себя, и все прочее, что только было возможно. И все равно сейчас он внутренне вздрогнул. Но в роты о приближении Селезня сообщил спокойным голосом.

Генерал-майора Селезня—несколько ниже среднего роста, но настолько толстого, что казался почти квадратным,—шагавшего в сопровождении нескольких командиров различных рангов, майор Исаев увидел заблаговременно и, привычно одернув гимнастерку, зашагал навстречу. Потом, как того и требовал устав, за пять шагов перешел на строевой шаг, за три—остановился и, чуть придержав голос (все же они на передовой, не на плацу), скомандовал «смирно» и четко доложил, буквально несколькими короткими фразами точно обрисовав обстановку в своем районе обороны и одновременно представившись. Насколько удачно все это сделал, что командир бригады, пряча улыбку, одобрительно кивнул. А вот генерал-майор Селезень спросил, криво усмехнувшись:

— Голос никак пропил? Или отродясь его у тебя не было?.. В наше время те, кого мать-природа голосом обидела, в командиры не лезли.

Майору Исаеву следовало бы смолчать, сделать вид, будто уже глубоко осознал свою вину. Поступи он так, очень возможно, что и утихомирится бы Селезень, сменил бы гнев на милость. Но он не знал, что слова поверяющего были порождены раздражением, что он с давних пор не

мог терпеть, если младший по званию оказывался выше его ростом, и начал оправдываться:

— Здесь, товарищ генерал-майор...

Опять ошибка, опять промах! Теперь дипломатического характера: такое обращение Селезень воспринимал только как намек на свое недавнее величие; лучше было бы назвать его просто генералом...

— ...передовая, криком можно и вражеский огонь на себя вызвать.

— Говоришь, можно вражеский огонь на себя вызвать? Выходит, за шкуру свою дрожишь? — еще выше поднял голос Селезень, теперь он уже кричал. — То-то я никак не пойму: уверяют, что ведут к фронту, что на передовую идем, а стрельба все тише и тише! А теперь мне все ясно: откуда здесь взяться настоящей музыке боя, если командиры батальонов труса празднуют!

Очень возможно, что майор Исаев и стерпел бы незаслуженную грубую брань, но смолчать, когда тебя и твоих товарищей обвиняют в трусости?!

И он тоже чуть повысил переполненный обидой голос:

— Товарищ генерал...

— Разговорчики! — теперь и вовсе озверев, рывкнул тот.

На великую беду этот его вопль окончательно лишил последнего спокойствия Пирата, которому не было никакого дела до генералов и прочих чинов, для которого безопасность хозяина была превыше всего. Услышал Пират гневный вопль генерала — сшиб с ног ополченца, державшего его за ошейник, и с глазами, налитыми кровью, с оскаленными клыками, с шерстью, на загривке вставшей дыбом, вдруг возник между майором Исаевым и генералом Селезнем. Так внезапно возник, казалось, из ничего, и настолько устрашающа была его ярость, что Селезень, которому в мужестве отказать было нельзя, невольно, даже полностью не осознавая этого, сделал два или три шага назад.

Вот теперь майор Исаев и вовсе превратился для Селезенья в непримиримого врага: из-за него, этого долговязого майора, теперь несколько человек видели, что он, опальный генерал, попятился, испугавшись какой-то ничтожной собачонки. И он проревел еще более гневно:

— Псарню от безделья развели?! Расстрелять! Немедленно!

Выкрикнул и замолчал — побагровевший и задыхаю-

щийся от переполнявшей его злости. В этой предгрозовой тишине раскатом оглушительного грома прозвучал спокойный голос Ювана, с разрешения своего взводного командира прокравшегося сюда специально для того, чтобы «посмотреть на утку рода мужа»:

— Зачем кричишь? Здесь глухой нет... Плохо кричать на длинная человека. Посмотри, какая твоя, какая его...

— А это что еще за чучело?

— Моя не чучило, моя — народы Севера, — с большим достоинством парировал Юван этот его выпад.

Скорее всего, именно последняя фраза, сказанная Юваном, заставила Селезня вспомнить, что опала с него полностью еще не снята, что сегодня его личные недоброжелатели любой повод очень просто могут использовать против него, использовать для того, чтобы добить окончательно. А тут, оскорбив этого инородца (другого слова в тот момент он не нашел, да и не искал особо старательно), он, Селезень, вроде бы пытается подорвать основы единства всех народов, живущих рядышком на нашей земле. Иными словами, эта его промашка запросто могла быть превращена в политическую линию, направленную на...

И он поспешил под маской добродушия и деловой решительности спрятать гнев, распиравший его:

— Ладно, побазарили, побранились — пора и за дело браться. Давай, майор, веди на свой командный пункт.

На командном пункте, прежде всего внимательно ощупав глазами каждый сантиметр наката из тонких жердочек, он сказал:

— Небось из-за лениности ограничились одним накатом из этих прутиков?

— Никак нет, здесь бетонная крыша с земляной присыпкой. То и другое такой толщины, что ни одно прямое попадание бомбы или снаряда не страшно... А жердочки для красоты уложены, они бетон маскируют, от глаз прячут, — поспешил объяснить командир бригады, надеясь собой прикрыть майора Исаева.

— Почему ты отвечаешь? Он-то, — кивок в сторону майора Исаева, — и этого не знает?

Комиссар бригады предостерегающе сжал локоть майора Исаева, уже напрягшегося, уже готового ответить резко, может быть, даже грубо.

А дальше все закрутилось и вовсе как в кошмарном сне. Минут около десяти посмотрев в стереотрубу на позиции финнов, Селезень вдруг сказал:

— Ишь, совсем беды не ожидают... А ну, капитан второго ранга, прикажи-ка своим пушкарям беглым огнем ударить в район тех пяти сосенок, что отдельно от прочих стоят.

— Но, товарищ генерал...

— Давай, давай, не скупердяйничай: по одному моему телефонному звонку снарядов тебе в несколько раз больше пришлют, чем ты сегодня израсходуешь!

Майор Исаев так и не понял, почему командир бригады, который — это было известно точно — никого и ничего не боялся, сейчас уступил генералу. Может быть, загипнотизировало то, что Селезень здесь являлся представителем Верховного Главнокомандования? Или жадность одолела? Захотелось побольше снарядов заиметь? Кто его знает. Но факт остается фактом: капитан второго ранга бросил в телефонную трубку несколько скупых официальных слов, и через считанные минуты где-то сзади батальонного командного пункта прозвучал первый стройный артиллерийский залп, и вскоре, прошуршав над блиндажом, наши снаряды рванули на линии обороны финнов. За первыми последовали вторые, третьи... А вот, подвывая, туда же полетели и мины калибром от ротных до полковых. С каждой минутой наш артиллерийский и минометный огонь становился все яростнее, неистовее. Майор Исаев понял: армейское командование, узнав в штабе бригады причину открытия нами огня, чтобы подстраховаться, ввело в бой и свои батареи. Может быть, и далеко не все, но ввело.

Там, где еще недавно угадывалась линия обороны финнов, временами взлетали в небо и обломки бревен — верный признак точного попадания во вражеские блиндаж или пулеметное гнездо.

На наш огневой шквал финны ответили с малым опозданием, но тоже яростно. И теперь на линии фронта уже ничего не осталось от солнечного дня, манившего полакомиться пожелтевшей морошкой или пособирать ядреные молоденькие подберезовики.

— Ага, не нравится?! — торжествуя, потирал руки Селезень, увидев в стереотрубу какого-то финского солдата, казалось, удиравшего от нашего артиллерийского огня. — Комбриг, а что, если мы сейчас атакуем их, а? Начни силами своей бригады, а армия тебя обязательно поддержит, в этом я уверен!

Тут и случилось то, чего никто не ожидал, чего не мог-

ли предвидеть ни генерал Селезень, ни командир бригады, ни майор Исаев. Дело в том, что все это Селезень проорал почти в телефонную трубку, которую не успел ни положить на аппарат, ни сунуть в руку дежурного связиста. Значит, все командиры рот батальона слышали его слова. Но лишь старший лейтенант Пряжкин мгновенно понял, что именно сейчас, угодив главному поверяющему, он может ухватить за хвост свое воинское счастье. И, нацелившись пистолетом в небо, он выскочил из-под защиты накатов наблюдательного пункта роты, еще один прыжок на пределе сил — и оказался на еле приметном бруствере. Отсюда, оглянувшись на своих бойцов, тарашившихся на него недоуменно, он и прокричал:

— Рота!.. За мной, в атаку! Ура-а-а!

Рота привыкла подчиняться приказам. И она поднялась в атаку. Но приказ не был подготовлен предыдущими действиями. Потому не все бойцы разом выскочили из окопов на ничью землю; когда первые уже были там, кое-кто еще вслушивался: а не будет ли пояснений — дескать, атаковать в таком-то направлении.

Одна эта рота пошла в атаку. Другие такого приказа не получили. И финны лишь на ней сосредоточили свой убийственный огонь. Уничтожали ее минами, бесконечными пулеметными и автоматными очередями, одиночными выстрелами снайперов.

Одним из первых, подрубленный пулей или осколком, упал старший лейтенант Пряжкин. Оказавшись в зловонной болотной воде, он постарался найти спасение за кочкой, в которую своими корнями судорожно вцепилась сосенка. Но вражеская мина рванула вовсе рядом.

Многие бойцы роты уже недвижимо лежали между болотных кочек. Другие же больше не помышляли об атаке, они искали только спасения. Майор Исаев понял, что сейчас, чтобы оказать им хоть какую-то помощь, нужно срочно предпринять что-то такое, такое... За доли секунды ему в голову пришло лишь одно решение: надо немедленно ложно атаковать финнов всем батальоном и чуть-чуть в стороне от погибающей роты. И, не спросив на то разрешения, даже будто не замечая, что рядом с ним находится много людей старше его по званию, что среди них есть и его прямые начальники, он схватил телефонную трубку, крикнул в нее:

— Сынки! Сынки! Как слышите меня?

Командиры рот не слышали его: как часто случалось в боях, линия связи оказалась перебита.

— Дать связь! — приказал майор Исаев.

Два солдата-связиста выскочили из блиндажа, где им смертью не грозило даже прямое попадание самой большой бомбы, и, придерживаясь за телефонный провод, вдоль него, пригнувшись как можно больше, побежали туда, где мины и снаряды рвались, казалось, вовсе без интервалов.

У всех, кто был на командном пункте батальона, создавалось впечатление, что связи нет недопустимо долго. И все стали заметно нервничать. Первым потерял власть над собой Селезень. Он схватил с аппарата телефонную трубку, крикнул в нее:

— На линии!

И еще секунду назад мертвая линия связи ожила, ответила злым мужским голосом:

— Чего орешь?

— Связь давай!

— Я еще только первый обрыв нашел...

— Работать, а не глазеть по сторонам надо! Двое вас, а толку...

— Напарника не попрекай, его почти сразу тяжело ранило, — повысил голос и связист.

— Все равно давай связь! Немедленно!

— А пошел ты...

Смачным матюгом закончил солдат-связист разговор с неведомым ему человеком.

Селезень какое-то время удивленно смотрел на телефонную трубку, потом неосознанно осторожно положил ее не на аппарат, а в раскрытую ладонь дежурного связиста. И сказал холодно, негромко, но внятно и беспощадно:

— Под трибунал мерзавца!

А рота умирала на болоте. И здесь еще одна никому не нужная жертва слепого случая: майор Исаев уже понял, что связист еще не устранил повреждения, что Селезень случайно налетел на него в тот момент, когда он, под шквальным огнем врага вдоволь наползавшись по болоту и у какой-то вовсе случайной кочки оставив раненого товарища, вышел на порыв, присоединился к линии связи, чтобы проверить ее. Может быть, лишь к первому из многих порывов он присоединился?

Лишь одиночки из бойцов роты вернулись в свои окопы. И стрельба начала постепенно стихать. Наконец наступил

пила и полная тишина, невероятная после недавнего грохота.

А в груди майора Исаева вновь ожила уже знакомая острая игла. Она пронзила грудь до левой лопатки, мешала дышать, лишила возможности с прежней ясностью понимать происходящее. Он чувствовал, что боли в сердце вот-вот переселят его.

Наконец на командный пункт батальона, как раз в тот момент, когда ожил телефон, прибежал матрос и, спросив на то разрешения у генерал-майора Селезня, доложил майору Исаеву, что матрос Чугунов, тот самый, который восстанавливал линию телефонной связи, убит вражеской миной, в ключья она разнесла его.

Майор Исаев с трудом вспомнил, что матрос Чугунов действительно был в его роте. Но как мог он сегодня исправлять телефонную линию связи, если погиб в бою... Когда же он погиб?..

Думая об этом, он и начал оседать, скользя спиной по стене блиндажа. Он уже не слышал, как командир бригады по телефону требовал немедленно прислать сюда врача с полным набором всех лекарств, какие могут потребоваться при сильном сердечном приступе. Это уже почти через месяц и в госпитале, где он, единственный сердечник, лежал среди раненых, узнал, что на этом злоключения того дня не окончились. Оказывается, Селезень не успокоился: в бесполезной атаке уложив почти всю роту, он после этого вспылал еще и желанием лично обучить наших командиров-артиллеристов корректировке огня. Его отговаривали, даже попытались умаслить, особо подчеркивая: дескать, вы, товарищ генерал, сегодня и так уже недопустимо много рисковали не только своим здоровьем, но и самой жизнью. Не помогло, он полез на высоченную сосну, в густой кроне которой на зыбком помосте из двух полусгнивших досочек сидели наши корректировщики. Цепляясь руками за тонкие дощечки, прибитые к стволу сосны, а потом ступая на них же, он поднялся, как рассказывали солдаты, метра на три или четыре, и тут очередная дощечка не выдержала тяжести его тела. Он кулем упал на землю. Дескать, вся болотина от восторга вздрогнула, когда это случилось. А он сказал, встав и правой рукой держась за ягодицу:

— Какая же у вас может быть боеспособность, если вы и нормальной дощечки найти и прибить не можете?

Тут же, в госпитале, майору Исаеву стало известно и о том, что он вновь лишь командир роты. Да это ли главное в жизни?

17

Только в ноябре майора Исаева, подлатав, выписали из госпиталя. После комиссии, которая высказала единое мнение: ему надо должность менее беспокойную. Он дипломатично поддакивал, слушая врачей, даже соврал очень своевременно, что имеет постоянную связь с родной бригадой и, поскольку недавно сам пришел к такому же выводу, уже попросил начальство для дальнейшей службы подобрать ему такое местечко, чтобы не очень дуло и вовсе не припекало; дескать, командование бригады твердо пообещало удовлетворить это его желание. А командир бригады, явившись в его землянку, он и словом не обмолвился о заключении врачей. Просто вошел и доложил, приложив руку к шапке, что прибыл для дальнейшего прохождения службы. Тот, искренне взволнованный его прибытием, сам предложил ему должность помощника начальника штаба бригады. Майор Исаев честно сказал то, что думал:

— Спасибо... Только мне в роте спокойнее будет.

Командир бригады спорить не стал, он, помолчав, просто поднялся из-за рабочего стола и пригласил его отобедать вместе с ним, с комиссаром и начальником штаба бригады. Во время обеда почти не говорили, лишь изредка перебрасывались репликами, не всегда полностью понятными майору Исаеву. Зато потом, закурив, повели общий и доверительный разговор о делах на фронтах, главным образом обсуждали ход битвы на Волге, хотя исход ее был уже ясен каждому разумному человеку. Крупнейшая на сегодняшний день наша победа над фашистами, черт их подери! Можно сказать, эта битва — переломный момент всей войны!

Финны, они ушлые, они это давненько усекли и с октября вообще паиньки...

Вскользь коснулись и того, что с тех пор о Селезне ничего не слышали. Неужели отошла коту масленица?

И вдруг комиссар бригады спросил:

— Извини, Дмитрий Ефимович, но, поскольку ты сейчас человек вдовый, может, помощь какую надо оказать

твоему сыну? Многого не обещаю, однако внушительное письмо тамошним местным властям мигом организуем.

— Пока нет необходимости... В тех краях мои родичи живут. Они приглядят за ним и помогут, если возникнет необходимость... Да и Порфирий уже устроился на работу. В Камское речное пароходство. Черт бы побрал эту проклятую романтику!.. Юнгой устроился на буксирный паролод «Рудознатец».

— Пытается себя минимумом требуемого для жизни обеспечить, — то ли спросил, то ли сделал вывод комиссар бригады.

— Да, рановато взрослеют наши дети, рановато, — заметил начальник штаба.

— Это даже хорошо, что взрослеют рано. Беда не люблю, когда у мужика бородачи чуть ли не на грудь ложится, а сопли свои вытирать он все еще к мамочке или папочке бегаёт. — Сказав это, майор Исаев некоторое время помолчал, потом все же добавил в раздумье: — На мой взгляд, пусть они как можно быстрее взрослеют. Лишь бы не старились преждевременно.

Иными словами, разговор шел такой, словно не на фронте вели его и не командирами были собеседники, а в мирной жизни около добродушно попыхвающего паром самовара сидели почтенные отцы семейств, прекрасно знающие друг друга, и не спеша, обстоятельно беседовали о сиюминутном, наболевшем.

О разном, откровенно и доверительно, говорило командование бригады с майором Исаевым. Умолчало лишь о том, что с середины ноября Военный совет Ленинградского и Волховского фронтов тщательно разрабатывал совместную наступательную операцию, которая встречными ударами этих фронтов по шлиссельбургско-синявинскому вражескому выступу разгромила бы вражескую группировку, позволила бы нам прорвать блокаду Ленинграда. Не потому промолчали об этом, что сомневались в майоре Исаеве. Они и сами только и слышали, что она обязательно будет в начале будущего, 1943 года.

А о том, что 8 декабря в Москве произойдет утверждение директивы об этом нашем наступлении под Ленинградом, что тогда же та наступательная операция получит кодовое название «Искра», они, разумеется, и понятия не имели.

В тот день у майора Исаева состоялась одна и незапланированная встреча: сразу, как только вышел от коман-

дира бригады, так почти нос к носу и столкнулся со старшим лейтенантом Редькиным. Вроде бы и случайно с ним встретился, но в то же время несколько смущенное лицо особиста натолкнуло на догадку, что тот специально поджидал его.

А если даже и так, разве это плохо?

Увидел Редькина — произвольно, искренне обнял его, привлек к себе. И считанные секунды они простояли молча, лишь похлопывая друг друга по плечам. Выходит, то, что они одновременно увидели в блокадном Ленинграде, что там узнали о бесшумном и большинстве людей неведомом подвиге Вадима Сергеевича и Эдуарда Владимировича, как бы породнило их душевно.

— Эх, лейтенант Саша, летит время, летит, — наконец с внутренней болью сказал майор Исаев и решительно отстранил от себя Редькина, поправил свою шапку, чуть сбившуюся на правый бок, и спросил: — Не ваше ведомство помогло Селезню улететь? И куда, насколько далеко, если не секрет?

— К сожалению, начальство пока еще не советуется со мной, — отшутился тот.

— Не сожалей, а хвалу господу возноси: чем меньше знает человек, тем спокойнее ему живется, — заметил майор Исаев. И вдруг спохватившись: — Ничего, что я тебя так навеличиваю? На «ты» и с понижением в звании? Или, стиснув зубы, еле терпишь?

— Вам это можно, — успокоил его Редькин.

— Спасибо... Кстати, не знаешь, еще в строю Зелинский или...

— Пули и осколки его пока милуют.

— Ага, в строю, значит... Как думаешь, будет мне удача или нет, если для начала я представляю его хотя бы к званию сержанта?

Некоторое время шагали молча. Наконец старший лейтенант Редькин все же решился и сказал, твердо глядя в глаза майора Исаева:

— Я сначала представил бы его к награде. Допустим, к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу»... Конечно, если он заслуживает того... Не одного представлять, а вместе с кем-то. — И опять возникла сравнительно продолжительная пауза, которую он же и прервал: — Иногда, Дмитрий Ефимович, я просто бешеным становлюсь, когда слышу, как иное явление оценивают в средних цифрах. Например: «Наших солдат, перебежавших на сторону вра-

га, мы имеем только три сотых процента от всех, сражавшихся с фашистами на фронте». Цифру, разумеется, я набум назвал... Дело в том, что я за этими цифрами людей вижу. Не одного, даже не десятки или сотни, а тысячи! Многие!.. И то, что они стали подонками, предавшими свой народ, должно тяжким грузом лежать на нашей совести... Про «Седую голову» вы хотя бы мельком что-нибудь слышали?

— Про «Мертвую голову», хочешь сказать? — попытался подправить его майор Исаев.

— Нет, я не оговорился, есть у фашистов и такая. Более того: плохо ли, хорошо ли, но действует против нас...

И он рассказал, что 20 мая этого года на станции Красное, которая находится на участке железной дороги Смоленск — Орша, нашими разведчиками были обнаружены два эшелона с командирами и политработниками будто бы нашей армии. Два эшелона, Дмитрий Ефимович, два эшелона!.. Все эти «командиры» и «политработники» были вчерашними дезертирами и перебежчиками. Именно они стали основой для формирования с явно провокационным названием «Русская народная национальная армия». Это, так сказать, для простаков, а в секретных документах это так называемое формирование значилось как «Особая часть «Седая голова», или по-немецки — «Зондерфербанд Граукопф». И задача ее — подготовка шпионов, провокаторов, диверсантов и террористов для работы как в нашем глубоком тылу, так и в партизанских соединениях и отрядах.

— ...Надеюсь, Дмитрий Ефимович, теперь вам понятно, почему в отношении Зелинского мы проявляем некоторую осторожность? Может быть, и несколько чрезмерную, но проявляем? Интересно, а как поступили бы вы, зная про это и многое другое подобное?

— Честно?

— Есть ли смысл разговаривать, если собеседники врут друг другу? Ведь мы с вами не дипломаты конфликтующих держав, зачем же нам свои истинные мысли скрывать?

— Пожалуй... Слушай, Саша, а с чего это я за тебя думать должен? Или у меня своих забот мало? — убежал майор Исаев от прямого ответа.

Старший лейтенант Редькин настойчивости не проявил, он лишь еле заметно улыбнулся.

А в роте майор Исаев прежде всего увидел Пирата,

на несколько минут, казалось, обалдевшего от счастья. И еще Карпова с Зелинским, которые, чтобы встретить его, вышли к границе района, обороняемого ротой. С ними тоже поздоровался сердечно. От них сразу и узнал, что сегодня уже нет в боевом строю лейтенанта Перминова... Младшего лейтенанта? Нет, лейтенанта... Он, Перминов, Юван, Юрий Данилович и еще несколько человек — в госпиталях. А другим повезло и того меньше... Короче говоря, от прежнего состава роты на сегодняшний день в строю лишь они двое и Акулишин... Да, да, этот подонок целехонек!

Ох и прожорлива война, невероятно прожорлива...

Но сказал майор Исаев обнадеживающе:

— Может, кто из наших после излечения все же вернется...

Может, еще и вернутся к нам? Вряд ли: не так-то просто теперь без соответствующих документов пробираться даже к фронту: на каждой развилке дорог патрули, а ближе к фронту и заградительные отряды безжалостно шуруют. Эти, поймав подозрительного, если и не расстреляют тут же, то уж в штрафную роту упекут запросто. Короче говоря, теперь, когда всех ознакомили с приказом Верховного Главнокомандующего номер 227, порядка куда больше. Да и вообще дисциплина ощутиее стала, что тоже на пользу общему делу...

Нет, Антон Перминов и Юрий Данилович тяжело ранены, их, можно предполагать, от военной службы освободят вовсе. Или где-то в глубоком тылу посадят портянки пересчитывать. А другие товарищи в такой сложной и опасной ситуации не отважатся рисковать своим благополучием ради удовольствия оказаться в овоей роте... А вот Юван способен на такое! Он ведь иной раз нарочно дурачком прикидывался, он беда какой хитрый и дружбе приверженный!

Поговорили душевно о самом разном, скоротали ночку каждый со своими думами, а уже завтра с утра майор Исаев вновь начал сколачивать роту, обучать своих бойцов всему, что успел узнать сам. Одним словом, все пошло по руслу, узаконенному уставами и выверенному быстротечным временем. Благо и финны особенно не тревожили минометными обстрелами; они (во всяком случае, у майора Исаева создалось такое убеждение) с огромным и неподдельным напряжением следили за исходом Сталин-

градской битвы, понимали: она обязательно назовет победителя всей войны.

Как и предсказывал Карпов, первым и единственным пришел в роту Юван. Глубокой ночью. Не пришел, а пробрался. Исхудавший — кожа да кости. Увидев майора Исаева, одиноко сидевшего у печурки, в которой, мучительно умирая, мерцали угли, он поклонился поясно и сказал:

— Длинная майора, здравствуй. Моя рада твоя.

Майор Исаев сразу узнал этот голос и так порывисто встал, что с его плеч свалилась шинель. Шума от ее падения оказалось вполне достаточно, чтобы проснулись, схватились за оружие все, находившиеся в землянке. Они еще осознали, оценивали увиденное, а майор Исаев уже обнимал Ювана, прижимал к своей груди его голову.

— Однако Юван не баба, обнимать не надо, — наконец ласково, растроганно проворчал Юван, но не сделал попытки освободиться от рук майора Исаева.

Когда же майор, успокоившись, снова опустился на чурбак, уже давно обосновавшийся около печурки, в которую кто-то догадливый сунул три коротеньких полешка, первым опять заговорил Юван, бесцеремонно бросив свой пустой вещевой мешок на земляные нары около самой двери, как бы заявляя, что впредь спать будет только здесь:

— Дорога был длинный, Ювану чай надо.

Хотя и было далеко за полночь, все стали пить чай, расспрашивая Ювана о том, что он видел и слышал там, в нашем тылу, да как все же умудрился пробраться сюда. Юван в ответ, считая, что и этого вполне достаточно, только и сказал, что его лечил доктор «в самая белая халата», что скоро «длинная майора» станет офицером и на плечах у него появятся золотые погоны. Юван не знает, что такое погоны. Но еще больше он не понимает, почему золотые? Красиво, да? Золотой погон очень плохо: он будет блестеть на солнце, «такое его (погон) далеко видно». А как добрался до фронта... Юван — большой охотник, когда он идет, его не слышат ни зверь, ни птица. И умный Юван: зачем идти к людям, которые сидят в засаде, чтобы поймать другого человека? Он, Юван, обходил заставы стороной. Как узнавал, где они? Некоторые было видно издали. Это те, которые стояли на перекрестках дорог. А другие... Солдаты, ловившие «дезэртир разный», много курят. И говорят громко...

Майор Исаев уже знал, что институт военных комиссаров упраздняется, что чуть ли не с первых чисел января 1943 года командиры и политработники будут именоваться офицерами и получают погоны, которые станут неотъемлемой частью форменной одежды. Хорошо это или плохо, нужное дело или пустая затея — не задумывался: привык считать, что все, вводимое или упраздняемое начальством, всегда жизненно необходимо.

Кончились новости, которыми не терпелось поделиться, — просто посудачили о самом разном, даже незначительном, и улеглись, чтобы завтра с рассвета начать еще один день окопной жизни, непременно приближающий их к тому времени, когда их снимут с передовой и отведут в тыл на отдых.

Ничего, казалось, не предвещало ни большой радости, ни особой печали, и вдруг от солдата к солдату пополз слухок: 12 января пошли в наступление Ленинградский и Волховский фронты. Между ними и было-то всего четырнадцать километров. Еще с первого года войны наше командование не счесть сколько раз пыталось уничтожить этот коридорчик, прозванный фашистами «Бутылочное горло» (Фляшенхальс). Но обороняли его отборнейшие части гитлеровцев, именно здесь полегли и вояки фельдмаршала Манштейна, которых первоначально предполагалось использовать для «последнего штурма» Ленинграда.

Много наших и вражеских солдат погибло в боях за ту болотистую землю, топкую и сейчас, в эту капризную зиму.

Интересно, а чем закончится это сражение?

Командование бригады пока предпочитало помалкивать. Зато «солдатский телефон» работал непрерывно, он сообщал о многих долговременных огневых точках врага, простреливавших там каждый метр земли, и о множестве мин самых различных конструкций, насованных в «Бутылочном горле», казалось, повсеместно.

Не только бойцы роты майора Исаева, но и все, кто здесь же держал оборону, зорко следили за финнами, с огромным волнением ждали вестей с южного берега Ладожского озера, где, если верить слухам, грохот боя полностью не стихал даже глубокой ночью.

Наконец вечером 18 января позвонили из штаба бригады и сообщили, что Волховский и Ленинградский фронты соединились!

Майор Исаев честным словом заверял, что не знает, кто первым крикнул «ура». А солдат Карпов, хитровато щурясь, убеждал, что сделал это именно он, майор Исаев. Но так ли уж важно — кто?

А вот в финских окопах царила траурная тишина. Она лучше слов подтверждала, что сообщение нашего командования — надо бы точнее, да некуда.

Порадовались, поликовали и... задумались: два наших фронта, стремясь навстречу друг другу, семь дней преодолевали только четырнадцать километров. А сколько их, километров, надо пройти с боями им, советским солдатам, чтобы очистить от фашистов свою землю? Наконец, чтобы с победой ворваться в Берлин?

Мысль о том, во сколько человеческих жизней обошлась сегодняшняя наша победа, многих заставила сурово насупиться.

И вдруг 8 февраля солдат Карпов сообщил, что уже вчера на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с Большой земли. Только подумать: 18 января мы прорвали блокаду, а 7 февраля в Ленинград уже пришел первый поезд с продовольствием! Пришел по новой железной дороге, по новому мосту через Неву, сделанному буквально за считанные дни!

Откровенно ликовали, но помнили, что фашисты по-прежнему во многих местах недопустимо близко к Ленинграду. Значит, радуйся, солдат, сегодняшним победам, но и помни, что ой как много тебе надо еще совершить, чтобы все эти победы стали одной большой Победой.

Была в первых числах февраля и еще одна радость: Совинформбюро весь мир оповестило о славном завершении Сталинградской битвы. И сразу во всех землянках начались восторженные обсуждения свершившегося. Стихийно возникали и проходили они. Но неизменно все восхищались успехами товарищей там, на берегу Волги и в донских степях, главное же — очень многие и уже в полный голос, не боясь, заявляли: дескать, вот-вот воинское счастье и к ним лицом повернется; мол, скоро и мы рванем вперед, чтобы сначала отбросить фашистов от Ленинграда, дать городу-герою возможность наконец-то вздохнуть полной грудью, а потом и сокрушить гитлеровцев в прах. Полностью и безвозвратно. Хотя почему сначала лишь отбросить от Ленинграда? Сразу, с первого дня нашего наступления, рубить их под корень!

Вроде бы были и причины, подтверждающие догадку

о скорой активизации боевой деятельности и Балтийского флота. Если не ради этого, то для чего вдруг стали отзывать с сухопутного фронта многих матросов и старшин, а морских офицеров — всех без исключения? Подводников с пешего фронта сняли еще в конце первого года войны. И подводные лодки Балтийского флота сразу ожили, основательно потрепали нервы фашистскому командованию! А сейчас, бесспорно, флоту потребовались люди, владеющие и другими военно-морскими специальностями.

Из морских офицеров последним убыл командир бригады, сдав ее полковнику Муратову — лет сорока, но молоджавому, с черной щеткой усов и темно-карими глазами, которые, казалось, никогда не были равнодушными или даже просто спокойными.

Новый командир бригады начал с того, что побывал во всех ротах, находившихся на передовой. Везде осмотрел окопы, пулеметные гнезда, не поленился кое-где даже лечь на снег, чтобы проверить: а хорошо ли солдат отсюда видит поле возможного боя. И еще — он всем сказал примерно одно и то же. Дескать, пора, дорогие товарищи, вновь взять в руки уставы и внимательно проштудировать тот раздел, где говорится о действиях личного состава в наступательном бою. И еще намекнул: мол, очень возможно и такое, что в скором времени их бригада станет дивизией.

Со всеми офицерами познакомился полковник Тезик Хасанович Муратов, даже взводных командиров вниманием не обошел. Каждому руку протягивал. Не для проформы: нате, мол, подержитесь почтительно за кончики моих пальцев, — а от чистого сердца; сам хватал чужую ладонь и тискал. А с майором Исаевым у него состоялся короткий разговор. Полковник, вцепившись в руку майора Исаева так, словно намеревался удержать его, если он попытается убежать, спросил, прищуриив веселые глаза:

— Значит, опять ротой командуешь?

— Приказ, — пожал плечами майор Исаев.

— Приказы, как любил говаривать один мой знакомый старшина, людьми и для людей пишутся. Так что исподволь готовься снова принимать батальон... Почему лицо не озарилось улыбкой радости? Почему не слышу про уху из петуха?

Майор Исаев ответил без спешки или промедления, ответил точно через паузу, которая была необходима для обдумывания каждого слова своего ответа:

— Что касается ухи из петуха, она вся вышла... Знаю, сам взводным командирам, сержантам и солдатам втолковываю, что приказы не обсуждаются... Повременить бы с приказом о назначении меня на батальон, а? Пока я сам собой не всегда толково команду, так допустимо ли в таком состоянии сотнями людей повелевать?.. А вообще-то — ваша воля...

Полковник Муратов, посерьезнев, на мгновение даже сдвинув к переносице густые черные брови, ответил лаконично и в то же время туманно:

— Правильно сказано: все в моей воле.

Вроде бы новый командир бригады много наобещал всякого, но февраль сменился мартом, того в свою очередь потеснил апрель, уже и к половине мая 1943 год подкрался, а все оставалось по-прежнему. И кое у кого глаза вновь начали тонуть в сонной поволоке.

Майским днем, когда, насверкавшись молниями, отведа душа многими оглушительными раскатами грома, уползла к городу первая в этом году гроза и радуга, сияющая разноцветьем, улеглась на голубое небо, на имя майора Исаева пришло письмо. С марта — первое. В предыдущем сын писал, что работа и питание у него нормальные и вообще вся жизнь нормальная. А как только Кама вскрыется, будет и вовсе красотища: их буксирный пароход «Рудознатец» пойдет в свой первый рейс, он как победитель прошлогоднего соревнования откроет новую навигацию!

А это письмо, полученное сегодня, было явно не от сына. Майор Исаев, внимательно осмотрев конверт, разглядел еле угадываемый бледно-фиолетовый штамп Камского речного пароходства. Им-то чего писать ему, Дмитрию Исаеву? Или у них, как и в армии, заведено благодарить родителей, если их сын или дочь хорошо свое дело вершит?

Вроде бы и нашел отгадку, объясняющую появление этого письма, но почему-то по-прежнему боялся распечатать конверт, прочесть письмо.

Эх, была не была!

Он вскрыл конверт, развернул лист бумаги, похожий на бело-серую промокашку, начал читать:

«Уважаемый товарищ Исаев!

С прискорбием сообщаем, что 27 апреля сего года на рассвете, идя Шишкинским перекатом, на фашистской

магнитной mine подорвался буксирный пароход «Рудо-знатец».

К сожалению, из его команды никто не спасся».

Ниже шли подписи начальника пароходства, председателя какого-то Баскомреча и еще кого-то.

Майор Исаев сразу, после первого прочтения, понял, о чем не было сказано в письме. Но он смотрел и смотрел на строчки, выбитые пишущей машинкой, у которой буква «к» почему-то все время стояла чуть выше остальных. Потом, аккуратно сложив письмо, упрятав в конверт и сунув в нагрудный карман гимнастерки, он сказал непривычно зло:

— Карпов, водки.

Тот, прекрасно зная, что без крайней на то необходимости командир ничего не попросит, и догадавшись, что случилось нечто, выбившее его из привычной колеи, послушно протянул общую резервную литровую фляжку, которую, посоветовавшись, завели специально для особых случаев. Майор Исаев почти осушил ее в два приема. Водка не ударила ему в голову, не наполнила тело благодатным теплом. Она лишь усилила неодолимую тоску, породила желание закрыть глаза и зареветь в голос. По-бабьи. С причитаниями и вскриками, облегчающими душу.

Однако пока хватало сил, чтобы подавлять это позорящее мужчину желание. И думать. Прежде всего о том, где этот — будь он трижды проклят! — Шишкинский перекал? Что фашисты новейших магнитных мин, тех самых, какие в Финском заливе стояли, с самолетов и в Волгу понабросали, он слышал. Когда лежал в госпитале. От кого же он слышал это, а?.. Хотя черт с ним, с этим «от кого»!.. Неужели фашистские самолеты и над Камой похозяйничали? Можно сказать, почти на границе Европы с Азией?.. Нет, не может такого быть, не может...

И тут вспомнил: в одном из писем сына было упомянуто о том, что их буксирный пароход ходит не только по Каме, он, мол, частенько и на Волгу, Вятку и Белую заглядывает. До Астрахани, случалось, доходил с караваном барж в прошлую навигацию. До Астрахани...

— Карпов, ты не знаешь, где есть Шишкинский перекал? На Каме? Волге? Белой или Вятке?

И сразу подумалось, что Вятка и Белая слишком малы для таких мощнейших и дорогостоящих мин, способных запросто развалить пополам океанский пароходище. Хотя а почему бы и нет? Поставь подобную мину на этой ре-

чушке, вот и считай, что прервал судоходство на несколько дней.

— Отродясь о таком не слыхивал, — ответил Карпов, когда все товарищи, в тот момент находившиеся в землянке, отрицательно мотнули головой. — Разрешите у ребят в других взводах поспросить? Как предполагаю, ежели речь о перекатах ведется, нам обязательно речник надобен. — Помолчал и спросил вроде бы и вовсе равнодушно: — Ежели не секрет, зачем вам знать это?

— Сын... Порфиша мой там с пароходом на фашистской mine подорвался, — буднично-спокойно начал майор Исаев, и сразу же предательски задрожали, задергались губы и слезы сами собой хлынули из глаз. И тогда, уронив голову на стол, он заплакал. Без рыданий, даже без всхлипов.

Его бойцы в растерянности запереглядывались. Когда общее траурное молчание Ювану стало и вовсе невыносимо, он подсел к майору и заговорил ласково, напевно:

— Длинная майора еще молодая, она еще делает ребенка. Мальчик, девочка, сколько надо делает... Бери же на моя дочь? Юван ребенка любит, он много-много сказок знает...

Юван очень волновался, он искренне переживал за «длинная майора», потерявшего за два года войны всю семью, и в то же время чуть-чуть радовался, что давняя мечта — породниться с майором и занять самых высоких в тундре внуков — неожиданно сделала ощутимый скачок к нему. Очень волновался, потому и коверкал свою речь больше обычного. Но все равно он будто убаюкивал своим ласковым голосом. И немного погодя плечи майора Исаева перестали вздрагивать. Однако головы он еще не оторвал от стола; словно окаменел телом, положив ее на столешницу. А Юван все говорил, говорил...

Наконец майор Исаев будто очнулся. Он выпрямился, не стыдясь, рукавом гимнастерки вытер слезы и сказал никому конкретно:

— Все это чрезвычайно несправедливо. Ведь из всей нашей семьи только я на фронте был. С самого первого часа войны... И ни одной царапинки... Они же...

Больше он не добавил ни слова. Однако все бойцы поняли его.

После письма, известившего о гибели сына, за считанные дни и вовсе поседела голова майора Исаева, и сам он теперь не сутулился, а почти сгорбился; но еще больше тревожило его подчиненных то, что, случалось, по часу и более, положив руку на голову Пирата, он молча сидел у входа в землянку или обязательно под одной и той же сосной, стоявшей крайней к болоту на опушке соснового бора, многие века назад овладевшего этой Красной Горкой. Случалось, часами сидел там и думал о чем-то своем. Из сострадания или жалости никто из подчиненных не сделал попытки вывести его из этого состояния, а командованию батальона и бригады, казалось, вообще не было дела до душевных переживаний одного из командиров рот, казалось, оно озабочено лишь тем, чтобы здесь не было порушено равномерное течение жизни. А когда ты и противник не хотите (или не можете) наступать, жизнь в обороне всегда плетется, нога за ногу запинаясь. Кроме того, в роте майора Исаева все всегда в порядке: те немногие вопросы, которые обязательно требовали командирского вмешательства, с общего молчаливого согласия зачастую успешно решал рядовой Зелинский, печальный конец военной карьеры которого теперь в роте знали уже все.

И вдруг сравнительно спокойное житье-бытье пошло прахом.

Началось с того, что в роту, предварительно предупредив о своем приходе в такой-то день и час, явился полковник Муратов. Тут, на передовой, когда противник, если бы только захотел, запросто мог засыпать их минами и снарядами, он многим бойцам роты и офицерам торжественно вручил медали «За оборону Ленинграда». Новехонькие. До умиления простые, без бриллиантов, платины, золота или серебра, но желанные, помимо воли твоей влекущие к себе глаза и руки.

Вручив медали, полковник Муратов лишь тогда сказал майору Исаеву и тем, кто в этот момент был около него:

— Обстановка на фронтах сейчас очень напряженная, настолько напряженная, что можно ожидать вроде бы самой невероятной перегруппировки наших войск вообще. Так что логичнее пока повременить с перемещениями офицерского состава здесь, где пока еще относительное затишье... А вообще-то с добрым почином всех вас, — заключил он, так и не высказав до конца своей мысли, и

показал глазами на медаль, которую майор Исаев все еще держал на раскрытой ладони.

С почином... В том году орденами и медалями награждали по-прежнему еще скупое. Тогда, в летние месяцы 1943 года, и на человека, на груди которого поблескивал значок ГТО или «Ворошиловский стрелок» (да еще второй ступени!), почти все поглядывали с хорошей завистью и немым уважением, а тут человеку вручена медаль «За оборону Ленинграда»!

Защитникам только четырех городов — Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда — предназначались подобные медали, оповещавшие любого, кто хотя бы одну из них видел на груди воина, что ее владелец прошел через невозможное и тем самым покрыл себя славой.

Что же касалось слов полковника Муратова о том, что сейчас обстановка на других фронтах сложилась чрезвычайно напряженная, тоже сущая правда. Из бесед и информации политработников все давно уже знали, что гитлеровское командование не извлекло должных уроков из разгрома своих войск под Сталинградом, что оно и в этом году вновь вознамерилось наступать. Теперь в районе Курска.

Наше командование наступление фашистских войск не застало врасплох, наши войска в битве на Курской дуге не только выстояли, они и сами, остановив, обескровив врага, перешли в наступление, которое ровно через месяц — 5 августа — завершилось освобождением двух старинных русских городов — Орла и Белгорода.

Отгремели в Москве орудийные залпы первого нашего салюта в честь победы в сражении на Курской дуге — вперед грозно двинулся уже 1-й Украинский фронт. Его войска успешно форсировали Днепр, который гитлеровская пропаганда изо всех сил выдавала за неприступный оборонительный вал! И 6 ноября наша армия освободила Киев!

Наконец настало время, когда человеку, несведущему в военном искусстве, могло показаться, что наступательный порыв наших войск вроде бы иссяк: они повсеместно, даже там, где еще так недавно, казалось, неудержимо шли к границе с Польшей или Румынией, вдруг стали зарываться в землю. Однако наши солдаты и офицеры, сидевшие в окопах и здесь, под Ленинградом, сердцем чувствовали: есть еще у Советской Армии силешка и очередной

ее удар по фашистам будет вот-вот! Но где? И когда точно?

Гадаючи, еще отвечали на эти вопросы, высказывая самые невероятные предположения, и вдруг по окопам стала расползаться вполне достоверная информация: мол, такой-то стрелковый полк, пока находящийся в резерве, за счет пополнения уже укомплектован полностью; а там-то стоит новехонький артиллерийский дивизион, прибывший сюда сразу после формирования. Подобные слухи в последних числах ноября во множестве расползались по окопам. Тешили солдатскую душу надеждой на скорое наступление и здесь, под Ленинградом.

Вдруг 29 ноября их бригаду—не всю сразу, а побатальонно—тайно для врага сняли с фронта и, тщательно маскируя ее переход, перевели на левый берег Невы, в район, где тоже были болота, не промерзшие в эту своенравную зиму, и холмики среди них, чаще всего поросшие соснами, уже познавшими войну—пораненными, покалеченными; многие из них взрывами бомб и крупнокалиберных снарядов были вообще вырваны с корнем.

Там, где бригаду остановил приказ командования, не было ни дерева, ни домика, лишь несколько полуразрушенных печей скорбно торчали среди зарослей крапивы, тонущей в снегу. Однако уже через несколько минут Карпов, для которого, казалось, вообще не существовало секретов, уже сообщил доверительно, что здесь раньше был Рабочий поселок, а с каким номером—это пока неизвестно, что стоит им лишь чуть-чуть податься еще вперед, на восток, этак километров на шесть туда продвинуться, и окажутся тогда они точнехонько рядом с Синявинскими болотами, всей стране известными своими торфоразработками. Тут, сообщив главное, Карпов не удержался и от пустого зубоскальства:

— Видать, чтобы умножить его добычу, командование и сунуло нас сюда.

— Замолчи!—резко оборвал его майор Исаев.—Предполагаю, что нас перебросили на направление нашего главного удара. Так что нам надлежит в любую минуту быть в полной готовности.

Как только его рота покинула осточертевшие окопы вблизи старой полосы оборонительных сооружений, майор Исаев словно очнулся, словно разорвал те тенета, которые опутывали его душу: и командовал снова бодрым голосом, и ни разу не присел без крайней на то необходимо-

сти, будто вознаграждал себя активной деятельностью за недавнюю апатию. Вот и сейчас, едва узнал, где они оказались, стал лихорадочно вспоминать все, что почти год назад Юрий Данилович говорил об этой местности. Но память только и сберегла, что здесь много болот, речек, речушек и просто широких ручьев, пусть и не очень глубоких, однако все же являющихся водными препятствиями, которые надо брать в расчет. Вспомнил и то, что если отсюда идти к узловой станции Мга, придерживаясь железнодорожного полотна, то на подходах к ней надо будет форсировать речку, носящую то же имя; и еще — она мелководна, в районе станции Мга имеет только три более или менее глубоких участка, которые местные жители называют омутами.

Малое вспомнил, но особо долго предаваться воспоминаниям время и дела не позволяли: прибыло пополнение, и его надлежало не просто принять, а и умно распределить по взводам, чтобы бывалые солдаты равномерно разошлись по всей роте. Да и с полем будущего боя следовало бы ознакомиться, узнать его как можно подробнее. Конечно, если бы командование позволило понаблюдать с денек за ничьей на сегодняшний день землей, хоть одним глазочком и бегло пощупать линию обороны фашистов... Но приказ строжайший: затаиться, не выдавать своего присутствия! Вот и пришлось майору Исаеву пользоваться лишь тем, что сообщала разведка соседей. А она уверяла: там, где скорее всего придется действовать его роте, у фашистов два дзота, в каждом из которых по станковому пулемету; окопов, связанных друг с другом многими ходами сообщений, три линии; причем вторая проходит по открытому болоту, где, казалось бы, из-за воды и создать ее невозможно. Но она есть. Потому что фашисты умно поступили: копать окоп нельзя, так они на болоте из бревен соорудили две стенки, параллельные друг другу, а промежуток между ними завалили землей!

Но подобные «окопы» мы уже видели. У финнов...

И пополнение приняли, и боезапасом обзавелись — больше некуда, а приказа о выходе в окопы первой линии все не было. Неделю прокуковали в ожидании приказа. Он пришел в ночь с 13 на 14 января. В нем было ясно сказано, что их бригада — резерв, который будет брошен в бой, когда наши войска сокрушат вражескую оборону. Для расширения и углубления прорыва пошлют ее в бой. И еще в том приказе сухим, казенным языком сообщалось, что

наше наступление преследует лишь одну святую цель: окончательно уничтожить блокаду вокруг Ленинграда, могучим ударом разгромить северное стратегическое крыло вражеских армий.

Наступление, как и следовало ожидать, началось с артиллерийской подготовки. Сотни наших орудий и минометов почти два часа молотили по линии вражеской обороны. Так яростно дубасили тяжелыми снарядами, что земля, казалось, подрагивала и здесь, где ждала своего часа бывшая бригада морской пехоты.

Да, она и сегодня называлась по-прежнему. Но какая же это морская пехота, если моряков — раз, два и обчелся?.. А что касается своего часа... Сколько за месяцы войны у каждого из воинов было этих «своих часов»? Когда в точно назначенное время по сигналу командира он должен был вдруг выскочить из окопа, который в тот момент казался ему надежнейшим убежищем, и, чуть пригнувшись, если не забудет этого от чрезмерного волнения, — змейкой бежать навстречу сотням (может быть, тысячам?) вражеских пуль и осколков. Бежать, возможно, навстречу своему увечью. И даже смерти.

Не счесть, сколько у каждого за месяцы войны накопилось подобных «своих часов». И все равно в те минуты сердце у любого начинало учащенно биться, все равно в те минуты ожидания приказа: «Вперед!» — нервы у всех были предельно напряжены; так напряжены, что порой казалось: только тронь их, самую малость добавь им нагрузки — порвутся они, жалобным стоном напомнив, что умирать даже в самую отвратительную погоду ой как не хочется.

А раненые — в одиночку и малыми группами — через боевые порядки бригады пошли сразу, как только впереди разлилось вовсе не грозное «ура». Шли раненые с повязками, напивавшимися кровью, с лицами осунувшимися, посеревшими от боли.

Будь воля его, Дмитрия Исаева, он категорически запретил бы этому скорбному потоку идти мимо солдат, которым еще лишь предстояло пережить то, что у этих страдальцев уже позади. Прямо скажем, эта психологическая обработка не так чтобы очень в нашу пользу...

Бригада «своего часа» ожидала почти сутки. Лишь сумрачным утром следующего дня она пошла вперед. Не в бой, а лишь поближе к нему. Не спеша пошла на восток, цепляясь глазами за все, что было чужеродно этому боло-

ту. Потому и увидели лошадь, вернее — ее голову и задние ноги; все прочее — искромсанное, перемешанное с землей и снегом — просто валялось вокруг, страшное и отвратительное.

Затем показалась первая землянка, развороченная прямым попаданием то ли снаряда, то ли бомбы, и пять оконченных солдатских тел, лежавших рядком.

А дальше трупы виднелись уже повсюду. На бывшей ничьей земле — наших солдат и офицеров. Вражеские трупы увидели только в окопах, из которых фашисты были вынуждены бежать. Но и здесь, за бывшими окопами гитлеровцев, валялись лишь одиночные тела. Майор Исаев знал, что наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. Таков один из законов войны. Но ведь не в такой же пропорции?!

Разгадка пришла сразу, как только повнимательнее присмотрелся к тому, что здесь за два года стояния успели сделать гитлеровцы: окопы первой и второй линии обороны между собой были надежно соединены и повязаны множеством глубоких и извилистых ходов сообщения, кое-где даже перекрытых накатами. Мудрено ли, что у фашистов потери пока были меньше, чем нам хотелось бы? Это пока меньше, а вот еще немножечко поднажмем, выгоним их в чистое поле, тогда и взглянем на все это заново...

Здесь, когда бригада оставила за своей спиной уже и вторую линию обороны, с левого фланга прилетело тревожное, даже чуть-чуть истеричное:

— Комбата-три убило!

И по тому, что дальше не последовало информации о том, кто добровольно или по приказу начальства принял на себя ношу командира батальона, майор Исаев понял: в эти минуты батальон действует лишь в силу инерции и подражая соседям; еще немного такой анархии, и черт знает что может случиться. Понял это и сказал спокойно, будто давно заготовленное, даже надоевшее:

— Передать по линии: в командование батальоном вступил я, майор Исаев. Мой командный пункт пока здесь, во второй роте. — Помолчал, то ли давая возможность всем понять сказанное, то ли раздумывая, не забыл ли чего из главного, потом бросил адресованное лишь своим бойцам: — Командиром нашей роты временно назначаю... Зелинского Михаила Станиславовича.

А раненых несли на носилках, чаще — на плащ-палатках и шинелях. Были и такие, что брели с помощью сани-

таров или менее тяжело раненных товарищей. Но значительно больше их ковыляло, опираясь лишь на желание выжить. Чувствовалось, что той дивизии, которая, протаранив вражескую оборону, все шла и шла вперед, приходилось туго, что силы ее были основательно поистрачены, поизрасходованы. И майор Исаев вызвал к себе командиров рот, каждому из них, пожимая руку, глянул в глаза и сказал:

— Если предчувствие не обманывает, сегодня ночью настанет наш черед... А еще я пригласил вас сюда затем, чтобы показаться вам во всей овоей красе, чтобы самому полюбоваться вами... Надеюсь, не обижаетесь, что пришлось пробежаться по окопу?

Они не обижались. Больше того — такой сугубо мирный вопрос, заданный спокойным тоном, немного снял нервное напряжение, ставшее уже ощутимо тягостным; на подчиненных в сложной обстановке всегда благоприятно действует уверенность непосредственного начальника: если он не психует, то с чего тебе на стену лезть?

Предсказание майора Исаева сбылось: едва стемнело настолько, что не стало видно ветвей сосенок, стоявших рядом с окопом, когда они стали казаться лишь темными пятнами, лишенными четких контуров, в расположении батальона появился полковник Муратов, даже не глянув в сторону затихающего боя, сразу нашел майора Исаева и спросил:

— Значит, командуешь батальоном? — И сам себе ответил без промедления: — Давно пора... Кстати, я не слышал твоего доклада о том, кому ты передал свою роту. И сейчас слышать об этом не хочу! — чуть повысил он голос, заметив, что майор Исаев намеревается исправить свою ошибку. — Понимаешь, некоторые товарищи, правда не очень настойчиво, уже спрашивали: а насколько это верно, что ею командует человек с основательно подмоченной репутацией?.. Я с чистой совестью ответил, что не в курсе дела. Надеюсь, ты уже уловил главное?

— Так точно...

А полковник Муратов, будто напрочь забыв то, о чем говорили с минуту назад, уже предлагает:

— Давай, майор, сверим наши наручные ходики... Ишь ты, из тютельки в тютельку... Так вот, ровно через час скрытно начинай движение вперед. Там, где нужно, тебя встретят, все объяснят и покажут. А я тебе уже сейчас скажу: как только увидишь красную, зеленую и снова

красную ракеты, одна за другой ползущие в небо, поднимай батальон в атаку. Без артиллерийской подготовки ее начнем. Авось застанем фашистов врасплох... Тот, кого сменяем, почти полностью все наступлению отдал, значит, нам больше на свои силы надеяться надо. Но и его помощью не пренебрегай!.. Между прочим, мне очень нравится, когда кто-то из подчиненных мне офицеров и чужих солдат умеет под своей рукой держать... А если найдется там такой умник, что начнет артачиться, ты ссылайся на меня. Дескать, ты — человек маленький, дескать, это я тебе говорил, будто есть соответствующий приказ, наших с ними взаимоотношений касающийся. Нам не впервой, отбрешемся... Ну, почему молчишь, «длинная майора»? Или нет вопросов ко мне?

— Все яснее ясного, — пожал плечами майор Исаев.

Действительно, пока все было ясно: нужно как можно быстрее догнать первый эшелон наступающих, осмотреться, прикинуть, куда и какими силами выгоднее ударить, и по сигналу — снова вперед! Теперь уже в бой... А как долго вести его, тот бой, об этом сейчас думать не надо: решения в бою сама обстановка и действия соседей подсказывают; да и приказы командира бригады, разумеется, поступать будут. Дай бог, чтобы не слишком много их было...

А пройти, чтобы догнать тех, кто сейчас ведет бой, если верить словам раненых, если судить по грохоту взрывов снарядов и мин, нужно всего лишь около трех километров. Хотя почему «всего лишь»? На войне иная сотня метров дается в несколько раз труднее и обходится дороже, чем многие километры...

Полковник Муратов одобряюще хлопнул его своей ладонью по плечу и заспешил в соседний батальон.

Ровно через час майор Исаев поднял свой батальон и впереди него, часто запинаясь за болотные кочки и корни сосенок, таившихся под снежным месивом, иногда попадая ногой и в недавнюю воронку, оставленную снарядом, зашагал туда, где сейчас нехотя переругивалось лишь несколько орудий; война, похоже, этой ночью намеревалась дать людям передышку.

У левой ноги майора Исаева, сторожко поводя ушами, семенил Пират. Он не знал, что скоро будет бой. Он просто, повинуясь инстинкту, следовал за хозяином. А бойцы все знали. Даже то, что кто-то из них уже не увидит завтрашнего рассвета. И все равно, пересиливая усталость,

накопившуюся за последние дни, они шли. Может быть, и чуть нервозно, без особого желания, но шли, надежно сжимаемая оружие.

19

Двенадцать суток войска Волховского и Ленинградского фронтов, используя помощь партизан и артиллерии и авиации Балтийского флота, вели бои. Тяжелые, кровавые. И опрокинули, разгромили фашистские полчища. В ходе этого нашего наступления, полностью уничтожившего остатки блокады Ленинграда, было освобождено от фашистов семьсот населенных пунктов, в том числе Красное Село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Ульяновка, Гатчина и Мга. Фашисты повсеместно были отброшены от Ленинграда на шестьдесят пять — сто километров!

А ведь еще в сентябре прошлого года немцы были лишь в трех километрах от Кировского завода, из ворот которого, грохоча по булыжной мостовой гусеницами, выходили столь ненавистные им танки KV!

27 января 1944 года произошло полное и окончательное снятие блокады Ленинграда. Почти в то же время (с 14 января по 1 марта) войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом проводили и успешно завершили Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию, в ходе которой почти всю Ленинградскую и часть Калининской области освободили мы от гитлеровцев и положили начало освобождению Эстонской ССР!

Подавляющее большинство частей и соединений Советской Армии, участвовавших в двух этих наступательных операциях, с боями пошли на запад. Бывшая бригада морской пехоты, боями ужатая до размеров роты мирного времени, с первых чисел февраля, вопреки предсказаниям полковника Муратова, ставшая не стрелковой дивизией, а лишь полком, влившимся в нее, сначала, чуть подавшись на юг, остановилась, чтобы пополниться людьми и техникой согласно своему новому штатному расписанию, а потом, на ходу втолковывая молодому пополнению азбучные истины войны, с боями до тех пор незаметно для себя скатывалась к югу, пока вдруг не стала составной частью 2-го Белорусского фронта. В последних числах марта это случилось. В дни, когда половодье уже набирало силу.

Пока колесили по нашей земле, очищая ее от фашист-

ской погани, во многих боях побывали, правда в большинстве своем — яростных, но скоротечных. И не счесть, сколько видели такого, отчего сердце в ужасе и недоумении — неужели люди способны на подобное? — каждый раз трепетно замирало. И деревни, от которых лишь полуразрушенные печи остались, и трупы, трупы. Не только и не столько мужчин, способных владеть оружием, но и стариков, женщин и детей. Не захороненных, как того требовали людские обычаи, а разбросанных повсюду. Для устрашения населения нарочно разбросанных.

Было на их пути и стадо коров с ногами, перебитыми топорами и ломami, со множеством несмертельных ножевых и штыковых ран на теле. Коровы лежали по обе стороны проселочной дороги, сжатой сугробами, которые весеннее солнце заставило осесть и потемнеть, стать пористыми. Кровавая ноздреватый посеревший снег, они жалобно ревели и глядели на людей если и не с откровенной мольбой, то с явной надеждой; майор Исаев у многих из них видел слезы, крупными горошинами катившиеся из глаз.

Скрипнув зубами от злости и сознания полного своего бессилия, майор Исаев приказал пристрелить страдалиц. Чтобы не мучились. И всем, кого из людей доведется увидеть сегодня, обязательно говорить: на таком-то отсюда километре этой дороги лежит убойная говядина — берите вы, а нам больше не надо.

А ночью, которую в силу обстоятельств пришлось коротать у маленьких костров, скорее взбадривающих душу, чем согревавших тело, старший сержант Карпов и спросил, не предприняв даже попытки скрыть душевную боль и растерянность:

— За что им-то, коровам, такое выпало? — Помолчал в ожидании ответа. Не дождался. Тогда и стал бросать в угрюмую тишину: — Я еще понимаю, когда фашисты нас, советских солдат, на долгие предсмертные муки обрекают. Мы — ихняя погибель. За то они и ненавидят нас... Подчеркиваю: понимаю это, но даже в малой степени не оправдываю... А коровы-то в какой бок и каким рогом гитлеровцев боднули?

После длительной паузы ответил младший лейтенант Зелинский:

— Не бодались они вовсе, а молочком своим поили. Вдосталь... Скотина, она и есть скотина, ей не дано понимать, кто смертельный враг ее подлинному хозяину. Потому любому, погладившему ее вымя, и отпускает молоко.

Без карточек. Сколько есть у нее, все до капельки отдаст... Думаю, потому эти коровы искалечены, что в силу особенностей строения своего тела не могли поспеть за драпающими гитлеровцами.

— Ладно, эти буренки не могли развить соответствующей скорости. Согласен, оставлять их нам для развода — фашистам вовсе нет резона. Пусть так будет! И поубивай их фашисты всех, облей туши карболкой, соляркой, бензином или еще чем, чтобы мясо для еды стало непригодным, — понять опять же смог бы... Но перебить ноги, истыкать ножами и штыками тела и в таком виде бросить околевать на снегу... Выходит, фашистам радостно уже от сознания одного того, что в эти минуты кто-то в смертельных муках корчится, смерть, как превеликую благодать, вымаливает?

— Будто ты этого раньше не знал, — проворчал майор Исаев, сворачивая сигарку.

Ногами солдат дивизии, составной частью которой стал теперь их полк, была перемешана со снегом не одна сотня километров. Настолько много военных верст было ими пройдено, что кое-кто из бойцов над своей судьбой стал даже зло подшучивать: дескать, высоким командованием мы теперь до самого победного конца войны занаряжены туда-сюда бегать. И вдруг приказ: немедленно форсированным маршем следовать в район города Мозырь. В тот самый час его получили, когда злость на свою судьбу мешала уже и дышать.

Прибыли в район Мозыря — их тотчас загнали в лес, где все деревья пока еще были бесстыдно обнажены, где все низинки оказались затоплены вешними водами.

Не понимали, ради чего командование сунуло их в эту лесную глухомань. Но и землянки в требуемом количестве безропотно вырыли, и поселились в них, мысленно благодаря бога за то, что не напомнил начальству об окопах. Однако и теперь виртуозно проклинали свою судьбу, все время помня строжайший наказ командования полка: сидеть в лесу так тихо, чтобы гитлеровцы и не заподозрили здесь нашего присутствия.

И все равно солдат всегда должен оставаться солдатом. Поэтому, пока одни рыли землянки, перекрывали их накатами из толстенных стволов деревьев и вообще обустроивались, посильно обеспечивали общий быт, другие тщательно обшаривали, обследовали этот лес. На сколько километров могли за двое суток, на столько во все стороны

и прочесали. И установили, что на западе, где в прочнейших укреплениях, не лишенных даже определенного комфорта, отсиживались фашисты, он упирался в болото, говорят, и в засушливое лето почти непроходимое для людей. Они же, солдаты-разведчики, обнаружили по соседству со своей дивизией еще две и несколько затаившихся артиллерийских дивизионов крупных калибров.

На отдых остановлено? Нет, для этого, прямо скажем, место даже очень непригодное: сырость такая, что вечером затвор автомата или винтовки предельно тщательно промасленной тряпочкой протрешь, а утром он уже опять ржавчиной подернут.

Не укрылись от солдатских глаз и небольшая полянка с явными следами недавнего пожара, и русская печь среди чернущих головешек, и чуть в сторонке — погреб, сейчас служивший жильем. Солдаты рассказывали, что живут в нем женщина лет сорока, однако во всех отношениях еще очень даже завлекающая, и пацан, которому до школы еще с годочек погулять осталось. Дескать, попытались с ними человеческие контакты установить, но она — не женщина с понятием, а сатана в юбке: на всех глядит беда как сурово и слова сквозь стиснутые зубы еле цедит. От нее, хотя и попотели основательно, только и узнали, что двадцать семь годочков здесь простоял дом-пятистенок ее мужа-лесника, что он мог бы и еще десятки лет осилить, да не в добрый час попался на глаза фашистам. Короче говоря, они спалили его, убив хозяина.

Вот и все, что узнали от той ведьмы. Даже о том, что муж ее партизанским связным был, что именно за это фашисты и его убили, и дом спалили, поспешила сказать она! Эти очень важные детали поведали жители деревни Кошевичи; восемь километров до нее.

Хозяйки-то с мальчонкой дома не было, когда те живодеры нагрянули. В Мозырь они зачем-то ходили...

А пацан нормальный. Правда, малость напуганный жизнью...

Майор Исаев вроде бы без интереса выслушал сообщение солдат о вдове лесника. Даже не сказал в ее защиту, что это хорошо, когда жена не бахвалится заслугами мужа; мол, о наличии нормальной личной гордости это свидетельствует. Только потому промолчал, что у него в тот час просто не было настроения говорить о чем-то постороннем. Беда в том, что в последние недели он вдруг обнаружил: стал как-то иначе бояться очередного боя, что

теперь даже самые заурядные бомбежки, какие настоящие фронтовики, как правило, в памяти не задерживают, для него превратились в подлинную муку. Или взять, к примеру, те минуты, которые перед началом своей атаки бывают. Нет, он никогда не оставался равнодушным, если узнавал, что скоро придется идти в атаку. В минуты ее ожидания у него всегда была если и не боязнь возможного ранения или даже смерти, то уж лихорадочное волнение — непременно. Но тогда ощущение страха немедленно исчезало, едва начинался бой. И следа от того страха в душе вроде бы не оставалось.

Сейчас — совсем другое дело. Каким-то неприятно липучим был страх теперь. И вымыться после него почему-то всегда хотелось. Не сполоснуть руки и лицо прохладной струей, а в горячущей русской бане на самом верхнем полке настегать себя веником, распаренным в крутом кипятке.

Правда, исчезает он, этот страх, по-прежнему быстро. Но как часто и по каким пустякам он стал нарождаться...

Упорно думал майор Исаев о причине недавно обнаруженного страха, пока не понял: он, Дмитрий Исаев, чувствует скорый победный конец этой кровавой бойни, вот подознательно и подрагивает за свою жизнь.

В жизни многое завлекающе, даже чудно завязано. Ведь, кажется, чего бы ему, майору Исаеву, за нее цепляться? Жену и сына с дочерью уже потерял, значит, теперь один-одинешенек на всем белом свете. Настолько одинешенек, что после победы, если уцелеет к тому времени, жизнь ему фактически с нуля начинать придется, что вовсе не так просто, когда тебе около пятидесяти. А вот — поди ж ты! — тайно поселился в нем этот страх, и все тут...

Минуло еще несколько дней — наконец додумался и до самого главного: сугубо личное, в какой-то степени даже шкурное, потому наверх сейчас выползло, себя явно обозначив, что нет больше тревоги за судьбу Родины. Нет ее, словно не она еще сравнительно недавно по ночам спать не давала!

Докопался до первопричины — стал еще взыскательнее, строже к себе: ведь он — командир, его первейшая задача — помочь всем своим бойцам, если подобное и на них обрушится. Да и опасался, как бы о его личной беде не узнали однополчане, не стали бы сочувствовать, жалеть.

Вроде бы на все пуговицы и пуговочки, крючки и крю-

чочки застегнул майор Исаев свою душу, для страховки надежно спеленал еще и собственным сторожайшим *нельзя*. И вдруг заметил, что весна уже пришла: и почки на деревьях набухли — вот-вот лопнут, распахнутся, дав жизнь нежно-зеленым листочкам, и вообще вся земля готовилась начать рожать молодое, красивое. Заметил, почувствовал атакующую весну — всплыло в памяти все, что недавно солдаты рассказывали о вдове лесника. Особенно назойливо вспоминалось, что у нее нет дома (сожгли его фашистские каты!), зато имеется огород впечатляющих размеров. Вернее, не сам огород, а пока лишь земля, предназначенная для него.

И все равно еще несколько дней майор Исаев не мог понять, чего требовала, о чем тосковала его душа. Потом все же дошло. И он немедленно велел солдату, дежурившему на командном пункте батальона, найти замполита и попросить его прийти сюда. Почти час они просидели только вдвоем, разговаривая. После этого разговора замполит, собравшись за считанные минуты, ушел к полковому начальству; намеревался, если повезет, то и к самому командиру полка проскользнуть. Почти не сомневался, что это удастся, — сам полковник Муратов, когда их бригада стала полком, перед всем строем сказал: мол, комбатам, с которыми вместе много военных дорог покорено, он разрешает в любое время суток обращаться лично к нему.

После боев в Белоруссии майору Исаеву более чем откровенно намекнули: дескать, пора и на полк взгляды бросать, пора внимательно присматриваться, чтобы в случае чего знать, что к чему. Что ж, приглядываться так приглядываться. Ведь это в мирной жизни бумаги да разные инспекторские проверки многих талантливых командиров до чахотки доводят; чтобы выдержать все, свойственное только мирному времени, офицеру особый склад характера надобен.

Замполит был еще очень молод, в армии служил всего лишь третий месяц и во всем безоговорочно верил своему командиру батальона. Потому и впитал многое из его философии.

Никого не было при их разговоре, а по батальону уже шелестел слухок: замполит побежал к командиру полка за разрешением срубить дом вдове лесника. Всем батальонном срубить!

И вот уже готово общее мнение: правильно будет так поступить. Прежде всего потому, что уже почти три года

у солдат только и дела — разрушай, ломай, выворачивай с корнем!

И не сказать, как стосковался он, советский солдат, по настоящей работе...

Между прочим, среди бойцов есть такие мастера по плотницкому делу, что увидишь их работу — от зависти немедленно дара речи лишишься!

Оживился батальон. Настолько зацепила души всех возможность сделать что-то доброе для вдовы человека, погибшего от рук общего клятого врага, что специальных «махальных» выделили и послали на дорогу, которой только и мог возвращаться замполит. И строго наказали им: условными взмахами руки немедля дать знать о любом решении полкового начальства.

Майор Исаев не стал ждать возвращения своего заместителя. Теперь уже и вовсе неудержимо захотелось взглянуть на огородную землю, за зиму стосковавшуюся о своих извечных заботах. И, оставив за себя младшего лейтенанта Зелинского, он зашагал к поляне, где еще полгода назад стоял дом лесника. Один пошел: Пират отсутствовал уже четвертые сутки; как догадывался майор Исаев, завлекла его какая-то местная Жучка.

Пока шел, мысленно уверял себя, что идет затем, чтобы лишь посмотреть на землю; мол, это в самом крайнем случае — он раза три или четыре ковырнет лопаткой здешний чернозем или подзол (забылось, что у них верхним лежит). Но стоило увидеть поляну, основательно вытянувшуюся с севера на юг, и пепелище, на котором женщина и мальчонка, одетые во что-то темное, сгребали к почти бездымному костру черные головешки и мусор, сразу выиграла кровь потомственного мужика, не привыкшего в любом деле быть просто созерцателем; он вдруг понял, что обязательно вскопает здешнюю землю; если еще не пришло время посадки, он подождет. А вскопает огород сегодня. Обязательно! Сколько сможет, столько уже сегодня и вскопает!

Даже остановился в северном конце прошлогодних посадок, решая: откуда начать? Отсюда или с противоположного конца?

Настолько задумался, что вздрогнул, когда услышал:

— Здравствуйте... Вы что-то ищете?.. Или нельзя палить костер? Если так, мы его сейчас же затушим.

Женщина стояла шагах в пяти от него. Была она только по грудь ему. Сбитая плотно, без намека на недостачу

или излишество чего. Майор Исаев сразу подумал, глядя в ее серые и одновременно чуть зеленоватые глаза, подернутые жизненной усталостью, что ей наверняка нет сорока лет, что преждевременно старит ее пережитое. И заботы о завтрашнем дне. Сними все это с нее, да еще разом — немедленно заулыбается радостно, до зависти молодо.

Он почему-то не смог соврать ей, он признался честно:

— Весна виновата... Так вдруг захотелось хотя бы один рядок земли под картошку вскопать, что сил терпеть не стало... Не прогоните?

Она не ответила. Только пытливо глянула на него. Потом, чуть повысив голос, все же сказала:

— Павлуша, принеси лопату товарищу майору.

Павлуше не больше шести лет. Не обратил майор Исаев особого внимания на то, как и во что был одет малец. Зато с первого взгляда установил: между вдовой лесника и мальчонкой во внешности не было даже малюсенького сходства.

Молча взял лопату майор Исаев. Так же, не обронив ни слова, снял гимнастерку, привычно поплевал на ладони и без единого перекура вскопал добрую четверть огорода. Лишь почувствовав во всем теле хорошую усталость, остановился, почти лег грудью на лопату, воткнутую в землю надежно, уверенно. И моментально около него оказался мальчонка, протянул ему старое, но предельно чистое полотенце. Им майор Исаев, глянув на Павлика благодарно, вытер мокрые от пота лицо, шею и — после недолгого раздумья — даже грудь, покрытую редкими, начавшими сесть волосками. Вытер пот и еще раз — теперь уже предельно внимательно — взглянул на Павлика. В глазах мальчонки читались и уважение, и почтительность, и хорошая зависть его физической силе, и еще что-то, названия чему майор Исаев не нашел; очень приятным было это что-то...

Павлуша полил майору Исаеву на руки колодезной воды, когда тот вдруг заторопился в батальон. А вот вдова лесника за все это время, пока он был здесь, вообще ни разу не глянула на него, она за все это время только одно слово и обронила:

— Спасибо.

Да и то вдогонку.

До землянок батальона оставалась еще почти половина пути, как увидел Пирата. Тот, чувствуя за собой вину — убежал без разрешения, — трусил метрах в трех па-

раллельно его пути, поджав хвост, время от времени с мольбой поглядывая на хозяина. Майор Исаев первоначально намеревался потерзать его неизвестностью. Но вдруг в голову пришло, что нельзя казнить животное, если оно провинилось перед тобой лишь в силу чуть ли не главного жизненного инстинкта — стремления продлить свой род. И майор Исаев чуть слышно призывно свистнул. Еще мгновение — и Пират оказался рядом, благодарно глянул в его глаза, затрусил рядом и слева.

А замполит уже ждал, с нетерпением поглядывая в ту сторону, откуда должен был появиться комбат. Увидев его, встал и поспешно сказал, что командир полка дал «добро» на постройку дома для вдовы лесника. Дескать, и еще полковник Муратов велел обязательно передать майору Исаеву, что соскучился и будет рад, если тот взглянет к нему хотя бы на часок.

Если начальство приглашает столь вежливо, медлить и вовсе недопустимо. Потому майор Исаев, в душе чертыхнувшись, опять зашагал по весеннему лесу, теперь в сторону, противоположную поляне.

Майору Исаеву повезло: полковник Муратов сразу же принял его. Он же, только поздоровавшись, и выпалил, что вдове лесника дом необходимо срубить, разумеется, качественный во всех отношениях. А заодно и здесь, на западной опушке, стекающей в непроходимое для людей болото, соорудить бункер. Нет, лучше — два. Пусть будут чуть косоватыми, даже кривобокими и со щелями хоть во всю стену, но лишь бы выглядели внушительно.

Щепу же, какая появится в ходе плотницких работ, не палить в кострах, не гнить в буреломе, а разбросать по той опушке, где возникнут бункера. Не по щепочке, а по нескольку штук сразу, чтобы фашистские наблюдатели их обязательно заметили.

— Надеюсь, Дмитрий Ефимович, ты догадываешься о причине нашего поступка? Бункера и щепу имею в виду.

— Нам нужно, чтобы фашисты и вовсе поверили: здесь мы о своем наступлении не помышляем, здесь мы озабочены только надежностью нашей обороны, лишь об укреплении, об усилении ее и печемся, — помолчав, уверенно ответил майор Исаев.

— Ответ принят... И еще мне думается, что в целях маскировки все плотницкие работы следует проводить по ночам. Шум, говоришь, большой будет?

— Молчу я...

— А чего нам его, того шума, бояться? Хотя он и далеко поплывет над водой... Или ты не согласен со мной?

И снова, немного подумав, майор Исаев уверенно сказал:

— Ночью да еще над водой звук действительно далеко уплыть может. До Берлина, конечно, не дотянет, но на той кромке болота лишит гитлеровцев спокойного сна... Однако, когда дом по-хорошему рубишь, лучше в оба глаза и при нормальном освещении глядеть... Считаю, ночами топорики и просто так постучать могут. Для солдатской веселости.

— Договорились! — и вовсе обрадовался командир полка, даже шлепнул себя ладонями по коленям. И тут, когда майор Исаев намеревался уже подняться, чтобы уйти, спросил, хитровато нацелившись на него лукавыми глазами: — А с чего это ты, друг мой ситный, если, конечно, не секрет, стал хлопотать о доме для вдовы лесника? Или за все годы войны других вдов не видывал?

Действительно, с чего?

Не нашел майор Исаев убедительного ответа на этот простой вопрос. И то ли смущенно повел плечами, то ли поежился.

— Не красней, дело-то житейское: оба вы еще молоды, оба одинокие...

— А я, товарищ полковник, не голубок! — глухим от обиды голосом перебил его майор Исаев.

Тот не понял, спросил недоуменно:

— Какой еще голубок?

— Тот самый, который, ласково воркуя, одну голубку топчет, а на другую уже косит радужным глазом!.. Помню я свою Аннушку... И Полина с Фишкой все еще стоят у меня перед глазами...

Полковник Муратов понял, что нечаянно обидел его, и сказал примирительно:

— Извини, я не хотел... — Но тут же спохватился: — Хотя что я особо обидное сказал? Или мало сейчас одиноких людей в расцвете лет, людей, которые...

— Давай, Тезик Хасанович, замнем этот вопрос для полной ясности? — усталым голосом перебил его майор Исаев. — Да и не переубедишь ты меня... У каждого человека свое понятие о совести, чести и прочем подобном... Сейчас, знаю, кое-кто кричит, что война все спишет. А вот мне думается: не спишет, а прояснит она все. Особенно четко выпятит, вспучит то плохое, мерзкое, что в мирное время

в человеке частенько потаенным для других остается... За чистотой имени своего в дни тяжелых испытаний ой как следить надо... Так я пойду, Тезик Хасанович?

— Что ж, иди... Хотя, может, удержишься на часок? Почаевничаем, душевно поговорим...

— Никак нельзя: я и так уже целый день в бегах.

Полковник Муратов не стал настаивать, в заключение разговора он только и сказал, что как выберет время, так и заглянет в батальон, чтобы оценить творение рук их хваленых плотников.

Обещал взглянуть на строящийся дом, но, видимо, так и не нашлось у него свободного от забот часа. Зато майор Исаев зачастил на ту поляну, где его с неизменной радостью встречал Павлуша. Было ясно: иной день он часами ожидал здесь его появления. А вот тетя Катя (мальчонка только так навеличивал вдову лесника) с ним по-прежнему лишь здоровалась. Чаще — кивком. Нет, она отвечала на его вопросы. Доброжелательно и подробно отвечала, чтобы после этого сразу же отойти в сторону.

Из разговоров с Павлушей майор Исаев уже знал, что тетя Катя добрая и справедливая, что она очень дружно жила с дядей Семеном — своим мужем. И ему, Павлуше, было хорошо у них. А помолчав, мальчик все же добавил: дескать, только он, Павлик, все равно скучал о маме с папой. Кто они — этого не помнил (ведь ему было всего около двух лет, когда видел их в последний раз). Пожалуй, только и осталось в памяти, что папа, как и дядя Митя, тоже ходил в гимнастерке, только без погон; у него какие-то красные штучки вот здесь были. И Павлуша коснулся пальцем углов воротника своей рубашки.

А мама... Она лучше всех была...

Еще Павлуше помнилось, что с мамой они ехали в кузове большой машины. Так долго ехали, что он уснул. А проснулся от непонятного грохота. Сначала не испугался, увидев, что мамы нигде нет, что лежит он уже не в кузове той большой машины, а в кустах ивняка на самом берегу речки. Ну, той самой, где они вчера рыбачили. Страх потом пришел...

Тут, на берегу речки, когда он и реветь уже устал, его и нашел дядя Сеня...

Наконец дом был готов. И в огороде только и работы — прополка и полив. Значит, больше нечего здесь делать ему, Дмитрию Исаеву. Хотя вроде бы и прикипел сердцем к Павлушке, хотя вроде бы и теплее душе стано-

вилось, когда рядом бесшумно и безмолвно сновала Катерина Михайловна. Однажды ночью, когда сон вовсе удрал неизвестно куда, ему даже подумалось, что у него сейчас нет семьи. Что из данного факта следует? А только одно: вместе с ним, если смерть спрабастает, сотрется с лица земли и род его, Дмитрия Ефимовича Исаева. Выходит, война не только одного конкретного человека убивает, она и целые семьи на нет сводит...

И все равно он мысленно решил прекратить встречи с Павлушкой и Катериной Михайловной. Только из-за войны, которая, похоже, вот-вот опять в самый раж войдет. Ишь, в командование тем фронтом, куда их дивизия влилась, вступил сам Жуков!

Между прочим, сейчас с трудом верится, что тогда, под Ленинградом, он, Дмитрий Исаев, сомневался в наличии у него настоящего таланта военачальника...

Да и генерал Рокоссовский, говорят, вовсе рядышком обосновался. О чем это должно кричать человеку, если у него вообще мозги есть? Очень похоже, что здесь, на белорусской земле, скоро такое начнется, такое... Потому и считал недопустимым в души дорогих сердцу людей вселять надежду, которая не по его вине могла оказаться мыльным пузырем.

Почувствовал, по многим верным приметам майор Исаев безошибочно определил, что их сидению в лесу подходит конец, что минет еще сколько-то деньков — никак не больше недели, — и он поведет свой батальон на запад. Через то самое болото, которое кое-кто и сейчас считает непроходимым.

Несколько дней майор Исаев собирался нанести прощальный визит Катерине Михайловне, но в самый последний момент неизменно откладывал его «на завтра». Однако сегодня он, как только проснулся, начистил свои сапоги, подшил к гимнастерке чистейший белый подворотничок, зубным порошком, который где-то раздобыл Карпов, надраил медаль «За оборону Ленинграда», одиноко красовавшуюся на гимнастерке, повидавшей всякое, и размашисто, решительно зашагал к солнечному для него дому Катерины Михайловны. И только тут впервые заметил, что идет по еле заметной тропочке; ишь ты, протоптал за минувшие почти три месяца...

Павлушка встретил его, как это стало уже привычным, еще на подходе к поляне. Сразу, только поздоровавшись,

метнулся к Пирату, обнял его за шею, затормошил и.. вот уже и не стало их, исчезли они в лесной чаще.

Сегодня Катерина Михайловна, увидев майора Исаева, не попыталась скрыться от его ласкающих глаз, сегодня она сама подошла к нему, даже пригласила посидеть за столиком, который недели две назад он же и соорудил под молодой березкой.

Долго сидели за столиком, только вдвоем сидели, но майор Исаев никак не мог набраться смелости, чтобы сказать то главное, ради чего и пришел сюда сегодня. Потому они изредка и перебрасывались почти случайными словами.

Наконец солнце прилегло отдохнуть на вершины деревьев, и майор Исаев сказал, вставая из-за стола:

— Однако, как говорится, пора и честь знать... А пришел я к вам, Катерина Михайловна, вот по какому случаю...

Она тоже встала, порозовела, потупилась от смущения.

Майор Исаев не заметил этого, не понял, каких от него слов ждала она. Он, недовольный собой, достал из нагрудного кармана гимнастерки лист бумаги, прищепнутый гербовой печатью, положил его на стол под железную кружку, из которой недавно пил колодезную воду, и пояснил спокойно, даже несколько холодно:

— Это, так сказать, мой денежный аттестат. По нему вы, Катерина Михайловна, и будете получать деньги каждый месяц. И не сундучьте их, смело тратьте на Павлушку и себя.

Вот и высказал то, сказать чего невероятно боялся!

— Да разве можно так, Дмитрий Ефимович? И дом срубили, и деньги свои кровные отдаете... А сами-то как жить будете? — только и сказала Катерина Михайловна, глядя на него сияющими от счастья глазами.

— Много ли мне одному надо? Да и верные товарищи всегда со мной рядом...

Какое-то время они стояли молча.

— Не знаю, смогу ли когда за все это отблагодарить вас, — наконец нерешительно сказала она, с мольбой глядя на него.

Он словно давно ждал чего-то подобного, он сразу расправил плечи и сказал строго, поучая:

— О благодарности, Катерина Михайловна, тебе и заикаться нельзя. Потому как это грязным намеком в мой

адрес прозвучит. Будто задабривал, даже подкупал я тебя этим домом...

— Да пропади он пропадом, этот дом! Разве в нем счастье?

— ...От чистого сердца я посильное для тебя с мальчонкой сделал, вот и делов-то, а ты...

Помолчали — и опять она:

— Я-то, Дмитрий Ефимович, еще живая...

Не понял ее майор Исаев, вот и перебил радостно:

— И я живой! Потому и не смей обижать меня грязными подозрениями!.. Может, после войны, ежели доведется встретиться, вот тогда мы с вами, Катерина Михайловна, и поведем разговор в совсем другом разрезе...

Тут она, не стыдясь, и достала из лифчика бумажку, на которой был нацарапан простым карандашом ее домашний адрес, протянула ее и сказала, зардевшись еще больше:

— Для меня никогда не будет никого желаннее вас, Дмитрий Ефимович...

И она сама сделала тот шаг, на который он не смог набраться смелости. Потом долго прощались, уверяя друг друга, что они просто обязаны встретиться. Он даже сказал, что прибежит к ней, любимой, при первой возможности. Но ее, той желанной возможности, в ближайшие дни не представилось: уже 23 июня майор Исаев, временами проваливаясь в вонючую воду почти по грудь, повел свой батальон на запад, повел через осточертевшее болото на фашистские пулеметы, многие месяцы изнывавшие от безделья.

А вот Ювана среди наступавших не было. Его не стало 20 июня. В тот день десять «юнкеров» попытались бомбить одну из узловых железнодорожных станций, где стояли три наших эшелона с войсками и техникой. Но это был уже 1944 год, и советские истребители так встретили фашистских летунов, что те, пошвыряв бомбы куда попало, бросились врассыпную. Осколком одной из тех бомб, случайно рванувших в этом лесу, и был убит Юван.

— Хоть умер сразу, без мучений, — вот и все, что сказал старший сержант Карпов, скорбно постояв над телом Ювана.

Похоронили Ювана в ранее неведомой ему белорусской земле, похоронили между узловатых корней красавицы березы, чьи ветви почти касались травы-муравы. К ство-

лу этой березы и прибили дощечку, где батальонным умельцем было вырезано с большим чувством:

Солдат ИВАН ПОПОВ

Это уже позднее и исключительно по своей инициативе старший сержант Карпов чуть ниже приписал химическим карандашом, который поплыл под первым же дождем:

НАРОДЫ СЕВЕРА

Не насмешкой были эти два слова. Они впитали в себя общую боль, общий укор за то, что через многое прошли вместе с Юваном, а так и не удосужились узнать у него ни года рождения, ни отчества, ни домашнего адреса.

20

Последние дни ноября. Но снега нет и в помине. Моросит нудный холодный дождь, да временами налетает порывистый ветер, способный играючи сорвать фуражку с головы зазевавшегося. Ветер норовит нырнуть и под шинель, чтобы хоть чуточку обогреться около человеческого тела. Когда ему это удастся, солдатская кожа идет пупырышками.

Повсюду, куда ни глянешь, грязь. Хватающая людей за ноги, а машины и орудия — за колеса. Над ней — низкое, темно-серое небо. Настолько низкое и непроглядное, что сегодня в нем нет ни одного самолета.

Батальон майора Исаева в Польше с первых чисел сентября. Это он идет сейчас не целиной, где грязюка почти вовсе неодолима. Это ему сегодня разрешено двигаться по дороге, которая, как уверяет карта, небрежно сунутая в планшетку, через двести шесть километров пересекает границу фашистской Германии. Уже не тысячи, а всего лишь эти две сотни километров надо им прошагать, пробежать или проползти на брюхе, чтобы под нашими сапогами оказалась земля, породившая фашизм, чтобы теперь и ее рванули наши снаряды! Будет трудно осилить их, эти поскребыши? Но ради мира на земле мы не только эти километры, но и вообще что угодно осилим, одолеем. Не одни в это верим. Потому многие из европейцев — поляки, норвежцы или французы — очень точно навеличивают нас своими освободителями от фашистского ига. Запомните, потомки: не мы сами себя так окрестили,

а вроде бы вовсе чужие нам люди присвоили советским войнам столь лестное звание. *Освободители!*

Батальон майора Исаева без спешки шагает по дороге, растревоженной танками, тягачами, тяжелыми орудиями и многими десятками тысяч солдатских ног, упрятанных в казенные сапоги или ботинки, пошитые не очень красиво, зато добротнo, с расчетом не на парады, а на бесконечные марши по разбитым войной дорогам и по полному бездорожью.

Еще позавчера батальон майора Исаева был во главе атакующего клина своего полка, нацеленного в обход польского городка, упорно, с ожесточением обороняемого фашистами. Слышите, там и сейчас рокочут наши артиллерийские залпы?

И не удивляйтесь, что сзади в разгаре бой, а их полк, даже не расчехлив орудий и минометов, знай себе спокойно шагает на запад: теперь не сорок первый год, когда мы были первоклашками в школе войны, сейчас мы в этом деле уже академики! Кроме того, в последние месяцы мы во много раз больше наступаем, чем обороняемся; причем, ведя наступление, не прем упрямо в каком-то заранее по карте выбранном направлении, а сначала старательно прошупываем вражескую оборону и лишь потом, найдя слабое место, всей силищей обрушиваемся именно сюда, чтобы возможно меньшей своей кровью добиться победы; тогда, осенью 1944 года, одна из главнейших наших задач — как можно быстрее идти вперед, безбоязненно оставляя у себя в тылу фашистские части и даже соединения, если они осмеливались оказывать нам упорное сопротивление: их обязательно добьют те, кто идет во втором и третьем эшелонах наших войск. Мы спешим вперед, чтобы не позволить фашистам оторваться от нас, по-настоящему зацепиться за линию обороны, на черный день подготовленную ими заранее.

Осенью 1944 года в огромной цене были солдатские жизни, теперь они ценились уже во много раз дороже, чем самая новейшая боевая или какая иная техника. Но война безжалостна, упряма, она признает только силу. Вот и оставались вдоль победного пути наших войск солдатские могилы с железной или фанерной пятиконечной звездочкой на простенькой пирамидке. Случалось — и этого не было, случалось — лишь махонькая проплешина вскопанной земли обозначала могилу советского солдата, с боями дошагавшего до этих чужих ему мест. И одиночные, и братские

могилы обозначили для потомков победный путь наших армий. Братских было больше: за победы — огромные, ставшие известными всему человечеству, и малые, так сказать местного значения, — победители всегда расплачиваются своей кровью.

В дни летнего и осеннего наступления Советской Армии майор Исаев несколько раз вспомнил железнодорожную станцию на земле Эстонии и то, о чем они с Павлом Петровичем думали тогда. О наших потерях в людях. О том, что они будут значительно внушительнее, чем в любой из минувших войн, и что мы потеряем людей больше, чем фашисты. Теперь он убедился: те мысли, к сожалению, оказались правильными. Конечно, в росте наших потерь определенную роль сыграло и то, что в начальные месяцы войны подавляющее большинство наших солдат, офицеров, даже генералов и адмиралов не умели воевать: сто учебных боев с одним настоящим в сравнение не идут.

Да что там говорить о простых воинах, если прославленные маршалы Буденный, Ворошилов и Тимошенко — военная краса и надежда всего советского народа — были вынуждены быстро отойти с переднего плана в глубокую тень. И до сих пор отсиживаются там, может быть, даже с завистью поглядывая на то, как вершат боевые дела Жуков, Рокоссовский, Конев и многие другие полководцы, ныне еще больше прославленные самой историей, чем они, ветераны гражданской войны.

В первые месяцы напасти не умели мы воевать по-настоящему, потому зачастую, как это бывало и в гражданскую, делали упор на рукопашный бой. Отсюда и многие наши атаки, захлебнувшиеся во вражеском пулеметном и автоматном огне.

Было это. И другое печальное, не украшающее наше военное искусство, тоже случалось. Но ни в том, ни в другом нет вины советских солдат!

Да и многие из младшего, среднего и старшего командного состава не повинны были в том, что наши потери оказались излишне большими. Просто судьба уж так пожелала, чтобы мы вдосталь нахлебались горечи позора из огромной чаши своего бега от Бреста до берегов Волги.

Батальон майора Исаева, в минувших боях потерявший более половины личного состава, сегодня шел замыкающим походные порядки родного полка, который лишь тес-

нил пока отступающего, а не бегущего врага. Этим батальону послабление вроде бы было оказано.

Хотя хорошо это или плохо, что он в хвосте дивизии ногами грязь месит? Если на это глянуть с одной стороны, то его, учитывая недавние заслуги, вроде бы оберегают от случайного столкновения с врагом. А с другой приглядеться... Замыкающий колонну всегда замыкающим остается, он, как зубоскалят солдаты, «все время бредет в струе отработанных газов», он последним и к доброму, крайне нужному поспекает. Правда, мы войной уже многому научены, поэтому, чтобы урвать для батальона хотя бы кое-что из желаемого, майор Исаев еще утром вперед послал старшего сержанта Карпова и пять самых расторопных солдат.

Соответствующие подстраховывающие меры принял, но в успех задуманного не вполне верил: теперь, когда на ухабах дорог грохотал уже четвертый год войны, все насобачились лучшее для себя, для однополчан вырывать. Даже товарищи генералы грешны в этом. И не удивительно: они тоже люди...

Старшего сержанта Карпова увидели, когда до места ночевки шагать оставалось еще около пяти часов. Он стоял на обочине, и сзади него табунилась толпа то ли солдат, то ли еще кого — в шинелишках и ватниках, в пилотках, фуражках с околышами всех родов войск и даже шапках-ушанках армейского образца. И ни у одного из тех людей в руках не было оружия!

Зато десять автоматчиков, стоявших чуть в сторонке, были вооружены — будь здоров и не кашляй.

Поравнялся батальон с толпой неизвестных людей — Карпов и сержант, командовавший прекрасно вооруженными и обмундированными автоматчиками, подошли к майору Исаеву, козырнули и не доложили, а рассказали, что эти люди — штрафники. Восемьдесят семь непутевых головушек. Дескать, до вчерашнего дня командовал ими старший лейтенант Валентин Валентинович Спицин, подорвавшийся на вражеской mine. Подбежал к грудному ребенку, базлавшему посреди улицы прямо на булыжной мостовой, только схватил его — тут и подорвался на фашистской mine, которая подлой рукой была в пленку сунута. Между прочим, если бы не товарищ старший лейтенант, то кто-то другой погиб бы точно так же: уже несколько наших бойцов спешили на помощь грудному младенцу. Так что со вчерашнего дня эта рота штрафников

была без командира; только сопровождающие автоматчики с ней неотлучно. Но куда, в чье распоряжение следовать, об этом сержант Бубнов — командир отделения автоматчиков сопровождения — понятия не имеет; и вообще он со своими автоматчиками при роте штрафников лишь для того, чтобы оказать помощь ее командиру, если она, конечно, потребуется.

Почему о том, куда и в чье распоряжение следовать, не спросили у начальства? А позвольте узнать, какое начальство вы имеете в виду? То, которое в путь занаряжало? Так оно все указания давало товарищу старшему лейтенанту. А те несколько больших военачальников, которых за сегодняшний день повидали, ничего определенного не сказали, все они лишь отфутболили их безадресно. Только полковник Муратов оказался конкретнее: велел именно здесь дожидаться его, майора Исаева, ему без малейшей утайки и поведать всю правду о своих бедах.

Сразу вспомнилось, что еще под Ленинградом, когда предстояло окончательно сокрушить вражескую блокаду, командир бригады откровенно заявил, что очень любит, если его подчиненные и чужих солдат заставляют выполнять свои приказы. И хотелось как можно скорее восполнить потери в личном составе. А тут восемьдесят семь бойцов, будто манна небесная, сами к тебе в руки просятся!

Однако нельзя забывать, что эти не просто солдаты, что они штрафники. А про тех майор Исаев только и знал, что дисциплина у них и вовсе железная, что все они кровью своей или подвигом должны искупить собственную вину перед советским народом; у каждого из них вина своя, а вот ответ за нее им надлежало держать вместе и в одном и том же тяжком испытании.

Майор Исаев еще колебался, он еще не решался взвалить на себя ответственность и за штрафников, за их боевые дела и жизни, но тут младший лейтенант Зелинский, стоявший буквально у него за спиной, и прошептал:

— Есть же среди них и просто споткнувшиеся люди!

И тогда, нарочито сурово сдвинув белесые брови, майор Исаев громко сказал:

— Ладно, считайте, что ваша судьба на ближайшее время определилась. И в дальнейшем я не буду напоминать вам о том, что вы штрафники. Вроде бы самими обыкновенными солдатами вы будете для меня... Кто заслужит, на того немедленно оформлю соответствующие

документы. На предмет снятия вины, значит... А баловаться и думать не смейте: и у меня характер тяжелущий, и солдаты мои баламутов страсть как не любят... А что это вы все без оружия? Хотя бы для смеха одну винтовку на всех заимели.

Штрафники угрюмо отмолчались. Тогда, выждав какое-то время, вперед шагнул сержант Бубнов и пояснил равнодушно:

— Им оружие только перед самым боем выдаваться должно. Согласно положению.

— Перед самым боем, говоришь... А кто знает, когда будет он, тот бой? Мне, например, это вовсе неизвестно... Даю вам ровно полчаса на обзаведение оружием. Или не видите, что здесь вовсе недавно бой был, что трофейные команды еще не успели сграбастать оружие?... Разойдись!

Только теперь, когда рядом не стало ни одного штрафника, сержант Бубнов позволил себе заметить:

— А с оружием все же повременить бы... Когда глянете в их документы, которые храню лично, сами увидите, какие фрукты среди них затаились.

Майор Исаев не ответил: он верил своим солдатам.

Двое суток все шло гладко. А вот на рассвете третьего дня майора Исаева бесцеремонно разбудил старший сержант Карпов. И хотя просыпаться вовсе не хотелось, он открыл глаза, уже точно зная, что только крайняя необходимость заставила Карпова поступить так. Действительно, убедившись, что комбат окончательно проснулся, тот доложил враз обесцветившимся голосом:

— Так что, Дмитрий Ефимович, сегодня ночью чепе случилось. У штрафников, разумеется.

— Не было печали, так черти накачали, — невольно вырвалось у майора Исаева. И после непродолжительной паузы: — А конкретнее можешь?

— Трое ихних поляка ограбили, — будто выругался Карпов.

На душе у майора Исаева стало и вовсе муторно. Не только потому, что до сведения всех был доведен приказ Верховного Главнокомандования, обязывающий командиров безжалостно карать любого, совершившего нечто подобное. Он ни на минуту не забывал и того, что находились они в Польше, где за каждым их шагом придирчиво следили глаза людей, которым каких только сказок про советских солдат не наговорили. Знал майор Исаев точно и то, что были здесь и враги. Явные и тайные. Дашь малю-

сенькую промашку — эти обязательно воспользуются, эти при удобном случае могут кого-то из наших и жизни лишить, а уж ославить, грязью облить — всегда с превеликим удовольствием!

— Вот что, Карпов... Фамилии бандитов, случайно, не знаешь?

— Чередниченко, Воловик и Никонов.

— Ага, ладно... Вели Бубнову немедля доставить мне все, что у нас об их прошлом имеется.

Сержант Бубнов появился так скоро, словно стоял за дверью землянки, давшей майору Исаеву приют на минувшую ночь. Вошел, молча протянул несколько листов бумаги и, отступив на два шага, замер у входа.

— Ты, Бубнов, иди к людям, иди, — поспешил отпустить его майор Исаев, которому сейчас хотелось побыть одному. Чтобы спокойно обдумать и принять чрезвычайно важное решение. Причем он прекрасно понимал, что помилует ли бандитов, прикажет ли расстрелять — все равно его решение будет обсуждаться и осуждаться. Допустимо, что и повлечет за собой что-то, крепко бьющее теперь уже по нему, Дмитрию Исаеву.

Так что основательно подумай, майор Исаев, обстоятельно и честно поговори со своей совестью...

Когда майор Исаев в сопровождении Пирата вышел из землянки, на опушке плотным четырехугольником уже стоял его батальон, а чуть в стороне — штрафники; эти — в две малость изогнувшиеся шеренги. В полной тишине майор Исаев подошел к штрафникам, остановился примерно на середине их строя, помолчал немного, будто собираясь с мыслями, и наконец заговорил, вроде бы даже с ленцой:

— Еще при первой нашей встрече я сказал, что не буду вспоминать ваши прошлые грехи, что вы будете для меня как бы самыми обыкновенными солдатами. Говорил я вам это или нет? — вдруг повысил он голос.

Штрафники глухо ответили:

— Говорил...

— Сдержал я свое слово или трепачом оказался? Хоть одному из вас напомнил о том, что он преступник, которому Родина дала еще одну возможность попытаться стать человеком?.. Чего молчите? Напоминал я вам о прошлом или нет?

— Нет, не напоминал, — опять глухо, но дружно ответили штрафники.

— Так и должно было быть: я хозяин своего слова... Но я предупреждал вас, что не потерплю бандитизма! — теперь уже гремел голос майора Исаева. — И дело вовсе не в том, будто мне завидно, что какой-то гад разбогатеет за счет чужого пиджака! Наиглавнейшее — подобные проступки позорят нашу армию! Правда, одна сволочь не украдет у нее доброй славы, но в чьих-то глазах грязное пятно наложит. Ну, не пятно, так пятнышко... Все у нас было хорошо. Двое суток у нас все было нормально. И вдруг сегодня ночью, буквально накануне боя, который многим из вас вернет честное имя солдата, случилось это чрезвычайное происшествие...

Майор Исаев замолчал. Словно думал: а рассказывать ли о том, что произошло ночью.

Батальон и штрафники стояли не шелохнувшись.

— Чередниченко, Воловик и Никонов. Выйти из строя! — как кнут хлестнула команда.

Три штрафника вышли из строя. Остановились. Лица у них были серы. И вообще все сейчас было серым. И лес, с которого ноябрьские злые ветры сорвали последние листья, и трава, пожухлая от утренних заморозков, и ровный строй батальона, и штрафники, двумя чуть изогнувшимися шеренгами застывшие на опушке.

— Вот эти трое сегодня ночью ограбили поляка, — продолжал майор Исаев. Теперь голос его был вновь спокоен и потому становилось тревожнее. — Они запятнали честь советского солдата. Значит, не извлекли урока из прошлого... Разве не за бандитизм они попали в штрафники? За бандитизм!.. И еще одна закавыка, которую мы с вами учесть просто обязаны... Почему до сегодняшней ночи они вели себя как овечки? Не догадываетесь? Тогда поясню... Там, где мы шли те двое суток, был трибунал. Встречаться с ним эти субчики не хотели. А сегодня или — это уже в крайнем случае — завтра мы обязательно вступим в бой. Сегодня или завтра кто-то из нас будет покалечен, убит... А раз смерть рядом, то эти подонки и решили, что лучше, для их здоровья выгоднее вернуться к трибуналу и сесть за решетку. Так они намеревались дезертировать от нас!

Словно прошелестели шеренги батальона. И было трудно понять, что это: иронический смехок или гневный ропот. А лица солдат оставались бесстрастными.

Но майор Исаев не искал поддержки, он был убежден, что только так и обязан поступить, как решил, потому и сказал, четко выговаривая каждое слово:

— Так вот, отправлять их в трибунал не стану. Они будут расстреляны здесь. Немедленно.

Слова майора Исаева упали в настороженную тишину. Они будто впитались серыми шеренгами солдат. Даже ворона, усевшаяся на ветке дерева, перестала вертеть головой, замерла, уставившись любопытными глазами на людей.

И вдруг прозвучал одинокий голос:

— А Чередниченко зря в расход списываем.

Этот штрафник сказал: «списываем»! Он заявил, что и свою незримую подпись ставит под приговором, объявленным им, майором Исаевым!

Но радости своей майор Исаев не выдал, он только спросил строго:

— Кто это сказал?

Из строя вышел штрафник. По внешности вроде бы такой же, как и другие. Держался он с чувством собственного достоинства. И глаз не отвел, когда заговорил:

— Я сказал, товарищ майор... Молодой он, Чередниченко. Сбили его с толку те...

— Правду он говорит? — Майор Исаев повернулся лицом к штрафникам, от них ждал подтверждения или опровержения услышанного. Солдаты одобрительно зашумели. Стало ясно: Чередниченко они согласны помиловать.

— Становись в строй, Чередниченко, — бросил майор Исаев, и голос у него радостно дрогнул, чуть разгладись суровые складки, прорезавшие его усталое лицо.

— Спасибо вам, — тихо сказал тот.

— Не меня, их благодари, — сухо оборвал его майор Исаев. — Они тебе сегодня жизнь спасли, они с тебя и спросят, если ты опять грязь рылом пахать начнешь.

Чередниченко убежал к штрафникам. Те молча приняли его.

— А эти? Может, еще кого из них под защиту возьмете? — с тайной надеждой спросил майор Исаев.

Промолчал батальон. Только ворона робко каркнула.

— Отделение — ко мне!

Сержант Бубнов вздрогнул, удивленно глянул на майора Исаева. И тот, встретившись с ним глазами, поспешно пояснил:

— То самое, в котором они числились.

Теперь восемь человек, одетых пестро и вооруженных как нашими, так и фашистскими автоматами, бесшумно отделились от шеренг штрафников. Подойдя, они остано-

вились чуть в сторонке и с таким расчетом, чтобы не мешать остальным видеть и майора Исаева, и осужденных. Нет, у тех, кто вышел из шеренги штрафников, не бегали глаза, у них не было предательской дрожи в коленях: они понимали всю необходимость того, что должно было свершиться их руками.

— Дать лопаты, пусть роют могилы, — вновь разозлившись на весь мир, распорядился майор Исаев.

С приговоренных к смерти сняты ремни, оторваны хлястики. И шинели сразу стали похожи на обыкновенные балахоны.

Майор Исаев, проверяя себя, еще раз мысленно перебрал все, что несколько минут назад узнал об этих двух, копавших себе могилы. Да, оба отъявленные негодяи. Особенно — Никонов. Он за свою еще сравнительно короткую жизнь судился уже семь раз и три из них — за время службы в армии: дважды за дезертирство и еще за попытку убить напарника, с которым был в секрете. Только потому пытался его убить, что «часы у того телка хорошие были», — как свидетельствовали документы, цинично, без намека на раскаяние сказал на следствии Никонов.

И майор Исаев невольно покосился на Никонова, с отворачиванием скользнул глазами по его рыжим вихрам, казалось, как-то вызывающе топорщившимся на затылке, и по жилистым, натруженным рукам, уверенно сжимающим черенок лопаты.

А земля падает с лопат, падает...

— Воловик, ты почему перестал копать? — спрашивает майор Исаев для того, чтобы порушить гнетущую тишину.

— Мне и такой ямки хватит, — вроде бы беспечно отвечает тот, соскабливая палочкой грязь с лопаты, потом неторопливо садится на холмик земли, выброшенной им из неглубокой могилы. — Да и Никонов, как погляжу, и за меня решил постараться.

Действительно, тот уже с головой ушел в землю. Он будто хочет вырыть подземный ход, которым можно будет убежать от людей, справедливо ненавидящих его, Ивана Никонова.

Никонова силой вытащили из ямы, вырытой им.

Короткий приказ:

— Раздевайтесь!

Воловик сбросил с плеч шинель, небрежно швырнул на нее гимнастерку, шаровары и стыдливо прикрылся рукой.

А Никонов тянет время: его пальцы то и дело умыш-

ленно мешают друг другу, он излишне долго укладывает гимнастерку и шаровары. Чувствуется, что это не привычная аккуратность человека, а все тот же страх перед смертью.

Наконец справился со своей одеждой и он.

— Есть просьбы? — сухо спрашивает майор Исаев.

— Имеются, — поспешно отвечает Воловик и вытягивается так, будто на нем не нижнее белье, а полная парадная форма. — На ваш приговор не обижаюсь. Сам напросился... Если можно, напишите домой, что погиб в бою... И закурить бы...

Злая тишина висит над лесом, над его опушкой. Теперь уже несколько ворон сидят на голых ветвях дерева и поглядывают на людей.

— Ладно, напишу, что ты умер как человек, — обещает майор Исаев. — А что скажешь ты, Никонов?

Никонов высказал не просьбу. Все его бессвязные вопли были о желании жить, о том, что он согласен десять и даже больше лет отсидеть в самой строгой тюрьме, в сырой одиночке гнить, только бы не умереть сегодня.

Майору Исаеву стало невыносимо противно смотреть на этого подлеца, ползавшего около ног людей, хватавшегося скрюченными пальцами за их сапоги. Ему вдруг чуть не до слез обидно стало: что ни говорите, а его решение о расстреле этих бандитов — самый обыкновенный самосуд, за который запросто могут основательно погладить против шерсти...

Хотя стоит ли сейчас думать об этом? И он отвернулся от Никонова. До чего же гадок этот слизняк!

И тут Никонов, почувствовав, что снисхождения ему не будет, вскрикнул и побежал. Не в лес, до которого было несколько метров, а прямо на солдатские шеренги. Он бежал, размахивая руками. Майор Исаев видел его черные от земли ступни, быстродвигающиеся лопатки...

Вот и серая стена батальонных шеренг. Она дрогнула, расступилась. В этот коридор, стенами которого были люди, и бросился чужой для них человек. Майор Исаев понял сразу, сердцем почувствовал, что тот был именно чужим, презираемым: ни один из солдат не протянул к нему руки, чтобы попытаться схватить, остановить. Солдаты брезговали прикоснуться к нему.

Как на учении, развернулось отделение: Злые, короткие очереди хлестнули в спину беглеца. Он упал. С тревожным криком взмыли вороны с голых ветвей дерева.

Строй батальона и шеренги штрафников смешались на несколько минут. Все, хотя вроде бы и не хотели этого, смотрели на беловатое пятно, застывшее на серой холодной земле.

А потом вспомнили о Воловике. Глянули в его сторону. Он по-прежнему сидел на холмике земли, по-прежнему курил.

И тогда майор Исаев подошел к нему, остановился почти рядом. Воловик торопливо сделал несколько жадных затяжек, швырнул окурок в яму, приготовленную для себя, и встал.

— Ну, чего на меня глаза таращишь? — набросился на него майор Исаев. — Одевайся!

До этого Воловик был бледен. Но теперь, если бы не слезы, покотившиеся из глаз, можно было бы подумать, что перед тобой стоит мертвец, вылезший из этой ямы.

Майор Исаев сдвинул фуражку на затылок, глубоко вздохнул и пошел прочь, даже не глянув в сторону беловатого пятна, марававшего землю. Пират моментально пристроился около его левой ноги.

Вроде бы никого постороннего не было, когда вершили справедливый суд, вроде бы и батальона никто в тот день даже на самое короткое время не покидал, но в обед, почти одновременно с походными кухнями, правда с противоположной стороны, с запада, продрался сквозь грязь и «козлик» командира полка. Бесцеремонно отправив прогуляться адъютанта и шофера, сюда, в машину, полковник Муратов и позвал майора Исаева, усадил на сиденье рядом с собой и сразу же обругал. За невыдержанность и самоуправство. Беззлобно и очень кратко обругал. А потом, помолчав, и сказал, что за недавний бой хотел сго, майора Исаева, представить к ордену Красного Знамени. Даже начал заполнять на него наградной лист. Но теперь с отправкой того листа повременит. Исключительно для того, чтобы излишне не дразнить высокое начальство. А закончил свой монолог наигранно бодро:

— Короче говоря, «длинная майора», раньше времени носа не вешай: пока ты в моем подчинении — очень сильно обидеть постараюсь не дозволить.

Майор Исаев почувствовал, что похвальба брошена для того, чтобы взбодрить больше себя, чем его, Дмитрия Исаева.

А поздним вечером, когда, сытно поужинав и сполоснув котелки водой из маленькой безымянной речки, все отды-

хали, стараясь не замечать, что сейчас наши орудия грохочут совсем рядом, что фашистам все же удалось зацепиться за свою очередную линию обороны, подготовленную загодя, в батальон на попутной полуторке прибыл капитан Редькин. Он ничего не сказал майору Исаеву, он только излишне долго и старательно пожимал его руку. Настолько долго и старательно, что тот спросил:

— Мои дела так плохи, что даже не утешаешь?

— Если честно, то ничегошеньки конкретного не знаю, — признался капитан Редькин. — Сейчас, как мне думается, все зависит от того, на каком уровне остановится информация о случившемся. Да каково в тот момент будет настроение у того, кому доложат...

Действительно, на каком уровне остановится информация о том, что он приказал расстрелять Никонова? Может, полковник Муратов застопорит ее?.. Кто его знает: ведь он тоже жить хочет.

А настроение начальства, оно в судьбе любого человека всегда огромную роль играет...

подавив тяжелый вздох, майор Исаев предложил вроде бы вовсе спокойным голосом:

— Давай, Сашок, перекурим это дело, а?

21

Посреди ночи майор Исаев проснулся от прикосновения к своему плечу чьей-то руки. Моментально открыл глаза. И увидел незнакомого лейтенанта, который сказал с ошеломляющим безразличием, чтобы он, майор Исаев, следовал за ним. А автоматчик, будто окаменевший у единственного выхода в землянку, казалось, оставался вовсе равнодушным ко всему, происходящему здесь.

Хотя, возможно, и дисциплина заставляла его казаться таким...

Долго ли собраться, если у тебя все богатство — пара нижнего белья, кусок хозяйственного мыла и безопасная бритва?

Майор Исаев, еще отказываясь душой принять сиюминутную необходимость, был уже готов шагнуть в черную неизвестность, когда вспомнил, что он ведь не просто человек, а еще и командир батальона. Вспомнил это и сразу сказал с неподдельной тревогой:

— Мне, товарищ лейтенант, еще батальон кому-то передать надо.

— Сейчас батальон уже не ваша забота, — равнодушно

ответил тот, жестом руки указывая на выход из землянки.

На дороге, в эти минуты зябко дремавшей метрах в ста от землянок батальона, подрагивая от мотора, работавшего на холостом ходу, стоял «козлик», безжалостно заляпанный грязью. На его заднее сиденье, подчиняясь приказу, и сел майор Исаев. Тотчас по бокам у него пристроились равнодушные автоматчики.

Пока «козлик», то вилля между снарядных воронок, от которых, казалось, все еще разило сгоревшей взрывчаткой, то раскачиваясь на ухабах или подпрыгивая на булыжниках, взрывами вывороченных из мостовой, резво бежал вдоль угрюмого леса и мимо городков и деревень, где не было видно ни одного огонька, майор Исаев не испытывал ничего, кроме недоумения: он никак не мог поверить, что арестован по-настоящему. Не потоком, а обрывками, лоскутками, вроде бы вовсе не связанными друг с другом, текли его мысли в те часы, пока «козлик» безжалостно пластал ночь своими фарами.

Наконец, миновав очередной контрольно-пропускной пункт, где у младшего лейтенанта и его подчиненных не стали проверять документ (ага, «домой» прибыли!), «козлик» решительно вильнул с шоссе на проселочную дорогу, недолго попетлял среди лип и елей, вершинами упиравшихся в тучи, и в изнеможении замер около дома-усадыбы какого-то ясновельможного пана, судя по всему, сбежавшего вместе с гитлеровцами и бросившего свое родовое поместье на произвол судьбы. Майор Исаев понял, что теперь здесь располагается гарнизонная комендатура.

Он уже предостаточно повидал таких поместий, являвших собой самый обыкновенный просторный дом, способный на короткое время одновременно принять десятки гостей, или некое подобие замка с обязательными стрельчатыми окнами и башенками по углам крыши. Не один подобный дом-замок повидал майор Исаев, в нескольких даже бывал, не уставая удивляться стремлению шляхты к показному величию. Обычно он только недоуменно покачивал головой, когда его походные сапоги, прошагавшие многие сотни километров военных дорог, вместо дубового, букового или какого иного диковинного паркета панского дома, оказавшись в крестьянской хате, вдруг начинали чувствовать под собой обыкновенную землю, утрамбованную ногами многих поколений людей и домашнего скота, коротавших свою жизнь под одной соломенной крышей.

Знал майор Исаев и то, что почти каждая панская усадьба имела подвал, каменные стены которого всегда были влажными или даже подернутыми плесенью; от хозяев этих усадеб не раз слышал, будто в стародавние времена, когда род этого шляхтича был еще в силе, подвал был переполнен пленными, за которых их родственники в конце концов вносили богатый выкуп. Теперь в одну из каморок-одиночек, на какие сейчас был поделен весь вместительный подвал, сунули его, майора Исаева. Если не считать топчана, не прикрытого даже мешковиной, ничего в ней не было. Сунули сюда, попросив сдать оружие.

Ушел, закрыв за собой дверь каморки, тот пожилой солдат, который привел его сюда, — майор Исаев все осмотрел более внимательно. Да, между камерами лишь оштукатуренные перегородки из тонких дощечек, зато основная стена подвала — явно давнишняя кладка. Добротная, надежная. Хотя ему-то до этого какое дело? Бежать из-под стражи он не собирается...

Оглядев, ощупав глазами то небольшое, что было здесь, он лег на топчан, механически отметив, что тот коротковат для него. Делать было нечего да и надеялся забыться, может быть, во сне что-то приятное увидеть, потому и лег. Долго лежал и с открытыми, и с закрытыми глазами. Сна не было. Зато именно в эти минуты с ужасающей ясностью понял: если с ним случится худшее (а дело явно к тому катится), Катерина Михайловна с Павлушей уже в этом месяце по его денежному аттестату ни копейки не получат; хоть волком от обиды взвой, а только так будет...

Попытался успокоить себя тем, что нет за ним, Дмитрием Исаевым, какого-либо тяжкого преступления. Вообще преступления за ним нет! Но тут же тайный внутренний голос стал упорно твердить, что есть за ним вина, за которую не можно, а должно наказать его.

И опять, уже в какой раз, он стал мысленно доказывать себе, что это зависит от того, с чьих позиций и как взглянуть на данную ситуацию. Или не имел он, как командир батальона, права за невыполнение боевого приказа тут же, где это произошло, собственноручно расстрелять любого из своих подчиненных? Было дано ему такое право, самой войной оно вменялось ему в тяжкую обязанность. Больше того — откажись он использовать его, это свое право, когда обстановка того требовала, сам себя мог под мощнейший и безжалостный удар подставить. Счи-

таете, в данном конкретном случае тех бандитов следовало просто отправить в тыл, где трибунал и сказал бы свое веское слово? Под надежным конвоем туда отправить?

Как стало теперь ясно, для личного спокойствия надо было поступить только так. Но обстановка-то тогда какая была? Она во весь голос кричала, что нельзя, когда бой может грянуть с минуты на минуту, отправлять бойцов из батальона! Ни единого человека!

Так тогда обстановка велела...

До минутного рассвета, просочившегося в маленькое оконце, забранное толстенными железными прутьями, пролежал майор Исаев на топчане и окончательно — уже в в какой раз! — пришел к выводу, что вина его сводится к тому, что он не сразу и не в полном объеме принял жесточайшие меры, когда чепе обнаружилось. И за это, может быть, даже ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте заслуживает он, майор Исаев. Но никак не больше!

Несколько успокоил себя этим, но, когда в его одиночку, прогремев засовом, вошел уже знакомый пожилой солдат, то ли дежуривший сегодня, то ли специально представленный к местным арестантам, и принес кусок ржаного хлеба и кружку чая, есть не смог. Тогда пожилой солдат, похоже повидавший уже многое, и проворчал одновременно ободряюще и осуждая:

— Ты ешь. Через силу, но ешь, что дают: тебе силы беречь надобно.

И то, что пожилой солдат, прекрасно знавший законы военной службы, обратился к нему на «ты» и откровенно сочувствующе, оказалось во много раз убедительнее пространных речей: майор Исаев понял, что гауптвахтой не отделается. И до последней крошки съел хлеб, еще тепловатый и так вкусно пахнущий пекарней, с жадностью выпил чуть желтоватую еще теплую водицу, здесь называемую чаем.

Забрав железную кружку и тяжело вздохнув, ушел пожилой солдат. Теперь опять не с кем даже словом перебраться. И майор Исаев, немного потоптавшись в своей каморке, убедившись, что от какой стены ни начинать шагать, но в длину его хоромы всего лишь четыре, а в ширину два метра, вновь лег на топчан, свернул шинель валиком и сунул себе под голову. Прилег лишь для того, чтобы бесцельно не торчать столбом в камере, однако уснул мгновенно и без каких-либо сновидений.

Он был разбужен в десять часов. Тем же пожилым солдатом. Он же и сопроводил до маленькой комнатки во флигеле, стоявшем недалеко от большой конюшни в глубине двора. Здесь, в комнатке, где при ясновельможном пане явно жил кто-то из прислуги, за простым однотоумбовым письменным столом сидел старший лейтенант со знаками юриста на узких белых погонах. Он не встал, даже не поздоровался, когда майор Исаев вошел в комнатку; он, мельком глянув на него, только и сказал, равнодушными глазами показав на стул, приткнувшийся к столу, за которым сидел сам:

— Я — старший лейтенант Мышкин. Мне поручено вести следствие по вашему делу.

Он, дав майору возможность опуститься на указанный ему стул, и задал для начала самые обыкновенные анкетные вопросы: когда и где родился, кто родители, с какого года служит в Советской Армии, участвовал ли в боях с фашистами, если да, то где и когда, женат или холост. О многом подобном спросил старший лейтенант. Майор Исаев уже начал было успокаиваться, убаюканный ровным и вроде бы доброжелательным голосом следователя, когда тот вдруг предложил ему немедленно снять с груди медаль «За оборону Ленинграда». Дескать, не подобает ей красоваться на груди подследственного; она, мол, будет приобщена к делу.

Старший лейтенант Мышкин не расставлял майору Исаеву хитроумных ловушек, не пытался заманить его в лабиринт каверзных вопросов; он записывал вроде бы только правду. Но как-то очень своеобразно. Так, если верить протоколу допроса, получалось, что роту штрафников майор Исаев почти обманом заманил в свой батальон, что он лично приговорил к расстрелу не одного, а трех провинившихся солдат. Настолько туманно все было изложено, что и не разберешь, в чем же виноват он, майор Исаев. В расстреле одного штрафника или в том, что помиловал двух других?

Майор Исаев, разумеется, обратил на это внимание старшего лейтенанта. Тот глянул на него ледящими глазами и спросил:

— А вы, включая штрафников в состав батальона, разве не думали об увеличении его численности?

— Конечно, и такое в мыслях мелькало...

— Тогда в чем вы обвиняете меня? Или не с ваших слов я веду запись? — И после небольшой паузы высказал

вовсе неожиданное: — Если же говорить откровенно, вы по гроб своей жизни должны будете благодарить меня за то, что не подвожу вас под статью, которая указывает на антисоветскую пропаганду. Имею все основания для этого, но, зная, что вы подлинный офицер-фронтовик, не леплю ее вам... И вообще я должен прямо сказать вам, что вы ведете себя так, словно мы с вами кровные враги!

Здорово разозлился старший лейтенант Мышкин, не достал, а выхватил из пачки очередную папиросу и так яростно крутанул ее между пальцев, что бумага лопнула и табак просыпался на пол. Это, похоже, подействовало отрезвляюще, и закончил он внешне вполне миролюбиво:

— Обращаю, гражданин Исаев, ваше внимание еще и на то, что в протоколе нигде не сказано, что вы приказали расстрелять трех человек, я, как следователь, которому поручено вести это дело, только бесстрастно зафиксировал ваше первоначальное намерение. К слову, мною подшита к делу и бумажка за подписью командира полка. Та самая, в которой он упор делает на то, что вы не подали команды: «Пли!..» Честное слово, иной раз смешно становится, когда вас, строевиков, слушаешь: будто без команды «пли» те двое не подозревали, зачем им велели раздеться, могилы рыть... Еще раз повторяю: все, как оно было, вы сможете подробнейшим образом рассказать трибуналу.

«Гражданин Исаев»...

И он понял, что его обязательно будет судить военный трибунал. Скорее всего за то, что приказал расстрелять одного, а не всех трех. А вот антисоветская пропаганда...

И он спросил нарочито смиренно:

— Если можно, гражданин следователь, поясните мне, пожалуйста, в чем выражается моя антисоветская пропаганда?.. Или вы пошутить изволили?

— Я при исполнении служебных обязанностей, и шутить мне никак не дозволено! — сказал будто отрезал тот, но чуть погодя все же смилостивился: — Вы во всю глотку вопили, что пистолет надо носить так, как это принято в фашистской армии. Дескать, это удобнее, целесообразнее... Не только орать такую несуряницу изволили, но и личным примером слова свои подкрепляли... Или, скажете, пистолетик вы на пояском ремне не левее своего пупка и не рукояткой к нему носили?

Вот теперь стало окончательно ясно, что спорить, отстаивать свою правоту, даже самое очевидное — сейчас

бесплезное дело: этому старшему лейтенанту приказано провести следствие не для выяснения истины, его просто обязали найти то, что дало бы возможность судить майора Исаева. Судить военным трибуналом. И следователь Мышкин обязательно уцепится за что-нибудь. Ишь, про запас и разговоры о ношении пистолета в уме держит...

И майор Исаев, подавленный, почти сломленный этим открытием, теперь до конца допроса лишь сухо, кратко отвечал на вопросы старшего лейтенанта Мышкина, не сделав даже попытки пояснить что-либо.

Без единого возражения он и подписал все страницы протокола допроса.

Лишь потом, вновь оказавшись в том же каменном закутке, куда вчера ночью сунула его судьба, вдруг вспомнил, что полковник Муратов не забыл о нем, ищет пути если и не к спасению его, то уж к смягчению наказания. Вспомнил это и сразу подумал, что за свое право жить по-человечески надо бороться до последней возможности, что негоже, почти не глядя, вовсе не задумываясь, подписывать все, подсунутое тебе следователем.

Еще безвольно, апатично подумал об этом.

А потом, когда, чтобы истопить печь, пришел пожилой солдат, ставший за эти часы чуть ли не родным человеком, между ними состоялся короткий разговор, который начал майор Исаев:

— Как считаешь, меня взаправду судить будут? Или только поугаают трибуналом?

Солдат помолчал, потом все же сказал устало, сказал с какой-то надрывной душевной болью:

— Может, и пройдет беда мимо, если, как говорят в народе, когда ты родился, солнце тебе точнехонько в зад светило... А ежели честно, непременно будут судить тебя... Поскольку с фронта сняли, сюда доставили.

— А за что меня судить? За мной числится какое-то уголовное преступление? Или я что-то во вред нашему народу совершил?

— Вину и за грудным пацаном найти можно.

Какое-то время помолчали, глядя на огонь, весело пожирающий сухие березовые поленья. И вдруг майора Исаева осенило, он спросил почти радостно:

— Слушай, а ты сможешь достать бумаги? Писчей? Побольше?

— О помиловании просить будешь?

— Просить о помиловании — признать за собой вину,

а я ее не чувствую... Товарищу Сталину подробно опишу всю свою жизнь. С самого первого по сегодняшний день. Он поймет, он не допустит, чтобы покарали безвинного!

— Безвинного — это с какой «кочки» факты разглядывать...

— Ладно, допускаю, что в том положении было у меня и еще какое-то решение. Допускаю такое. Но — веришь? — не видел я тогда его. И сейчас не вижу!

— Я-то тебе верю, — вздохнув, ответил пожилой солдат, кочергой пошевелил в печке поленья, и сноп искр рванулся в дымоход.

Пожилой солдат принес бумагу, нарезанную несколько зауженными листами, чернильницу-непроливашку и самую обыкновенную ручку школьника. Майор Исаев метнулся к столу, лихорадочно-торопливо подровнял листы сероватой бумаги, только макнул перо в чернильницу — тут пожилой солдат и сказал:

— Совета моего, конечно, можешь и не принимать. Однако не ты первый в этой камере за стол сел, чтобы слезное прошение о помиловании накорябать... Говорят, чаще всего счастье выпадало тем, кто Михаилу Ивановичу писал. Калинин, значит.

Майор Исаев написал за один присест Сталину и Калинин. Подумав, еще и Ворошилову. Как нарком, при котором столько лет без единого проступка прослужил в армии. Пожилой солдат детьми своими поклялся, что обязательно завтра же отправит все три послания. И сразу Дмитрию Исаеву с чувством огромной внутренней неловкости подумалось: а вдруг так случится, что все трое откликнутся на его вопль?

Непоколебимо верил, что хоть от кого-то одного из них, но помощь обязательно придет. Однако она явно не спешила. Зато следствие полностью завершилось за два дня, а еще через четверо суток состоялось и заседание военного трибунала, на которое Дмитрия Исаева, сняв с него погоны, привели уже под конвоем автоматчиков.

Трибунал тоже зря не транжирил время: терпеливо выслушав подробный рассказ недавнего майора о том, что в те дни происходило у него в батальоне, и не задав ему ни единого уточняющего вопроса, судьи ушли в соседнюю комнатку. Они должны были без постороннего влияния выработать справедливый приговор.

Совещались судьи не так чтобы долго. И первые слова приговора Дмитрий Исаев воспринял с вновь народившей-

ся надеждой. Та светлая надежда сразу умерла, как только было сказано, что за превышение власти он, гражданин Исаев Дмитрий Ефимович, приговаривается к семи годам лишения свободы. И вовсе гранитным многопудовым надгробием упали слова: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Еще накануне, ознакомив пожилого солдата со своим обвинением, Дмитрий Исаев узнал, что его статья относится к разряду «резиновых»: суд, не выходя за ее рамки, запросто мог дать ему срок отсидки от шести месяцев до десяти лет — это по первому из ее пунктов; а если следователь умудрится подсунуть под второй, и расстрел схлопотать не трудно. Еще сказал, что не помнит случая, чтобы в подобной ситуации трибунал предпочел дать месяцы заключения: дескать, у него душа щедрая, она осужденному обычно лишь годы отмеривает.

Но семь лет тюрьмы ему, Дмитрию Исаеву, который за всю свою жизнь ничего во вред людям не сделал? Семь лет без отправки на фронт, когда и матерым рецидивистам, случается, дают возможность собственной кровью искупить свою вину?!

Не хотел, не мог смириться осужденный Дмитрий Исаев с подобной несправедливостью и вновь — теперь уже со слезной мольбой о помиловании — обратился за помощью к товарищам Сталину, Калинин и Ворошилову. Уже почти не верил, что кто-нибудь из них услышит его вопль и откликнется, но написал: утопающий и за соломинку хватается.

Девять арестантов отбывало свои сроки на гауптвахте этого польского городка, до войны о существовании которого никто из них и не подозревал. Восемь из них откровенно сочувствовали бывшему майору Исаеву. А вот один сказал, не скрывая зависти:

— Ты, видать, под счастливой звездой родился: до конца войны попилишь сосны и елки в тайге, зато потом домой целехонек вернешься... А что семитку подарили, этим сердце не трави: у нас завсегда зеку много лет одалживают, чтобы вскоре добрую половину отобрать. За хорошее поведение, активное участие в общественной жизни и тому подобное... Да и большая всеобщая амнистия после победы непременно будет...

А завтра, едва рассвело настолько, что стало видно все, два хмурых солдата под расписку забрали недавнего майора из камеры гауптвахты, обыскали небрежно, исключи-

тельно для проформы, и куда-то повели, предупредив скупаящим голосом:

— Шаг влево, шаг вправо — считаем попыткой к бегству, огонь открываем без предупреждения.

Однако едва лес скрыл от глаз панскую усадьбу, где располагалась гарнизонная комендатура, один из конвоиров сказал:

— Держи, майор, — и протянул осужденному Исаеву солдатский ремень, явно повидавший многое, но для употребления еще вполне пригодный.

Дмитрий Исаев подарок принял с искренней благодарностью; опоясавшись ремнем, сразу себя вновь военным почувствовал. А незнакомый солдат продолжает:

— Если мы, майор, тебя правильно поняли, бежать ты не намереваешься?

— Сам от себя еще никто не убежал.

— Тогда в городке, до которого минут двадцать ходу, ты шагай по одной стороне улицы, а мы на другую перейдем. Будто до тебя нам дела и вовсе нет, так держаться станем.

Вот и пошел бывший майор по польскому городку вроде бы вольным человеком, с завистью и горечью поглядывая на людей в цивильном, спешивших по делам или просто глазевших на прохожих из окон своих домов.

А когда вышли на главную улицу городка, в конце ее Дмитрий Исаев углядел контрольно-пропускной пункт, где, как он догадывался, сопровождающим его солдатам предстояло поймать попутную порожнюю машину, которая и должна будет доставить их на родную землю.

Не победителем, увенчанным лаврами, а презируемым арестантом вернется домой он, Дмитрий Исаев...

Чертовски обидно, а что поделаешь, если судьба такой вираж заложила?

Здесь, на главной улице польского городка, когда стали чуть ли не на каждом шагу попадаться магазинчики и ресторанчики, размещавшиеся лишь в обыкновенной комнате, даже комнатухе самой заурядной жилой квартиры, один из конвоиров (тот, который пока не проронил ни слова) вдруг сказал, подойдя вплотную и неожиданно сунув ему в руку несколько скомканных злотых:

— Зайди, рвани стопочку для успокоения души.

Тюрьма двухэтажная. Если верить болтовне заключенных, до войны это здание было кожевенным заводом. Ручаться за правдивость слуха никто не хотел, но Дмитрий Исаев сразу, только глянув, понял, что не тюрьмой, а чем угодно иным было оно еще сравнительно недавно. И стены не толстенные, а самой нормальной кладки, и в каждой камере по окну чуть ли не во всю стену; правда, перекрытому массивной решеткой, но все равно окну, в которое солнце пробивалось не тонким лучиком, а вваливалось само и вопрошающе поглядывало на людей, томившихся за решетками в тесноте и духоте, хотя на воле было так прекрасно и места хватило бы для всех.

Даже подобия нар не было в той камере, дверь которой, хищно лязгнув многими запорами, приоткрылась для него, Дмитрия Исаева. Здесь заключенные спали на полу, подстелив под себя то, что имели: шинель, пальто или просто пиджак.

И еще — почти у двери самодовольно млела в тепле пресловутая параша, о которой неизменно упоминалось в любом произведении об арестантах. Она — обыкновенный железный, довольно вместительный бак с двумя ручками и крышкой, которая была бессильна погасить зловоние, расходящееся от нее волнами.

Арестантов лежало на полу — казалось, ногу поставить некуда. И почти все они злорадно хохотали, тыкали пальцами в его сторону, выкрикивая что-то явно обидное. Надзиратель, впустивший Дмитрия Исаева в этот ад, похоже, затаился за дверью камеры, готовый, если потребуется, мгновенно вмешаться, чтобы навести порядок.

Прошло несколько томительных минут, и Дмитрий Исаев понял, что эти десятки людей, остриженных под ноль, радовались, ликовали, что он, бывший майор, еще несколько дней назад служивший в армии, которая между боями беспощадно вылавливала их, теперь сам оказался за решеткой. Вместе с ними, в одной тюремной камере оказался!

Нет, Дмитрий Исаев ни разу не участвовал в облавах на бульбовцев, бандеровцев или даже просто дезертиров. Значит, ни одного из этих исходящих злобой людей он лично не ловил, выходит, они ненавидели его лишь потому, что он, как только мог, с оружием в руках бился с врагами всего советского. И он вновь почувствовал себя

на переднем крае беспощадной войны. Правда, теперь единственным его оружием, как он считал, были лишь кулаки. Большие, мосластые. Одним из них — правым — он и двинул в ближайшую торжествующую рожу. Всю злость, какая накопилась за время ареста, вложил в этот удар. И будто услышал хруст костей под кулаком.

В камере, где он оказался, было человек пятьдесят. Они, разумеется, могли бы любого мужика превратить в кровавое месиво. Но сейчас они опешили, растерялись, на какое-то время каждого из них покинуло чувство стадности, многим придающее безумную смелость, и они сникли, замолчали, еще не вполне веря, что этот костлявый вчерашний майор осмелился один пойти против них. Еще не вполне верили в это, но уже начали бояться.

А еще через минуту у единственного в камере окна поднялся с пола арестант в солдатской гимнастерке и сказал вполне доброжелательно:

— Шагай сюда, комбат. Твое место здесь, где воздух все же посвежее.

Комбат — и стало тюремной кличкой бывшего майора Дмитрия Исаева. Как считали многие, на годы стало.

Тюрьма... Для подавляющего большинства людей она что-то страшное, позорящее, пятнающее если и не на всю жизнь, то уж на годы — непременно. Теперь она, тюрьма, на какое-то время (если верить приговору, на семь долгущих лет) стала своеобразным домом и для него, заключенного Дмитрия Исаева. Он внешне смирился с этим. Или о побеге мечтать ему прикажете?

На четвертый день после прибытия сюда его для беседы вызвал оперативный уполномоченный — лейтенант с усталыми и грустными глазами, с лицом, исполосованным многими морщинами; был он сед, хотя, как вскоре узнал заключенный Дмитрий Исаев, исполнилось ему всего лишь сорок три года.

Полистав его дело, оперативный уполномоченный невяроятно грубым голосом и обращаясь на «ты» осведомился, имеет ли он, заключенный Исаев, претензии к органам, если да, то за что конкретно. Потом придиричиво, подробно расспросил обо всей жизни, еще раз прочитал обвинительное заключение и неожиданно не сказал, а почти прорычал:

— Мне не дано права пересматривать приговоры, мое дело в режиме, соответствующем приговору, держать тебя, следить, чтобы ты не убежал, пока тебя отсюда не выту-

рят или вперед ногами не вытащат... Между прочим, у нас и этапы бывают. Это когда мы заключенных в исправительные колонии отправляем... Если воспылаешь желанием, тебя мы в первый же определим.

Идти в колонне арестантов, большая половина которых дезертиры и всяческие пособники фашистов? Идти среди этой сволочи по улицам города, чтобы честные люди на тебя с презрением косились?!

И он почти прокричал, отвечая своим мыслям:

— По мне лучше все семь лет за самыми глухими тюремными стенами просидеть!

Оперативный уполномоченный, похоже, понял его душевное состояние; глаза у него подобрели, и он очень даже спокойно сказал после небольшой паузы:

— Зачем же на столь долгий срок настраиваться?.. Счастье, оно, может, уже и вовсе рядом колесит...

Прошло еще несколько дней, и Дмитрий Исаев понял, что в камере три главные группировки: бульбаши и прочие в недавнем прошлом явные и тайные пособники фашистов (самая многочисленная), «бытовики» — вчерашние военнослужащие и просто оступившиеся гражданские лица, и, наконец, самая малочисленная — уголовники-рецидивисты. Последние две группировки друг друга не задирали, а если вдруг возникал конфликт с «перевертышами» (так они между собой звали тех, кто входил в первую группу) — на время его становились как бы единым целым.

Стычки между группировками возникали довольно часто. Их почти всегда порождали продуктовые передачи. Ну, откуда, от кого мог получить желанную передачу, к примеру, тот же Дмитрий Исаев? Только от Катерины Михайловны.

Ни за какие земные и небесные блага он не поставит ее в известность о своей беде!..

А у других «бытовиков» вообще никого знакомого нет в этих краях.

Зато «перевертышам» их сродственники жратву мешками перли. И были в тех пузатых чувалах сало, творожные сыры, домашняя колбаса, каравай хлеба и сухари, сухари. Эти — исключительно на случай этапа. В день, случалось, двое и даже больше «перевертышей» получали подобные мешки со съестным. И, жадно чавкая, скопом пожирали это богатство, а потом курили блаженно, самоотрешенно. Не табачную пыльцу, смешавшуюся с самым обыкновенным мусором, который есть в любом кармане

одежды, а ядерный самосад, по крепости своей превосходящий турецкие табаки.

А «бытовикам» оставалось лишь завидовать чужому счастью или, смилив гордость, упрятав ее подальше, с подобострастной улыбочкой выпрашивать окурок или корочку хлеба, обломок сухаря, униженно выпрашивать у того, кого сам люто ненавидел и кто тем же платил тебе.

Но гордость большинству не позволяла унижаться до попрошайничества. И случалось, не выдержав пытки салом или табаком, при каждой затяжке продирающим до печенок-селезенок, растаскивали на крохи очередную чужую передачу. Вот тогда осатанело, свирепо стадо «перевертышей» скопом бросалось на спасение своего добра, готовое не только отобрать, непременно вернуть себе то, что к тому времени еще не исчезло в голодных желудках, но и жесточайше, до полусмерти избить того, кто осмелился покуситься на их собственность.

А разве могли «бытовики» не вступить за своего, ошалевшего с тюремной голодухи? Потому в камере и бушевала кровавая драка. До тех пор она бушевала, пока дежурный надзиратель не оповещал, грозно постучав большими ключами о железо двери, что еще минута безобразия — и он подаст по тюрьме сигнал общей тревоги.

Почти сразу понял заключенный Дмитрий Исаев и то, что тюремные надзиратели — вчерашние партизаны — неизменно будут держать сторону их, «бытовиков».

Бывший майор Исаев в тех драках не участвовал. Враждующие стороны считали, что он сам себя определил в резерв, что он обязательно вступит в драку в самый критический ее момент. Ни те, ни другие не знали, что в душе он очень переживал свой срыв в момент появления в камере, что мысленно он дал себе слово и здесь, среди заключенных, стараться неизменно оставаться человеком.

Чем заняться осужденным, если их удел пока лишь сидеть бездельниками в камере и глядеть друг на друга или на стены, давящие своей удручающе-мрачной окраской? Нагляделись уже досыта! В шашки и шахматы, которые сами слепили из мякиша хлебных паек, тоже наигрались до отвращения. Нашелся умелец, изготовивший игральные карты. Однако они не прижились. Потому, что за карточную игру могли и в карцер посадить. Но старый уголовник, практически знакомый с тюрьмами многих городов, причину провала этой затеи определил так:

— К сожалению, здесь контингент оказался самой низкой пробы...

Вот и сидели осужденные на полу, если не дремали, то, разбившись на пары или группы, вели разговоры. О самом разном. Но чаще всего кто-нибудь из тех, кто был пограмотнее, пересказывал прочитанную когда-то книгу, дополняя ее содержанием такими подробностями и уточнениями, что автору до них век не додуматься.

Случалось, и Дмитрий Исаев оказывался в группе слушателей подобной побасенки. Но значительно чаще его втягивали в разговор. Тот разговор неизменно начинали представитель уголовников или самый грамотный из «перевертышей», их своеобразный идейный вдохновитель — инженер по образованию, осужденный на пятнадцать лет за пособничество фашистам. Представитель уголовников в разговоре упор неизменно делал на то, что бывшему майору сейчас отрезаны все пути к нормальной жизни, что сейчас ему ярко светит только дальняя дорога — этапом в Сибирь родимую или и вовсе к черту на кулички. А там урки в преогромной силе; если говорить честно, там они главная опора энкаведешников против контриков разных. Спрашивается, что из этого вытекает само собой? Только одно: фактически они, урки, в глубине матушки-России лагерями правят. Вот, взвесив все это, не лучше ли, Комбат, не выгоднее ли для тебя во всех отношениях уже сегодня к нам, уркаганам, примкнуть, у нас и вместе с нами искать свое новое счастье? Чтобы потом кровавые сопли на кулак не наматывать...

До споров с уголовниками не снисходил. Только, когда они начинали надоедать, недобро усмехался. Или пристально разглядывал свои мосластые кулаки.

А вот с представителем «перевертышей» справиться было значительно труднее, подчас даже невозможно. Уже не счесть, сколько раз заключенный Дмитрий Исаев пожалел, что в политику вникал лишь в объеме Краткого курса истории партии. Инженеришка разговор свой всегда начинал в присутствии кого-нибудь из молодых парней-дезертиров, которые родились и росли фактически в Западной Белоруссии и воспитывались по законам панской Польши; эти парни обо всем советском имели менее чем приблизительное понятие, они, можно сказать, ничего не знали о нашей довоенной жизни.

Как правило, коварные вопросы подкидывал этот недавний фашистский пособник. Но чаще всего тот спраши-

вал громко, так, чтобы слышала вся камера: а что за верную службу дали ему, бывшему майору Дмитрию Исаеву, его Сталин и другие, на кого он молился все прошлые годы? Семь лет тюрьмы? Хорошо, эти белорусские парни, отказавшиеся брать в руки оружие и за это объявленные дезертирами, получили по десять лет. Лишь на три годочка побольше, чем он, сто раз рисковавший своей жизнью ради Советов! Но не будем детьми, Комбат: после войны обязательно будет большая амнистия, которая полностью и всю вину снимет с этих парней. Они сразу же после амнистии вернутся домой. А он, уважаемый Дмитрий Ефимович... Думается, ему лишь несколько сократят срок. Почему их отпустят домой, а ему лишь сократят срок заключения? Да потому, что их, дезертиров, многие тысячи, они — рабочие руки, которые после войны везде будут крайне нужны. А таких, как он, Комбат, — единицы, они годы не сделают...

Лишь однажды, когда идейный вдохновитель «перевертышей» своими словесами опять почти загнал в тупик заключенного Исаева, вдруг подал голос старик, смиренно сидевший около параши. Он сказал надтреснутым, дребезжащим голосом, сказал с явной злобой:

— Зачем ты, падла интеллигентская, каждый день Комбату новую пытку сварганить норовишь? Он и так без вины арестантскую баланду хлебает, а тут еще и ты его словами терзаешь... Сам-то ты, падла, в бога веруешь?

— Я — не москаль, значит, верую.

— И к какой же вере принадлежишь, по-каковски и какому боженьке молишься?

— Католик я! — не без гордости ответил тот.

— Ну и носись с этой своей верой, как иной дурак с грыжей!.. Спрашиваю: а кто дал тебе право его, Комбата, веры лишать? Его бог — Сталин. Поскольку с его именем он вырос. Ну и хрен с ним, пусть молится на него, пусть верит в его непогрешимость, пусть от него ждет милостей и спасения себе! — И закончил с большой внутренней убежденностью: — Без веры человеку в этом жестоком мире никак нельзя, без нее любой из нас в самый базарный день дешевле одного куриного перышка стоит.

В душе заключенный Дмитрий Исаев, после основательного раздумья, согласился с выводом этого доморощенного философа: у него вера в Сталина, несколько пошатнувшаяся сразу после несправедливого суда, здесь, в тюрьме, вдруг набрала силу.

Может быть, потому, что лично ему, заключенному Дмитрию Исаеву, больше не на кого надеяться? Может быть, потому сам себе и внушал, будто товарищу Сталину вовсе неизвестно, что повседневно творят сволочи разные?

Не всегда Дмитрий Исаев оказывался способным найти достойный и точный ответ, случалось, он просто грубо огрызнулся или глазами торопил поспешить на помощь себе учителя местной школы — Архипа Ивановича, который опоздал на урок на двадцать минут, ну и получил за это по указу три года. Дескать, если тебе в следующий раз дрова привезут в тот момент, когда надо будет спешить на работу, ты сначала основательно подумай о том, что важнее для тебя: вовремя прибежать в школу или сгрузить с подводы дрова для собственного дома.

Между прочим, Архип Иванович в случившемся с ним не винил ни товарища Сталина, ни вообще кого-то из людей, стоящих близко около него. Он искренне считал, что указ не очередной перегиб, как шептали некоторые, а крайняя необходимость, порожденная суровым военным временем. А что он, Архип Иванович, под указ попал... Да разве это впервой случилось, что кто-то, являющий собой власть на местах, перегибает палку, своей глупостью или по сугубо личным мотивам бросает тень на добрую задумку государственного масштаба?

Эта жизненная позиция приглянулась Дмитрию Исаеву, она и дала первый толчок к его душевному сближению с Архипом Ивановичем.

Учитель был башковитый, политически подкованный, как говорится, на все четыре ноги, он в спорах с тем инженерешкой неизменно верх брал. Может быть, и потому, что говорил более складно, чем тот.

У него, однажды насмелившись, Дмитрий Исаев и спросил: а как надо понимать приговор, что на него обрушился? За своеобразную опечатку считать его, что ли?

Подумав, Архип Иванович ответил, что суд над ним скорее всего продиктован необходимостью напомнить всем военным, что расслабляться или своевольничать сейчас, когда мы подошли к порогу фашистской Германии, и вовсе непозволительно. Мол, не вина, а беда твоя, Дмитрий Ефимович, что ты в самый неблагоприятный момент под руку высокому начальству подвернулся; вот и отдали тебя под трибунал для устрашения других, а не в наказание тебе. Помнишь, сколько было безжалостных приговоров военных трибуналов, когда только-только Советская Ар-

мня перешла границу Польши? Малейшую попытку обзавестись трофеем тогда считали мародерством и виновного немедленно расстреливали!

Что было, то было...

В другой раз у него же заключенный Дмитрий Исаев спросил: а почему товарищи Сталин, Калинин и Ворошилов не ответили на его письма? Дескать, мне на душе стало бы легче даже и в том случае, если бы кто из них прислал в ответ лишь одну строчку, вроде: «Вы виноваты в том-то и наказаны правильно». Внимание к себе он, Дмитрий Исаев, в этом случае почувствовал бы!

Архип Иванович не стал мудрствовать, он сказал то же самое, о чем догадывался и он, Дмитрий Исаев. Дескать, товарищи, упомянутые тобой, и другие, наделенные большой властью, имеют тьму секретарей, которые и просматривают почту, сортируют письма, мельком ознакомившись с их содержанием: это в такой-то наркомат переадресовать, это — в другой, а данное послание — прямехонько в корзину для ненужных бумаг... Может, лишь одно из нескольких тысяч писем, добравшихся, например, до приемной товарища Сталина, ложится к нему на стол. Или и того меньше... И очень даже правильно все это: перечисленные товарищи — государственные люди, а отсюда и вытекает, что в основном они должны решать государственные, а не личные вопросы граждан... Представляешь, Дмитрий Ефимович, какой проверки потребовало лишь твое послание? Или считаешь, что тебе все обязаны на словах верить?

А вообще-то заключенный Дмитрий Исаев — по кличке Комбат — в камере пользовался внушительным авторитетом, на зарождение которого повлияли в основном два эпизода не из его боевого прошлого, а из теперешней, тюремной, жизни. Первый — когда, только войдя в камеру, он, не вступая в перебранку, молча въехал кулаком точнехонько в морду одного из злорадствующих: в тюрьме сила и характер всегда в почете. Кроме того, тот, кого он ударил, оказывается, шел за головного у бульбашей, к «вышке» был тройкой приговорен, да почему-то выпросил помилование: расстрел на двадцать пять годочков обменял.

А второй случился через неделю или чуть поболее, после того как перед заключенным Дмитрием Исаевым впервые приоткрылась дверь тюремной камеры. В тот вечер смертельно тоскливо было, похоже, не только у него на душе. Во всяком случае, в камере, где к тому времени на

полу валялось уже около восьмидесяти заключенных, неслышно и невесомо плавала гнетущая тишина. И вдруг в нее вплелся слабый, вроде бы еле живой, но нежный, ласковый тенорок. Может быть, он был и самым обыкновенным, даже заурядным. Вполне допустимо такое. Однако он казался именно невероятно нежным и одновременно безнадежно тоскующим; потому он слышался таким, что выплескивал наружу то наболевшее, повседневно терзающее, о чем молча, но диким голосом вопила душа почти каждого заключенного:

Не для меня весна придет..

А дальше, насколько запомнил заключенный Дмитрий Исаев, впервые в жизни услышавший эту песню, перечислялось лишь то, что теперь по-прежнему будет для всех людей, но только не для него, несчастного арестанта. Про его сегодняшнее и ближайшее будущее было сказано категорично:

А для меня — одна тюрьма..

Действительно, разве что-то радостное, светлое осталось в жизни у него, заключенного Дмитрия Исаева? Ничегошеньки не осталось у него. Кроме тюрьмы, пересылок, этапов и через семь годочков, если судьба окажется милостива (а милостива ли?), одинокая старость, медленная смерть в каком-нибудь препаршивом закутке. Представил все это — стало вовсе так тошно, что хоть волком вой. И слезы жалости к самому себе оказались так близко, что еле сдержал их. В тот момент душа у него была переполнена только жалостью к самому себе и ко всему живому, в тот момент, казалось, он не был способен раздавить даже самую обыкновенную блоху, которых в камере было в избытке.

Тут и лязгнул замок, и дверь камеры, злорадно скрипнув, приоткрылась ровно настолько, чтобы заключенные смогли увидеть дежурного надзирателя, стоявшего по ту сторону рокового порога. Надзиратель спросил строго, вроде бы — беспощадно:

— Кто пел? Или забыли, что здесь тюрьма, а не клуб? Ишь, соловьи разностатейные!

Скажи камера хоть что-то в свое оправдание, повинись, он, обматерив, может быть, и ушел бы, закрыв дверь. Но камера промолчала. Это надзиратель расценил уже как

вызов. Не только ему, но и всему тюремному порядку. Потому теперь потребовал на полном серьезе:

— А ну, выходи, запевамо чертов!

Ответом была гробовая тишина.

— Кому сказано? Выходи!

Словно неведомая сила толкнула заключенного Дмитрия Исаева в спину, и он встал, пошел к двери камеры, перешагивая через заключенных, лежавших на полу и глядевших сейчас на него с изумлением и уважением. Только вышел в тюремный коридор, сразу почувствовал, что воздух здесь по сравнению с тем, какой распирает стены камеры, прохладен и чист.

Теперь они — надзиратель и заключенный Дмитрий Исаев — были вдвоем. Бывший майор поймал себя на том, что покорно ждет какого-то наказания. Уголовники в камере часто и пространно болтали о карцере, где и холод до костей пронизывает, и крысы такие нахальные, что у задремавшего арестанта способны кончик носа отхватить, и зловонная вода чуть ли не по колени. Что из перечисленного ждет сейчас его, заключенного Дмитрия Исаева? Но надзиратель — вчерашний партизан — сбросил со своего лица маску образцового служаки-формалиста и сказал с некоторой обидой:

— Думаешь, я сам не знаю того, кто пел?

Заключенный Дмитрий Исаев молча пожал плечами.

Тогда надзиратель достал из кармана галифе кисет, скорее похожий на мешочек для какой крупы или подсменной детской обуви, и предложил, протягивая его:

— Закуривай, Комбат, если желаешь.

Какой заключенный откажется от дарового табака? И Дмитрий Исаев взял его на внушительную закрутку.

— А ты сыпани его еще и в карман себе, — не предлагает, уже настаивает надзиратель.

Прошло еще несколько минут, и заключенный Дмитрий Исаев узнал, что надзиратель — Петр Манкевич.

— Так случилось, что почти всю войну партизанил, а как только освободили от фашистской погани свою землю, я, как и другие, явился в военкомат. Чтобы направили в армию. А они меня сюда сунули, — пожаловался тот.

— Кому-то и здесь службу нести надо, — ободрил его заключенный Дмитрий Исаев.

Потом до самого отбоя они ходили по коридору или стояли у окна, в которое была видна большая часть тюремного двора, и говорили, говорили. О своей довоенной

жизни, о том, что после победы обязательно будет амнистия и, как слышал он, Петр Манкевич, под нее в первую очередь попадут бывшие фронтовики, оступившиеся случайно.

А настало время расставаться — Петр Манкевич и сказал:

— Теперь, заступив на дежурство по вашему коридору, буду обязательно вызывать тебя. Если и не удастся душевно, как сегодня, поговорить, то хоть воздухом подышишь. Может, и из передачи какой что для тебя урвем.

— Удобно ли?

— Чего удобно-то?

— Да урывать из чужой передачи. Ихние родные, можно сказать, по крохам соберут ее...

— Это они-то по крохам? — возмутился Петр Манкевич. — Ты, Комбат, видать, все еще здесь не освоился, не до конца раскусил людишек, сидящих в камерах... Да будет тебе известно, что при германе они были главной опорой тогдашней власти и от войны ихние хозяйства разора не имели. Наоборот, разжирели они на трофеях!.. К примеру, ведомо ли тебе, что по доносу того самого «соловья», защищая которого ты собой рисковал, фашисты две хаты вместе с живыми людьми спалили? Ему корову и кое-что из тряпья пожаловали, а людей спалили?.. Ладно, шагай, Комбат, в свою камеру, шагай...

И заключенный Дмитрий Исаев вернулся в камеру. Всем телом ощущая больше любопытствующие, чем сочувствующие взгляды, прошел на свое место и лег. Расспрашивать о том, что было там, за порогом камеры, его не посмели. А сам он и слова не обронил.

Невероятно длинными, тягучими от удручающего однообразия были дни, проведенные в камере, где народу все добавлялось и добавлялось, прибывало. За месяц или чуть побольше все здесь так осточертело, что Дмитрий Исаев с откровенной радостью почти побежал к коридорному надзирателю, вдруг окликнувшему его. Тот из рук в руки передал своему товарищу заключенного Дмитрия Исаева, который сразу же уверенно зашагал к выходу в тюремный двор.

Оказались в тюремном дворе — голова пошла кругом от чистого воздуха, обрушившегося на него лавиной и со всех сторон сразу. Надзиратель, будто не заметивший того, что с ним творилось в эти минуты, не торопился, он лениво сворачивал сигарку.

А потом они пересекли тюремный двор, прошагали мимо кухни, где в котлах опять варилась лишь одна подмороженная картошка, и вошли в помещение бани, которая одновременно являлась и приемником всех, кого злая судьба арестанта забрасывала в эти края. Через нее прошел и он, Дмитрий Исаев, именно здесь заключенный-парикмахер равнодушно снял его волосы. Повсюду бесстыдно снял.

Здесь старший банщик и сказал равнодушно:

— Начальник тюрьмы приказал тебе быть истопником дезокамеры. Так что валяй...

С этого дня жизнь заключенного Дмитрия Исаева пошла вовсе по другой колее: истопнику дезокамеры работать надлежало почти круглые сутки, потому в банные дни случалось и так, что даже спать он не возвращался в камеру; просто, урвав десяток минут, валился на лавку в маленьком закутке за клокочущим титаном, и моментально его с головой будто захлестывала тьма, напрочь лишенная запахов и звуков. А ночами он сидел перед печью дезокамеры, пожирившей метровые поленья, сидел перед печью, глядел на беснующееся пламя и думал, думал. Чаще всего о том, что еще три года назад у него была семья. Жена, дочка и сынишка. Нормальная человеческая семья, в которой были свои радости, печали и даже раздоры. Теперь у него нет семьи. И жена, и дочка, и сынишка пали от рук фашистов. Вроде бы ни одного дня они не бывали на фронте, а убиты врагом... Может, ему больше по сугубо военной линии повезло? Нет, и этого не скажешь. Ведь жизнь уже с горки покатилась, а чего он, Дмитрий Исаев, достиг на военном поприще? За все долгие годы военной службы дополз только до командира батальона. И то — словно в насмешку! — лишь для того, чтобы вдруг рухнуть на самое дно препоганой болотины!.. Допустим, не все семь лет, а меньше придется ему отсидеть за решеткой, колючей проволокой и прочнейшими замками. Допустим такое, поскольку многие подобный вариант провозглашают. Но сколько времени все же придется пробыть за решеткой? Если даже и половину срока, подаренного трибуналом, все равно для него это много. Ведь он, Дмитрий Исаев, уже далеко не мальчишка, ему ой как трудно будет начинать всю жизнь заново. Хотя почему «всю жизнь»? Не всю, а лишь малый остаточек ее...

Тогда, в эти бессонные часы, проведенные у гудящей печи, он и убедил себя, что будет просто преступлением,

если он напишет Катерине Михайловне о своем сегодняшнем положении. Почти полностью потерял надежду на благоприятный для себя ответ кого-то из тех, к кому письменно обратился за помощью, но все же ждал чего-то; длинными ночами топил печь, в банные дни работал в дезокамере и... ждал.

Работать в дезокамере — значило и принимать от заключенных их одежду, пропахшую потом, навешивать ее на железные крюки и все это подавать товарищу, который, изнемогая от жары, стоял в печи и цеплял эти крюки на железные стержни, вделанные в переднюю и заднюю стенки дезокамеры по всей ее длине. Случалось, конечно, и наоборот, но ему чаще выпадало лезть в дезокамеры уже за прокаленной одеждой. Лезть навстречу нестерпимому жару, от которого приходилось под шапкой прятать уши, и множеству запахов, грозивших вот-вот удушить, лезть туда, хватать раскалившиеся крюки с одеждой и так подавать их напарнику, чтобы ненароком не обжечь его.

Тяжелой и неприятной была эта работа. Но она была! Она даровала часы, когда он забывал о своем положении, когда вновь чувствовал себя нужным людям!

Случалось, когда работал в жаркой и душной дезокамере, сердце чувствительно прихватывало. Но он к тюремному врачу не обращался, хотя и был уже знаком с ним: боялся, что тот немедленно отстранит от работы, объявив ее вредной для его здоровья.

Канули в лету январь, февраль и первые числа марта 1945 года. Заключенный Дмитрий Исаев вроде бы смирился с мыслью, что еще многие-многие месяцы он проведет в этих стенах. Однако сполошный весенний ветер вдруг ворвался и сюда, скользнул за решетки, колючую проволоку и дверные запоры, неизменно лязгавшие зло, угрожающе предупреждавшие, что с любым арестантом может быть и того хуже, если... И вдруг 20 марта утром, когда заключенный Дмитрий Ефимович Исаев готовился загрузить в дезокамеру первую партию одежды, в баню на секунду забежал Петр Манкевич и шепнул, сияя глазами:

— Упаковывай саквояж!

Сказал это, особо смачно выговорив не вполне понятное, но понравившееся ему слово «саквояж», и убежал. А заключенный Дмитрий Исаев, боясь окончательно поверить догадке, ушел в свой уголок за титаном, в котором

сейчас клокотал кипятком, и там, враз обессилев, опустился на лавку, тревожно вслушиваясь в болезненные удары разбушевавшегося сердца. Он не замечал ни того, что лавка только-только ошпарена кипятком, ни удивленных, встревоженных взглядов банщиков, сновавших мимо. Сидел молча, предпочитая ничего не видеть и не слышать: не хотел, чтобы быстро рассыпались в прах эти минуты, счастливейшие за последние месяцы.

Дежурный по тюрьме пришел лишь часа через два, когда Дмитрий Исаев уже посчитал, что Петр Манкевич передал ему непроверенный слух. Полновластным хозяином вошел в баню дежурный по тюрьме, строго, подозрительно оглядел всех, кто там оказался, а сказал только ему, Дмитрию Ефимовичу Исаеву:

— По протесту Генерального прокурора СССР Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела ваше дело. Так что на выход. С вещами.

23

Однажды Зелинский вдруг сказал, что любой человек, какое-то осязаемое время бывший арестантом, потом обязательно обнаруживает в своем характере некие изменения. Самые различные, даже непредсказуемые. Например, одни вроде бы вовсе перестают бояться тюрьмы и наказания вообще, зато другие — стоит лишь намекнуть, что подобным проступком можно прогневить начальство, — начинают захлебываться в собственном холодном поту. Почти год назад это было сказано. В тот момент, когда их батальон упорно держал оборону, в его строю насчитывалось всего семнадцать человек. Измотанных беспредельной усталостью до такой степени, что каждый из них невольно думал лишь о самом черном. Таковыми в судьбе Зелинского являлись те тягучие месяцы, которые он отсидел в Крестах.

Дмитрий Исаев, так неожиданно вновь оказавшийся на свободе, сразу же обнаружил в своем характере новое, породившееся в тюремной камере. В тот момент оно явным стало, когда вошел в кабинет начальника гарнизона — генерал-лейтенанта, на чуть впалой груди которого в ряд расположились четыре ордена Красного Знамени, — и протянул ему официальную бумагу, оповещающую всех, что он, майор Исаев Дмитрий Ефимович, получив обмундирование, должен будет немедленно отбыть к месту своей

службы — в такой-то полк такой-то дивизии, ведущей бои в фашистской Германии. Без робости, спокойно протянул свой пока единственный документ, словно общение с генералами было для него явлением обыденным.

Еще более уверенно держал себя, когда стал получать обмундирование. И новое, а не поношенное потребовал, и так долго перебирал его, примеряя, пока не подобрал по своей комплекции. Потом, прикрепив к гимнастерке не полевые, а золотистые погоны — мы тоже не лыком шиты! — зашел к председателю здешнего военного трибунала и не попросил, а потребовал, чтобы ему, поскольку вина с него полностью снята, немедленно возвратили его медаль. Единственную, на которую он имел право. «За оборону Ленинграда».

Председатель военного трибунала, привычным жестом бросив на нос очки, глянул в какую-то из бумаг, во множестве стопками и россыпью заполнявших его стол, нахмурился и сказал несколько растерянно и будто даже стыдясь своих слов:

— Никакой медали нет в описи того, что было изъято у вас при аресте.

— Как так нет, если я собственными глазами видел, как следователь ее в ящик своего письменного стола сгрэб? Открыл, значит, тумбу стола — однотумбовый он у него был — и в самый верхний ящик сгрэб? — не возмутился, а просто удивился майор Исаев.

Какое-то время оба тягостно молчали. Наконец полковник сказал, избегая смотреть в глаза майора Исаева:

— Вам надо было потребовать, чтобы ее включили в опись изъятого у вас при обыске.

— Или мог я думать, что в такой должности — следователь! — вор обосновался?

Сгоряча выпалил это и лишь тогда понял, что этому седому военному юристу и так уже тошно. Однако, как говорится, слово не воробушек, его за хвост не ухватишь...

Казалось, расстанутся они не просто сухо, но даже и с радостью: старому юристу, на своем веку повидававшему всякое, до более в сердце было обидно за этого долговязого майора, смотревшего по-детски открыто, доверчиво, а тот чувствовал, что медали уже не вернуть (как докажешь, что именно старший лейтенант Мышкин украл ее?); кроме того, полковник даже в самой малой степени не виноват в случившемся, так за что же истязать его?

Майор Исаев был уже у двери кабинета, когда полков-

ник окликнул его. Он, разумеется, остановился. И увидел, с каким трудом полковник вылезает из-за стола, каких усилий стоит ему каждый шаг. Невольно подумалось, что он несет свою службу лишь потому, что грохочет война, что с последними ее залпами он обязательно уйдет на покой, который давно заслужил.

Полковник какое-то время постоял, похоже, намереваясь сказать что-то чрезвычайно важное для обоих, но только сердечно пожал руку.

Кража медали в самое сердце ранила майора Исаева. Мало того, что его самого за тюремные решетки упрятали, так следователь еще и медаль спер? Пожалованную за три года боев с самой смертью!

Особенно дорога была ему эта медаль не только потому, что пока являлась единственной его правительственной наградой. Он считал, что она принадлежала не ему одному, что равные с ним права на нее имели и Аннушка с Полиной...

Никто вроде бы не притормаживал оформления документов майора Исаева. Больше того — чувствовалось, что кое-кто был бы даже рад как можно скорее избавиться от него. Однако последняя формальность была соблюдена лишь в первых числах апреля. А до этого дня он жил в гарнизонном офицерском общежитии. Хотя разве это жизнь, если у тебя нет ни копейки, если ты — заядлый курильщик! — даже стакана самосада купить себе не можешь? А попрошайничать было настолько противно, настолько противоречило всему его характеру, что, повздыхав, майор Исаев решил бросить курить. Тяжело это давалось. Бывало, стиснет зубы, чтобы произвольно не попросить у кого окурок на пару затяжек, и побыстрее, почти бегом мимо курившего!

Единственное хорошее, что он сделал за дни пребывания в этом гарнизоне вольным человеком, — три письма отправил Катерине Михайловне. И во всех трех уверял, что сейчас у него все в полнейшем порядке, что очень даже отлично помнит ее и вообще будет помнить вечно; а денежный аттестат, взамен того, который у нее, конечно же, отобрали, он непременно вышлет, как только попадет в свою часть.

Бодрые письма написал майор Исаев, хотя на душе у него было тревожно. И повинны в том были разные мысли, являвшиеся к нему преимущественно ночами, когда человеку спать полагается. Чаще всего о том, почему одни

люди честно топчут свою жизненную тропочку, хотя временами ой как крута и запутанна она бывает, а другие все словчить норовят? Почему даже при всенародной беде, когда всем надо стеной стоять за мирское дело, отдельные личности в кустах отсиживаются, урвав лично для себя кусочек пожирнее? Нет, не обязательно тот, который самый жирный, самый сочный или еще как там. Для них главное — вообще прикарманить что-то, пусть даже без пользы валяется, но у меня во дворе!

Наконец все документы оказались готовы, сухой паек на время нахождения в пути получен, и майор Исаев пошел на вокзал, где ему предстояло сесть в поезд. Впервые за три года войны он поедет вдогон за фронтом, сначала поездом, а потом автомашиной! А раньше поспешал неизменно пехом, пехом...

На вокзале — маленьком и невзрачном, каких полно на любой государственной железной дороге, — в толпе гражданских людей увидел и военных. Как в нашей армейской, так и в форме Войска Польского. Большинство из них были с автоматами, прочие — с карабинами и винтовками. Наличие оружия легко объяснимо: по ночам еще бесчинствуют банды националистов, лишая людей жизни за любую вину и даже без нее. Только у майора Исаева фактически нет оружия: к его пистолету, оттягиваемому поясной ремень, не выдали ни одной обоймы с патронами; дескать, это вы согласно приказу от такого-то числа получите в своей части. И опять невольно нарождаются вопросы, оскорбляющие человеческое достоинство уже одним своим появлением: вину сняли, из-под стражи освободили, но действуете по пословице, что береженого и бог бережет? Действительно, есть такой приказ, на который ссылаются, или это самое обыкновенное вранье одного из мелких начальников, оберегающих свой устоявшийся покой?

Невольно майор Исаев обратил внимание и на то, что у наших военных (почти у всех!) на груди поблескивали орден или медаль. Кое у кого то и другое можно было увидеть. И еще нашивки: желтая — за тяжелое и красная — за легкое ранение.

На гимнастерке майора Исаева нет ничего, она непорочно чиста: за сердечные приступы нашивок не полагается.

И сразу вновь народилась волна брезгливой пенависти к Мышкину...

Пока ожидал отправления своего поезда, с запада пришел встречный. Из его вагонов степенно или торопливо вышли обыкновенные люди. В гражданском или военном. Но два человека, которые еле тащили свои чемоданы, руганью подбадривая друг друга, сразу привлекли к себе внимание майора Исаева, еще больше растревожили его душу. И в нещадно скрипящем вагоне, стены и крыша которого были прошиты многими пулеметными и автоматными очередями, сидя у окна и вроде бы равнодушно скользя глазами по всему, что проплывало мимо, он думал об одном: неужели в тюрьме один из дезертиров правду говорил, что для кого война сплошные страдания и лишения, а кому — богатства неисчислимые и в придачу все радости жизни? Сразу же невольно вспомнилось и то, что в Ленинграде, когда в жесточайшей блокаде люди от голода умирали тысячами в день, кое-кто на ворованные хлебные пайки выменивал серебро, золото и бриллианты разные. Всплыл в памяти и тот спекулянт, который в камере плакался, что лично у него от его торговых операций разве прибыль? Гроши несчастные и пятнадцать лет тюрьмы с конфискацией всего имущества — вот и все, что он нажил трудом своим, подобным каторжному! Между прочим, Комбат, почему, если были нажиты лишь считанные копейки, конфискуется все имущество? Вот если бы конфискация касалась и лет отсидки, определенных судом, — это всегда с нашим превеликим удовольствием!.. Нет, не коммерция у него была, не коммерция. Одна видимость ее. А вот один человек — фамилию его называть не будем, договорились? — был до мозга костей коммерсант! Он, когда его после ранения отпустили на недельную побывку домой, прихватил из Германии не счесть сколько коробочек с иглами для швейных машин. Велик ли груз? Так наши бабы словно с ума враз посходили, они мигом его товар расхватили. Не то чтобы жаловаться кому-то на коммерсанта за спекуляцию, они ему еще и в пояс кланялись, они истово молились за здоровье его, своего благодетеля!

Хотя тот человек за иглу всего-то по рублевке и брал, все равно за считанные дни миллион нажил! Может, и побеле...

Это и другое подобное вспомнил майор Исаев, сидя у окна подрагивающего, скрипящего и стонущего вагона. И сразу, словно испугавшись, стал торопливо уверять себя, что таких подлых людишек — считанные единицы. Действительно, разве в его роте могло свить себе гнездо подоб-

ное? Да что там рота, во всей их бригаде ни одного под-
леца не было!

Хотя Акулишин, пожалуй, на всякую гадость мог ока-
заться способен...

И моментально, вызванные воспоминаниями, бесшумно
заскользили перед глазами Павел Петрович, Юван, Пер-
минов, Юрий Данилович, Карпуша, Зелинский... Даже
Пират, умильно виляющий хвостом, мелькнул где-то на
втором плане!

А за окном вагона проплывает земля точь-в-точь такая,
какая сейчас уже за спиной у него, вновь майора Дмит-
рия Исаева. Эта земля уже польская. Местами тоже коря-
вая от множества воронок от бомб и снарядов, на ней,
как и на родной советской, тоже изрезанной извилинами
окопов и противотанковых рвов, кое-где ржавеют искоре-
женные орудия и танки. Больше — фашистские, с черными
крестами на броне.

И люди на станциях в этом вагоне внешне похожи на
оставшихся по ту сторону нашей государственной грани-
цы! И вообще все и всё здесь очень похоже на родное, при-
вычное, и в то же время...

Железнодорожные станции, городки и поселки, мимо
которых проползал поезд, здесь война вроде бы почти по-
щадила. Да и люди тут не так отошались и обносились, как
в Белоруссии. Ишь, вон тот явный куркуль-хуторянин, что
сидит напротив, вообще не смотрит на окружающих людей,
для него их словно нет вовсе; он знай себе достает и до-
стает из пузатой торбы вареные картофелины, расклады-
вает это богатство на маленьком столике, будто приле-
пившемся под окном вагона. И вот уже весь столик завален
картошкой! А этому куркулью все мало: он опять ле-
зет рукой на самое дно заметно отошавшей торбы, извле-
кает оттуда шесть куриных яиц. Куда же их положить?
И он громоздит картофелины одна на другую. Наконец
с довольным видом оглядывает столик и говорит майору
Исаеву, улыбаясь одновременно ласково, доброжелатель-
но и почему-то с нотками виноватости в голосе:

— Проще пана майора...

Майор Исаев растерян: а что к тому, что уже есть на
столике, может добавить он? Селедку, покрасневшую будто
от стыда за свою давнюю и чрезмерную соленость? Бухан-
ку ржаного хлеба, который уже завтра каменно затвер-
деет? Или початую пачку горохового концентрата?

Тем временем уже другой поляк к богатству, дразнив-

шему со столика, добавил кусочек сала, третий — вареную курицу, а еще кто-то — и бутылку мутноватого самогона. Кроме майора Исаева, семь человек ехало в этом купе. И каждый из них что-то свое вложил в общий котел, разными голосами, с добрыми улыбками и без них все семь дружно сказали:

— Просим пана майора.

Первым побуждением было — гордо отказать от предложенной еды: он — советский офицер, а не побирушка какая! Но не успел бросить резких слов: вдруг понял, что не его лично, майора Исаева, а офицера Советской Армии, турнувшей отсюда гитлеровцев, приглашают к столу эти люди. И он, уже не стыдясь, как и предлагалось ему, подсел вплотную к столику, предварительно выложив на него все, что было дано ему на дорогу.

Медленно шел поезд, вернее — подолгу стоял на станциях, пропуская воинские и госпитальные эшелоны. Почти трое суток пересекал Польшу с востока на запад. Этого времени майору Исаеву вполне хватило для того, чтобы всем нутром своим понять: только на первый взгляд кажется, будто проклятая война лишь самым краешком своего крыла коснулась здешних мест; глубочайший след оставила она в душах людей, она, можно сказать, все их понятия о жизни вообще сначала напрочь сокрушила, а затем — сразу же, не давая и минуты на размышления, — заставила строить новое и потому многих пугающее. Вот по ночам здесь и стали рвать тревожную тишину винтовочные выстрелы и автоматные очереди, а чуть погодя люди в цивильном добровольно взяли в руки оружие. Они хотели наверняка уберечь от злых вражеских помыслов то, что нарождалось в таких муках.

В голубом небе, которое лишь на самой южной своей окраине, словно резерв, держало одинокое белое облачко, похожее на клочок ваты, заливались жаворонки. Заливались так звонко и задорно, как и в России. Даже колена в их песнях звучали знакомые с детства!

Звонкоголосые жаворонки в прозрачном небе. Нежная зелень молодой травы, только пробивающейся сквозь прелые листья. Разрушенные печи и обгоревшие, в черной копоти стены бывших домов. Первый плач новорожденного и... могилы, могилы. Сегодня все это было слитно, неотделимо одно от другого.

Свой полк майор Исаев нашел 11 апреля, когда до заката солнца оставалось всего лишь около часа. Хотел сразу же пойти в родной батальон, но в самый последний момент решил, что будет разумнее вновь начать службу с визита к командиру полка. Вот и нырнул в подвал двухэтажного дома, в шеренге подобных же стоявшего на западной окраине небольшого городка. Напряженно думал о неизбежной встрече с полковником Муратовым (никак не мог определить своего отношения к нему), однако успел заметить, что фундамент дома сделан с учетом того, что ему, возможно, предстоит выдержать и попадания артиллерийских снарядов; продухи в нем можно использовать под амбразуры для пулеметов и даже пушек малых калибров!

Полковник Муратов, чуть сгорбившись, сидел за столом и, судя по напряженности всего тела, обдумывал что-то чрезвычайно важное. Здесь же, в подвале, были еще два офицера — они стояли буквально за спиной командира полка, даже как бы нависали над ним, когда он склонился к столу, — и несколько солдат-связистов, молча дежуривших у телефонных аппаратов и радиостанций.

Майор Исаев, неожиданно почувствовавший хорошее душевное волнение, тихонько кашлянул в кулак, надеясь этим привлечь к себе внимание.

Никто из офицеров даже глазом не повел в его сторону. Только один из солдат-связистов предостерегающе поднес палец к своим губам: дескать, замри!

И тогда у майора Исаева непроизвольно вырвалось:

— Тезик Хасанович...

Офицеры — подполковник и капитан — немедленно оглянулись на голос, недоумевающе уставились на долговязого майора, осмелившегося на командном пункте и в сугубо служебное время назвать командира полка по имени-отчеству. А полковник Муратов по-прежнему сидел за столом, только спина враз будто окаменела.

Наконец нарочито замедленно и всем телом он повернулся к человеку, окликнувшему его так непривычно для слуха кадрового военного. Потом вскочил, рванулся и молча не обнял, а облапил майора Исаева. Несколько минут простоял так, пробормотав лишь единожды:

— Длинная майора...

Но вот он оттолкнул от себя майора Исаева и, чтобы

скрыть радость, порожденную столь неожиданной встречей, насупился:

— Теперь докладывай.

— Приказано принять свой батальон — всего и деловато, — наигранно беспечно ответил майор Исаев, чуть излишне театрально извлек из нагрудного кармана гимнастерки свой пока единственный документ и протянул его командиру полка.

Тот бумагу взял, даже покосился на текст, но читать его не стал, заранее твердо зная, что майор Исаев не способен даже на малую ложь, что каждое его слово, оброненное сейчас, — сущая правда, и сказал то, чего майор Исаев никак не ожидал услышать от него:

— Насчет батальона — и без него пока перебьешься... При мне будешь. Одним из моих замов.

За все многие годы службы в армии ни разу не случилось такого, чтобы Дмитрий Исаев — рядовой ли, командир ли — стал перечить, возражать начальству, а сегодня он вдруг ляпнул:

— Как же так? В той бумаге прямо сказано...

Полковник Муратов высек гневные искры из своих почти черных глаз, однако своим офицерам, молча стоявшим у стола, на котором лежал, как разглядел майор Исаев, подробнейший план Берлина, сказал подчеркнуто спокойно:

— Вы, товарищи, свободны на тридцать минут.

Те, почтительно козырнув, поспешили исчезнуть.

Только теперь, когда, если не считать солдат-связистов, в подвале никого лишнего не оказалось, полковник Муратов и спросил сурово, сведя к переносице густые брови, тронутые сединой:

— Считаешь, если я обнял, то можно уже и спорить со мной?

— Виноват...

— Сам знаю... Небось подумал, что не доверяю? Потому и намереваюсь какое-то время исключительно для личной страховки держать под своим наблюдением?

Нет, до такого майор Исаев пока еще не додумался. Просто все время, пока сидел в тюрьме, он жил воспоминаниями именно о своем батальоне. Потом, уже приобретя свободу, только и думал о том, как душевно будет теперь командовать теми же людьми. Что ни говорите, а все случившееся, все, что узнал и пережил, — ума и жизненного опыта добавило.

— А о том человеке, который сейчас батальоном командует, ты почему думать не хочешь? Он-то в чем перед тобой провинился?.. Есть и другие во много раз более важные обстоятельства, которые мы с тобой сегодня учитывать тоже просто обязаны...

И тут полковник Муратов, окончательно усмирив раздражение, сел на один из стульев, стоявших у стола с телефонными аппаратами, майору Исаеву глазами показал на соседний стул и для начала разговора сказал, что гитлеровское командование придает огромное значение обороне Берлина: ведь именно он во всей Германии занимает первое место по производству военной продукции. Потому его и опоясывают три оборонительных обвода: внешний, внутренний и городской. Кроме того...

Полковник Муратов достал из кармана галифе самый обыкновенный пятак, потом, обшарив все свои карманы и не найдя, попросил у солдат-связистов копейку. Ее аккуратно и положил на пятак таким образом, что она точно закрыла его центр.

— ...Кроме того, Берлин по окружности своей, — палец полковника скользит по пятаку там, где он не закрыт копейкой, — разбит на восемь секторов обороны. И есть еще девятый. В самом центре Берлина. Допустим, там, где сейчас копейка лежит... Велика ли эта монетка? Не купательную способность, а размеры ее в виду имею... Так вот, под ней на сегодняшний день в Берлине помимо всякого прочего укрылось еще и более четырехсот железобетонных долговременных сооружений. Говоришь, мы уже видали такое?.. Шутить изволите, Дмитрий Ефимович, а точнее сказать — заведомо ложные слухи распространяете... Не видывали мы с вами еще подобных чудовищ! Ни одного из них пока не взяли ни штурмом, ни осадой!.. Самые крупные из этих сооружений — шестиэтажные бункера, углубленные в землю. Чуешь? Пять этажей под землей! И в каждом таком «шалашике» гарнизон — около тысячи отъявленных головорезов, которым, как говорится, терять уже нечего!

А вообще, если хочешь знать, дорогой товарищ Исаев, в Берлине сейчас около двухсот тысяч солдат. И самого различного оружия у них предостаточно. В том числе имеется и более трех тысяч самолетов, и, как предупреждает разведка, чуть ли не три миллиона фаустпатронов.

Есть у гитлеровцев и сто двадцать реактивных самолетов. Как увидишь, что над самыми высокими облаками

с невиданной скоростью шпарит самолет без пропеллера, — так и знай: это и есть то самое...

Вообще же против нас фашисты держат двести четырнадцать дивизий, из которых тридцать четыре танковых и пятнадцать моторизованных. Еще четырнадцать бригад возьмем на карандаш или и без них цифры впечатляющи?

Прошу учесть: против наших уважаемых союзников воюет только шестьдесят дивизий вермахта и танковых из них лишь пять!..

Не будем забывать, Дмитрий Ефимович, что и нашим союзникам не хочется, чтобы мы первыми ворвались в Берлин, чтобы нам, как основным победителям германского фашизма, жители его вручили ключ от города.

Из маленького сейфа, больше похожего на самый обыкновенный железный ящик с крышкой, притаившегося за спиной одного из солдат-связистов, командир полка достал какой-то пакет, нашел нужные строки и прочел вслух:

— «...Ясно, что Берлин является главной целью. По моему, тот факт, что мы должны сосредоточить всю нашу энергию и силу с целью быстрого броска на Берлин, не вызывает сомнений...»

Это еще 15 сентября прошлого года верховный главнокомандующий силами союзников в Западной Европе генерал Эйзенхауэр написал фельдмаршалу Монтомгери... Ходят упорные слухи, будто недавно и Черчилль нечто подобное предложил Рузвельту... Вот и прикинь, дружище, допустимо ли в такое напряженное, ответственное время, можно сказать — в завершающий момент всей войны, заниматься перестановкой офицеров? Только ради того, чтобы успокоить, утихомирить чье-то уязвленное самолюбие?

Полковник Муратов, чтобы наверняка склонить майора Исаева на свою сторону, мог еще сказать и о том, что Верховное Главнокомандование Советской Армии очень тщательно, стараясь учесть все, готовится к штурму Берлина. Поэтому помимо того, что стало известно об этом городе путем изучения трофейных документов и опроса пленных, шесть раз посылало нашу разведывательную авиацию для фотосъемок самой столицы Германии, всех подступов к ней и ее оборонительных полос.

Смолчал и о том, что по результатам всей этой огромной и кропотливой работы составлены подробнейшие планы, карты и схемы предельной точности, которые уже вручены войскам. Всем. До роты включительно!

Словом не обмолвился полковник и о том, что, опи-

раясь на те же исходные данные, наши инженерные силы изготовили точнейший макет Берлина с его пригородами. Вот на этом макете и по картам с 5 по 7 апреля состоялись командные игры, в которых приняли участие командармы, начальники штабов армий, члены Военных советов армий, начальник политуправления фронта, командующие артиллерией армий и фронта, командиры всех отдельных корпусов и начальники родов войск фронта.

А с 8 по 14 апреля (значит, и сегодня!) более детальные игры и занятия было приказано проводить в масштабах армий, корпусов, дивизий и частей всех родов войск. Именно над учебным заданием командира дивизии и работал полковник Муратов со своим начальником штаба и его помощником, когда на командном пункте появился майор Исаев.

Об очень многом важном и словом не обмолвился полковник Муратов, однако и того, что он сказал, оказалось вполне достаточно, и майор Исаев пробормотал скорее для приличия, чем по необходимости или велению души:

— Дело не в самолюбии... У меня там товарищи, с которыми я столько всякого перетерпел...

Полковник Муратов как-то неопределенно, отрывисто крикнул и до тех пор старательно хлопал себя ладонью по всем карманам, пока в правом брючном не нашупал пачку папирос; любой солдат в полку знал, что только там ее постоянное место, а вот он искал!

— Закуривай, — предложил полковник Муратов, протягивая пачку папирос майору Исаеву.

— Бросил.

— Что так?

Майор Исаев утаил правду, постыдился признаться, что безденежье толкнуло его на этот шаг, он сказал:

— Сердчишко поберечь надо...

Молчали долго. Пока полковник до мундштука не докурил свою папиросу, пока пальцами не расплющил окурок в пепельнице — донышке артиллерийского снаряда.

Или потому молчание показалось невероятно долгим, что предчувствие чего-то траурного вкралось в душу майора Исаева?

Действительно, помолчав, полковник Муратов сказал, будто пересиливая себя:

— Понимаешь, до самого Одера мы нормально наступали, до города Фюрстенберга, значит...

... Не рассказывает, а информирует полковник Муратов.

Однако майор Исаев все видит в красках, видит так, словно это происходит лишь сейчас и в его присутствии.

...От Вислы до Одера ходом и без больших потерь шли, а тут, упершись в реку, залегли на правом берегу Одера. Залегли, прижатые к земле плотным огнем с западного берега. Успокаивали себя тем, что поджидают отставшие танки и тяжелую артиллерию, хотя прекрасно знали подлинную причину своей остановки.

Вместе со всеми на стылой земле лежал и командир полка. Все изучали и реку, и немецкий город Фюрстенберг.

Река скована льдом. Но он весь в воронках от бомб и снарядов; настолько продырявлен ими, что местами даже скрывается под водой, которая отсюда, с берега, кажется дегтяно-черной и густой, вязкой.

Фюрстенберг — на том берегу реки и чуть левее. Не город, а городишко; и улица у него вроде бы одна — вдоль реки бежит, и дома, как на подбор, одноэтажные, с крутыми крышами из красной черепицы.

На городок только глянули мельком, а потом все время всматривались в дамбу, что тянулась напротив их позиций вдоль левого берега Одера. Без единого столбика или кустика на своем отвесном склоне, она стеной возвышалась на том берегу, господствовала над рекой и поймой правого берега, где залегли советские солдаты. Самое же неприятное, от чего никуда не денешься, — в теле дамбы укрыты вражеские пулеметы и даже пушки. Их так много, что дамба искрится, если они стреляют разом.

Только все ли вражеские пушки и пулеметы уже обнаружили себя? Скорее всего — часть затаилась, ждут, когда мы начнем форсировать Одер. Ждут, чтобы в самый критический момент ударить наверняка.

Целый день лейтенант Зелинский с товарищами изучали проклятую дамбу, искали и не нашли в ней изъянов. Единственное, до чего додумались сообща, о чем немедленно доложили полковому начальству, — форсировать Одер здесь нужно не цепями, как неоднократно и на других реках делалось раньше, а небольшими группами; и наступать не всем сразу, а с малыми интервалами. Чтобы вынудить фашистов рассредоточить свою огневую мощь...

— Какого черта ты, Дмитрий Ефимович, все время массируешь левую половину груди? Сердечко о себе напоминает?

— Ты продолжай, это я по привычке...

— Так вот, вечером доложили начальству эти свои соображения, а ночью пришел приказ: на рассвете атаковать вражеские позиции; цель атаки — форсировать Одер, чтобы на том его берегу захватить хотя бы малюсенький плацдарм, с которого несколько позднее, накопив силы, и рвануть теперь уже на Берлин.

К утру все приготовления к наступлению были закончены, и почти одновременно с сигнальной ракетой, оповестившей о начале атаки, лейтенант Зелинский как исполняющий обязанности командира батальона и шесть его солдат выскочили из окопа, первыми побежали вперед.

Оказался лейтенант Зелинский с товарищами на льду реки — враз ударили фашистские пулеметы и пушки. Пули впивались в лед у ног наступавших солдат, посвистывали у самой головы; снаряды безжалостно крошили и без того зыбкий лед, раздирали осколками воздух. И всем выдось лишь одно спасение от верной смерти — скорее на тот берег, скорее к дамбе: у ее основания должно быть мертвое пространство, где вражеская пуля тебя уже не зацепит.

В их группе было семеро, когда они выбежали на лед Одера. Достигли же левого берега только трое: Михаил Станиславович Зелинский, Карп Карпович Карпов и Василий Прокопьевич Дьячин. Помнишь такого? Спорщик был заядлый... Добежали они до основания дамбы, глянули на нее вблизи и... хоть в голос реви: метров пять или шесть ее высота, да еще склон, похоже, специально водой полит — заледенел. Как осилить такую преграду?

А прямо над головой злобствует один из вражеских пулеметов. Он ведет огонь по тем, кто еще на льду Одера. Однако фашисты заметили и то, что три советских смельчака все же проскользнули к дамбе. И сразу бросили сверху несколько гранат; к счастью, обошлось.

Положение — хоть обратно на левый берег беги. И тут сержант Карпов, пока два его товарища вели огонь, привлекая к себе внимание врага, стал ножом выдалбливать ямки в обледеневшем скате дамбы и, сначала цепляясь за их кромку пальцами, а потом вставляя в них носки сапог, упорно полез к ее гребню. Добрался — без промедления скользнул на ту сторону, а немного погодя и ухнула его граната, ухнула точнехонько во вражеском пулеметном гнезде.

Замолчал этот пулемет — образовалась брешь в системе огня фашистов, и чуть полегче стало нашим солдатам,

которые еще только бежали, шли или ползли к левому берегу Одера. И три товарища, выполняя приказ командования, сначала устремились к покинутому жителями городку, а потом с оглядкой пошли по его единственной улице. До тех пор вперед продвигались, пока не напорлись на фашистов. Столкнулись с ними нос к носу — заскочили в ближайший дом, заняли там круговую оборону...

Почти двое суток, окруженные фашистами, бились они в немецком доме, тем самым способствуя удержанию плацдарма... Гитлеровцы неоднократно предлагали им сдаться, суля всяческие блага. Но они упрямо вели бой... В том бою сержант Карпов был ранен в левую руку и бок. Однако, положив ствол автомата на кирпичи, продолжал вести по фашистам огонь до тех пор, пока еще одна пуля не впиалась в него. Вот тогда, почувствовав, что в глазах темнеет, он и снял сапог, оторвал стельку и под нее спрятал свой комсомольский билет. Еще у него хватило сил лишь на то, чтобы надеть сапог и вновь потянуться к автомату... Все это мы узнали от Михаила Станиславовича Зелинского. Когда прорвались к ним, он единственный был жив... Карпову и Дьячкову посмертно Героя дали.

— А Михаилу Станиславовичу? Зелинскому?

— Он выжил... Вот и посчитали, что ему и Красной Звезды хватит, — зло отрезал полковник Муратов.

Значит, и после такого испытания Михаилу Станиславовичу полностью не поверили...

В небе во все стороны снуют самолеты. В подавляющем большинстве — наши. Вот сейчас плотной стайей прошли явно штурмовики: казалось, подвал дома вот-вот развалится от переполнявшего его мощного рева их моторов.

Старается методично долбить и артиллерия. Пока — только самых больших калибров. И все снаряды рвутся на склонах Зееловских высот. Их, эти треклятые высоты, майор Исаев в бинокль около часа разглядывал еще до того, как надумал явиться на командный пункт родного полка: хотел поскорее собственными глазами увидеть преграду, которую предстояло преодолевать в ближайшие дни. Этим высотам до гор Кавказа, конечно, еще тянуться и тянуться, но вообще-то склоны их круты, кое-где поросли лесом. И крутизна склонов неодолима, пожалуй, не только для автомашин, похоже, и танки, дойдя до нее, встанут... Да и пехоте будет трудно... И повсюду — окопы, пулеметные гнезда, колючая проволока, доты и

дзоты. В изобилии этого добра на склонах Зееловских высот.

И Карпова с Дьячиным, значит, уже нет в живых...

Похоже, что в батальоне теперь вообще нет никого, с кем он, Дмитрий Исаев, противостоял фашистам еще под Ленинградом... И он спросил, стараясь незаметно подавить тяжелый вздох:

— Помощником вашим по каким вопросам прикажете быть?

— По всем сразу, — без колебаний ответил полковник Муратов.

— Значит, в «подснежники» меня определяете, — сделал безошибочный вывод майор Исаев. — Что ж, мы, известно, люди махонькие, подневольные, нам лишь бы приказ соответствующий был.

У входа в подвал уже стоят подполковник и капитан. Первый и спрашивает, показывая глазами на циферблат своих часов:

— Разрешите войти, товарищ полковник?

«Неужели уже минули полчаса?» — с растерянностью думает майор Исаев, которому кажется, будто он лишь несколько минут назад вошел в этот подвал, который уверен, что полковник Муратов не рассказал ему еще и половины того, что следовало.

И он торопится задать вопросы, не дающие ему покоя:

— Нельзя ли, товарищ полковник, уже сегодня оформить денежный аттестат на семью?.. А Пират-то наш как? Живой?

— Начфина сюда, — в темную глубину подвала бросает полковник Муратов и почти без паузы, почти на едином дыхании и тоном, не допускающим возражений: — И кобеля сюда же. Немедленно!

Пират не вбежал, он скользнул в подвал; не бросился, как бывало раньше, на грудь майора Исаева, не сделал и попытки лизнуть его лицо, а вклинил свою лобастую голову между бедром и лежавшей на нем рукой хозяина. Вклинил голову и замер. Лишь раза два дрожь волной пробежала по его телу.

— Да он никак плачет, — недоуменно, даже несколько растерянно сказал полковник Муратов, уже стоявший у стола; на котором был распластан план Берлина, и показал глазами на Пирата.

Майор Исаев не ответил. Он вдруг стал валиться на каменный пол подвала.

Майора Исаева похоронили этой же ночью. На взгорке, который был рядом с шоссе у самой восточной окраины городка. Чтобы исключить какие-то помехи, сразу же после полуночи похоронили. Когда орудия, непрестанно горлавившие весь день, еще дышали жаром, когда тело любого солдата-фронтовика мечтало лишь об отдыхе. Пусть и об очень кратком, но только о нем.

Провожали майора Исаева в последний путь полковник Муратов, капитан Редькин и четыре солдата — этим было приказано подготовить могилу. Почему так малолюдны были похороны? Те солдаты, которые теперь несли службу в бывшем батальоне майора Исаева, его как командира и человека не знали, значит, ни хорошего, ни плохого слова сказать о нем не могли.

Да и умер он для них как-то странно, непривычно для военного времени. Не от вражеских пуль или осколка. Вишь, сердце у него не выдержало внутреннего напряжения, ну и разорвалось...

А Пирата никто не приглашал принять участие в похоронах. Он по собственной воле пришел сюда. Не мог больше расставаться с хозяином, вот и пришел.

Желание больше никогда не расставаться с любимым хозяином было настолько непоколебимым, что Пират остался у маленького холмика земли и после того, как полковник Муратов, капитан Редькин и четыре солдата заспешили в городок.

Офицеры, разумеется, заметили, что Пират остался у могилы майора Исаева. Но посчитали, что лишь на какое-то время. Дескать, жрать захочет — сам в батальон заявится. Ну, а в крайнем случае, конечно, можно будет кого-то и сгонять за ним. Оба они были уверены, что в ближайшее время не смогут забыть ни майора Исаева, так обыденно скончавшегося буквально накануне победы, ни его несколько угрюмого, нелюдимого пса, оставшегося верным своему хозяину. Однако жизнь не шла, она неслась бешеными скачками, она так круто и безжалостно брала людей в свои шоры, что порой те забывали все, кроме сиюминутного, самого наиглавнейшего.

30 апреля в 21 час 50 минут сержант М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария водрузили Знамя Победы над главным куполом рейхстага!

А 2 мая к 15 часам остатки берлинского гарнизона —

более семидесяти тысяч солдат и офицеров — сдались в плен.

Да, Берлин уже пал. Но война судорожно еще полыхала местами и по дорогам Европы все еще шли и шли войска. Одни — поспешно, другие — неторопливо, будто совершая обыкновенный переход. Без намека на спешку брели 4 мая советские солдаты и мимо еле заметного холмика земли, даже не подозревая, что это могила майора Дмитрия Ефимовича Исаева. Были в той несколько растянувшейся ротной колонне и фронтовики-ветераны, уже побывавшие в госпиталях, и зеленущий, необстрелянный молодняк. И если первые шли степенно, если их больше всего интересовали и волновали вопросы сугубо практического порядка, например, хорошо бы сегодня супчик не из набивших оскомину консервов, а из парной говядины сварганить, то вторые... Эти были взбудоражены до глубины души. Всем, что увидели и услышали. Они откровенно боялись войны, каждому из них было боязно оказаться искалеченным и тем более — убитым. Ведь они понимали, что война должна обязательно кончиться со дня на день, если и не сегодня к вечеру, то уж завтра или послезавтра — непременно. Молодые солдаты уже твердо знали, что, если им повезет даже самую малость, очень скоро именно они станут победителями!

Ну, легко ли вообще думать о возможности собственной гибели? А каково это в такие дни?

Свою боязнь фронта некоторые из молодых солдат пытались скрыть за напускной развязностью, за никому не нужной лихостью. Только потому один из таких юнцов, увидев исхудавшего пса, равнодушно лежавшего около маленького, еле различимого с шоссе холмика земли, и сказал с непонятной завистью:

— Ишь, немецкая сука сторожит могилу своего личного фюрера. Отощала с голоду, уже кишки в животе, поди, ссохлись...

Он не успел закончить свою мысль, его перебил другой такой же, почти мальчишка:

— А мы ее сейчас снимем с поста!

И он лихо сорвал с плеча винтовку, остановившись, прицелился и выстрелил.

Он явно ждал похвалы за меткий выстрел. Но товарищи молчали. Лишь старшина роты, возвращавшийся на фронт после третьего ранения, сказал презрительно:

— У-у-у, салага неразумная!..

1

С недавних пор лейтенант Манечкин Игорь Анемподи-стович стал бояться писем из дому. Ждал их с нетерпением и одновременно боялся. Только потому, что отец, которого, видимо, под корень рубанула гибель старшего сына — Глеба, теперь в письмах обязательно сообщал о каждом знакомом, ушедшем на фронт; с особой тщательностью выписывал имена тех, кто пал в боях с фашистами, кто больше никогда не вернется в их районный городок Бродни.

Каждое такое письмо невольно заставляло думать о том, что смерть в этой войне, как никогда в прошлом, жадна на человеческие жизни, что никто не скажет даже приблизительно, сколько еще погибнет молодых парней и мужчин в самом расцвете сил в борьбе с клятым врагом, пока придет победа.

Особенно больно было читать те строки отцовских писем, где он писал о Глебе, погибшем во время боев в районе Вязьмы.

«Может, Игорек, тебе как кадровому командиру нашей родной Красной Армии удастся узнать, где он похоронен? Ты, сынок, уж постарайся для семьи, не поленись и дойди до какого там нужного генерала», — писал отец. И вообще в каждом слове его пространного письма была боль за погибшего, искренняя тревога за двух пока еще живых сыновей. Настолько огромна душевная боль отца, что заглушала чувство реальности: «...дойди до какого там нужного генерала...» Не может отец понять, не хочет понимать, что не только его сын погиб в той кровавой мясорубке под Вязьмой, что у генералов сейчас поважнее задачи, нежели розыск могилы иного солдата. Не знает и пока не узнает отец, что частенько и мы, похоронив иного товарища, не сможем точно указать, где это свершилось: очень часто еле приметные холмики земли оставляли мы на том месте...

А в письме, которое пришло вчера, диким криком отец возопил, что и самый младшенький — Ростиславушка! — ушел на войну, а в какие войска, на какой фронт — неизвестно. И опять просьба, почти слезная: «...спрашивай,

кого надо, найди братика и возьми его под свою командирскую руку».

Он понимал отца: в прошлом обыкновенный конюх, каких в их городке были десятки, а теперь завхоз единственного конного двора, научившийся писать и читать лишь к сорока годам и уже потому считавший себя счастливецем, хотел своим сыновьям только большой судьбы, гордился, что все они имеют высшее образование, — знай наших! — и вдруг война безжалостно вмешалась в его мечты, начала сокрушать их.

Вот и было после получения этого письма у лейтенанта Манечкина отвратительное настроение. А тут еще и работник наркомата, вручая ему направление в новую часть, допустил величайшую бестактность, сказав на полном серьезе:

— Лично я, окажись на вашем месте, обязательно подумал бы о смене фамилии.

Обида, возмущение и сердечная боль, порожденная гибелью старшего брата, сжали горло, и в ответ он только прохрипел:

— От старшего брата, который погиб, защищая Москву, отречься советуете?

С тех пор как состоялась эта короткая перепалка, минуло уже более трех часов. Но даже теперь, сидя в одноместной каюте парохода, который, подгоняемый течением, резво бежал вниз по Волге, он не мог обрести привычное спокойствие; временами даже сейчас передергивало всего, словно прикасался к чему-то чрезвычайно противному.

Да, он, лейтенант Игорь Анемподистович Манечкин, и без подсказок со стороны знал, что фамилия у него незавидная, искренне считал, что из-за нее никогда не будет иметь должного хода по службе; хоть убей, но не звучит «адмирал Манечкин», — нет, не звучит!

Убедил себя в том, что из-за собственной фамилии никогда не сделает настоящей военной карьеры, но не раскаивался в том, что решил стать командиром Военно-Морского Флота: вовсе не обязательно всем быть адмиралами, кое-кому надо стоять и на менее почетных ступеньках. Надежно, со знанием дела, так уверенно стоять, чтобы у старших и ничтожно малого сомнения не зарождалось, когда разговор заходил бы о соответствии его занимаемому месту. Поэтому, когда перед государственными экзаменами у него официально спросили, где, на каком флоте и какого класса корабле он желал бы служить, ответил

честно, что заранее согласен на любое решение командования.

Его направили на Черное море, под Одессу, командиром взвода в бригаду морской пехоты, которой командовал полковник Осипов. Оказавшись в окопах, искренне пожалел, что сухопутную тактику считал для себя лишним предметом, ну и учил только для того, чтобы получить зачет; упустил необходимое, когда, можно сказать, тебе насильно его в рот впихивали, вот теперь и пришлось с риском для жизни познавать то, от чего еще недавно так упорно открещивался.

Если судить по реакции матросов и командования, успешно осваивал он законы войны на суше.

Там, под Одессой, и командиром роты стал, и покинул город, повинуясь приказу, не в числе самых-самых последних, но близко к тому.

И снова в бой, теперь в Крыму, на подступах к Севастополю.

А в феврале этого года случилось так, что большой зубренный осколок фашистской мины, будто топор, рубанул по груди, чуть не развалил ее.

Почти два месяца отлежал в госпитале. Залечил рану, отоспался за все прошлое и про запас немного отхватил. Затем медицинская комиссия, внимательно обследовав, признала его годным к продолжению строевой службы. С этим заключением в апреле и прибыл в Ульяновск, в наркомат. А вот сегодня, 6 мая, получил предписание: «Отбыть в Волжскую военную флотилию в распоряжение контр-адмирала Чаплыгина Ф. И.».

Что известно ему, лейтенанту Манечкину, о новом своем начальнике контр-адмирале Федоре Ивановиче Чаплыгине? Командует бригадой кораблей, дело знает, требователен справедливо и... любит чудить. Маловато, но в то же время и достаточно для того, чтобы сделать вывод: служить с ним можно. А что любит чудить... Во-первых, что конкретно скрывается за этой формулировкой? Во-вторых, кто из больших начальников — и вообще людей, наделенных хотя бы самой малой властью, — по мнению их подчиненных, не лишен каких-либо особенностей характера или привычек, которые при желании можно посчитать чудачеством?

Нет, чудачествами адмирала нас не запугаешь...

А вот что по-настоящему волнует и даже тревожит: сможет ли он, лейтенант Манечкин, быстро установить ду-

шевный контакт с подчиненными? Не будет его — много лишних и непредвиденных трудностей возникнет. А это во много раз страшнее для общего дела, чем сказанное за глаза: «Лейтенант Ирочкин...»

Однако вопрос о душевном контакте здесь, сидя в каюте парохода, не решить, здесь ничего путного не придумаешь. А вот прибуду на место — сама жизнь обязательно подскажет что-нибудь. Или впервой предстоит с людьми знакомиться?

Лейтенант успокоил себя этой мыслью и с интересом взглянул на Волгу, половодьем захлестнувшую не только заливные луга, но и многие рощицы, гордо стоявшие на красноватого оттенка яре правого берега. Минут пять он не отрываясь смотрел в окно, потом надел фуражку, не вышел — почти выбежал из каюты и по трапу сноровисто взлетел на капитанский мостик парохода, где, козырнув, сказал вахтенному штурману:

— Лейтенант Манечкин. Прошу разрешения отсюда посмотреть на Волгу, чтобы вспомнить то, чего и не знал.

2

Почти все время, пока пароход бежал к Сталинграду, лейтенант Манечкин провел в рубке: стоял или сидел рядом со штурвальным, всматривался в знаки речной обстановки, лихорадочно вспоминая все то небольшое, что знал когда-то. И бакены, и створы, и перевальные столбы. Больше же откровенно любовался Волгой, которая неудержимо и стремительно несла свои воды, ее берегами, то высокими, обрывистыми, то пологими, поросшими светлыми рощицами. А когда пароход побежал Жигулями, прорезанными Волгой, то и вовсе замер очарованный.

Миновали Куйбышев — увидел канонерскую лодку Волжской флотилии: самый обыкновенный буксирный пароход, только и разницы — в носовой части и на корме, где раньше были буксирные арки, спрятавшись за броневыми щитами, стояли орудия; и серой — шаровой — краской был выкрашен этот вчерашний буксир.

Невольно подумалось, что подобным канонерским лодкам невероятно далеко до настоящих боевых кораблей, что у тех боевая мощь во много раз больше; все — и скорость, и маневренность, и живучесть — в несколько раз лучше. И тут же вспомнил, что под Одессой их самодельные танки — трактора, обшитые противоположными броневыми листами, — довольно успешно проявили себя в бою.

А потом в поле зрения попали и катера-тральщики — речные трамвайчики и катера, еще недавно работавшие на лесосплаве. Короче говоря, только бронекатера и пришли к нему по сердцу.

Увиденное не испугало, не разочаровало: и не ожидал большего от флотилии, которая еще только создавалась; вот минет месяца два, тогда и глянем, чего достигли, определим, где и почему не дотянули до намеченного.

С особым интересом всматривался он в приближающийся Сталинград, о котором так много слышал и читал. Сначала пароход бежал мимо заводских корпусов, которым, казалось, не будет конца. Потом появились домишки и домики, прячущиеся за плотными высокими заборами. Понял: это то, что еще уцелело от старого Царицына. Действительно, чем дальше бежал пароход, тем выше становились дома, просторнее и прямее улицы.

— Между прочим, вон Дворец пионеров. Там ваш штаб размещается. Флотильский. Так что примечай к нему дорогу, — сказал капитан парохода.

А что ее примечать, если от пассажирского дебаркадера, к которому подходил пароход, и пройти-то к штабу флотилии надо лишь через сквер-цветник, почти в центре которого стоял какой-то памятник?

Однако едва пароход коснулся бортом дебаркадера, еще и трапа не положили, а какой-то старшина первой статьи уже перепрыгнул на пароход, на одном дыхании взлетел на капитанский мостик и сказал, козырнув:

— Лейтенант Манечкин? Прошу со мной на полуглиссер.

Пересекли Волгу, немного пробежали по течению вдоль невысокого обрывистого левого берега, поросшего молодыми дубками, нырнули в воложку, и лейтенант увидел маленький дебаркадер, прижавшийся к крутому берегу так, что ветви деревьев нависли над его крышей, спрятав от самолетов врага. И еще глаза сразу же задержались на большой поляне, на противоположных концах которой стояли футбольные ворота, сделанные наспех. Невольно подумалось, что здесь живут спокойно, без настоящих тревог; а вот под Одессой и Севастополем было не до футбола...

Встретил его капитан-лейтенант с повязкой дежурного на рукаве кителя. Встретил приветливо, просто, как хорошего знакомого.

— Курочкин, — сказал он, протягивая руку. И сразу же, еще не закончив рукопожатия: — Обед уже был, но на вас заявлен расход. Так что прошу. — И жестом руки показал, куда ему идти.

Полуглиссер, высланный к пароходу, обед, оставленный для него, самого обыкновенного лейтенанта, — не привык к подобному Манечкин, и хотя есть очень хотелось (последние крохи сухого пайка, выданного на дорогу, уничтожил еще вчера), он все же сказал:

— Мне бы представиться начальству.

Умышленно обошел, не сказал какому: уже почувствовал, что здесь свои устоявшиеся порядки; может быть, не адмиралу, а начальнику штаба бригады представляться надлежит?

Курочкин ответил без промедления:

— Адмирал просил вас быть в шестнадцать ноль-ноль. — И, как показалось, еле сдержал непонятную усмешку. — А чемоданчик нашего отечественного производства, — показал глазами на вещевой мешок, — можете оставить пока у меня или любого другого дежурного.

За пять минут до назначенного времени лейтенант доложил адъютанту о своем прибытии, а ровно в шестнадцать ноль-ноль тот сказал, показав глазами на дверь каюты-кабинета:

— Адмирал ждет вас.

Манечкин внутренне напрягся, лишь намеревался шагнуть к двери, но она распахнулась, из каюты-кабинета вышел адмирал. Не успел ему представиться, как того требовали не только устав, но и элементарная вежливость, тот, торопливо пожав его руку, отрывисто бросил:

— За мной, лейтенант!

Таким тоном сказал, что, если бы не спокойствие окружающих, Манечкин обязательно бы решил: внезапно напали фашисты или случилось что-то другое, тоже смертельно опасное.

Адмирал, не проронив больше ни слова, привел его на поляну, где с мячом самозабвенно бегали матросы. Это не смутило адмирала, он бесцеремонно заявил, что они с лейтенантом тоже будут играть, и обязательно только друг против друга.

Сказанное адмиралом, похоже, никого не удивило, два матроса, посмеиваясь, моментально присоединились к немногим зрителям.

Бесцеремонность, с которой контр-адмирал не только

прервал игру, но и распорядился им, лейтенантом Манечкиным, пробудила желание показать себя, назло адмиралу показать! И, скинув китель и фуражку, он, не спросив на то согласия команды, решительно занял привычное место центра полузащиты, то самое, на котором вот уже два последних предвоенных года играл в дубле ленинградского «Динамо». Начал игру осторожно, приглядываясь, определяя, на что способны его товарищи и противники, потом, успокоившись, заиграл раскованно, свободно. Все шло нормально, и вдруг на него с мячом пошел адмирал; он вел мяч вполне прилично, особенно если учесть его годы и адмиральское брюшко.

Когда до Манечкина оставалось всего метра три, адмирал сдавленно прошептал:

— Только попробуй отбери!

Сказанное противоречило правилам игры, не соответствовало духу ее. И Манечкин, сделав рывок, перехватил мяч, даже не взглянув на адмирала, как стоячего, обошел его и послал мяч одному из партнеров. Все сделал точно, но желание играть пропало. И он ушел с поля. Адмирал рассердится? Начхать! Он, Игорь Манечкин, никогда не претендовал на роль любимчика начальства. И никогда и никому не будет угождать!

Вопреки ожиданию, его уход с поля зрителями был встречен если и не явным одобрением, то сочувственно: незнакомые матросы и китель с фуражкой подали, и даже пообещали принести на штабной дебаркадер крем, чтобы он смог начистить ботинки.

Самая же большая неожиданность — контр-адмирал тоже вышел из игры, сказал ему, Манечкину, борясь с одышкой:

— Пойдем отсюда, лейтенант.

На берегу у дебаркадера их ждали два ведра с водой. Сняв китель и майку, адмирал спросил обыкновенным человеческим голосом:

— Польешь мне или обида не позволяет?

Обида еще не прошла, но разве можно отказать человеку в самой обыкновенной услуге?

Нагнулся адмирал, подставляя ладони под струю воды, — Манечкин увидел багровый зигзаг шрама, пересекавший его левую лопатку. По цвету рубца определил, что он недавний, в этой войне приобретенный. И что-то дрогнуло в душе, куда-то отступила, а потом и вовсе спряталась обида, вместо нее стало зарождаться самое обык-

новенное уважение к человеку, который и старше тебя, и значительно больше пережить успел.

Умывшись, адмирал предложил просто, по-человечески:

— Снимай китель, настал мой черед поливать.

Привели себя в порядок — прошли в кабинет командира бригады, который, как и предполагал Манечкин, оказался самой обыкновенной каютой, правда, несколько больших размеров, чем все другие. Здесь только и были канцелярский стол с одной тумбой, шесть разномастных стульев и кровать, прятанная в самом дальнем углу. И ни одного телефонного аппарата! Хотя зачем они здесь, если у оперативного дежурного их полнехонько, а до того — метров десять?

Усевшись за стол и показав лейтенанту на один из стульев, на тот, который стоял у самого стола, адмирал начал разговор:

— Чтобы ты не вздумал зазнаться — и полуглиссер за тобой выслали, и обед тебе оставили, и сам командир бригады из ведерка воду на твои ручки поливал, — я просто обязан сказать, что так мы встречаем любого, кто едет к нам для прохождения службы. Подчиненный, с которого мне предстоит обязательно драть три шкуры, должен сразу почувствовать и заботу о себе. Нормальную, человеческую. Согласен ты с этим или нет, одобряешь или порицаешь, в душе посмеиваешься — мне наплевать: на то я и адмирал, чтобы иметь и свое непоколебимое мнение... Небось уже слышал, что Чаплыгин любит чудить? — спросил и хитровато посмотрел в глаза Манечкина. Тот уже намеревался кивнуть, но адмирал продолжил: — Каюсь, грешен в этом. Больше скажу: с целью это делаю. Чтобы сразу и получше узнать нутро человека, с которым, возможно, рядом придется в бою насмерть стоять... Вот ознакомился я с твоим делом, все документы, характеристики и аттестации, можно сказать, досконально изучил. А как узнать: сказана там только правда или и некоторая лакировка допущена?.. Тринадцать минут мы с тобой мяч погоняли, а мне почему-то кажется, что ты не способен крикнуть душой. Не отвечай, не надо: это я вслух мысли свои высказываю, чтобы вслушаться в них, еще раз проверить... Что успел увидеть за то время, которое я подарил тебе?

— Землянки и блиндажи облазил.

— И каково твое мнение?

— Нам бы на передовую такие, — вырвалось у Манечкина.

Адмирал кивнул одобрительно и сказал, что он приказал сделать все это только для того, чтобы не повторить ошибок недавнего прошлого, когда фашисты перли вперед всей массой, а мы и бои с ними вели, и спешно строили блиндажи, рыли окопы и землянки. В результате — то и другое делали не в полную силу, не так, как смогли бы в иной обстановке. Спрашивается, кому была выгода от этого распыления сил? Конечно, никто не даст гарантии, что именно их бригаде доведется воспользоваться этими блиндажами и землянками. Но разве не скажет искреннее спасибо тот, кому они достанутся? Разумеется, самое прекрасное — фашисты никогда не выйдут к Волге, никогда здешние берега не услышат воя бомб, разрывов снарядов и мин. Только это, скорее всего, радужная мечта: вовсе не случайно партия и правительство пошли на создание Волжской флотилии, ох, не случайно...

А закончил адмирал разговор и вовсе неожиданным предложением:

— Мое глубокое убеждение — мы должны быть готовы, сам не знаю к чему. Поэтому мне и не дает покоя мыслишка о создании при бригаде особого отрядика, хотя бы — особой группочки на первое время. Штатным расписанием ничего подобного, конечно, не предусмотрено, но хочу создать. Чтобы она, эта группочка, могла действовать там, где этого потребует сложившаяся обстановка. Будет она и десантной, и группой разведки, и черт знает чем еще. Если у тебя нет возражений, приказом назначаю тебя ее командиром... О деталях поговорим потом, когда вступишь в командование, когда у тебя мысли свои оригинальные появятся. Ну, твое решение, лейтенант? И учти: насильно никого около себя не держу.

Лейтенант Манечкин понимал, что, приняв предложение адмирала, он сам себя ставил в сложное положение. Хотя бы даже потому, что, согласившись, был обязан немедленно перейти на своеобразное нелегальное положение; ведь по документам-то будет числиться в другой должности?

Это и многое другое, сложное и двойственное, видел он, однако искушение стать командиром группы особого назначения было столь велико, что, немного поколебавшись, встал и спросил:

— Когда прикажете приступить к исполнению обязанностей?

— Сегодня. И помни: возникнут вопросы, которые сам решить не сможешь, без стеснения приходи ко мне. В две головы думать будем, — ответил адмирал.

3

Ночь легла на Волгу и ее берега. Тихая, безлунная. Казалось, уснула и сама великая река: ни ничтожно малого шелеста ее струй, ни единого гудочка парохода, хотя они идут, прорезая темень отличительными огнями.

Лейтенант Манечкин сидит на берегу в самом устье той воложки, в которой скрывался штабной дебаркадер бригады, отмахивается не веточкой, а почти целым веником от кровожадных комаров и думает. О том, когда адмирал разрешит еще пополнить группу, как и к чему готовить тех четырех человек, которых уже прибрал к рукам. На другой день после разговора с адмиралом он явился в полуэкипаж. Не успел дойти до начальства — увидел старшего матроса Ганюшкина, с которым в одних окопах воевали еще под Одессой. Нет, тогда они вроде бы и не испытывали друг к другу особой симпатии, добросовестно, со старанием исполняли то, что было доверено каждому, и все тут. А здесь встретились с искренней радостью. И потискали плечи друг друга, и помолчали, не пряча счастливых глаз.

Первым опомнился Ганюшкин, руками по привычке проверил заправку фланелевки и спросил, посуровев:

— К нам, товарищ лейтенант, или как?

Не из вежливости, с искренней заинтересованностью спросил.

Отведя в сторонку, где матросы сновали не так часто, лейтенант и рассказал ему то небольшое, что знал и додумал за ночь.

— Так что за кадрами подходящими сюда заглянул, — закончил он. — Как считаешь, не зря?

Ганюшкин помолчал и спросил, стараясь казаться равнодушным:

— Моя кандидатура подходит или отвергается?

Ничего особо выдающегося за ним не числилось: в бою вел себя не лучше и не хуже других, на задания не напрашивался, но, помнится, и не стал отказываться, когда в разведку послали. А разве он, Игорь Манечкин, чем-то прославил себя? Нет, он тоже самый обыкновенный. Лишь одно есть у Ганюшкина преимущество перед другими, ко-

торых глаза сейчас видят: вместе с ним, Манечкиным, воевал, одним свинцовым веником война их стегала.

— Возьму... Может, и еще кого порекомендуешь?

— Понимаете, народ тут разный, можно сказать, во всех отношениях полный интернационал, но Дронова, Злобина и... — Тут Ганюшкин замялся, обдумывая что-то, а потом решительно, будто отрубил: — И Красавина возьмите. За этих ручаюсь.

Было это ближе к середине мая, а сейчас июнь на исходе. И с тех пор по сегодняшний день их пятеро. Если считать и его, лейтенанта Манечкина: адмирал сказал, что для начала достаточно, что надо позволить укомплектоваться и другим бригадам флотилии; дескать, пока из этих, кого отобрал, создай добротную основу, а когда прищипит, об остальных я позабочусь.

Создавай основу... А что ее создавать, если она уже есть? Самая что ни на есть добротнейшая: все проверенные и бомбежками, и обстрелами шквальными; можно сказать, в группе подобрались те самые матросы, которых, паникуя, фашисты и окрестили черной смертью.

Лишь Анатолий Красавин немного наособицу... Когда Ганюшкин привел его, он молча козырнул лейтенанту и уставился на него холодными, настороженными глазами. Без вызова, но и без намека хотя бы на самую малую заинтересованность смотрел. А обратился к нему Манечкин с самыми обыкновенными, можно сказать с дежурными, словами — тот четко высказался:

— Я, товарищ лейтенант, разговаривая с вами, тоже могу «тыкать»? Если так, то ладно, принимаю такую систему обращения друг к другу. В противном случае прошу ко мне обращаться на «вы». Как по закону положено.

С чувством собственного достоинства было это сказано.

Он, лейтенант Манечкин, не обиделся, продолжил разговор спокойно, даже доброжелательно, словно и не кольнуло самолюбия замечание Красавина, и скоро уже знал, что тот лишь несколько дней назад вновь стал матросом. Да, два года назад, честно отслужив свое на торпедных катерах Тихоокеанского флота, вернулся домой и тут черт знает как и почему, но оступился, здорово оступился, ну и был посажен, куда положено, чтобы семь годочков глядел на «небо в мелкую клеточку». Понимает, признает: не зря, за дело такой большой срок дали. Потому и терпел, дни считая. А началась война, ворвались фашисты на нашу землю, стали ее кровью людской заливать, по-

жарища по ней разбрасывать — написал начальству колонии просьбу об отправке его на фронт. Чтобы мог, как все нормальные люди, защищать родную землю. Отказали. Он снова написал, теперь в более высокую инстанцию. И опять отказ получил! Однако он, Красавин, упрямый, точно уже не помнит, сколько бумаги извел, до самого Михаила Ивановича Калинина письмом дошел, но своего добился: сейчас ему разрешено, если делами славными или кровью своей преступление не искупит, срок наказания отбыть после окончания войны. Вот, мол, и вся моя жизнь. А гош такой или нет в группу, пусть товарищ лейтенант сам решает. Но лично он, Толька Красавин, о себе все точно, без утайки выложил. И еще одно просит учесть: он, Толька Красавин, не навязывается, он человек не гордый, так что может и другого случая подождать.

Заявил, что о себе все точно, без утайки выложил, а сам и словом не обмолвился о том, за что столь внушительный срок получил...

Ему, лейтенанту Манечкину, показалось, что Красавин говорил честно, понравилось, что никого не винил в своей беде. И он сказал, что берет его к себе.

Сейчас Красавин, как и его товарищи, спит в землянке и, может быть, самые сладостные сны уже какой час прокручивает. А вот он, лейтенант Манечкин, сидит здесь, отбивается от ошалевших комаров и думает, чему и как учить своих подчиненных? Строевая подготовка, конечно, дело хорошее и полезное. Однако на войне она не в особом почете, здесь, чтобы врага убить, многим другим в совершенстве владеть надо. Вот и учил он своих матросов ползать, ужом скользя в траве, стрелять без промаха из любого оружия и почти не целясь. Даже ножи метать научил! А дальше что? Конечно, все это можно и должно отрабатывать, совершенствовать до бесконечности. Но очень хочется придумать что-то такое... такое... Чтобы вновь глаза у ребят загорелись!

Мимо, внушительно молотя плицами по черной волжской воде, скребется против течения буксирный пароход с баржами. Сколько и каких барж он ведет — не видно. Да и сам он лишь угадывается по отличительным огням и бою колес.

Все здесь было обычно, буднично мирно, словно на западе и не бесновалась война, пожирая в огне города, села и деревни, калеча людей, даже лишая их жизни. И вдруг лейтенант Манечкин уловил пока еле слышное прерыви-

стое гудение моторов вражеского бомбардировщика. С каждой минутой оно становилось все явственнее, отчетливее. Стало уже ясно, что шел он на высоте, доступной зениткам, а не там, где хаживали фашистские разведчики — «рамы».

Еще не успел принять решения — оставаться здесь или бежать к штабу, — взвыла сирена и голос дежурного, усиленный мегафоном, равнодушно оповестил окрест:

— Воздушная тревога!

Каких-либо обязанностей по этой тревоге у него не было, да и товарищи знали, где его найти, если возникнет необходимость, вот и остался лейтенант сидеть на берегу, не особенно веря, что этот фашистский разбойник предпримет что-то активное: вот уже около недели вражеские самолеты систематически ночами появляются над Волгой, чтобы, полетав вдоль нее, уйти на запад. Предполагал он, что так будет и сегодня. Но в гул моторов самолета, который теперь уже заглушал бой колес буксирного парохода, неожиданно впелся знакомый до холодка у сердца вой падающих бомб. Томительное ожидание — и грохот взрывов, приглушенных водой. Одна из бомб все же угодила в баржу, рванула там во всю мощь, и моментально огненный шар стал стремительно подниматься из носового отсека баржи, за доли секунды раздулся и лопнул, обрушив на зеркальную Волгу огненную реку, которая понеслась вниз, увлекаемая течением.

Буксирный пароход, будто ему стало невероятно больно, загудел прерывисто, тревожно. По палубе его забегали полуодетые люди, что-то крича, яростно жестикулируя. Теперь, когда горела, казалось, сама Волга, хорошо было видно, что буксирный пароход ведет две баржи-нефтянки, что бомба попала в ту, которая шла сразу за ним; вторая баржа была еще цела, от ее кормы торопливо отходила лодка-завозня, в которую попрыгали все, кто был на этой барже ее экипажем.

Манечкин мысленно одобрил решение шкипера: с минуты на минуту могла сначала загореться, а потом и взорваться и его баржа; у ее бортов суетились язычки кровавого огня.

Шкипер немного растерялся, он хотел как можно быстрее оказаться на берегу, вот и пересекал на лодке-завозне огненную реку; временами их не было видно из-за клубов густого черного дыма.

А рядом с Манечкиным уже оказались его матросы.

С оружием. Стояли рядом и, бессильные сделать что-либо полезное, молча смотрели на буксирный пароход, который по-прежнему гудел тревожно, прерывисто, на баржи, вроде бы обреченные на гибель, и на лодку-завозню, все же пробившуюся к берегу.

Решение, как за месяцы войны случалось уже не раз, пришло мгновенно и, казалось, без каких-либо предпосылок: лейтенант вдруг подумал, что вторую баржу еще можно попытаться спасти, отделив от первой. И он скомандовал:

— За мной, братва!

Не помогли шкиперу и его людям выйти на берег, а почти вышвырнули их из завозни, со всей яростью, накопившейся за минуты вынужденного безделья, налегли на весла и устремились к барже, хотя огонь угрожающе шипел совсем рядом с ней.

Считай, повезло: опалив только бушлаты, которыми сбивали язычки огня, цеплявшиеся за лодку, прорвались к барже. Старшина второй статьи Злобин еще швартовал лодку, а остальные уже бежали к носу баржи, где голыми руками, обдирая их в кровь, и сорвали с чугунных тумб петли стальных тросов.

Поверили, что задуманное удалось, лишь через несколько минут, когда просвет между баржами стал быстро увеличиваться. С облегчением матросы выпрямились и устало пошли к корме баржи-нефтянки, где их ждал Злобин.

Похоже, тоже поверив, что смерть пока обошла стороной, перестал гудеть буксирный пароход. Теперь он не просто по инерции бездумно пер против течения, а осмысленно уводил горящую баржу к песчаному осередку, куда суда обычно не подворачивали.

Все это они видели. Заметили даже капитана буксирного парохода, когда он вышел на левое крыло капитанского мостика и помахал рукой. А вот появление двух катеров-тральщиков проворонили. Они как-то вдруг оказались около баржи-нефтянки, деловито завели буксиры, стравили на нужную длину и, бессильные идти с таким грузом против течения, стали сваливаться под левый берег, в тиховод.

Только на лодке, когда уже шли к берегу, лейтенант Манечкин подумал сразу и о том, что на взорвавшейся барже погибли люди — мужчины в годах, женщины и, может быть, дети, что и сами они могли погибнуть, если бы лодка загорелась, если бы взорвалась от жара их баржа.

Захотелось поделиться этими мыслями с товарищами, и он глянул на их лица. Только глянул — понял: они думают об этом же. Не раскаиваются в сделанном, а думают, что могли бы и погибнуть, если бы...

К берегу подошли метров на триста или даже четыреста ниже того места, где высадился шкипер баржи со своей командой. И сразу увидели контр-адмирала. Заложив руки за спину, он стоял на яру и смотрел на них.

Лейтенант Манечкин умышленно медленно выходил на берег: понимал, что обязан доложить, а вот что? Не вспомнил, не придумал. Просто встал по стойке «смирно» и приложил к козырьку фуражки ладонь, черную от копоти и масла, которым были покрыты тросы. Так растерялся, что даже шага навстречу адмиралу не сделал. Тот сам подошел, пожал руку и сказал буднично:

— С почином.

Всем пятерым пожал руку.

4

С почином поздравили и другие. Не словами, а тем, что в кают-компании, едва лейтенант Манечкин сел за стол, чтобы позавтракать, ему немедленно подали и крепчайший чай, и все прочее, что к нему прилагалось; а оперативный дежурный по бригаде доверительно проинформировал, что этой ночью фашисты бесчинствовали над Волгой на участке от Саратова до ухвостья Гусиног острова. И бомбили безжалостно караваны судов, и мины тайком поставили. Морские, неконтактные. Ночью поставили, а на утренней зорьке на них уже подорвались два парохода.

Промелькнуло еще несколько суток, и все поняли: не случайным был тот первый массовый налет фашистских самолетов, он лишь малюсенькая часть того, что задумано гитлеровцами; всем стало ясно, что война добралась и до Волги. Пока без несмолкающего гула канонады, без рева множества танковых моторов и посвиста пуль, но добралась. Хотя посвист пуль уже есть: на одной из канонерских лодок, стоявших в засаде, как зенитная батарея, винтовочным выстрелом с того берега воложки был убит вахтенный матрос. Точно в лоб попала ему пуля. О чем это говорит? Лишь об одном: есть в зарослях по берегам Волги и вражеские диверсанты, и ракетчики, прошедшие основательную подготовку.

Пришла война на Волгу — катера-тральщики разбежа-

лись по минным полям и банкам, принялись усердно утюжить их, а бронекатера и канонерские лодки челноками метались от одного каравана судов к другому, чтобы попытаться уберечь их от яростных самолетных атак.

У всех забот оказалось предостаточно, все забыли напроць, что такое за штука нормальный сон и даже еда по распорядку дня. Лишь группа лейтенанта Манечкина бездействовала. Разве это работа, если тебе за все эти дни только и заданий выпало — взорвать три бомбы, обнаруженные на песках? Единственное изменение в жизни группы — теперь и он, лейтенант Манечкин, жил с матросами в землянке. Для того переселился сюда, чтобы на случай внезапного задания быть всем в кучке.

Теперь, когда не часами, а сутками они неразлучно были вместе, и узнал Манечкин, что старшина второй статьи Злобин, которого он считал человеком вообще без нервов, панически боится самолетов. Даже своих. Как услышит гул их моторов, так и начинает дрожь колотить его. До настоящей трясучки, когда руки и ноги без твоего согласия дергаются. Оказывается, как-то буквально рядом с их крейсером «Красный Кавказ», на котором он проходил службу комендором-зенитчиком, в причальную стенку вместе со всеми своими бомбами врезался фашистский бомбардировщик, сбитый армейскими зенитчиками. Так близко от крейсера в причальную стенку врезался, что очулся Злобин лишь в госпитале и через несколько дней.

Отлежал на госпитальной койке сколько посчитали необходимым врачи, думал, все в норму вошло, а тут оно и обнаружилось... Доложить по команде, попросить, чтобы врачи снова осмотрели? Никак нельзя: они запросто с флота спишут.

— Никогда бы не поверил, что с тобой такая беда, — искренне посочувствовал лейтенант.

Злобин промолчал, глядя себе под ноги, а Красавин не вытерпел, пробурчал с вызовом:

— Или он не матрос?

За годы службы лейтенант Манечкин не счесть сколько раз слышал эти слова или что-то подобное, вроде: «Матрос ты или балалайка?» Никто не спрашивал, почему именно балалайка, но всегда, после того как они произносились, матрос делал, казалось бы, невозможное.

День ото дня все нахальнее становились фашистские самолеты. Теперь над Волгой они появлялись еще в вечерние сумерки, а неохотно уходили чуть ли не с первыми

лучами солнца. И каждую ночь на Волге злобились бес-
сильные зенитки, рокотали пулеметные очереди, рвались
бомбы. Так неистовствовали фашистские самолеты, что с
приближением ночи все суда спешили приткнуться к бе-
регу, понадежнее замаскироваться там.

Вроде бы все делалось, чтобы уберечь пароходы, но не-
которые из них гибли. От бомбовых ударов или на минах
взрывались. И поплыли по Волге трупы. Много трупов.
Из-за них не только пить волжскую воду запретили, но
даже и купаться в ней.

А сводки Совинформбюро подчеркнуто скупо и обте-
каемо сообщали о боях на Моздокском направлении и в
районе Миллерово. Зато, если верить раненым, которых
на госпитальных пароходах увозили куда-то в верховья
Волги или даже на Каму, говорили не таясь, что бои идут
уже на подступах к Дону, будто бы кое-где нас даже спих-
нули в него.

Самое время командованию внести ясность, но оно от-
малчивалось, нацеливало только на уничтожение враже-
ских мин и охрану караванов от воздушных налетов.

Единственная радость — письмо отца. Вовсе не похожее
на те, которые получал раньше. Без душевного надрыва,
нормальное письмо. В нем отец, подробно описав все се-
мейные и городские новости, в самом конце скупо сооб-
щил, что тоже уходит бить фашистов. Не в кавалерию, где
служил в гражданскую под командованием эскадронного
командира товарища Рокоссовского, а в пехоту-матушку.
Так что, сынок, поглядывай внимательно, когда солдат на
марше увидишь: может, и встретимся.

Не сразу, но понял столь разительную смену настрое-
ния отца: всю жизнь он в семье был главным, общей опо-
рой и защитой, а тут сыновья вдруг ушли на бой крова-
вый, оставив его дома, будто старика немощного.

Вот и распахивался, сам себя потерял. А теперь все
встало на свои места...

И вдруг в середине августа контр-адмирал Чаплыгин
словно вспомнил, что у него в распоряжении томится без-
действующий лейтенант Манечкин, и среди ночи затребо-
вал его к себе, приказал на катере-тральщике немедленно
отбыть в район Черного Яра, где и оказать посильную по-
мощь коменданту переправы.

Слово «посильную» почему-то выделил голосом.

Матросы приказ встретили внешне равнодушно, только
Красавин зло буркнул:

— Сам груздем назвался!

Действительно, разве это задание для группы особого назначения? Нет, не того они ждали, когда давали согласие на службу в ней, не того...

К переправе — довольно жиденьким мосточкам, на берегу около которых толпилось порядочно беженцев: женщин с детворой и узлами с домашним скарбом, — подошли в тот момент, когда над заволжскими степями приподнялось солнце. Золотистое. Обещающее опять жаркий день.

Чуть прижались к мосточкам бортом — они угрожающе заскрипели, ожили. На этот оглушительный скрип из будочки, сколоченной наспех, и выскочил армейский капитан, заорал хриплым, усталым голосом:

— Куда прешь, куда?

Отвечать было некогда: женщины, едва катер коснулся мосточков, скопом, толпой бросились к нему. Лейтенант Манечкин мгновенно почувствовал, что минута промедления — и мосточки рухнут. Он скомандовал во весь голос:

— Полный назад!

Взвыв мотором, катер-тральщик отошел метров на пять и закачался на собственных волнах.

Армейский капитан и два солдата, появившиеся откуда-то, тоже поняли, насколько близка была большая беда, и теперь, взявшись за руки, охраняли вход на мосточки с берега.

Убедившись, что относительный порядок восстановлен, лейтенант Манечкин и произнес речь, которую позднее Красавин, иронизируя, назвал насквозь дипломатичной.

— Предупреждаю: кто без моего разрешения взойдет на мосточки, будет немедленно расстрелян.

Угрозе, сказанной не в полный голос и спокойно, поверили, всей массой отшатнулись от мосточков и замерли в ожидании, с мольбой и надеждой глядя на моряков, на их катер.

Теперь тральщик к мосточкам подошел осторожно, опасаясь толпы, которая, ошалев от пережитых страхов, могла запросто разом броситься на катер и даже перевернуть его. Чтобы все было понадежнее, матросы лейтенанта Манечкина по собственной инициативе прыгнули на мосточки, молча оттеснили капитана с солдатами и замерли, положив руки на автоматы, висевшие на груди.

Капитан, похоже, был даже рад такому повороту событий, безразлично махнув рукой, он сделал попытку во-

обще уйти куда-то. Удержал Красавин, громко объявив, что старший морской начальник требует его к себе.

Молодец, Красавин! И не соврал, и малое воинское звание его, Манечкина, надежно упрятал: ведь этот армейский капитан наверняка не разбирается в нарукавных нашивках на флотских кителях.

Оценил лейтенант Манечкин находчивость Красавина, нахмурился сурово и не сказал, а изрек тоном, не допускающим возражений:

— На вас, товарищ капитан, возлагаю организацию живой очереди на переправу. И наблюдение за ней. Исполняйте!

Это было его первое приказание здесь. А потом были еще два: Дронову с Красавиным изыскать материал для сооружения настоящего причала и соорудить его, а командиру катера-тральщика — немедленно исчезнуть, но явиться сюда с плашкоутом или баржонкой подходящей, до заката солнца обязательно явиться.

Убежал катер-тральщик, убежал почему-то вверх по течению, откуда пришли недавно, и вовсе тихо стало у мосточков. Только грудной ребенок плакал где-то совсем рядом. Надсадно, казалось, из последних сил. Лейтенант Манечкин умышленно избегал смотреть в ту сторону, откуда доносился плач: боялся, что, увидев ребенка, потеряет душевную твердость, без которой сейчас никак нельзя; всех этих людей до невозможности жалко, была бы возможность — без промедления и единым рейсом всех их переправил бы на тот берег Волги!

Но пока даже самой захудалой лодчонки нет у него.

А беженцы хотя и медленно, хотя и малыми группами, но прибывают, прибывают...

5

Прошло еще около часа, и лейтенант Манечкин уже знал, что в распоряжении капитана Очкина только он сам, два солдата, мосточки и будка, сколоченная из бросовых полугнилых досок, на случай ливней сколоченная. Командир полка послать-то его сюда послал, сказав, что он, капитан Очкин, отвечает только за порядок на переправе, а все прочее — и катера, и плашкоуты к ним — скоро будет, так что об этом пусть его голова не болит.

Кто и что даст — об этом ни слова.

Как же он переправляет беженцев на тот берег и пере-

правляет ли вообще? А вот увидит пароход, идущий хоть вниз, хоть вверх, выбегает на мосточки и сигналил ему, просит причалить. Случается, причаливают. Тогда уговаривает, умоляет взять хотя бы самую малую часть этих бедолаг. Бывает, берут. Вчера вечером, например, «Александр Невский» взял. Он госпитальный, под приемку раненых порожним шел и сотни три взял.

Безрадостно было услышанное. Лейтенант Манечкин потом и сам не мог объяснить, почему оно не повергло его в отчаяние или уныние, а породило неодолимое желание действовать. Немедленно, активно. Казалось, и решения, которые он принял в эти минуты, пришли сами собой, без какого-либо напряжения мысли. Приказал он Дронову и Красавину раздобыть материал для сооружения причала? Приказ остается в силе. Сказано капитану, чтобы занялся живой очередью и вообще порядком на береговой полосе? Вот иди и работай, не мельтеши перед глазами!

— Ганюшкин, ноги в руки и лети на пристань, по селектору выйди на связь с начальником пароходства или любым его замом и передай им лично телефонограмму, которую сейчас напишу.

— А если не будут подпускать к селектору? Если не будут давать пароходское начальство? — спросил тот без робости, без малейшего признака растерянности, исключительно для подстраховки спросил.

У лейтенанта Манечкина непроизвольно вырвалось:

— Или ты не матрос? — Спихватился и торопливо добавил: — По паролю «Вода» связь требуй.

С первых дней минной войны на Волге был установлен этот пароль, пользоваться которым разрешалось в исключительных случаях. А разве сейчас не исключительная обстановка сложилась?

По этому паролю прекращались все разговоры на линии и адресат давался без промедления.

Тут же и написал телефонограмму: «Поражен бездействием пароходства. Переправа в районе Черного Яра абсолютно не обеспечена плавсредствами».

И подписал: «Манечкин».

Умышленно одной фамилией подписал: был уверен — пароходскому начальству и в голову не придет, что столь категоричную телефонограмму осмелился послать самый обыкновенный лейтенант.

Перечитал написанное, подумал и добавил: «Если меры не будут приняты немедленно, доложу ГКО».

— А копию, для страховочки, шархни в обком партии, — сказал он, протягивая Ганюшкину листок, вырванный из блокнота.

Ганюшкин, прочитав текст, пытливо и сочувственно взглянул на лейтенанта, бережно упрятал телефонограмму под фланелевку, подчеркнуто уважительно козырнул и почти побежал к ближайшей пристани, до которой было километра четыре.

Лейтенант Манечкин, давая эту телефонограмму, знал, что если она не сработает сразу, если начнут узнавать, разбираться: а кто он такой, этот таинственный Манечкин, наделенный столь большими правами, что выражает свое недовольство самому начальнику пароходства, — ему придется очень туго. Может быть, и до трибунала дело дойдет. Но теперь, когда Ганюшкин ушел, отступить было поздно, и он, спрятав свои переживания внутри, продолжил, словно ничего особенного и не случилось:

— Злобин...

— Слушаю вас, товарищ старший морской начальник, — немедленно откликнулся тот, вставая, вытягиваясь по стойке «смирно».

— Даю вводную. Стемнело. Появились фашистские самолеты. Что предпримете, чтобы спасти вот этих людей от бомб и пулеметно-пушечного обстрела с самолетов?

Злобин медленно прошелся глазами по высокому обрыву, который почти отвесно падал к прибрежной гальке, по женщинам и детям, грудившимся на узкой полоске земли между рекой и тем обрывом.

— Задача ясна. Разрешите выполнять? — наконец сказал он.

Всем нашел дело, всех разогнал. А самому чем заняться? Решил, что большому начальнику, под которого он сейчас работал, даже положено сидеть в одиночестве и думать. Не в этакой халабуде, на собачью конуру похожей, а на свежем воздухе, на виду у людей сидеть положено. И так, чтобы самому все далеко, панорамно видеть.

Даже стал присматривать место для своеобразного командного пункта и тут вспомнил, что в спешке они ушли из бригады, не получив сухого пайка даже на сутки! Команда катера, конечно, в беде не бросит, поделится едой, но что и сколько она имеет? Не по-товарищески получится, если они их паек почти уполоният.

Думай, Игорь Манечкин, ищи выход: на то ты и командир...

Ничего не успел придумать: из-за поворота реки оказался родной катер-тральщик... с баржой на буксире. Баржа — самая обыкновенная железная коробка, в которой еще совсем недавно от землечерпалки отвозили донный грунт; «грязнуха», как окрестили матросы подобные баржи.

Увидел «грязнуху» — вспомнил, что, когда бежали сюда, заметил ее, сиротливо жавшуюся к яру левого берега. Заметить-то заметил, а ведь не вспомнил в нужный момент! Выходит, командир тральщика нервы покрепче имеет: ишь, не позабыл о барже в такой сумятице.

Погрузка людей, хотя баржа и не была приспособлена для этого, отняла считанные минуты: помогло всеобщее желание поскорее оказаться на левом берегу Волги, где, как считали эти исстрадавшиеся женщины, фашисты их не достанут.

Маленькая заминка произошла в самый последний момент, когда оставалось только отдать швартовы.

— Где разгружаться прикажете? — спросил главный старшина — командир катера-тральщика.

Действительно, где? Идти до ближайшей пристани, стоящей на левом берегу? До нее, если память не изменяет, около сорока километров. Сорок туда да обратно столько же... Нет, сама обстановка запрещает так время транжирить! Просто высадить людей на том берегу? Тоже не годится: может быть, где высадят, и малой тропочки не окажется? Может быть, этим умотавшимся женщинам да еще с ребятней на руках десятки километров по бездорожью ноги ломать придется, пока на тракт выйдут?

Вручила одна из женщин, стоявшая в толпе на берегу:

— За тем мысочком, — и показала рукой за каким, — дерево молнией пришибленное. Обугленное, головешкой торчит. Около него и высаживайте. Там и тропка найденная, и до тракта рукой подать.

— «Рукой подать» — это сколько, если на километры перевести? — полушутливо спросил лейтенант Манечкин, настроение у которого сейчас было почти распрекрасное.

— С десятков, голубок, наскребется, — подумав, ответила женщина.

Рукой подать — километров десять... Но ни одна из женщин, слышавших этот разговор, и слова не проронила; что для них какие-то десять километров, если они сотни прошагали? И еще он заметил, что те, кто был уже в бар-

же, косили глазом на слинявшее от жары небо: привыкли, что смерть чаще всего обрушивалась именно оттуда.

Лейтенант Манечкин кивнул главному старшине. И катер-тральщик, вспенив винтом желтоватую волжскую воду, осторожно отошел от берега, почти неслышно оторвал баржу от мосточков.

Начался еще только первый рейс, а лейтенант Манечкин уже вздохнул облегченно и вдруг почувствовал, что невероятно голоден и устал.

6

Начали нарождаться сумерки — лейтенант Манечкин приказал катеру-тральщику уйти с баржой к левому берегу и замаскироваться под ветлами, нависшими над рекой, а беженцам, которым и эту ночь предстояло коротать еще здесь, держаться вблизи тех нор в обрыве, которые за день были вырыты под досмотром Злобина.

— Только услышите гул фашистских самолетов — все в убежища, — так закончил лейтенант Манечкин свою короткую речь. — Все понятно или есть вопросы?

— Сыровато там, — робко заметила одна из женщин.

— Прекратить пререкания! — повысил голос лейтенант. Однако сразу же учел, что разговаривает с людьми сутобо гражданскими, натерпевшимися от войны, и пояснил: — Думаете, подвесив люстры, фашистский летчик не заметит здесь скопления людей? Не сбросит бомбы?.. Между прочим, кто не согласен со мной, кому тяжело выполнять наши требования, может сейчас же отойти километра на три и там лагерем расположиться.

Желающих уйти от переправы, которая с рассветом снова заработает, не нашлось. Еще несколько минут суеты — и замер берег, чутко вслушиваясь во все редкие шумы, доносившиеся сюда.

А Красавина с Дроновым все еще нет... Вроде бы и не на передовую они ушли, вроде бы и при полном вооружении, а сердце тревожится, будоражит душу различными невеселыми думами.

Злобин первый уловил приближение фашистского самолета, который сегодня почему-то несколько запаздывал. Не сказал товарищам об этом, а втянул голову в поднятый воротник бушлата.

— Чего это ты сам в себя прячешься? — недоверчиво косясь на Злобина, спросил один из солдат.

— Малярия его донимает, — равнодушно пояснил Манечкин.

А фашистский самолет прошелся над рекой раз, другой, не обнаружил ничего интересного, стоящего внимания, и, круто развернувшись, заспешил на север, где небо искрилось от множества разрывов зенитных снарядов.

Стих, растаял вдали гул его моторов — Злобин отогнул воротник бушлата, вытер рукавом пот, бисерившийся на лбу.

Всю ночь лейтенант Манечкин и его матросы просидели на берегу, поочередно то уступая дреме, то упрямо гоня ее прочь. Дронин с Красавиным явились перед самым рассветом, когда от реки уже ощутимо потянуло прохладой. Усталые и довольные явились: привезли несколько вполне пригодных бревен и много досок-сороковок, с одной стороны даже покрашенных. На коровах привезли. Самое же неожиданное и радостное — с ними пришло около взвода солдат-саперов, которыми почему-то командовал подполковник инженерных войск. Он, подполковник, отдав своим солдатам какие-то приказания, подошел к Манечкину, уже стоявшему впереди матросов, и спросил:

— Если разбираюсь в обстановке, вы и есть тот самый старший морской начальник, который, судя по телефонограмме, наделен почти неограниченными правами?

Манечкин был готов поклясться чем угодно, что в голосе его звучала ирония. Не злая, а добрая.

А подполковник не дает и мгновения, чтобы ответить, он прочно владеет инициативой:

— Поскольку разговор у нас будет сугубо секретный, предлагаю отойти в сторонку.

Лейтенант Манечкин послушно пошел за ним.

Когда они остались одни, подполковник и продолжил:

— Я, лейтенант, не буду развенчивать вас. В обмен прошу одного: не рассказывать товарищам того, что скажу сейчас вам. Пока не рассказывать. Договорились?

Честное слово, в его голосе добрая усмешка!

— Так вот, ваши люди действовали напористо, не выходя из рамок допустимого. Но мы возводим мостки по иной причине. — Подполковник достал из кармана галифе пачку «Беломорканала», предложил Манечкину папиросу, закурил сам и продолжил уже серьезно, без малейшего намека на недавнюю иронию: — Стада скота идут сюда. От самого Дона. Много их идет. И все, что уцелеет от них

за время перехода и добредет до этой переправы, вы должны переправить на тот берег.

— Как же скот переправлять, если на том берегу даже таких, как эти, мостков нет? — ужаснулся лейтенант Манечкин.

— А мы зачем сюда пришли? Сделаем, — заверил подполковник, молча несколько раз жадно затянулся, швырнул окурок в Волгу и сказал: — Итак, с лирикой покончено, беремся за работу.

И зазвенели топоры. Дружно, поторапливая друг друга.

Ошеломило, на какое-то время выбило из привычной колеи то, что сказал подполковник. Идут стада скота. От самого Дона... Значит, фашисты опять прорвали нашу оборону, черт им в печень!

Манечкин мысленно представил географическую карту, напряг память, но так и не нашел между Доном и Волгой хотя бы самого захудалого природного рубежа, где можно было держать оборону. Степь там ровная, как хороший стол. Раздолье для танков!

Погруженный в невеселые мысли, краем уха слушал рассказ Дронова о том, как они с Красавиным пришли в сельсовет, поговорили с народом откровенно и тот вошел в их положение: всем миром разобрали дом, хозяина которого за пособничество фашистам переселили куда-то в Сибирь или на север Урала.

Единственное, о чем спросил, где и как подцепили этого подполковника с саперами.

— Он сам за нами увязался, — несколько легкомысленно ответил Красавин. — Прибыл в село в тот момент, когда дом уже разбирали, спросил для чего и сразу же заявил, что поможет нам. Или мы неладно поступили, приведя его сюда?

— Все нормально, — механически ответил лейтенант Манечкин, который никак не мог понять: почему подполковник запретил говорить матросам о том, что скоро обрушится на них? Это военная тайна? Разглашение ее сейчас может основательно навредить нам? Например, выдаст фашистам место, где скот будет переправляться через Волгу? Чепуха сплошная! Появятся стада — матросы сразу поймут, что на Дону наши дела плохи. А что касается будущей переправы, обнаружения ее раньше времени, и того смешнее: коровы, известно, особой скоростью передвижения никогда не отличались, а сколько дней они уже в пути? Фашистские летчики, которые в прифронто-

вой полосе наверняка висят в небе почти круглосуточно, давно засекали их, может быть, поголовно пересчитали и точно определили, куда они путь держат.

Самое же главное — наше командование тоже не лыком шито, оно небось уже несколько подобных переправ создает?

Пришел к этим выводам — сказал матросам, стараясь оставаться спокойным:

— Все, что уже сделано, будем считать в прошлом и забудем о нем на время. Короче говоря, братцы, нам предстоит переправить на тот берег еще и скот. Когда и в каком количестве — не знаю. Но обязательно переправить. Прошу готовиться к этому молчком.

— А люди? Их или скот вперед переправлять? — вырвалось у Дронова.

— Не знаю. Одно мне известно: и за людей, и за скот мы с вами в полном ответе.

— Интересно будет глянуть, как корова или та овца в «грязнуху» полезут, — будто ледяной водой окатил Кра-савин.

А и верно, как?!

Значит, и доски для настила, и брусья ограждения немедленно искать и добывать надо...

Невероятно повезло лейтенанту Манечкину: не успел и сам обмозговать, кому и что приказать, Ганюшкин восторженно доложил:

— Вижу буксирный пароход с паромом!

Да, по течению шел маленький буксирный пароходик-угольщик. Над его трубой вился жиденький дымок, а сзади на длинном тросе величаво плыл паром. Современный. На палубу которого не только какая-то корова, но и любая самая тяжелая автомашина могла взойти спокойно.

— Крепко прошибла их ваша телефонограмма, — сказал Ганюшкин, самодовольно потирая руки.

А лейтенант Манечкин подумал, что, скорее всего, не она, сама обстановка на фронте основательно подхлестнула пароходское начальство, заставила так быстро оказать столь существенную помощь. Но мыслей своих не высказал.

Рассвело так, что стал хорошо виден противоположный берег, прибежал катер-тральщик. В его единственном кубрике и позавтракали наспех: хотелось побыстрее начать работу.

Еще с часок минуло — мостки будто выросли в дно Вол-

ги. Незыблемо, прочно. Осмотрев их в какой уж раз, подполковник, похоже, остался доволен работой своих солдат, издали козырнул остающимся и на катере-тральщике ушел к левому берегу, где предстояло не только соорудить мостики в рекордно короткое время, но и прорубить малую просеку сквозь заросли густого ивняка.

Первое стадо известило о себе облаком пыли, которое, казалось, недвижимо зависло над степью, опаленной солнцем, и жалобным мычанием множества коров.

Почувствовали коровы близость воды — перешли на рысь, даже неуклюжим галопом устремились вперед, не спустились степенно, а, толпясь, наскакивая друг на друга, скатились по откосу к Волге, забрели в нее по брюхо и пили, пили.

Как узнали потом, более двухсот голов было в этом стаде. А сопровождали его лишь пять женщин, потемневших лицом и осунувшихся от усталости и постоянных забот. Казалось, они еле держались на ногах. Однако ни одна из них не присела, не сполоснула лицо прохладной водой. Они разногласно, но дружно закричали, что немедленно нужна посуда. Любая: ведра, кастрюли, тазы, миски и даже кружки, чашки. Зачем — не объясняли, но требовали настойчиво. Им принесли, у кого что было. И тогда эти пять женщин тут же на береговой кромке начали дойку. Горячие струи молока сначала звонко били в ведра и кастрюли, миски и кружки, а потом ударили в прибрежную гальку, их стал жадно впитывать ненасытный песок.

— Братцы, да что же это такое творится? Народное добро в землю уходит?! — скорее удивленно, испуганно, чем гневно, крикнул Красавин, даже рванулся к ближайшей корове, над выменем которой трудилась одна из женщин. Она, эта женщина, с трудом разогнув спину, и сказала с горечью, с огромной обидой:

— Может, ты подойники для нас припас? Может, у тебя где-то в холодке и фляги для молока хранятся? — И сорвалась на крик, полный большой душевной боли: — Или не видишь, что молоко им вымя распирает, рвет его? Не чувствуешь, что бессловесная скотина вторые сутки в муках пребывает?

Прокричала это как вызов им, глазеющим со стороны, и в голос заревела, обняв корову за шею.

Действительно, у тех коров, которых еще не подоили,

вымя напоминало сильно надутый мяч; у некоторых оно кровоточило.

В голос ревели пять доярок. Вторили им многие женщины, ожидавшие переправы. Жалобно, умоляюще мычали коровы, до которых еще не дошли руки женщин. И лилось на землю молоко, лилось...

Закончили саперы работу и на том берегу — заработала переправа. Напряженно, в полную силу. Даже коровы, будто понимая, что им хотят добра, послушно входили на паром, недвижимо стояли там, куда их ставили. Стояли, устало опустив рогатые и комóлые головы, и безразлично смотрели на воду, плескавшуюся рядом.

Не успели спровадить на тот берег это стадо — объявилось другое. Столь же усталое, истомленное долгим переходом.

Одна из коров этого стада, напившись, почему-то сразу подошла к Красавину, уставилась на него большими грустными глазами и призывно замычала. Он сделал вид, будто не понял, о чем она просит, вообще не видит ее. Но корова не уходила, она по-прежнему смотрела только на него и мычала просительно, жалобно.

И Красавин не выдержал, чуть не плача, сказал товарищам:

— Братцы, да как я помогу ей, если отроду за те сиськи не держался?

— Учись, дурак, пока я жив, — зло ответил ему Дронов, закинул автомат за спину и присел у задних ног коровы.

Красавин, как прилежный ученик, опустился рядом, сначала только смотрел на пальцы Дронова, потом, осмелев, и сам потянулся к другим сосцам.

С этих минут родился неписанный закон: как только появлялось очередное стадо коров, все и без дополнительного на то указания превращались в дояров. Лишь лейтенанту Манечкину, когда однажды он тоже пошел со всеми, было сказано Дроновым:

— Ваше дело, товарищ лейтенант, руководить, за общим порядком наблюдать...

— А любителей за титьки подержаться и без вас хватает, — моментально добавил Красавин, скалясь в доброй улыбке; его поддержали стеснительным смешком.

Манечкин подчинился общему решению, вскарабкался на обрыв и оттуда посмотрел на степь, над которой висели облака пыли.

Сколько же скота еще идет...

Тут, сидя под дубком, росшим над самым волжским обрывом, вдруг и понял, что не только к этой ночи, но в ближайшие двое или трое суток им спокойной жизни не видать. И еще подумал, что нельзя все эти стада подпускать к Волге: сгрудившись на береговой кромке, они такую мишень образуют, что не попасть в нее не сможет самый плохой фашистский летчик.

Он вышел в степь, встретил приближающееся стадо и сказал старшему пастуху, чтобы ближе к Волге подходить не смел, располагался со своим хозяйством в балке или еще где; велел и другим, кто следом идет, передавать этот приказ. Напомнил, что время сейчас военное и что из этого следует. А то, что малейшее слушание будет караться по всей строгости законов. Вплоть до расстрела на месте.

Сознательно припугнул, чтобы подчеркнуть ответственность момента.

Шли не только коровы, шли табуны коней, отары овец.

— Столпотворение вавилонское, — так сказал Красавин, когда поднялся к лейтенанту и глянул окрест.

— Там легче было, — убежденно ответил ему лейтенант. Помолчал и высказал то, что давно зрело: — Похоже, и ночью придется работать. Ваше мнение, Красавин?

— И чего вы мне все время «выкаете», товарищ лейтенант? Или еще не поверили, что я свой, советский, до мозга костей? — обиделся Красавин.

Можно было бы напомнить ему о том первом разговоре, который состоялся в полуэкипаже, но лейтенант смолчал, а, потянувшись до хруста в суставах, сказал другое:

— Спать смертельно хочется. Ведь третьи сутки пошли... Досмотри вместо меня за порядком, а? И через часик расторкай.

Сказал это, улегся на кружевную тень дубка и сразу канул в тишину. Даже не почувствовал, как Красавин подсунул ему под голову свой бушлат.

7

Манечкин ошибся, думая, что спокойной жизни им не видать еще суток двое или трое. Уже двенадцатый день шел, а переправа все работала. То с предельным напряжением сил, то вдруг спокойно, словно и не было войны вовсе. Случались и паузы. Тогда кто-нибудь обязательно

карабкался на обрывистый берег и пристально смотрел в степь, выскивая глазами облако пыли, нависшее над ней. А остальные валились спать. На катере, тральщике, пароме, мостках, но чаще всего на берегу. Или, если это случалось днем, разжигали костер, варили уху и обсуждали слухи, которые лавиной непрестанно обрушивались на них.

Самые разные слухи. Все тревожные, безрадостные. И о том, что от фашистских мин Солонниковские перекалы стали чрезвычайно рискованными для судоходства, и о гибели парохода «Александр Невский», которого разбомбили у Быковых Хуторов. А вчера приполз и вовсе черный слух: будто фашисты в районе поселков Латышанка и Акатовка вышли к Волге, будто у села Рынок они прямой наводкой расстреляли госпитальный пароход «Бородино»; дескать, бои с фашистами идут уже на окраинах Сталинграда, в районе тракторного завода, будто там, отбивая яростные атаки фашистов, почти полностью погиб сводный батальон, сформированный из моряков, находившихся в полуэкипаже.

Не хотелось верить всему этому, но за минувшие сутки мимо не прошел ни один пароход. И уж очень много утопленников несет Волга. Так много, что перестали вылавливать: сил не хватало работать на переправе и одновременно хоронить всех их, как положено.

Теперь и вовсе считали себя кровно обиженными командованием. Общее настроение выразил Дронов, сказав:

— Никогда не думал, что так тошно коровам хвосты крутить, когда товарищи в боях кровью исходят.

А если Дронов не смог сдержать себя, то что говорить про других? Он шесть лет прослужил на островке, где гарнизон был — раз, два и обчелся, потом, как морской пехотинец, всю оборону Ханко выдержал. Говорил редко и скупно. Но уж если говорил...

— Сдается мне, что забыли о нас в этой круговерти, — подлил масла в огонь Красавин.

И лейтенант Манечкин, которому тоже было тошно здесь, взорвался, он обрушился на всех сразу, обвинив в слабодушии, неверии в командование и вообще в нашу победу, в эгоизме и прочем, что только пришло в голову. Его выслушали. А когда он выдохся, захлебнулся собственной обидой, опять Дронов и подвел итог бурному разговору, вспыхнувшему так неожиданно:

— Зачем вы так, товарищ лейтенант? Мы к вам с открытой душой, а вы...

Действительно, зачем давать волю нервам? Или товарищи в чем-то виноваты? Не они ли вместе с ним честно выполняют то, что им приказано?

Паузу, тягостную для всех, попытался смять Красавин: попробовав уху, он искусственно весело оповестил:

— Бачковая тревога! Отродясь не едал такой вкуснятины!

Под вечер, когда солнце стало подумывать о покое и неспешно покатилося к горизонту, но жара была еще в полной силе, подошло еще одно стадо коров, как сказал дед, голову которого прикрывала выцветшая от времени казачья фуражка, самое последнее, поскребыши: мол, сзади только бойцы нашей армии, сдерживающие германа. Что поскребыши — убедились сразу: многие коровы были мечены фашистскими осколками и пулями, потому и еле брели; и хотя было в этом стаде, как доложил дед, сто пятьдесят три нормальных коровьих головы и две бабьих, растянулось оно чуть ли не на три километра.

Перекурром отметили прибытие этого стада, тогда дед и высказал единственную просьбу:

— Сходил бы кто из вас, сынки, вон к той дальней балочке. Там корова с перебитой ногой мается. С каких пор мается — не скажу, не знаю, но, как думается, не первый день. Ревет жалобно, подождать ее просит... Пожалуйста, пристрелите страдальцу.

Переглянулись Дронов с Красавиным, глянули на лейтенанта. Тот кивнул.

— Разрешите прихватить с собой и двух матросов с тральца? — попросил Красавин.

Почему бы и нет? Беженцев ни единой души, похоже, самых последних утром на тот берег переправили, так что команда катера-тральщика будет занята только дойкой коров.

Четыре матроса ушли к дальней балочке. Один из них нес что-то похожее на мешки. Мешки — это понятно, вполне естественно: грешно свежую говядину бросать в степи на растерзание коршунам, лисицам и прочим, кто охоч до чужого мяса.

А коровы все брели, хромали к Волге, надолго припадали губами к ее воде, подернутой легкой рябью. Скоро и дойщики приступили к работе. Одним словом, все было так, как и в минувшие дни; единственное отличие — толь-

ко две женщины были с дедом, лишь они, а не несколько, сейчас верховодили.

Напились вдосталь коровы, освободились от молока и устало улеглись в тени яра, пережевывая черт знает что. А Дронова с товарищами все не было. Переправу, разумеется, можно было начинать и без них, но вид коров был настолько жалок, что, не сговариваясь, решили дать им возможность отдохнуть, хотя бы частично восстановить силы.

Ждали больше часа, пока на кромке берегового обрыва не увидели четырех матросов и корову. Матросы шли по бокам, заведя под ее брюхо простыни; они почти несли корову, помогая одолеть последние десятки метров до переправы.

Оказалась корова около уреза воды — Ганюшкин, будто его шилом кольнули, сорвался с места, в несколько прыжков достиг катера-тральщика, а еще через считанные секунды перед мордой коровы поставил ведро с водой. Корова жадно пила, а они, моряки и солдаты с капитаном Очкиным, стояли вокруг и молча смотрели на ее провалившиеся бока, на свежую повязку на передней правой ноге, на множество мух и слепней, облепивших этот обрывок казенной простыни, уже успевший пропитаться кровью.

Ее, эту корову, не сознаваясь вслух, но уважая за стремление идти за всеми, первой завели на паром, поставили, как считали, на лучшее место.

Все было привычно, шло нормально. Оставалось сделать всего лишь один рейс, когда над Волгой появился фашистский самолет. И паром, принявший последних коров, замер у мостков, чтобы, выйдя на простор реки, не выдать себя.

Самолет, облетев свой участок, похоже, намеревался уходить, не обнаружив здесь цели для себя, и тут из ивняка, стеной стоявшего на том берегу, одна за другой взвились в небо две белые ракеты, потянулись к парому; не хватило у них сил долететь до него, но внимание самолета привлекли.

— Ракетчик! — крикнули сразу несколько человек. Зло, удивленно, даже растерянно, но только не испуганно.

А катер взревел мотором, стеганул по тому ивняку длинной пулеметной очередью.

Его командиру лейтенант Манечкин и приказал:

— Вызывай бомбовый удар на себя!

И катер-тральщик рванулся к левому берегу, непрерывно строча из пулемета, пуская разноцветные ракеты.

Испугался ли ракетчик пуль, прошивавших кусты ивняка, или посчитал, что свое сделал, но больше ни одна его ракета не оставила на звездном небе дымного следа.

Однако фашистскому летчику хватило и тех двух, он, зайдя от правого берега, пошел через реку вслед за катером-тральщиком, сбросил несколько бомб. Одна из них рванула почти рядом с паромом, обрушила на него потоки воды. И коровы словно обезумели, ошалело полезли на брусья ограждения. Казалось, еще минута — и они сокрушат их, бросятся в Волгу, где и погибнут. Если и не все, то очень многие.

Выручил дед. Он сорвал с себя пиджачок, набросил его на голову самой психованной коровы, передние ноги которой были уже на бруске ограждения, и заорал, насколько мог громко:

— Бабы! Закрывай им глаза, закрывай!

— Чем закроешь, если под рукой ничего нет? — чуть не заплакала одна из женщин.

— Юбку свою сымай, набрасывай корове на голову! — расвирипел дед.

Последовали женщины его совету или нет, этого лейтенант Манечкин не видел, он, как и другие, даже не взглянул в их сторону, он свой китель набросил на голову ближайшей коровы. И она замерла. Только мелко дрожала все время.

А катер-тральщик, отстреливаясь из пулемета, уводил самолет от переправы, уводил вниз по реке, где не было даже прибрежной деревни.

Ушел самолет — надел лейтенант Манечкин на себя китель. Осмотрелся. Сразу увидел своих матросов и капитана Очкина с солдатами. Они снимали с коровьих голов бушлаты, шинели. А Красавин уже беззаботно, задиристо рассказывал в полный голос всем, что Ганюшкин, испугавшись коровьего бунта, забыл, где у этой рогатой скотины глаза, ну и накрыл своим бушлатом ее зад.

Ему охотно ответили счастливым смехом.

Никогда моряки не сопровождали паром до того берега. А сейчас изменили правило. Может быть, потому, что это был последний рейс, потому, что понимали: задание командования, хотя оно и не очень пришлось им по душе, выполнено честно.

Контр-адмирал Чаплыгин принял лейтенанта Манечкина сразу, как только он о своем прибытии доложил через оперативного дежурного по бригаде. Пожал руку, предложил сесть и надолго замолчал. Потом спросил неожиданное:

— Твоего отца как звали?

Не уловил этого «звали», ответил несколько удивленно:

— Анемподист Стахеевич Манечкин.

И опять долгое молчание, во время которого адъютант было сунулся в кабинет, но адмирал так посмотрел на него, что тот поспешно и осторожно прикрыл за собой дверь.

Не знал лейтенант Манечкин, сколько времени они просидели молча. Наконец контр-адмирал встал, надел фуражку и будто выругался:

— Пойдем, лейтенант.

На берегу у дебаркадера стояли и курили Красавин, Ганюшкин, Дронов и Злобин. Увидев адмирала, они убрали самокрутки за спину, вытянулись. Словно в строю заморли. Тот кивнул им, но шага не замедлил. Он шел к поляне, на противоположных концах которой стояли самодельные футбольные ворота. Почти рядом с ним — лейтенант Манечкин, а шага на три сзади, гуськом, матросы.

Адмирал миновал поляну, вошел в дубовую рощицу и остановился около могучего дуба, от которого, возможно, и пошли все молодые дубки, курчавившиеся вокруг. У корней его лейтенант увидел могильный холмик земли, аккуратно обложенный дерном, и столбик с красной звездочкой. На дощечке, прибитой к столбику, было написано химическим карандашом: «Ефрейтор Манечкин Анемподист Стахеевич».

Лейтенант Манечкин видел и могильный холмик, и эту надпись, сделанную торопливой рукой, но несколько минут ему казалось просто невероятным, чудовищно несправедливым, что отца вдруг не стало, что из четырех мужчин, год назад бывших в их семье, пока лишь они с Ростиславом уцелели. Хотя насчет брата — это еще на воде вилами писано...

А контр-адмирал скупно рассказывал непривычно глуховатым голосом:

— Он был ранен в руку. Осколок перебил плечо. Ну, как и полагается в подобных случаях, гипс был наложен. Он, гипс этот, скорее всего, и помешал твоему отцу вы-

плыть, когда фашисты разбомбили госпитальный пароход... Обнаружили твоего отца аж в Куропаткинской воложке. По записи в медальоне опознали...

Тихо шелестят листвою дубки, словно уговаривают облегчить душу слезами. А где возьмешь их, те слезы, если злость к горлу подступила и душит, душит?..

А к Сталинграду, над которым зловеще нависла непроглядная туча черного дыма, идут новые десятки фашистских бомбардировщиков. Там и сейчас рвутся бомбы, снаряды и мины. Много бомб, снарядов и мин. Эхо тех взрывов хорошо слышно и здесь.

Контр-адмирал Чаплыгин, постояв еще немного с обнаженной головой, наконец попятился от могилы лично ему неизвестного солдата, оказавшись под защитой дубков, надел фуражку и сказал, стараясь голосом не порушить скорбную, волнующую тишину:

— Потом зайди. Дело есть.

9

До тошноты пусто и холодно было в груди лейтенанта Манечкина. Словно кто-то разом вырвал все оттуда, вырвал точно в то мгновение, когда он, Игорь Манечкин, понял, что стоит действительно у могилы отца. Пусто и холодно было в груди, но адмирал сказал, и он, пересилив себя, зашагал к штабному дебаркадеру; матросы, будто это было оговорено заранее, потянулись следом. Потому пошел, что твердо знал: без крайней необходимости адмирал сегодня не потревожил бы его.

Шел знакомой тропочкой и мимо тех самых дубков, которыми любовался не раз. И ничего этого сегодня не видел. Бесцветным, лишенным запахов и звуков стало для него сейчас все окружающее. Только этот холмик земли, оставшийся за спиной, был трагической реальностью. И фанерка с лаконичной надписью: «Ефрейтор Манечкин Анемподист Стахеевич»...

Метров сто не дошли до штабного дебаркадера — увидели бронекатер, недавно побывавший в яростном бою: и несколько свежих заплат пятнали его борта и рубку, и во многих местах на корпусе катера краска сгорела начисто.

На палубе этого израненного и обожженного бронекатера стояли контр-адмирал Чаплыгин, какой-то армейский генерал-лейтенант и еще двое без каких-либо знаков различия, но в начищенных хромовых сапогах, диагональных

галифе и хорошего сукна гимнастерках. Эти двое, по всему чувствовалось, были здесь старшими, именно они заседали на адмирала, допекали его какими-то вопросами; генерал, похоже, пока с большим трудом придерживался нейтралитета.

Увидев Манечкина и его матросов, адмирал призывно замахал рукой и, когда, козырнув, лейтенант остановился в трех шагах от него, сказал с огромным облегчением, которое и не попытался скрыть:

— Он примет бронекатер. Уже сегодня. Сейчас. Он — Манечкин. Тот самый.

Лейтенант Манечкин, на которого сегодня обрушилось много самого разного, еще угрюмо молчал, осмысливая услышанное, а генерал, не тая радости, уже поспешил закончить неприятный ему разговор:

— Так и запишем: и этот бронекатер сегодня ночью тоже работает на переправе.

Прозвучали эти слова — начальство покинуло бронекатер. Тотчас из моторного отсека и носового кубрика вылезло несколько матросов. От них и узнали, что изуродован бронекатер три дня назад у села Рынок, где фашисты все же вышли к Волге; вот и случилось, что приказ командования — прорваться в Сталинград — бронекатер выполнил, но почти без половины личного состава и обгоревший, с пробоинами в бортах и рубке. А на переправах знаете какая сейчас свистопляска? Знаете, в какой цене там сейчас вообще каждая плавающая единица? А тут — новейший бронекатер стоит на приколе! Теперь понятно, почему здесь недавно такой шум был?

, — Ты-то откуда знаешь про ту свистопляску, если ваш бронекатер и часа там не проработал? — подколот Красавин.

Чернявый матрос, который вел рассказ, похоже, хотел ответить резкостью, но в последний момент сдержался, только вопросом и ограничился:

— А кто тебе, браток, так безбожно наврал, будто мы на тех переправах не бывали? — Помолчал и пояснил вовсе миролюбиво: — На всех бронекатерах личного состава не хватает, так что отоспаться начальство нам не позволило.

Еще совсем немного поговорили, познавая друг друга, а потом вместе и дружно начали подготовку к ночной работе на переправе: по горловины залили топливо в баки, дополнили боезапас и проверили, нет ли чего лишнего

в кубриках или еще где. Такого, что могло вспыхнуть от малейшего случайного огня или вообще без особой пользы занимало место. Сделали все это — лейтенант Манечкин разрешил отдыхать, хотя у самого душу рвала тревога: вдруг что-то еще сделать необходимо?

Конец душевным терзаниям положил знакомый командир из штаба бригады, который, прибежав на катер, сказал с каким-то необъяснимым задором:

— А вам, салажата, здорово повезло: сегодня по графику я иду обеспечивающим на переправу!

Когда на следующее утро бронекатер вернулся на место стоянки, на календаре, висевшем на стене в каюте оперативного дежурного, было 29 августа. Это число запомнили. Как день, когда стали защитниками этого волжского города. А дальше сутки и вовсе замелькали, похожие друг на друга напряженностью каждой прожитой минуты.

Мелькали сутки — появлялись новые и новые пробоины и шрамы. Пока, правда, вражеские снаряды аккуратно обходили жизненно важное — моторный отсек, топливные баки, орудийную башню и боевую рубку, но Манечкин и его товарищи знали, что везение не бывает бесконечным, что оно, как правило, шарахается от тебя в самую неожиданную, самую необходимую тебе минуту. И, случается, надолго.

Вроде бы и счастье было неизменно с ними, а Ивана Злобина вдруг не стало. Под тот самый срез каски, что его лоб прикрывал, угодил вражеский осколок.

Ивана Злобина, как и других моряков бригады, похоронили на той же полянке, где и отца лейтенанта Манечкина. Днем похоронили, а уже ночью, когда на палубу и в кубрики приняли десантников, лейтенант Манечкин вдруг заметил, что за крупнокалиберными пулеметами вместо Злобина обосновался кто-то не известный ему, командиру бронекатера. Кто такой и как попал на катер — об этом спрашивать не стал: и завтра успеется, если живы будем.

Всю ночь работали как обычно: под огнем фашистов доставляли в Сталинград десантников, боезапас и продовольствие, а обратно спешили, только приняв раненых. Короче говоря, командиру бронекатера забот хватало с избытком, и он лишь в самом начале ночи иногда поглядывал в сторону нового пулеметчика, прослеживал, куда уно-

сились строчки его пуль. Потом, убедившись, что тот дело свое знает, вычеркнул его из памяти. Временно вычеркнул. И был не просто удивлен, был возмущен до глубины души, когда утром, вернувшись на базу, захотел познакомиться с новым членом экипажа, а того и след простыл. Спросил о нем у матросов — ответили, что знать ничего не знают. Однако чересчур преданно они смотрели ему в глаза, поэтому разговор о новом пулеметчике лейтенант решил возобновить поближе к вечеру и, перекусив наскоро, ушел к могиле отца, где привык и даже полюбил сидеть в полном одиночестве; в первые дни — жадно вспоминая прошлое, с головой окунаясь в него или очень бережно прикасаясь памятью к житейским мелочам, которые уже были и теперь никогда больше не повторятся, а потом, когда несколько притупилась боль утраты, стал сравнительно спокойно обдумывать будущее, послевоенное житье. Сначала намеревался маму с Ростиславом после войны забрать к себе. Почти сразу же отказался от этой мысли: и Ростислав уже далеко не мальчишкой станет, свою жизненную тропу самостоятельно пробивать начнет, да и он, Игорь, не осядет где-то на годы, у него профессия такая, что он, повинувшись приказу командования, может в любую минуту сорваться с, казалось бы, насиженного места. Легко ли будет маме привыкать к внезапным и — возможно — частым переездам, если за все прошлые десятилетия она ни разу из Бродска не выезжала?

Да, теперь, когда он сидел у могилы отца, острой боли утраты уже не было. Вместо нее народилась тихая грусть, которая почему-то несла успокоение, давала силы для того, чтобы работать и работать на переправе, не обращая внимания на пули и осколки, дырявящие воздух рядом с твоей головой.

Здесь, у могилы отца, когда лейтенант Манечкин несколько уже обмяк душой, к нему и подошла девчушка в матросской форме. Не козырнула, как того требовал устав, а сказала, чуть поклонившись:

— Здравствуйте, Игорь Анемподистович.

Сказанное так противоречило всему укладу сегодняшней жизни, всему, к чему он привык за годы военной службы, что он не выговорил ей, не поправил ее. Только долго и молча смотрел на нее. Вот и разглядел ласковые карие глаза и задорные ямочки на смугловатых щеках. Подумалось, что он уже видел их где-то. Без твердой уверенности подумалось.

Она выдержала его взгляд, вроде бы нисколько не смутившись, потом присела по ту сторону могильного холмика, поджав под себя ноги, и удивленно, даже разочарованно спросила:

— Не узнаете, значит? А я вас сразу признала, как только вы сюда вернулись.— Зачем-то прикоснулась рукой к черному берету, кокетливо сбитому почти на левое ухо, и продолжила уже без малейшего намека на игривость: — Вера я, Вера Гулько. Шла с гуртом коров. С теми самыми, которых вы доили... Теперь вспомнили?

Не вспомнил, но не сознался в этом, только спросил:

— И каких же ты вершин на флотской службе достигла?

Не намеревался обидеть, спросил лишь для того, чтобы поддержать разговор, а она угрожающе свела к переносице брови-стрелы, зыркнула на него потемневшими карими глазищами и выпалила с явным вызовом:

— До сегодняшнего дня была посудомойкой на камбузе, а теперь — пулеметчица на вашем бронекатере!

Выпалила это, встала и, даже не взглянув на лейтенанта, решительно зашагала прочь.

Этого он не смог простить и окликнул спокойно, словно и не разозлился вовсе:

— Товарищ краснофлотец!

Она будто не услышала.

Тогда позвал во весь голос и гневно.

Теперь она остановилась, повернулась к нему лицом и сказала чуть дрогнувшим от слез голосом:

— Почему вы кричите на меня?.. Я подошла к вам как к человеку, а вы... Между прочим, направление пулеметчицей на ваш бронекатер самим командиром бригады подписано, так что, когда явлюсь сегодня вечером для прохождения службы, прогнать меня у вас сил маловато будет!

Выпалила это и убежала в дубовую рощицу.

А он, лейтенант Игорь Манечкин, остался сидеть у могилы отца. Сначала сердитый, можно сказать — взбешенный словами и поведением этой взбалмошной девчонки, а потом — и сам не заметил когда — стал думать о краснофлотце Вере Гулько с откровенной симпатией. Даже оправдал ее желание служить не просто на флоте, а именно на боевом корабле: как фактами свидетельствует история, русские женщины еще со времени парусного флота на

военных кораблях тайком служили, наравне с мужчинами и с врагами Родины бились, и ураганные штормы осиливали.

10

Себе не признаваясь в этом, он ждал вечера с огромным нетерпением. Как уверял себя, для того, чтобы точно знать: придет на катер краснофлотец Вера Гулько или ее слова о том, что она имеет направление, подписанное самим контр-адмиралом, пустое бахвальство?

Сам не знал, чего хотел больше.

Она пришла еще до захода солнца, пришла в самый разгар подготовки к ночной работе и четко доложила лейтенанту:

— Краснофлотец Гулько прибыла для дальнейшего прохождения службы!

Громко, с вызовом почти прокричала все это и размашистым, несколько картинным жестом, подсмотренным из какой-то книги или фильма, протянула листочек бумаги, сложенный пополам. Лейтенант Манечкин понял, что это и есть то самое направление, которым она грозилась. Он читал его умышленно долго, а она — высокая, почти перерезанная в талии поясным ремнем — стояла перед ним в щеголевато подогнанном обмундировании (и когда только успела?) и смотрела на него с откровенным вызовом.

В ответ и родилась озорная мысль, ее он и высказал, замаскировав под самую обыкновенную команду:

— Марш на свой боевой пост!

Боевой пост пулеметчика — на крыше рубки, туда в юбке, да еще несколько зауженной и укороченной, не очень-то просто вскарабкаться. И матрос Вера Гулько в растерянности смотрела на лейтенанта, глазами молила его об элементарной помощи, просила приказать всем матросам плясть не на нее, которая уже поняла свою ошибку, а хотя бы на реку, играющую солнечными зайчиками. Всего на считанные мгновения просила приказать всем отвернуться!

Он не понял или не захотел понять ее немой мольбы, он остался холодным воплощением суровой флотской дисциплины. Тогда, разозлившись и не подумав, что это грубейшее нарушение уставов, она и сказала, решительно шагнув к скоб-трапу:

— Чтоб полопались ваши бесстыжие зенки!

Чуть не плакала от обиды, но полезла на свой боевой пост, ни разу даже мельком не глянув на своих новых товарищей. И зря: с радостью отметила бы, что ни один из них и глазом не повел в ее сторону.

Только доложила, что находится на боевом посту, лейтенант приказал ей наблюдать пока лишь за воздухом, а остальным матросам жестом руки велел спуститься в носовой кубрик, где сразу и спросил, глядя в плутоватые глаза Красавина:

— Еще вчера знали, что она к нам назначена?

— Так точно, — подтвердил тот.

— Это по вашим ухмылочкам я еще утром понял...

А вот о нашем к ней отношении подумали?

За всех без промедления ответил Дронов, достав из своего рундука выстиранный комбинезон и протянув его лейтенанту.

Последние сомнения снял Красавин, своими словами выдав, что между собой они все это основательно обговорили:

— Великоват он, конечно, малость, но подгонит по своим габаритам. Или ей грош цена в базарный день.

Лейтенант небрежно бросил комбинезон на рундук, давая знать, что с этим вопросом покончено, и высказал то, что его тоже волновало:

— Надо бы ей на катере место для жилья выделить. Пока, правда, в этом вроде бы и нет нужды — на отдых сюда возвращаемся, но чем черт не шутит?.. Верю, никто из нас ее не обидит, если она и в любом кубрике заночует. Однако зачем без особой на то нужды себя и ее стеснять?.. Думаю, пусть она мою, командирскую, каюту занимает. А я...

— Про вас и говорить нечего, — пожал плечами Ганюшкин. — Какое место облюбуете, то и ваше.

Остальные даже малого протеста не выразили.

11

Обосновавшись на бронекатере, Вера прежде всего и решительно захватила в свои руки все питание личного состава. Потом заявила, что не потерпит заросших волосами физиономий; дескать, ей вообще противно, когда взрослый человек, чтобы скрыть свою самую обыкновенную лень, врет окружающим, будто намерен отпустить бороду и усы.

Когда она завладела камбузом, ее действия даже одобрили. А вот тут кое-кто оказал сопротивление, заявил, что борода и усы уже не ее ума дело, что для этого командир катера и другое начальство имеются. В ответ она сказала с явной угрозой:

— Ты моего характера еще не нюхивал, ну и помалкивай в тряпочку, пока тебя не вызвали.

У каждого матроса характер был свой. Сложившийся за годы флотской службы. Но всем им очень понравилось, что эта девчонка не оробела перед мужиками, которых фашисты с перепугу окрестили черными дьяволами. Поэтому и оставили без ответа ее столь категоричное заявление.

Попыталась Вера прибрать к рукам и стирку матросского белья. Однако натолкнулась на единодушный отпор; больше того, ей с угрозой заявили, что настала пора самой поукоротить свои заgreбушие руки, пока другие этого не сделали.

И глазищами гневно сверкала, и с мольбой на лейтенанта поглядывала — не помогло. Тогда, гордо вскинув голову, убежала в бывшую командирскую каюту, где, бросившись на узенькую койку, и наревелась вдоволь.

Единственным, кто оказался бессилем отразить эту атаку Веры, оказался лейтенант Манечкин. И прежде всего потому, что матросы не поддержали его протеста. Больше того, Красавин даже откровенно предал при общем молчаливом одобрении:

— А вот шефство над лейтенантом — стоящее дело.

Только не шефство было это, а самая настоящая большая и первая любовь. Да Вера и не пыталась скрывать этого: не только охотно стирала его тельняшку, стирала чуть ли не при первой возможности, не только дважды в день пришивала к его кителю чистый подворотничок, а раз в неделю умудрялась даже брюки его гладить; она вообще влюбленными глазами следила за каждым движением лейтенанта и по окончании очередной вражеской воздушной атаки обязательно с тревогой заглядывала в рубку: не ранило ли любимого?

Лейтенанту Манечкину нравилось, ласкало душу внимание Веры, становилось ликующе-радостно на душе, когда под его взглядом она вдруг начинала вроде бы светиться изнутри. И у могилы отца он теперь любил бывать больше с нею, чем один. Но от своей любви еще отрещи-

вался, упорно убеждал себя, что Вера для него просто хороший товарищ. Не больше.

Самое же радостное — в жизнь личного состава бронекатера составной частью распорядка дня вошли посиделки. Они, как правило, начинались во второй половине дня, если ничего срочного не было. И в зависимости от погоды проходили в носовом кубрике бронекатера или на берегу. Сидели там дружной семьей, душевно пели, что больше всего настроению соответствовало, или неспешно разговаривали, вспоминая прошлую жизнь, мечтая о будущей.

Но первые дни, когда еще только нарождалось это хорошее, расспрашивали преимущественно Веру. О том, где родилась, в какой семье и о многом другом. Она откровенно рассказала, что в этом году в родной станице Краснотальской окончила десять классов, хотела бы и дальше учиться, только... Или сами не видите, как и куда жизнь вдруг пошла?

А семья у них самая нормальная во всех отношениях: кроме отца с мамой, шесть братьев и она, Вера, единственная и в самой середочке между ними. Отец и мама — казачьего рода. И тут же пояснила, нисколько не сомневаясь в правоте того, что говорила:

— Казак, он потому и казак, что, чуть обнаружится враг около наших пограничных рубежей, он хватает пику вострую, шашку верную да винтовку меткую и скок в седло!.. В первый день войны отец и три старших брата ушли в военкомат, чтобы поскорее до части определиться.

Помолчав, добавила, что вот и она, Вера, уже определилась в действующую флотилию; уверена, что и меньшие братья вместе с мамой сейчас в плавнях или еще где партизанят. С большой внутренней гордостью сказала это.

О многом и по первой просьбе рассказывала Вера. Но неизменно, умышленно комкала или даже вовсе обрывала разговор, едва он начинал скользить к тому времени, когда она впервые увидела лейтенанта Манечкина да что при этом почувствовала. Ничего тогда не произошло такого, чего можно было бы стыдиться сейчас, но только так неизменно поступала. Может быть, и потому, что в тот день она впервые увидела живых моряков и их форму, красивей которой — это она определила сразу и безоговорочно — нет ничего во всем мире.

Самым же впечатляющим и влекущим для нее оказался командир. Вот его и запомнила намертво и сразу. Из-за него, оказавшись на левом берегу Волги, сразу и забежала

в военкомат, какой первым увидела, заявила военному, что согласна пойти добровольцем в Волжскую военную флотилию. Он дал ей листок бумаги и подсказал, как написать заявление. А дальше все и вовсе просто было: моряки без малейшей волокиты определили ее посудомойкой на камбуз, особо подчеркнув, что она уже в ближайшее время должна обязательно освоить и хоть одну какую-нибудь сугубо военную специальность. Она почему-то сразу и безоговорочно решила, что будет пулеметчицей. Вот и стала ею. К самому важному для своей судьбы моменту подошла. Во всяком случае, она так считала.

А любовь пришла после того, как несколько раз увидела лейтенанта на могиле его отца, где он сидел одиошенок и грустно смотрел в землю. Вот тогда впервые и мелькнула мысль, что она, Вера, просто обязана все время быть рядом с ним. Чтобы помочь в трудную минуту, чтобы... Да мало ли почему в жизни ему вдруг может потребоваться настоящий друг?

Твердо решила, что должно быть только так, поэтому, хотя и робела, уловила контр-адмирала, когда настроение у него было сравнительно нормальное, и без уверток, честно высказала свою просьбу. Тот испытующе глянул на нее, немного подумал и все же дал столь нужное ей разрешение.

Вот и все, что теперь осталось уже в прошлом. Ну, спрашивается, чего здесь можно стыдиться? Но она неизменно умышленно комкала или даже вообще обрывала разговор, едва он начинал скользить к тому времени, когда она впервые увидела лейтенанта Манечкина.

А время неумолимо бежало вперед и все круче и круче замешивало Сталинградскую битву, не жалея ни крови, ни железа. Теперь уже почти весь город захватили фашисты, теперь наши солдаты кое-где цеплялись лишь за береговую кромочку. А фашисты все настырнее и настырнее лезли вперед, стянув к городу, истекающему кровью, не только свои лучшие войска и множество боевой техники, но и дивизии, бригады, полки и эскадроны своих союзников. Но наши солдаты по-прежнему держались на своих рубежах обороны. Казалось, из последних сил держались. В том числе и потому, что почти каждую ночь к ним с пополнением, боезапасом и продовольствием прорывались катера Волжской военной флотилии. А на левый берег Волги они увозили только тех раненых, которые уже не могли вести бой. Не сами выбирали таких: те, кто еще

мог держать в руках автомат или винтовку, к урезу воды не приближались.

За этот месяц многие катера флотилии, истерзанные вражескими снарядами, бомбами и минами, опустились на дно Волги и лежали там, укутанные илом, заносимые песком.

Их бронекатер судьба пока миловала. Вот и сегодня он уже третий раз бежит в Сталинград, а фашистские снаряды и мины все еще не могут нащупать его.

Благополучно и этот рейс в Сталинград завершили, а вот, приняв раненых, только отошли от берега метров на двадцать или тридцать, тут и раздался скрежет. Короткий, противный, яростный. Поняли: бронекатер распорол днище. А вот обо что? Еще час назад здесь была нормальная глубина. Хотя так ли уж обязательно знать, на что напоролся бронекатер? Сейчас во много раз важнее то, что он мгновенно сел на нос и ощутимо потерял в скорости.

Немногие раненые, сегодня лежавшие и сидевшие только на верхней палубе, еще тревожно переглядывались, не понимая, что случилось, бессильные правильно оценить серьезность происшедшего, а Дронов с Красавиным уже нырнули в носовой люк; только лягнул он. Лейтенант Манечкин, стоявший в рубке рядом со штурвальным Ганюшкиным, несколько секунд ждал, что вот-вот приподнимется та крышка люка, высунется по пояс кто-то из матросов и проорет, чтобы немедленно подали то-то. Но крышка люка оставалась недвижима. Тогда он вдруг, будто на мгновение заглянув в носовой кубрик, отчетливо увидел пробойну с рваными краями, торчащими внутрь катера; на подобные пробоины можно сравнительно легко наложить пластырь, снаружи наложить, или... Или остается терпеливо ждать, когда вода, ворвавшаяся в пробойну, так сожмет воздух, оказавшийся в этом помещении, что сравняет свое и его давление.

Пластыря их бронекатер не имел. Значит, товарищам на выбор оставалось только второе...

Может быть, уже около сердца Дронова и Красавина замкнулся сейчас леденящий обруч воды?..

Чтобы снизить давление забортной воды и тем самым хоть и самую малость, но помочь товарищам, лейтенант Манечкин сбавил ход до среднего.

В носовом кубрике этого будто не заметили.

Тогда, выждав немного, уменьшил ход до малого.

И опять ответом было молчание!

А стоять или даже просто задерживаться здесь никак нельзя: фашисты уже почти пристрелялись, их снаряды и мины вот-вот начнут ложиться с предельной точностью.

Ганюшкин, от которого не укрылась секундная растерянность командира, сказал, будто думая вслух:

— Морзянкой можно воспользоваться. Как политические заключенные при царском режиме.

В ответ ждал чего угодно, только не того, что лейтенанта ярость захлестнет, что он с криком обрушится:

— А ты пробовал морзяночным перестуком разговаривать? Пробовал? А ну, простучи мне сначала две точки, а следом — точку и тире! Чего пялишься на меня? Стучи, раз такой умный!

Ганюшкин уже понял, что обыкновенный стук — это тебе не электрическая лампочка, не сирена или гудок, им длину тире не передашь; значит, есть в этом вроде бы чрезвычайно простом средстве связи какая-то заковыка, может быть, самая малая, немудреная, но обязательно есть. Вот и выходит, что, если ты намерен перестук освоить, сначала ее разгадай.

А лейтенант уже отошел сердцем, ворчит вполне нормально:

— Ничего, не сахарные, не размокнут.

И бронекатер неспешно идет в ночь, идет туда, где ее не рвут, не пластают на куски отблески пожаров. А Ганюшкин думает, что при такой скорости бронекатера Дронову с Красавиным более часа, погрузившись почти по шею, придется сидеть в холоднущей воде. Сегодня не июль, а первое октября...

12

Не подошел — скользнул бронекатер Манечкина и не к мосткам, где швартовались все, а без единого толчка вполз на пески, выбеленные солнцем и ветрами всех румбов. Бригадное начальство, которому по радио доложили о случившемся, уже ждало их и, едва катер плотно сел на пески, поднялось на палубу. Контр-адмиралу Дронов с Красавиным пробойну показали, доложили, что успели сделать для спасения катера.

Контр-адмирал, внимательно осмотрев пробойну и выслушав не только Дронова с Красавиным, но и лейтенанта Манечкина, всему личному составу бронекатера объявил благодарность, всем без исключения пожал руку. Он

же и сказал, что днище свое они распоролы о паром с танками, который минут за тридцать до их прихода именно там утопили фашисты. И еще добавил, прощаясь:

— Как видишь, от первоначальной моей задумки один пшик остался. Но это ли в жизни человека главное?.. Просто замечательно, когда у человека чиста гражданская совесть.

Ушло начальство — матросы спросили: а что такое за штука гражданская совесть, с чем ее едят? Дескать, совесть — это очень даже понятно, совесть воина, честь его — и того больше. Но при чем в сегодняшней обстановке гражданская совесть?

Лейтенант Манечкин честно признался, что впервые слышит такое сочетание слов.

— Может, намек на скорую демобилизацию, — начал было Ганюшкин и тут же сам себя опроверг: — Нет, вам, как тому солдатскому котелку, еще вкалывать и вкалывать.

— Скорее всего, адмирал напомнил нам, что самое высокое звание любого человека — гражданин, — начал лейтенант Манечкин, но Красавин бесцеремонно перебил его с горькой иронией:

— Гражданин начальник — куда уж выше.

— Зачем бросаться в крайности, зачем передергивать? — возразил лейтенант Манечкин. — О большом, о главном значении этого слова мы всегда помнить должны.

Сказал это, а подумал о том, что до сегодняшнего дня не удосужился он, лейтенант Манечкин, узнать у бригадного начальства, снята с Красавина судимость или нет; ведь, если память не подводит, почти месяц назад ходатайство об этом ушло в Москву или еще куда.

В это время на палубе бронекатера и загрохотали ботинки ремонтников — мичмана и семи матросов.

Почти двое суток с короткими перерывами для еды работали матросы-ремонтники и личный состав бронекатера. Настолько измотались, что, наложив последний сварочный шов, вповалку грохнулись на рундуки и так крепко уснули, что проспали приход контр-адмирала. Правда, как потом рассказывали те, кто сопровождал его, он, чтобы не потревожить их сон, сразу же перешел на еле слышный шепот. Но все равно разве это нормальное явление, если матросы кожей своей не почувствовали присутствия высокого начальства?

Как могли добротно отремонтировали бронекатер, и он

снова стал ежедневно бегать в осажденный фашистами город.

Вроде бы все было по-прежнему на переправах, но уже скоро лейтенант Манечкин почувствовал, что зарождается, крепнет с каждым днем и что-то новое. Прежде всего — непоколебимая убежденность, что фашистские полчища остановлены, что дальше им хода нет. И не будет!

Не только лейтенант Манечкин, очень многие поняли, что обязательно победят в этой битве, разразившейся на берегах Волги. Поняли, что победа уже где-то рядом, что она невероятно близка, но не позволили себе расслабиться: по-прежнему упорно работали на переправах, по-прежнему яростно шли на бой с врагом.

Единственное, что не нравилось лейтенанту Манечкину, что он осуждал открыто, — некоторые матросы настолько пропитались самоуверенностью, что осмеливались высказывать свое недовольство командованием. И непосредственным, и тем, которое больше из Москвы и не боями, а сражениями руководило. Дело в том, что матросы собственными глазами видели на левом берегу свежие дивизии и полки, стоявшие в полном бездействии, когда в Сталинграде горстки советских солдат из последних сил цеплялись за груды битого и задымленного кирпича или просто за подмерзшую землю; упорно полз еще и слушок, будто севернее и южнее Сталинграда наших сил скопилось и того больше. Спрашивается, почему наше командование немедленно не бросит в бой эту огромную силищу? Неужели все еще опасается фашистов, не верит, что здесь они безвозвратно сломлены?

Эти мысли высказывали вслух. Конечно, не в бою, а потом, когда в землянках коротали дневные часы. Самое же удивительное — политработники, при которых, случилось, возникали эти разговоры, почему-то в ответ только и бросали, что всякому овощу свое время.

С конца октября жили в землянках, подготовленных в начале лета, подготовленных без спешки и поэтому добротно. Отогревались в землянках у печек-буржук и думали, говорили о том, что ходить в Сталинград с каждым днем становится все труднее и труднее. Из-за морозца, который норовил ледяной коркой покрыть катер, из-за снега, слепящего глаза. Особенно же тяжело, можно сказать невыносимо, плавать стало, когда по Волге сначала редкими и еле заметными островками, а потом почти сплошным потоком пошло сало. Оно не только крало скорость и

ухудшало маневренность катеров. Оно забивало приемники забортной воды, и моторы перегревались, при малейшем недогляде могли выйти из строя. Но желание работать на переправах было столь неодолимо, что на некоторых катерах находились добровольцы, ложившиеся на палубу и пальцами выдиравшие ледяное крошево из приемников забортной воды. Гребни волн, срывааемые ветром, обрушивались на них, и люди примерзали к палубе, становились похожи на ледяные глыбы, но не уходили с боевого поста, который сами себе выбрали.

19 ноября сала Волга несла сравнительно немного, и лейтенант Манечкин с товарищами вполне терпимо и ночь отработали на переправе, и вернулись на место своей стоянки. Только заглушили мотор, не успели и почувствовать окружающую тишину, как земля задрожала мелко-мелко. В тот же миг яркие сполохи заиграли на серых тучах, нависших над правым берегом Волги, севернее и южнее Сталинграда заиграли.

Чтобы в катерном журнале увиденное зафиксировать предельно точно, лейтенант Манечкин глянул на часы. Было 7 часов 30 минут.

Еще переглядывались, остерегаясь дать волю своей догадке, а тут до них и докатился даже не залп, а мощный рокот, порожденный множеством орудий.

Потом, когда исчезли последние сомнения, лейтенант Манечкин, дав волю нахлынувшим чувствам, обнял всех матросов поочередно, всех поздравил с началом конца великой битвы. И как-то так, помимо его воли, случилось, что Вера попалась ему на глаза последней. Значит, самой судьбой было определено им, прижавшись друг к другу и оказавшись почему-то в полном одиночестве, простоять несколько дольше, чем было необходимо для официального поздравления.

А еще через час или около того приполз и радостный слух, которому поверили сразу и безоговорочно: войска Юго-Западного и Донского фронтов одновременно начали наступление, с такой силой и неожиданно ударили по линии фашистской обороны, что она кое-где дала трещины; дескать, пройдет еще совсем немного времени, и фашистские вояки попадут в такое окружение, подобного которому пока не зафиксировано мировой историей.

Очень радовались, можно сказать — ликовали, но с наступлением сумерек, как стало уже привычным, снова ушли на переправу. И проработали там всю ночь, хотя по реке

не только сало косяками шло, но и отдельные льдинки и даже льдины беловатыми пятнами обозначались.

Вернулись на базу, не успела Вера приготовить общий завтрак — по ушам ударил грохот артиллерийских залпов здесь, на левом берегу Волги, грохот разрывов многих снарядов в городе, там, откуда еще минуту назад стреляли фашисты. А связисты, дежурившие у коммутаторов и на линии, уже шепчут доверительно: перешла в наступление 51-я армия Сталинградского фронта.

Многие матросы радостно чертыхнулись, кое-кто даже возопил, что вот, мол, оно, то время, когда наши овощи созреть начали!

Только стали успокаиваться — приполз слух, что двинулась вперед и 57-я армия. Минуло еще около двух часов — официально сообщили, что ударила по фашистам и 64-я.

Интересно, а какой приказ получила 62-я армия генерала Чуйкова, на которую они, моряки, и работали все эти месяцы?

А моряки флотилии по-прежнему работали на переправах. Куда посылали, там и работали. Вроде бы даже с еще большим напряжением всех сил, с еще большим ожесточением.

До 23 ноября военное счастье было включено в штатное расписание бронекатера лейтенанта Манечкина. А в эту ночь, едва он, разбрасывая носом сало и раздвигая льдины, пошел в первый рейс, оно сбежало куда-то. Потому, когда они подходили к правому берегу, случайный снаряд разорвался так близко, что мотор мгновенно заглох.

Матросы еще не все и не до конца поняли, что случилось, а лейтенант Манечкин уже прокричал в орудейную башню и Вере:

— Не стрелять! Не обнаруживать себя!

Правильно и своевременно отдал приказание: на черной воде бронекатер сейчас почти невидим.

А берег, припорошенный снегом, угрожающе близок. Единственное, что несколько успокаивает, — вроде бы наши здесь оборону держат.

Лейтенант Манечкин вглядывался в береговую черту, чтобы развеять последние свои сомнения. А течение знай себе несло бронекатер, несло. К песчаной отмели, на которой чернел остов сгоревшей там баржи-нефтянки. Около него Волга уже нагромоздила льдин. Хотя, пожалуй, это даже лучше, что течение прибьет бронекатер ко льду, а не

к песчаной отмели: в этом случае под днищем обязательно должен будет остаться запас глубины. Мороз, если к утру наберет силу, может сковать с тем льдом? Правильно, может. А кранцы у нас на что? Мы их проложим между бортом катера и льдиной — вот и весь сказ. В самом худшем варианте, если уж очень мороз расшвирует, оставим ему кранцы, а сами убежим. Подумал так лейтенант Манечкин и поэтому, едва коснулись бортом льдины, сказал Ганюшкину:

— Вывали кранцы с левого борта и швартуяся. Так, чтобы в любой момент убежать можно было.

Скомандовал и проследил, чтобы Ганюшкин не забыл вывалить кранцы — две старые автопокрышки.

До берега — метров сто. До фашистов — около трехсот. Не больше. Заметят фашисты катер или нет? Если заметят...

В рубку входит Дронов и говорит:

— Поврежден мотор. Но будет исправен. А вот когда...

Чувствуется, ему хочется поговорить, может быть, поплакаться на свою судьбу-злодейку, но лейтенант настроен решительно, можно сказать — агрессивно, он отрывисто бросает:

— Пусть радист отстучит, где мы и что с нами.

Внешне чрезвычайно спокоен был лейтенант Манечкин, хотя, кажется, в любой жилочке его тела пульсируют вопросы. Самые различные, но все так или иначе касающиеся одного: что надо сделать, чтобы фашисты не обнаружили катер, не расстреляли, не утопили его?

И еще подумалось: просто прекрасно, что сейчас нет на катере ни одного солдата-десантника, что впервые за всю Сталинградскую битву он сегодня обязан доставить в город только боезапас и продовольствие.

Все члены экипажа находились на своих боевых постах. Лейтенант Манечкин — в рубке. Так предписывало боевое расписание. Да и ответ ждал на свою радиограмму. С нетерпением ждал, хотя знал, был уверен, что в нем только и будет сказано: «Принимаем меры спасению катера».

Принимаем меры... Что предпримешь для спасения бронекатера, если плавающих единиц сейчас в бригаде кот наплакал? Хочешь или не хочешь, а невольно вспоминается, что позавчера два бронекатера, продираясь через скопление сала, перегрели моторы, даже заклинили их...

Ответ на радиограмму, ответ за подписью командира

бригады пришел неожиданно быстро и гласил: «Личному составу разрешаю на день перейти на берег, укрыться в блиндажах пехоты».

Сам контр-адмирал подписал эту шифровку...

Что ж, все понятно: чтобы спасти хотя бы личный состав, адмирал разрешает покинуть бронекатер. Пожалуй, правильное решение: наша промышленность сейчас темп уже набрала, она тебе какую угодно технику мигом сварганит, а вот солдата стбящего... Только он, лейтенант Манечкин, с катера не уйдет! И не потому, что намерен, начитавшись романов, погибнуть вместе со своим кораблем. Если быть откровенным, все проще, жизненное во много раз: истории известны факты, когда корабль, покинутый командой без должных на то оснований, случалось, жил еще часы и даже сутки, тонул лишь потому, что в ничтожно малую пробоину, которую на покинутом людьми корабле некому было заделать, непрерывно поступала вода. С их бронекатером подобное никогда не случится!

А вот личный состав пусть уходит к солдатам на берег. Кто хочет, конечно. И он, лейтенант Манечкин, чтобы совесть у него была чиста, просто обязан собрать матросов и всем объявить решение адмирала.

Собрать личный состав? Да не такое сейчас время, чтобы даже самое короткое собрание проводить! И он дает Ганюшкину шифровку, наказывает ознакомить с ней всех. Под расписку ознакомить.

— А Гулько я сам скажу, — заканчивает он.

— Что скажете, Игорь Анемподистович? Интересное? Меня касающееся? — моментально игриво откликается она.

Захотелось вскарабкаться к пулеметам, обнять Веру и сказать, что ему будет невероятно больно, если с ней что-нибудь случится, что она одна такая на всем огромном белом свете. Ограничился тем, что сухо пересказал ей содержание шифровки и спросил, как она, Вера, намерена поступить.

— С вами на катере останусь, — без малейших колебаний ответила она с легкой грустью. И добавила, предваряя его вопрос: — Или я вашего характера не знаю?

Все матросы, словно сговорившись, отказались покинуть бронекатер. Об этом просто, буднично и одновременно с гордостью доложил вернувшийся Ганюшкин.

Итак, решение принято. Единоголосно. Теперь для него, лейтенанта Манечкина, как для командира, самое глав-

ное — так командовать, чтобы уберечь от смертельных ударов и катер, и его личный состав. И сразу пришло в голову — надо немедленно замаскировать бронекатер. Чтобы по внешнему виду не отличался он от льдины, к которой течение его прибило, сейчас же замаскировать. И лейтенант Манечкин, почему-то понизив голос почти до шепота, позвал к себе Веру, Красавина, Дронова и Ганюшкина. Сгрудились они около него — ткнул пальцем в грудь Красавина и приказал:

— К пулеметам, вместо Веры. — И уже вдогонку: — Без моего приказа не стрелять!

Расправился с Красавиным — принял за Дронова:

— Все простыни и наволочки, какие есть на бронекатере, тащи в носовой кубрик. И вообще пока поступаешь в полное распоряжение Гулько. И ты, Ганюшкин, с ним.

А Вере сказал тоже тоном приказа, но заметно мягче, душевнее:

— Из всего белого, что есть у нас на катере, нужно сшить полотнище. Хоть через метр стежок, но срочно сшить. Так что валяй.

Последние слова никак не соответствовали обстановке, но Вера будто не заметила этого. Взяв из прикроватной тумбочки, стоявшей в бывшей командирской каюте, железную коробку из-под зубного порошка, в которой хранила нитки, иголки, наперсток, запасные пуговицы и прочее, что могло потребоваться женщине в любую минуту, она поспешно юркнула в носовой кубрик.

Теперь и вовсе один он, лейтенант Манечкин, оказался в боевой рубке бронекатера.

13

О многом и без спешки подумал лейтенант Манечкин, пока Вера превращала обыкновенные простыни и наволочки в маскировочное полотнище, способное на целый день укрыть бронекатер от глаз фашистов. Поэтому, когда оно было готово, без малого промедления распорядился «срубить» — уложить на палубу — мачту и флагшток, подробно объяснил, куда, как и какую кромку полотнища заводить, где ее следует основательно прижать грузом, а где только слегка смочить водой, чтобы ледком к орудийной башне, боевой рубке или к чему другому прихватило.

Вроде бы и надежно укрылись от глаз врага, вроде бы сделали все, что зависело от них самих. После этого лей-

тенант Манечкин и приказал Ганюшкину заступить на вахту, всем стоять на той вахте поочередно и по два часа, наблюдение за врагом и вообще за окружающей обстановкой вести в специальные дырочки, для этой цели проделанные в полотнище; и ребенку ясно, что наша пехота никогда не позволит фашистам добраться до катера, захватить его, можно сказать, у себя под носом, но свой догляд еще никогда дела не портил.

Убедившись, что Ганюшкин все понял и запомнил, лейтенант спустился в кубрик, где вокруг стола уже сидели матросы. За исключением мотористов, Ганюшкина и радиста, оставшегося дежурить около радиостанции в своем закутке: добровольно и почти на сутки обрек он себя на полное одиночество.

Пять человек вроде бы обыденно, спокойно сидели за столом. Увидев лейтенанта, они сдвинулись, сели поплотнее, так хитро сдвинулись, что свободное место оказалось только рядом с Верой, сидевшей около большого зеленого чайника, парившего на столе. Лейтенант внешне равнодушно сел, куда ему подсказывали, не выдав волнения, принял от Веры железную кружку с обжигающим чаем.

Чаевничали в полном молчании. Потом дружно закурили. Все. Вера сразу скользнула в командирскую каюту, пытаясь там найти спасение от едкого махорочного дыма, даже дверь в нее прикрыла. Очень своевременно сбежала из кубрика: здесь через несколько минут облако табачного дыма стало настолько ядовитым, что не выдержал даже заядлый куриак Дронов — чертыхнувшись, он, чтобы выпустить дым, чуть приоткрыл входной люк. Табачный дым, конечно, мигом скользнул на волю. Но вместе с ним исчезла и часть накопленного тепла. Это почувствовали сразу. А впереди были многие часы терпеливого ожидания в обстановке, когда было категорически недопустимо разжечь печурку-буржуйку, вольготно расположившуюся в центре кубрика. И лейтенант Манечкин распорядился тоном, исключаящим возражения:

— Не курить. — Помолчал и потом все же обнадежил: — Когда на базу побежим, свое наверстаем. До одурения накуримся.

Ему не возразили. Не только потому, что дисциплина обязывала к повиновению. Даже для самого заядлого курильщика самым главным, самым существенным было: а заметят, обнаружат их фашисты или нет? Своя жизнь, она всегда ценится дороже курева...

Ганюшкин, отстояв свое, добавил тревоги, сказав:

— Светать начинается... Правда, пасмурно, снежок падает.

Ни слова больше. Но каждый из моряков, сейчас томившихся в кубрике, всем существом своим понял, что настоящие испытания только еще приближаются, что природа вроде бы на нашей стороне.

С большим внутренним волнением, тщательно и успешно скрывая его от товарищей, ждали, что вот-вот раздастся нарастающий вой приближающегося снаряда. Первого. За которым градом посыплются другие. Но минуты слагались в часы, а фашисты не открывали по бронекатеру огня. Тогда, осмелев, поверив, что сегодня судьба помилует их, Вера и спросила, скорее, чтобы сокрушить тягостное молчание, чем из любопытства:

— За что, Слава, если, конечно, не тайна, тебя судили?

Лейтенант Манечкин знал, что Красавин терпеть не может, когда кто-то интересуется этим, пытается заглянуть к нему в душу. Знал все это лейтенант, вот и насторожился, внутренне приготовился, если потребуется, погасить вспышку Красавина. Однако тот, усмехнувшись, начал вполне нормальным голосом:

— Судили меня по политической статье. Не за воровство, грабеж или даже убийство, а как врага народа судили.

Сказал только это и замолчал. Не хотел дальше рассказывать или любопытство слушателей распалаял? Так или иначе, но Вера вопрос подкинула:

— А за что? Вредителя какого или диверсанта вражеского прозевал? Невольно его пособником стал?

— Я? Ихним пособником? — усмехнулся Красавин, и всем стало неопровержимо ясно, что Вера сказала несусветную глупость. — Нет, братцы, все было во много раз проще и страшнее...

И, временами усмехаясь, словно подсмеиваясь над собой или жизненными обстоятельствами, он рассказал товарищам, что, когда, отслужив положенное, вернулся в родное село, у соседа-одногодка, с которым не только в школе, но и в одном классе учился, даже вроде бы дружили, родился сын. Ликовали молодые родители, души не чаяли в своем первенце. Глядя на их счастье, радовались и односельчане. Не был исключением и он, Славка Красавин.

Все шло, казалось, лучше не надо, и вдруг новость, которая мигом из колеи наезженной вышвырнула, ума-разума его, Красавина, на время лишила: молодые родители своего сынишку, своего ненаглядного первенца Адольфом нарекли! Так сказать, чутко откликнулись на текущий момент, на заключение мирного договора между нами и фашистской Германией.

Так он, Славка Красавин, все это и высказал принародно, на все село проорал. И еще добавил, что преданность родной земле иначе доказывать надо. Люди-то смолчали, то ли одобряя, то ли осуждая его слова, а вот Пашка кулаки в дело пустил. Или у него, Славки, своих рук нету? Короче говоря, от всей души врезал он Пашке раза два или три. Ну тот и поостыл, вроде бы понял, что у каждого человека свои мозги и по-своему мыслят.

Помнится, даже выпили за крепкую дружбу...

Но уже завтра его, Красавина, увезли куда следует и давай спрашивать-расспрашивать: а что он такого зазорного видит в том, что советскому парнишке дано имя главы дружественного нам государства? Или он, гражданин Красавин, вообще против нашей дружбы с Германией? Может, ему, гражданину Красавину, ближе к сердцу Англии и Японии разные?

Попробовал втолковать тому, который допрос вел, что он, Красавин, никакой не враг Родины, что он просто за чистокровные русские имена незыблемо стоит. Тот и слышать ничего не хотел, в ответ во весь голос только и долдонил, что насквозь его, Красавина, как врага народа, видит, что не миновать ему, Красавину, встречи с тройкой или трибуналом, которые беда как суровы будут, если он, гражданин Красавин, чистосердечно во всем не покается, если незамедлительно не назовет своих единомышленников.

Как в воду глядел гражданин следователь: состоялась она, та встреча. Правда, не с тройкой, а с трибуналом. Без свидетелей. Если ими не считать конвоиров, которые каждое движение его, арестанта Красавина, настороженно караулили. Единственный светлый проблеск — председатель трибунала временами поглядывал вроде бы сочувствующе. И вопросы задавал вполне человеческим голосом... Но приговор огласил решительно, без самой малой запиночки... В заключение даже «одарил», добавив, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

— А еще через несколько недель я оказался на лесо-

повале. В таежной глухомани. Где самую тонкую ель один руками не обхватишь.

Сказал это Красавин, нервно похлопал себя по карманам, отыскивая кисет с табаком, потом, вспомнив о распоряжении лейтенанта, скрипнул зубами и лег на рундук, повернулся лицом к чуть отпотевшему борту катера. Лежал неподвижно, и, если бы не чрезмерная напряженность спины, его запросто можно было бы принять за спящего.

Тишина в кубрике такая, что отчетливо слышно было самый слабый удар или шуршание каждой льдины и льдиночки, коснувшейся борта.

В это время внезапно и гаснет единственная электрическая лампочка, тускло горевшая под потолком. Не сама гаснет, а мотористы, оберегая аккумулятор, отключают его от сети освещения. В кромешной темноте и под шорох льдин с особой значимостью звучат слова Красавина:

— Только потому все это вам выложил, что сегодня мы серьезный — на излом — экзамен держим. И хочу, чтобы вы знали: нет у меня на сердце обиды.

— Откиньте броневые крышки с иллюминаторов, — приказывает лейтенант, которому сейчас невыносимы полная темнота и общее тягостное молчание.

Исполнили приказание — теперь в кубрике не полночь в тропиках, а густые сумерки: человека видишь, а выражение его глаз не разглядишь.

Бьются льдины о борт катера. На берегу, до которого метров сто, лениво, короткими очередями рокошет станковый пулемет да изредка рвутся одиночные мины.

Вера, надеясь убежать от грустных мыслей, укладывается вздремнуть. Не на своей койке в бывшей каюте командира, а на рундуке в общем кубрике. Ложится она точно за спиной лейтенанта, укывшись шинелью по глаза. Лейтенант всей спиной, даже затылком чувствует тепло ее тела.

Этим невероятно длинным днем все члены экипажа — даже мотористы, устранив повреждение, — урвали часок для дремы. Кроме лейтенанта Манечкина. Он сначала все думал: а вдруг фашисты все-таки обнаружат их и что делать тогда? Как поступить, если мотористы окажутся бессильны оживить мотор? Потом, когда было доложено, что повреждение устранено, вдруг до него дошло, что Вера

все это время не столько дремлет, сколько греет его, Игоря!

И чувство нежной благодарности сковало его, заставило сидеть неподвижно, хотя все его нутро умоляло потянуться, помахав руками.

Зато едва стемнело, едва ночь надежно укрыла бронекатер от глаз фашистов, лейтенант осторожно, но решительно встал, не скрывая удовольствия, потянулся всем телом и приказал немедленно опробовать мотор. Тот взревел сразу же. Тогда лейтенант Манечкин и крикнул радостно:

— Полотнище за борт!

И обязательно упали бы в Волгу многие простыни и наволочки, если бы не матрос Вера Гулько. Это она, тихонько поворчав, упрекнув всех мужиков в извечной расточительности, с их помощью скомкала полотнище и еле втиснула его в люк носового кубрика.

— Оттаает — распорю швы и все будет ладно, — пояснила Вера.

А мотор ревел мощно, могуче.

А радист уже отстучал в штаб бригады, что на их катере все в полном порядке.

— Куда побегим, товарищ лейтенант? — спрашивает Ганюшкин, который опять стоит на своем привычном месте — у штурвала.

— В город. Или забыл, что мы задание еще не выполнили?

Всю эту ночь бронекатер лейтенанта Манечкина проработал на переправе, только с рассветом устало прикнулся к невысокому яру левого берега Волги.

15

1 февраля 1973 года в Москве в Центральном Доме Советской Армии состоялось торжественное заседание, посвященное тридцатилетию разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Я был приглашен на это заседание. Мое место оказалось в президиуме. Оттуда, из-за стола президиума, когда чуточку отступило волнение, владевшее мной, смог видеть и сам президиум, и даже часть людей, сидевших в зале. Вглядывался, разумеется, прежде всего в тех, кто был в морской форме. И кое-кого с радостью узнал. А вот контр-адмирала, рядом с которым гордо сидела дородная женщина, узнать не мог, хотя и чудилось мне в нем что-то

очень знакомое. Может быть, косой шрам, проваливший его левую скулу, был в том виноват?

А потом, едва председательствующий объявил перерыв, смешался президиум с теми, кто до этого сидел в зале, начались дружеские объятия, похлопывание друг друга по спине или плечам.

Порядочно знакомых я встретил тогда. И вдруг на моем пути оказались та дородная женщина и контр-адмирал со шрамом во всю щеку. Они преграждали мне путь умышленно.

Не знаю, когда я узнал бы их, если бы женщина вдруг не захохотала. Звонко, во весь голос. Тогда меня и осенило:

— Верка!

Согласен: не должен был, не имел морального права так называть дородную адмиральшу, но назвал. И тогда она повисла у меня на шее, разревелась. А Игорь осторожно теребил ее за рукав модного платья и ласково говорил:

— Перестань, Веруся... Врачи запретили тебе волноваться...

Нет, нельзя запрещать волноваться, нельзя. Хорошее волнение неожиданного захлестывает тебя с головой...

А еще немного погодя, когда мы успокоились, Игорь и сказал, что еще в 1944 году вдруг был переведен на Тихий океан, что там, когда освобождали от самураев Порт-Артур, и был ранен в голову. Потом... Да ну их к черту все эти «потом», если самое главное — мы живы, мы встретились!

И весь следующий день мы были вместе. Разговаривали так, словно и не было недавней и многолетней разлуки. Вот тогда Вера с огорчением и поведала мне, что у них три дочери и ни одного сына. Разве это справедливо? Нет, мы, бывшие фронтовики, должны обязательно оставить после себя и сыновей. Чтобы было кому доверить защиту Родины и передать свою фамилию.

Я искренне согласился с Верой Манечкиной.

РАССКАЗЫ



До полуторки оставалось пройти метров двести, когда из-за вершин деревьев вынырнули два «мессера», с оглушительным ревом пронеслись над дорогой, сбросив несколько бомб, строча из пулеметов, стреляя из пушек. Одна из бомб угодила точно в машину, и взметнулось слепящее пламя, повисло над землей черное облако дыма.

Старший матрос Савелий Куклин поставил на землю ведро с водой и, как только мог быстро, побежал к тому черному облаку. Знал, что ни лейтенанта, ни шофера, сидевших в кабине машины, наверняка нет в живых, но все равно побежал, а вдруг?

Останки товарищей осторожно опустил на дно воронки, прикрыл своей плащ-палаткой и засыпал землей. Следы от воронки почти не оставил.

Сделав посильное, постоял, обнажив голову, затем, повесив на грудь автомат лейтенанта, решительно зашагал к фронту, который километрах в трех дышал взрывами бомб, снарядов и мин, пулеметными и автоматными очередями. Шел решительно, зло. Сначала, чтобы не мешать машинам с красными крестами на бортах и санитарным двуколкам, где лежали раненые, молча переносившие боль, шагал обочиной дороги, а потом, когда до окопов первой линии осталось одолеть считанные сотни метров и на дороге стали рваться вражеские мины, пробирался опушкой леса, прячась за деревьями.

Проскользнул в окоп, начинавшийся почти от леса, пробежал по нему немного, остановился и на ничтожно малое мгновение и самую чуть высунулся. На мгновение высунулся из окопа, а будто сфотографировал глазами и солнце, которому до вершин деревьев оставалось часа три хода, и четыре обгорелых фашистских танка; а вот атакующих фашистов не было, они отсиживались в своих окопах.

Все это увидел, запомнил. И опустился на дно окопа, щедро усыпанное гильзами винтовочных и автоматных патронов. Он, старший матрос Савелий Куклин, твердо знал, что сегодняшней бой еще не окончен, что за оставшиеся часы светлого времени суток фашисты наверняка атакуют. Бомбы ли с пикировщиков обрушат, гусеницами ли

танков попытаются в ключья разорвать или в пешем строю попрут, беспрестанно строча из автоматов и пьяно вопя несуразное, но обязательно атакуют, обязательно попытаются сбить и с этого рубежа обороны.

Что ж, сегодня инициатива еще за ними...

Он, чтобы сберечь силы, опустился на полупустой патронный ящик, сжал ладонями голову и замер, безразличный к окружающему. А в окопе, который еще недавно казался покинутым, безлюдным, деловито и споро уже хозяйничали солдаты. Они, сноровисто орудуя лопатками, очищали его от завалов земли, подправляли бруствер и осторожно, словно боясь причинить им боль, уносили куда-то тела товарищей.

Савелий видел все это. Однако душа его была опустошена настолько, что сидел сторонним, безучастным наблюдателем.

И почему он, Савелий, такой невезучий? Почему у него такая злая судьба? Семь лет прослужил на эсминце, обзавелся надежными друзьями и, как родной дом, полюбил свою «коробочку», искренне считал, что во всем мире нет корабля краше и лучше по ходовым и боевым качествам. Из этого класса боевых кораблей, разумеется. Словом, жизнь шла — лучше не надо, даже подумывал остаться на сверхсрочную. И вдруг война. Но и теперь, когда фашисты нашпиговали Финский залив минами небывалой мощи, а солнце порой исчезало за тучей самолетов с черными крестами на крыльях, даже теперь он верил, что их эсминец невредимым и с честью пройдет все самые тяжкие испытания, которые обрушит на него война. Искренне верил в это.

Все шло нормально до тех пор, пока высокое морское начальство не решило, что именно он, старший матрос Савелий Куклин, должен немедленно перейти на другой корабль, чтобы усилить там группу минеров-торпедистов. Родился такой приказ — он, Савелий, забрав свое нехитрое и немногочисленное имущество, ушел с родного корабля, прикоснувшись губами к его флагу, явился в полуэкипаж, где и осел в ожидании своего нового плавучего дома, который в Кронштадте заделывал пробойны, полученные в недавнем бою.

Сидел в казарме и жадно, от первого до последнего слова, выслушивал все сводки Совинформбюро: может быть, именно сейчас сообщат, что на таком-то участке

фронта наши наконец-то перешли в решительное наступление и крушат, ломают зарвавшихся фашистских вояк.

Ударом ножа в сердце стало официальное сообщение о том, что родной эсминец погиб. Увидев фашистские торпеды, которые, оставляя за собой пузырящиеся дорожки, неслись к нашему крейсеру, он поднял сигнал: «Погибаю, спасая товарища». Поднял этот сигнал, дал самый полный ход и принял на себя весь торпедный залп фашистской подводной лодки.

Не хотел, отказывался верить в гибель родного корабля, но нашлись очевидцы, они дали даже точные координаты того места, где волны сомкнулись над его эсминцем.

С того часа, как узнал все это, и обосновались навечно в его душе и гордость за товарищей, и неисходная тоска по ним.

А утром следующего дня он в умывальной комнате глянул на себя в зеркало и увидел, что виски поседел. Не обзавелись серебристыми волосочками, а белешеньки стали. За одну ночь!

Как величайшее счастье воспринял назначение в батальон морской пехоты: теперь-то он посчитается с фашистами и за гибель родного корабля, и вообще за все-все!

Лишь немного больше недели провоевал он на суше, на собственной шкуре испытал и яростные бомбежки, и неистовство, мощь вражеских танковых атак. Познал и радость побед. Пусть и малых, но все же побед.

Новый приказ командования вырвал его из батальона, бросил в специальный отряд минеров-подрывников, которым надлежало под шоссе, ведущее к Ленинграду, закладывать зарядные отделения торпед и морские мины старых образцов.

Уже дважды Савелий с новыми товарищами выполнял подобные задания. Один раз даже результат своей работы довелось увидеть. Только крутанул специальный человек ручку подрывной машинки, ров образовался там, где секунды назад шоссе было. И немудрено: в самой захудалой морской mine около двухсот килограммов прекрасной взрывчатки; а их в шахматном порядке под шоссе было вкопано несколько штук!

Сегодня тоже минировали шоссе. Все сделали на высочайшем уровне, уже к отряду возвращались, когда случай навел на них фашистские самолеты. И вот опять он, Савелий Куклин, одинешенек, опять у него ни одного дружка, даже просто знакомого нет рядом...

— Чего, как на бульваре, расселась, пава заморская? — безжалостно рвет мрачные мысли чей-то голос.

Савелий нехотя поднимает глаза и видит сначала стоптанные армейские ботинки, неопределенного цвета обмотки, шаровары, почти прохудившиеся на коленях, гимнастерку, основательно вылинявшую от многих стирок, секущих дождей и жаркого солнца, а потом и лицо солдата — молоденького, низкорослого и с добрыми веснушками на задорно вздернутом носу. Он, этот солдат, почему-то смотрит на него вызывающе.

— Кому говорю? Или не понимаешь, что здесь будет моя огневая позиция?

— Не цепляйся, Лазарев, к человеку, — вроде бы равнодушно пробасил кто-то. Савелий глянул на непрошеного заступника и сразу увидел по три треугольника в каждой петлице его гимнастерки: помкомвзвода, значит. — Или для тебя в окопе другого места нет?

Места более чем достаточно: на этот полк командование такой длины отрезок окопов отвалило, что оборонять его впору полнокровной дивизии или — на худой конец — бригаде, расщедрилось, одним словом. Правда, окопы что надо: полного профиля, с гнездами для пулеметов и ячейками для истребителей танков; даже блиндажи хотя и в один накат, но были. И все равно после шести суток непрерывных боев только на этом рубеже от полка вовсе почти ничего не осталось. Все это рассказал лейтенант, объясняя, почему они минируют шоссе именно здесь.

Солдат Лазарев, еле слышно чертыхнувшись, отошел от Савелия метра на два, где умело заработал лопаткой, подгоняя под свой рост глубину окопа.

А воздух уже стонет от воя летящих мин и снарядов. Солдаты, оставив в окопе двух наблюдателей, укрылись в блиндажах. Савелий не побежал за ними: не переносил он бомбежек и обстрелов, если над головой хоть самая надежная крыша была; в этом случае почему-то казалось, что все снаряды, мины и бомбы ищут только его.

Со знанием дела фашисты вели обстрел: то обрушивали шквал огня, словно обещая скорую атаку, то били одиночными минами и лишь для того, чтобы советские солдаты и на мгновение не смогли забыть, что они, фашисты, рядом, что они в любую минуту способны броситься вперед — раздавить, уничтожить все, оказавшееся на пути.

Артиллерийский и минометный обстрел оборвался ровно в двадцать два часа. Еще какое-то время злобно по-

ворчали пулеметы, а потом пришла тишина. Нервная, тревожная, но тишина. Теперь только разноцветные ракеты, вздымавшиеся из окопов фашистов, полосовали небо, утыканное редкими и робкими звездами.

Солдаты сняли каски, изрядно надоевшие за невероятно долгий день, закурили, усевшись свободно, и ядреный махорочный дымок завис над ними. Еще немного погода в термосах принесла еду. Обед и ужин сразу.

Савелий не пошел к обедающим, пока его не позвал помкомвзвод. Он же и спросил:

— Кем являешься?

В ответ пришлось назвать имя и фамилию.

И немедленно в разговор влез въедливый Лазарев:

— Здесь люди свои, многими кровавыми боями проверенные, так что следовало бы и поподробнее рассказать. Например, о личных подвигах. Или таковых не имеется?

— Лазарев! — чуть повысил голос помкомвзвод.

Выскребли ложками котелки, закурили — опять голос Лазарева:

— А вы заметили, ребята, как лениво товарищ флотский ложкой орудовал? Почему, спрашивается? Они, флотские, больше шоколадом питаются и прочим, о чем мы, пехота, только слух имеем. Вот и воротит его изнеженное брюхо от нашей солдатской пищи.

Савелий, чтобы сокрушить клевету, мог бы рассказать все, что волновало его сейчас и напрочь лишило аппетита, но смолчал.

А Лазарев спокойно гнул свою линию:

— Мое мнение, если хотите знать, — все флотские насквозь испорчены легкой службой и красивой формой. Разве они знают, что такое за штука марш-бросок? Да еще с полной выкладкой? Им даже не снилось такое!.. Между прочим, как я думаю, потому их и заставляют служить пять лет, что вся их военная служба — мести клешами улицы или, когда по морю на своих кораблях катаются, глядеть на чаек и прочую живность, от безделья на волны поплевывать. Короче говоря, у них не служба, а благодать! Зато фасону, форсу...

Снова Савелий мог бы ответить весомо, даже малой частью воспоминаний о том, что пережил сам, самой правдой флотских будней уничтожить все домыслы Лазарева, но опять смолчал: стоит ли вступать в спор с дураком, если и так видно, что остальные осуждают его болтовню? Главное же — настроение не то...

На их участке обороны было два блиндажа. Но солдаты, выставив наблюдателей, улеглись на дне окопа. Чтобы на свежем воздухе вздремнуть, если фашисты позволят. Все молчали. Даже репликами не обменивались. Только Лазарев все не мог успокоиться, по-прежнему поносил флот и всех флотских вообще. Казалось, терпение на пределе, казалось, еще совсем немного болтовни Лазарева — и он, Савелий, черт знает что с ним сделает. В эту критическую минуту помкомвзвода и сказал:

— У тебя, Лазарев, как погляжу, сна ни в одном глазу. Вот и подмени-ка на посту Сидорчука.

— Да я...

— Хочешь, чтобы я повторил приказание?

2

Угомонились солдаты, кое-кто начал даже сладко посапывать, а от Савелия сон бежал. Вернее, он, Савелий, не искал, не звал его: все думал о своей горькой судьбине. Нет, не о том, что наговорил пустомеля Лазарев, а по-прежнему о дружках, погибших на родном эсминце, о лейтенанте и шофере, с которыми еще вчера встречал восход солнца. Сейчас, когда тот день был уже в прошлом, боль утрат стала особенно остра, почти нестерпима. Вот если бы облегчить душу разговором с человеком понимающим...

Тут и увидел помкомвзвода, который сидел, привалившись спиной к стенке окопа, и неотрывно смотрел на небо, в его бездонную пустоту. Обрадовался Савелий, что есть здесь человек, которому тоже не до сна, подошел к нему и спросил для начала разговора:

— Махрой не поделишься? На одну самокрутку?

Тот протянул кисет, потом тоже свернул «козью ножку». Курили молча, сосредоточенно, словно это было самым главным делом всей их сегодняшней жизни. Савелий уже решил, что так и не наберется смелости начать разговор, уже хотел, поблагодарив, вернуться на свое место, но левее, где располагались основные силы полка, вдруг послышались приглушенные расстоянием голоса, еле уловимое бряцание оружия. За годы военной службы он привык к самым неожиданным изменениям обстановки и даже приказам, поэтому непроизвольно положил руку на автомат. А помкомвзвод сказал безразличным тоном:

— Полк отходит на новый рубеж обороны. Здесь только по одному отделению от каждой роты останется. Для при-

крытия отхода. Вот так-то, Савелий... Между прочим, меня Герасимом кличут.

Всего около недели прослужил Савелий в морской пехоте, однако прекрасно знал, что в подобных случаях прикрытие обязательно и почти полностью погибает. Похоже, известно это было и Герасиму, он, похоже, неизбежное переживал по-своему. Иначе с чего бы свое имя назвал человеку, с которым встретился случайно и несколько часов назад?

Еще недавно Савелий считал, что не боится смерти, даже ищет ее. Но сейчас неприятный холодок прокрался под тельняшку. Однако он не выдал себя, он сказал о том, что по-настоящему взволновало, встревожило его:

— Хреново отошли. Нашумели, будто новобранцы. Знать фашистам дали, что нас малая горстка осталась.

— А почему бы фашистам другой вывод не сделать? Ты же сам сказал, что нашумели, как новобранцы, как пополнение необстрелянное.

Резонно, очень даже резонно...

Помолчали, и Савелий спросил:

— Тебе об этом когда известно стало?

— Сразу после ужина.

— Почему до общего сведения тогда же приказ не довел?

— Еще успею... Пусть хоть эти часы поспят спокойно.

Пожалуй, верно: фронтовику без душевного отдыха никак нельзя, его нервам хотя бы и кратковременный покой непременно нужен...

Больше не обмолвились ни словом. Сидели будто чужие, хотя невидимые нити взаимного доверия прочно связывали их.

Наконец небо посветлело, и на нем отчетливо обозначились перистые облака, чуть порозовевшие от пока еще невидимого солнца.

— Пойду будить ребят, — сказал Герасим.

Сказал буднично, и Савелий понял, что непоколебима, незыблема его вера в своих товарищей, а когда увидел, как он беседовал с ними, как они слушали его, дошло и другое: авторитет у Герасима — командир любого ранга только позавидовать может.

О своем пробуждении фашисты известили двумя десятками мин, которые разорвались около окопа и даже в нем.

Хорошо пристрелялись, сволочи!

А потом — за несколько часов! — ни одного взрыва

мины или снаряда, ни одной настоящей пулеметной или автоматной очереди. И в небе зазвенели жаворонки, славя солнечный день и жизнь вообще. Даже в окопах запахло не пороховой гарью и сгоревшей взрывчаткой, а лесом, до которого было всего метров тридцать. Тридцать метров до леса, где осинки, березы и ели обязательно укроют тебя. Во много раз надежнее, чем все эти окопы и блиндажи...

Только самыми необходимыми словами обменивались солдаты в эти часы ожидания неизвестно чего. Каждый, когда молчал, думал, конечно, о сугубо своем. Савелий, например, о том, что в любом бою во много раз легче, чем в эти минуты.

А косяки вражеских бомбардировщиков все шли и шли, спокойно проплывали над их окопами и освобождались от бомб километров на пять восточнее. Не сразу пришла разгадка действий фашистов, их ближайших планов: считают, что окружили полк, ну и намереваются взять измором. Что ж, пусть потешат себя несбыточной надеждой, пусть. А нам только прожить бы до ночи, и тогда мы юркнем в лес, и ищи-свищи нас!

Около полудня фашисты, однако, вспомнили и о них: опять снаряды и мины начали рваться около окопов и даже в них, опять фашистские самолеты один за другим пикировали здесь почти до земли, чтобы, сбросив бомбы, взмыть туда, где еще недавно звенели жаворонки.

Начался обстрел — солдаты скрылись в блиндажах, а Савелий опять остался в окопе. Сжавшись, сидел на его дне, злой от своего бессилия, и молил судьбу только об одном: «Пусть фашисты бросятся в атаку. В самую обыкновенную или психическую, но непременно бросятся!»

В душе он осознавал, что прикрытию не уйти из этих окопов, вот и хотел еще хотя бы раз увидеть фашистов, чтобы стрелять по ним злыми и беспощадными очередями. Стрелять до тех пор, пока будут патроны. Потом он обязательно метко бросит в них все свои гранаты. И лишь после этого встанет во весь рост: может, повезет и удастся ударить ножом в грудь хотя бы одного фашиста...

Томился в окопе Савелий Куклин, непроизвольно сжимался, когда очередные снаряд, мина или бомба — это определял уже точно — должны были рвануть рядом. Но пока судьба миловала его. А вот Герасиму не повезло: едва ли не первая бомба, оторвавшаяся от брюха фашистского бомбардировщика, догнала его у самого блиндажа.

И еще — казалось, непрерывно Савелий помнил, что им

надо продержаться до ночи. Лишь потом можно будет отойти. Он не видел леса сейчас, однако точно знал, что до него считанные десятки метров, мысленно уже не раз пробежал их.

За весь невероятно долгий день фашисты не высунулись из окопов. И все это время Савелий и солдаты в бездействии просидели под обстрелами и бомбежками. Почти оглохли от множества взрывов, уже почти отупели от них и мало верили, что доживут до ночи. Но своих окопов ни один не покинул.

Для Савелия душевные муки оборвались неожиданно: он еще видел, как вдруг вздыбилась земля, а затем на него обрушились мрак и могильная тишина.

3

Очнулся Савелий от сильного удара, который нанесла ему земля. Словно приказала немедленно встать, вновь вступить в бой.

Не встал, даже не шевельнулся: сначала нужно было понять, что случилось с ним, хотя бы приблизительно знать, какова обстановка на недавнем поле боя. За кем оно сейчас? Стоим мы на прежнем рубеже обороны или здесь хозяйничают уже фашисты? Наконец — почему в ушах появилась эта нудная боль? Вполне терпимая, но все же мешающая? Скорее всего — контузия так дает о себе знать. И он вспомнил вдруг вздыбившуюся землю. Вспомнил это — окончательно поверил, что жив, даже не ранен; присыпанный землей, сейчас сидит он на дне окопа, уткнувшись головой в его стенку.

Так вот почему он может свободно дышать, хотя и основательно засыпан...

А боя не слышно. Кто же его выиграл? Непохоже, что фашисты: эти имеют привычку осматривать захваченные окопы и пристреливать тех, кто оказался жив. Поднимают автомат и равнодушно прошивают человека строчкой пуль, словно он самая обыкновенная мишень.

Выходит, мы устояли на рубеже обороны? Шурша посыпалась земля — он замер в ожидании беспощадной очереди или окрика на чужом языке. Не последовало ни того, ни другого. Тогда, осмелев, сначала осторожно качнул, потом помотал головой. Боль не усилилась. Значит, контужен, но самую малость: ни головокружения, ни тошноты нет. И Савелий встал почти во весь рост, повел глазами

по окопу. Тот словно вымер. Ни одного нашего или фашистского солдата. Зато на шоссе полно гитлеровцев. Они суетились, метались; словом, от их хваленного порядка не осталось и самого малого следа. Почему? Что их повергло в такую панику?

И он вспомнил тот удар земли, который вернул ему сознание. Чтобы проверить родившуюся догадку, внимательно взгляделся в сутолоку на шоссе. Сразу же увидел грузовики, тягачи с орудиями на прицепе и даже танки. Вся эта боевая техника не просто стояла на шоссе, а забила его, словно пробка горлышко бутылки, растеклась по обочинам и даже большой поляне, которая одним своим краем прижималась к лесу.

Не успел подумать, что сейчас самое время ударить нашей авиации, — появились три тяжелых бомбардировщика в сопровождении трех тупоносых истребителей. Бомбардировщики шли степенно, солидно. Словно им, ползущим так низко и на пределе своих скоростных возможностей, и вовсе не было страшно, что фашисты вот-вот откроют яростный огонь из скорострельных зенитных пушек и даже вызовут свои истребители, конечно же не два или три, а больше.

Савелий понимал: вряд ли эти наши самолеты вернуться на аэродром. Особенно — тихоходы-бомбардировщики. Но, как человек, уже прошедший школу войны, он твердо знал и другое: у фашистов будет очень много покойников, когда эти тихоходные машины высыпят им на головы весь свой груз.

Попались в ловушку, фашистские сволочи?! Смяли полк, поперли по шоссе колонной, а оно возьми и ухни под вами во всю мощь нескольких тонн взрывчатки!

Хотелось, очень хотелось собственными глазами увидеть взрывы наших бомб в скопище фашистов и их техники, но он понимал, что сейчас, пока гитлеровцам не до осмотра окопов, ему самое время уходить в лес.

Стоп, Савелий, стоп: а вдруг кто-то из солдат все же уцелел? Негоже бросать товарища в беде. Да и поспокойнее, веселее вдвоем.

И, пригнувшись, чтобы голова случайно не высунулась из окопа, он побежал к блиндажам.

Один из них вообще отсутствовал: бомба или снаряд крупного калибра точно угодили в него, ну и разбросало взрывом накат по бревнышку; большая воронка теперь вместо блиндажа.

Второй блиндаж тоже пострадал: бревна его наката силой удара и взрыва были сломаны почти на середине и просели до земли. Но здесь кто-нибудь все же мог уцелеть. И Савелий, прислонив автомат к стенке окопа, ухватился руками за крайний к окопу обломок бревна, раскачав, вырвал его, положил на дно окопа.

Вырвал обломок бревна — в образовавшуюся щель немедленно заструилась земля. И тут само собой пришло решение: нужно не бревна вырывать, а подкопчик сделать, в том месте, где бревна одним концом еще держались на своих местах. Сделать сначала небольшую дырку в земле, чтобы дать доступ воздуху в блиндаж, потом окликнуть живых и лишь затем, если они отзовутся, расширить проход, превратить его в лаз.

Савелий взялся за лопатку. В это время сзади, на шоссе, истерично затаивали фашистские зенитки, а чуть позже загрохотали взрывы многих бомб. Он даже не оглянулся: для него каждая секунда была дорога.

Лопатка легко входила в рыхлую землю, и первый узкий проход, в который пролезла бы разве что лишь кошка, был готов за считанные минуты. Савелий, нагнувшись к нему, тихо позвал:

— Откликнись, если есть кто живой!

Какое-то время, показавшееся бесконечно долгим, ответом было молчание. Но Савелий чувствовал, что есть там кто-то живой, есть!

— А ты кто такой?

Голос Лазарева! Честное слово!

— Тебе, дурак, не все равно? — радостно огрызнулся Савелий и еще яростнее заработал лопаткой.

Когда проход был готов, Лазарев вновь подал голос:

— Это ты, флотский? Не отпирайся, я узнал твой голос.

— С чего бы мне отпираться? — удивился Савелий. — Сам выползешь или тащить тебя?

В блиндаже послышалось шевеление. С каждой секундой оно становилось слышнее, явственнее. Наконец появилась голова Лазарева. Вся кровью залитая.

Савелий подхватил его, вытащил вместе с винтовкой, в которую тот судорожно вцепился, усадил спиной к стенке окопа и полез в карман за индивидуальным пакетом: куда точно и чем ранен, разглядывать некогда, если кровяца хлещет. Он уже наложил на голову солдата первый

виток бинта, когда Лазарев сказал скорее растерянно и удивленно, чем испуганно:

— Слышь, флотский, а я ничего не вижу. Неужто ослеп?

Савелий нагнулся к его лицу, попытался заглянуть в глаза. Они были сплошь залиты кровью. И он, сердцем чувствуя беду, обрушившуюся на Лазарева, все же пытался успокоить его:

— Ерунду мелешь. Потом, когда в безопасности окажемся, смою с твоих глаз все лишнее, и сразу прозреешь.

Лазарев промолчал. Ни единого слова не сказал все то время, пока Савелий бинтовал его голову и верхнюю часть лица. Не простонал, ни разу не дернулся, хотя чувствовалось, что порой ему очень больно.

— Кто-то еще есть живой? — спросил Савелий.

— Только я уцелел. Чудом.

— Это точно?

— Думаешь, не звал товарищей? Не ощупал руками каждого? До кого дотянуться смог... Слышь, флотский, ты пристрели меня, а? Фашисты не пощадят, они лишь мук добавят.

Вот теперь Савелий разозлился до бешенства, схватил Лазарева за плечи, тряхнул так, что тот застонал, и зашипел:

— Мои руки своей кровью замарать хочешь? А граната у тебя имеется? «Лимонка»? Ты положи ее себе на грудь, где сердце от страха екает. Ну, когда фашисты брать тебя будут, тогда и взорви ее. И сам мгновенную смерть примешь, и фашистам кое-что перепадет!

Жестокие слова бросил. И не раскаивался, считал, что только так можно заставить Лазарева думать о жизни. Сегодняшней и будущей.

Похоже, достиг желаемого: Лазарев как-то подтянулся, сидел уже не мешком, а человеком. Однако сказал с горечью:

— Разве ты допрешь меня до наших?

— Переть не собирался и не буду. Сам ножками топаеть, — отрезал Савелий.

— Измываешься?

— Или не слыхивал, что в старые времена слепцы с поводьями всю Россию исходили? — повысил голос Савелий. Помолчал и продолжил уже спокойно: — Ну, чего расселся? Вставай, хватайся за меня и пойдем в лес, пока фашисты нас тут не засекали.

И Лазарев встал, опираясь рукой о стенку окопа. Положил левую руку на плечо Савелия, правой по-прежнему сжимал винтовку.

— Пригнись малость, чтобы башка ненароком над окопом не замаячила, — потеплевшим голосом сказал Савелий. — Вот так. Ну, включаем малый ход вперед?

4

Вести слепого по лесу, где каждая ветка норовила хлестнуть его по лицу, а корни деревьев высывались из земли в самых неожиданных местах, оказалось значительно труднее, чем предполагал Савелий. И невольно вспомнилось, что слепцы с поводьями ходили по дорогам и очень редко — тропами.

Может быть, только на километр и углубились они в лес, хотя часа полтора или два без единого привала скреблись.

— Ты ноги выше подымай и опускай без потяга вперед, — вот единственное, что сказал Савелий за все это время.

Лазарев незамедлительно последовал его совету. Однако не способен человек сразу отказаться от того, к чему привык с детства. Вот и сбивался временами Лазарев на привычный шаг, запинался там, где, как считал Савелий, и не должен был.

Измаялись — до последней капельки сил. Поэтому, увидев разлапистую ель, обосновавшуюся в густых зарослях младших сестренек, Савелий осторожно провел к ней Лазарева, помог опуститься на землю, щедро усыпанную порывевшими от времени иглами и шишками, давно освободившимися от семян.

Савелий одну из шинелей положил на землю, чтобы второй прикрыться, как одеялом, и сказал:

— Ложись, Лазарев, набирайся сил на завтрашний день.

— А ты?

— Малость посижу, подумаю, пораскину мозгами и рядом с тобой пристроюсь.

Лазарев послушно лег, но чувствовалось, он напряженно вслушивался в шумы леса, а еще больше, с обостренным вниманием, ловил каждое шевеление его, Савелия.

Чтобы прервать затянувшееся тягостное молчание, Савелий спросил:

— Слышь, Лазарев, а как тебя дразнят?

— Кучерявый, — после небольшой паузы ответил тот.

Савелий сначала опешил, услышав такое. Потом внутренне усмехнулся и сказал, глубоко спрятав свои чувства:

— Извини, брат, я не совсем точно выразился. Мне твоё человеческое имя знать желательно.

— Никола... Остальное-то добавлять? Адрес домашний и все прочее? Так-то правдивее брехня будет, когда, убежав от меня, к нашим пробьешься, наши общие страдания, чтобы у некоторых слезу выжать, расписывать станешь.

Савелий ответил хриловатым от волнения голосом:

— Ты, Никола, дурацкие мысли в голове не держи. Вместе к своим явимся или... Не будет этого «или», слышишь? Не будет!

— Язык, известно, без костей.

Вот, что называется, и поговорили душевно...

А фронт вроде бы стоит. Выходит, наши чуток отступили и опять уперлись ногами в землю. Ишь, фашисты ведут только методический обстрел, а наши пушкири подают голос и того реже.

5

Всю ночь они лежали рядом под одной шинелью. Перед рассветом, когда под шинель пробрался сырой холодок сентябрьской ночи, чувствовали друг друга спиной, не шевелились без крайней необходимости, но не спали. Упорно думали каждый о своем. Лазарев — с ужасом о своей слепоте: жить-то как дальше? Разве это жизнь, если ты больше никого и ничего не увидишь? Кто слеп от рождения, тому, может быть, все же легче: он, вероятно, не так остро чувствует, чего лишен. А ослепнуть в двадцать годочков...

Главное же — что он, Николай, теперь делать в жизни может? Городской устроится в какую-нибудь артель или мастерскую, специально для слепых созданную государством, и будет творить посильное. А он — колхозник, ему за плугом ходить положено, стога метать, хлеба косить и еще многое прочее, без чего в деревне не прожить, ежедневно делать надо. И все эти такие обычные и необходимые работы зоркого хозяйского глаза требуют. Вот и выходит, что, потеряв глаза, он не кормильцем, а нахлебником в родной дом вернется...

Так тошно было от этих мыслей, что на мгновение даже подумалось: а не оборвать ли вообще жизненную тропочку? На самое короткое мгновение посетила его эта думка, и сразу родилось неистребимое желание жить, жить во что бы то ни стало! И он с неприязнью, почти с ненавистью подумал о Савелии: если бы рядом был не этот прибранный флотский, а кто-то из товарищей, он, Николай, наверное, и минуты не сомневался бы в том, что тот не бросит его в беде, слезами и потом изойдет, но доставит к своим, определит в госпиталь. А этот флотский...

Вчера, правда, он себя настоящим человеком показал... А вот кто с точностью скажет, как завтра, когда рассветет, он поступит? Может, смоемся втихую, и все дела...

А голова нестерпимо болит, кажется, вот-вот от боли на части развалится. Раны — сами по себе, а она отдельно от них болит. Так сильно, что порой тошнота к горлу подступает и давит, давит, дышать нормально не дает...

Может, все это от мыслей безрадостных?

А у Савелия заботы пока сугубо житейские. Ведь вчера он основательно напортачил: ни самой обыкновенной воды, ни завалящего сухарика не взял с собой. Это непросительно прежде всего потому, что рядом искалеченный войной товарищ, у которого вся надежда только на него, Савелия.

Сейчас, ночью, вчерашнюю промашку, конечно, не исправить. Значит, всем этим займемся утречком, когда соответствующая видимость установится. И начнем с воды: есть на примете овражек, где должен быть родник или ручеек. Наполнить водой надо будет не только фляжку, но и каску Николая; в бескозырке, известно, воды не принесешь, из нее лишь напиться можно...

А вот с едой во много раз сложнее, ее добывать у фашистов придется. Уловить какого зазевавшегося и...

Однако на все это время надобно, время! А его кот заплакал: Лазареву, может, немедля врачебная помощь нужна? Может, если быстро врачи вмешаются, удастся спасти хотя бы один его глаз?

Эти вопросы Савелий мысленно и прокручивал всю ночь, плутал в них, не решаясь принять какое-либо окончательное решение.

Всю ночь мысли шли косяком. Одна серьезнее другой. Поэтому и прозевал момент, когда небо начало светлеть. Савелий просто вдруг удивился, что уже не угадывает, а отчетливо видит иголки на еловой ветке, нависшей над ли-

цом. Он сразу сел, осторожно и заботливо подоткнул шинель под Лазарева и замер в нерешительности: будить Николая или нет? Пришел к выводу, что, обнаружив исчезновение его, Савелия, он и вовсе расчихуется, и еле слышно позвал:

— Никола... Ты спишь?

— Чего тебе? — немедленно отозвался тот.

— Понимаешь, прошляпил я вчера. Даже воды, чтобы напиться, не имеем...

— На фляжку мою намекаешь? С нашим удовольствием, бери. И вещевой мешок прихвати. Там безопасная бритва. Почти новая: перед самой войной купил.

Захотелось трахнуть Николая кулаком по башке, но сдержался, сказал как только мог спокойно, даже ласково:

— Только фляжку и каску дай. Тебе же воды принесу.

Не Савелию, ориентируясь на его голос, а в пространство Николай протянул то и другое. И Савелий понял, что сейчас, отдавая каску и фляжку, Лазарев мысленно прощался не только с ним, Савелием, но и с жизнью вообще. Стало до слез обидно, однако сказал ровным голосом, словно ничего не понял, не почувствовал:

— Думаю, около часа прохожу. И ты зря не психуй, как лежишь, так и лежи. Услышишь треск ветки под чьей-то ногой, шаги вообще или людские голоса — замри, не выдай себя шевелением.

Николай промолчал, будто и не услышал наказа. Савелий постоял, с укоризной глядя на него, потом, вздохнув, повернулся и зашагал к овражку, который заметил еще вчера, когда вел Николая сюда.

В овражке оказался родник, незамутненный войной. Савелий напился, по пояс вымылся и лишь тогда наполнил фляжку и каску холодной водой. Теперь вроде бы самое время возвращаться к товарищу, чтобы успокоить его, еще раз доказать, что не брошен он, однако искушение взглянуть — только взглянуть! — на вчерашнее поле боя было столь велико, что, спрятав каску с водой под куст, а фляжку прикрепив к поясному ремню, Савелий осторожно и в то же время решительно пошел к опушке леса.

А над головой гнусаво гудели моторы фашистских бомбардировщиков; они, как и вчера вечером, бомбили позиции полка, отступившего километров на пять.

До опушки леса оказалось чуть больше пятисот метров. А он вчера считал, что они с Николаем, как минимум, на километр в лесную чащу углубились...

Пристроившись под молоденькой рябинкой, он осмотрел вчерашнее поле боя. Прежде всего увидел груды обгоревшего, искореженного взрывами металлолома; это было все, что осталось от множества грузовиков, тягачей, орудий и танков, несколько часов назад грудившихся здесь. С большой душевной радостью смотрел Савелий на это крошево.

Потом скользнул глазами вправо и на холме, чуть отступившем от шоссе, увидел ровные ряды новеньких деревянных крестов.

Что ж, давно известно: фашисты большие аккуратисты, они даже своих покойников шеренгами хоронят, даже им командуют: «Равняйся!»

Не было на вчерашнем поле боя трупов и наших солдат. Где они — нашел сразу: их сбросали в окоп, завалили землей и танками проутюжили то место. Зачем? Видать, ненависть фашистов так огромна, что и мертвых советских солдат они стремились раздавить многопудовой тяжестью.

Глядя на вчерашнее поле боя, он решил, что никакого фашистского вояку пока улавливать не надо, что продукты он обязательно найдет там, на кладбище фашистской боевой техники: хоть одна из тех машин да везла консервы или еще что-нибудь съедобное, хоть в одном из тех танков экипаж, бежавший в панике, да оставил что-то из еды. А много ли им с Николаем надо?

В мирной жизни дойти до тех машин и танков — минут десять хорошего хода. Но сейчас по шоссе снуют грузовики. К фронту — со снарядами, минами и патронами, обратно — порожняком или заполненные ранеными. Не часто, но проходят по шоссе вражеские машины. Вот и приходилось все время быть предельно осторожным. И Савелий более часа то полз окопом, то замирал, прижавшись всем телом к земле, пережидая, пока не стихнет рев мотора очередной машины; лишь раза два или три позволил себе короткие перебежки.

В первом же танке, куда залез, он нашел солдатский ранец, набитый едой, нижним бельем и всякой мелочью, которая может пригодиться в повседневной жизни на войне. Безжалостно выкинул все. Кроме еды. Обшарил еще два танка, заглянул в кузов грузовика, лежавшего на боку. Теперь еды было столько, что еле застегнул ранец. Посетовал, что нельзя взять или уничтожить все, валявшееся здесь, и снова ползком и короткими перебежками к лесу,

где каждое дерево гарантировало ему защиту от глаз врага, сулило спасение.

Не верил Савелий в выдержку Николая, очень сомневался, что тот не пальнет из винтовки или — и того хуже! — не метнет гранату, услышав осторожные, крадущиеся шаги, случайный треск какой ветки. Поэтому метров за пятнадцать от ели начал чуть слышно и беззаботно напевать: «Ты, моряк, красивый сам собою...»

Пролез под ветки ели, почти касавшиеся земли, сел рядом с Николаем. Не успел и слова сказать, как тот судорожно схватился за него руками. В этот момент с его груди и скатилась граната «лимонка».

Савелий понял, душой прочувствовал много из того, что пережил Николай за часы его отсутствия. А за гранату, упавшую с груди, даже проникся большим уважением: уже знал, что не каждый способен смерть в одиночестве предпочесть плену; ведь он, этот позорный и проклятый плен, хотя малюсенькая, но зацепочка за жизнь.

Вудто не заметил Савелий ни гранаты, ни того, как судорожно пальцы Николая впились в его руку. Он сказал обыденно:

— Вот воды тебе принес.

Сказал и сунул в руку товарища фляжку. Тот привычно ухватился за ее пробку, помедлил немного и спросил:

— Каску, выходит, посеял? Жаль. Из нее бы сейчас напились, а фляжку про запас оставили. Она, фляжка, что? Ее прикрепи, куда положено, и шагай себе. Каску же в руке таскать надо. И осторожно, чтобы зря воду не расплескать.

Понравилось Савелию и это: по-хозяйски рассуждает, значит, к жизни уверенный возврат начал.

Напились — поели без спешки, основательно. Потом, упаковав ранец и пристроив его себе на спину, Савелий шуточно скомандовал:

— Начать марш-бросок!

Ожидал, что Николай привычно огрызнется, бросит какую-нибудь колкость. Вроде — не тебе, флотский, про марш-броски разговор вести. Но тот смолчал. И они пошли на восток, туда, где сама земля стонала от множества взрывов.

Несколько раз останавливались, и Савелий уходил в разведку. Теперь Николай сравнительно спокойно ждал его. Только гранату «лимонку», уже не таясь, доставал из кармана шинели.

Сколько километров прошли — этого Савелий не мог сказать даже приблизительно: разве это скорость, если ты ведешь по лесу слепого товарища, за себя и за него смотришь? Если он частенько жалуется на страшные головные боли и тошноту?

Особенно измотало болото, дороги в обход которого Савелий не нашел. Наломали ноги на его кочках и топляках, догнивавших в затхлой воде, вымокли почти по пояс. Все последние силы этому проклятому болоту отдали. Потому, едва выбрались на взгорок, едва оказались среди со-сенок да еще на сухой земле, Савелий усадил товарища на пенек и сразу засуетился:

— Сейчас самое время малюсенький костерчик соорудить. Такой, чтобы без дыма... Обсушимся, обогреемся, и сразу силы вернутся.

Потом сидели у ласкового огонька, поворачиваясь к нему то одним, то другим боком. Долго молча сидели. И вдруг Николай сказал:

— У меня флотский невесту увел.

Не сразу Савелий понял, что это своеобразное извинение за все обидное, сказанное ранее. Хорошая теплота подступила к сердцу. Однако сказал строго, как старший, поучающий несмышлениша:

— Увести можно козу. А невесты — они уходят. — Помолчал и продолжил уже более мягко, даже сочувствуя: — Видать, он больше ей приглянулся... Слушай, за что тебя кучерявым дразнили? Как погляжу, голова твоя с кудрями вовсе не знакома.

И тут что-то, похожее на улыбку, тронуло губы Николая, он ответил даже с непонятной радостью:

— В школе я тогда еще учился. В пятом классе. Ну, приехали к нам в деревню три артиста из города. Пели, стихи сказывали... А мне тогда уж больно одна песня нравилась, я по радио ее слышал: «Мальчик резвый, кудрявый»... Страсть как тогда мне захотелось услышать ее. Вот и заорал во всю глотку: «Валяй про кучерявого!»... С тех пор и было со мной то прозвище...

Так начался разговор, из которого Савелий узнал, что родом Николай из-под Воткинска, все его образование шесть классов, а в армии второй год служит.

С большой теплотой Николай рассказывал о своем детстве и односельчанах. А закончил воспоминания и вовсе неожиданно:

— Сам-то ты, Савелий, с каких мест будешь?

Устал, намотался Савелий за день, ему сейчас требовалось полежать, помолчать. Однако то, что Николай начал оживать, проявлять интерес к жизни, чрезвычайно обрадовало. Только потому и ответил, правда, скупое, кратко, что родом с верховьев Камы. С четырнадцати лет вместе с отцом-капитаном ходил по ней и Волге на буксирном пароходе. Именно ходил, а не плавал, как ты подсказываешь. Или не знаешь, что в проруби плавают?.. А потом, когда подошло его время, ушел на военную службу. Определили на военный флот. И вот уже семь лет флотской службы за плечами.

— На сверхсрочную остался, — сделал вывод Николай.

— Нет, все еще срочная идет.

Николай помолчал, набираясь смелости, потом все же сказал, сказал осторожно, боясь обидеть недоверием:

— Флотские, как мне помнится, пять лет служат. Или путаю?

Савелий ответил спокойно, что срок лично его службы истек еще в тридцать девятом году. Уже чемоданчик купил, стал даже прикидывать, как уложить в него все, чем обзавелся за годы службы, но тут гроыхнула залпами война с Финляндией. Ну, демобилизация и обошла стороной Балтийский флот. А в сороковом — Латвия, Литва и Эстония изъявили желание к нам присоединиться. Думаешь, фашистская Германия и вообще капиталистические страны восторгами встретили это историческое событие? Короче говоря, балтийцам пришлось опять быть в полной боевой готовности... Продолжать или уже понял, почему семь лет службы набежало?

В ответ Николай только и сказал, что теперь ему ясно, почему он, Савелий, не парнем, а заматеревшим мужиком выглядит.

Он же и предложил, когда, затушив костерчик, стали укладываться на ночлег:

— Может, я начну ночь слушать? А ты поспи... Или тебя под утро больше в сон клонит?

6

Шли уже восьмой день. Вернее — брели. Сначала двигались к фронту, потом в обход его, чтобы выйти в наш тыл. Сегодня фронт грохотал уже чуть-чуть за спиной. Значит, еще самую малость пути одолеть необходимо. Однако сегодня каждая сотня метров дается с трудом, ценой все

больших и больших усилий: сказываются полуголодный паек, который сами себе установили, и почти бессонные ночи в сыром и холодном лесу.

За эти дни привыкли друг к другу, научились понимать многое и без слов. Так, начинал Николай спотыкаться почаще, еще и слова не сказал, а Савелий уже усаживал его, где получше, поудобнее, и почти всегда немедленно уходил в разведку.

В конце второго дня пути Николай винтовку закинул за спину, в правую руку взял палку, вырезанную Савелием из молодой березки. Палкой он ощупывал землю перед собой. И вообще теперь она стала его верной помощницей, теперь, даже готовясь ко сну, он пристраивал ее так, чтобы сразу схватить. Как и винтовку.

В первые ночи переговорили о многом и так хорошо сейчас знали прошлое друг друга, будто росли вместе. Рассказывали только правду. И радостную, и горькую. Сама обстановка к этому обязывала.

Оставили фронт за спиной, поверили, что самое страшное миновало, ну и невольно поддались усталости, позволили себе чуть-чуть расслабиться. Поэтому Савелий внезапно остановился, будто на стену налетел, когда без предварительной разведки вышел на маленькую полянку и вдруг на противоположной ее опушке увидел одиннадцать солдат. Все были с автоматами, в нашей форме и настороженно разглядывали их.

— Ты чего, Савелий? Чего остановился? — встревожился Николай, ткнувшийся лицом в его спину.

Савелий не ответил. Он придирчиво рассматривал обмундирование и оружие солдат: не фашисты ли переодетые?

Возможно, и не скоро пришел бы к правильному решению, если бы не увидел фашистского солдата. Без оружия и со связанными руками. Увидел его — понял: наша разведка возвращается с «языком»!

А Николай ничего этого не видит, ему просто передается волнение товарища, и он выхватывает из кармана шинели заветную «лимонку», почти кричит:

— Почему ты молчишь, Савелий?

А тот именно сейчас почувствовал, как велика нервная и физическая усталость. Поэтому в ответ одной рукой обнял Николая за плечи, на мгновение привлек к себе. Лишь после этого и сказал прерывающимся от радости голосом:

— Наши, Никола... Наши в двух шагах...

Этот короткий разговор слышали и солдаты. Один из них вышел вперед и спросил одновременно строго и доброжелательно:

— Кто такие? Куда идете?

Едва упали в сторожкую тишину четыре этих слова, Николай, охнув, стал оседать. Савелий подхватил его, не дал упасть. Тут Николай и заплакал. Впервые за все эти дни. А у Савелия не было слов, которые могли бы как-то успокоить, он только прижал его голову к своей груди.

Теперь уже все разведчики, оставив около «языка» лишь одного своего товарища, толпились рядом, сочувственно разглядывали, совали в руки краюшки хлеба, кисеты с табаком. А командир разведки протянул фляжку:

— Разрешаю по одному глотку для поднятия жизненного тонуса.

Николай плакать перестал внезапно. Будто устыдившись своей слабости, решительно отстранился от Савелия, потянулся рукой к ближайшему солдату и долго тщательно ощупывал его гимнастерку, плащ-палатку и автомат.

А Савелий, которого в это время засыпали вопросами, только и сказал, что идут они уже восьмые сутки, что Николай служил в таком-то стрелковом полку. Про себя умолчал: от огромной радости напрочь забыл, можно или нет упоминать отряд, в списках которого он числился.

Разведчики быстро соорудили носилки, уложили на них Николая. Он сразу заволновался, почти закричал:

— Савелий! Где ты?

— Чего орешь, рядом я.

— Где ты, где? — не успокаивался Николай.

Савелий положил свою руку на плечо товарища. Тот ухватился за нее и замолчал.

Разведчики принесли Николая к медсанбату. Все время, пока шли сюда, Савелий шагал рядом с носилками, все это время Николай молча цеплялся за его руку. Не отпустил ее и тогда, когда повели в операционную палатку. Командир разведки уже рассказал врачу то небольшое, что успел узнать, и тот вместе с Николаем разрешил войти в операционную и Савелию. Там их посадили на табуретки, стоявшие рядом. И сидели они, держась за руки.

Прикоснулся врач к бинтам на голове Николая — немедленно отвернулся, уставился глазами в землю Савелий: хотя товарищ не издал и звука, ему стало больно, словно

от его собственных ран собирались отдирать присохшие бинты.

Так и сидел, пока последний окровавленный бинт не был брошен в таз, где подобных бинтов было не счесть.

Сидел отвернувшись и настороженно ловил отрывистые реплики врача. Вот он потребовал ножницы... Приказывает какой-то жидкостью обработать раны Николая...

Тягостны, мучительны были эти минуты ожидания окончательного приговора врача. Даже голова разболелась.

И вдруг испуганный шепот Николая:

— Мамочка родная, а я вижу... Тебя, доктор... Тебя, сестрица... Я снова все вижу.

Диким голосом закричи Николай, волком взвой от боли — Савелий воспринял бы это как должное. Но то, что услышал, было сказочно, невероятно, и он с искренней тревогой посмотрел на Николая: в своем ли уме?

А тот, сейчас счастливейший из людей, смотрел на него зеленоватыми глазами, смеялся и беззвучно плакал одновременно.

Вернул к действительности врач, который добродушно ворчал:

— Вы, молодой человек, к сожалению, не знаете даже азов медицины как науки. Отсюда и ваша повышенная нервозность. Небось себя и товарища истерзали воплями о своей слепоте? А знай вы хотя бы самое элементарное, вспомнили бы, что контузия довольно часто порождает временную слепоту...

Врач говорил еще что-то, но Савелий больше не слушал его, он с отчетливой ясностью понял, что больше не нужен Николаю, что снова остался один. И он встал, сказал, глядя мимо людей:

— Счастливо оставаться... И спасибо за все...

— Ты куда, Савелий? — встрепенулся Николай.

— Своих искать.

— А я? Меня бросаешь? — разволновался Николай, осторожно, но решительно вырвал из рук медицинской сестры конец бинта, который оставалось лишь закрепить на его голове. — Дудки, Савелий, теперь я от тебя не отстану, теперь я за тобой, как нитка за иголочкой, всюду потянусь!

Сказал это, поясно поклонился сначала врачу, потом сестре:

— Сердечно благодарю за помощь.

Врач, повысив голос, грозно заявил, что ему, красноар-

мейцу Лазареву, просто необходимо хотя бы несколько дней побыть в медсанбате, восстановить силы, дать зарубцеваться ранам. Николай в ответ решительно подтолкнул Савелия к выходу из палатки.

Пока они были в операционной, большая черная туча закрыла солнце, обрушила на землю потоки воды. Но друзья бодро зашагали по дороге, не обходя пувырящихся луж. Шли к фронту, и Николай яро убеждал Савелия перейти служить к ним в полк, клятвенно заверял, что, если потребуется, дойдет до любого самого высокого начальства, но получит соответствующее разрешение. И тогда они всегда-всегда будут рядом!

А Савелий отмалчивался. У него было радостно на душе, так радостно и светло, что не хотелось думать о ближайшем будущем. Хотя бы еще несколько минут.

Дорофей

Он пристал к роте, когда она отходила от Дона к Сталинграду. Загребая стоптанными сапогами дорожную пыль, подошел к командиру роты и заявил:

— Язви их в душу, разгрохали у меня и кобылу, и повозку. Теперь, значит, к вам примкну. Для усиления.

Ему давно за сорок, он косолап, плечи у него широкие и опускаются, как скаты крыши, равномерно и круто. А главное, что сразу бросалось в глаза, — метелки усов, перечеркнувшие лицо от уха до уха.

К тому времени, когда появился он, в роте уцелело лишь тридцать два бойца, а обстановочка вокруг такая — каждый человек дорог, и поэтому командир роты, хотя сразу понял, что перед ним самый обыкновенный ездовой, лишь молча кивнул.

Заручившись согласием командира роты, он как-то особенно внимательно ощупал глазами всех бойцов, что двумя короткими цепочками шли по обочинам дороги, и сказал:

— Вот с этими сосунками и буду. Заместо насадки. —

Помолчал немного и добавил удивительно по-домашнему: — А звать меня Дороееем.

«Сосунки», к которым сам себя прикрепил Дороеей, были действительно молоды — лет по семнадцать-восемнадцать. Но к тому времени они под себя уже много военных верст подмяли и таких смертей насмотрелись — с ума сойдешь, если в мирной жизни они тебе только приснятся. Однако на слова Дороеея не обиделись: посчитали его остряком-самоучкой, без которого в любой роте тоскливо.

Дороеей и «сосунки» зашагали единой цепочкой. Командир роты сначала поглядывал на своего нового солдата (в годах, не станет ли отставать?), но Дороеей, нещадно косолапя, знай себе шел и шел. Будто и не брала его усталость вовсе.

Это обрадовало командира роты (не будет обузой), но почему вчерашний ездовой мгновенно вписался в роту — об этом не задумался. Даже не заметил, что винтовка словно прилипла к спине Дороеея. А заметь, спроси у Дороеея, почему так, — тот, возможно, и признался бы, что солдатскую науку прошел еще в империалистическую войну и у самого Брусилова, так что к чему другому, а к пешим маршам не привыкать.

Только про два солдатских Георгия наверняка промолчал бы Дороеей: жизнь научила помалкивать, свое при себе оставлять. Те же два Георгия научили.

Когда начал в деревне колхоз образовываться, Дороеей против него выступил. Тут уполномоченный, что из района прибыл, и пугнул его: дескать, как бы худо тебе не стало за это.

Дороеей, распаленный сомнениями в правильности своих мыслей, в ответ ляпнул на всю деревенскую площадь, где митинговали:

— А ты меня не пугай! За испуг я два Георгия имею!

Вчера вечером ляпнул, а уже утром его затребовали в район и начали спрашивать: когда, где и за какие такие подвиги царь тебе кресты пожаловал? Может, за то, что в рабочей крови забастовки топил?

Но чиста была совесть Дороеея перед народом, и через несколько часов его отпустили, посоветовав:

— Ты бы язык свой укоротил, не подпевал контре разной. И крестами царскими не бахвалься, не мути народ.

Только раз после этого случая не уследил он за языком — мигом угодил в ездовые. Георгиевский кавалер — ездовой!

Тогда они стояли в обороне и во сне не видели, что им еще придется отступить от немца. А батальоном командовал почти такой же юнец, что и этот командир роты. Он и спросил, кто из солдат кашеварить может: дескать, пока есть такая возможность, пожрать вкусно охота. Дорофей пожалел комбата и вышел из строя.

Не знал Дорофей, что комбату захотелось поесть чего и сам он не ведал, вот после первого обеда и загремел в ездовые.

Еще свежа в памяти была та обида, не зарубцевалась, и поэтому Дорофей молча шагал в солдатской цепочке.

К концу второго дня вышли к железной дороге Поворино — Сталинград. Нет, города еще не было ни слышно, ни видно, но он угадывался уже безошибочно. И по обилию свежих окопов, изрезавших степь, и по тому, что движение отступавших сначала замедлилось, а потом и вовсе прекратилось.

— Чуете, деточки, как Волгой пахнет? — сказал Дорофей.

Пахло полынью, едким солдатским потом и еще пылью, настоящей на бензине. Но Дорофей, казалось,пил речную прохладу, принюхивался к ней, и никто не возразил ему.

А утром здесь же, в первой линии окопов, вырытых горожанами, приняли бой. Немецкие танки в нем еще не участвовали (то ли где-то рядом фронт ворошили, то ли отстали чуть-чуть), но зато самолеты фашистские порезвились вволю: и бомбили так, что черная копоть легла на выгоревшую траву, и штурмовали, обстреливали из пушек и пулеметов.

Было очень тяжело, но терпимо.

Едва в небе заскулил первый фашистский пикировщик, Дорофей достал из вещевого мешка зимнюю шапку и здоровенную каску, чуть смятую слева, надел все это, и сразу голова его словно раздулась.

Но Дорофею и этого показалось мало: свою и приبلудную саперные лопатки, засунув черенки за поясной ремень, он пристроил так, чтобы железо лопат прикрывало грудь.

Поймав насмешливые взгляды соседей, он пояснил, насколько не смутившись:

— Береженого и бог бережет.

И опять ему ничего не ответили: головной самолет фашистской стаи уже заваливался на крыло, вот-вот от него

отделаться и взвоят черные точки бомб, такие безобидные издали.

А Дорофей улегся на дно окопа, свернулся там калачиком, уткнув лицо в ладони, и так пролежал всю бомбежку.

Но как только фашистские автоматчики пошли в атаку, он вскочил по первому сигналу, и на лице его не было ничего, кроме спокойной деловитости. Разве что кончики усов помялись.

Стрелял Дорофей редко и после каждого выстрела почему-то гладил ладонью затвор винтовки.

Ночью, когда фашисты улеглись спать и на окопы робко опустилась тишина, командир роты спросил у Дорофея:

— Докладывай, сколько фашистов срезал?

Дорофей глянул в ночь, будто хотел увидеть ту землю, по которой недавно катились волны вражеских автоматчиков, и ответил:

— Точно отрапортовать не имею возможности.

После первого боя новичок обычно безбожно хвастается своими успехами, нечто подобное ожидал услышать командир роты и сейчас. Ответ же был так неожидан, что он только и спросил:

— Ни разу не попал?

— Такими данными тоже не располагаю.

— Глаза закрывал, что ли, когда стрелял? Не видел, грохнулся твой фашист или дальше попер? — разъярился командир роты.

— Не, они все грохались... Только, может, и другой кто по ним же стрелял...

Командир роты помолчал, потом присел рядом с Дорофеем и достал из кармана кисет, протянул его солдату, что в роте считалось высокой честью.

Сталинград встретил роту несмолкающими взрывами многих снарядов, мин и авиационных бомб. В этот грохот изредка вплетались нервные строчки станковых пулеметов, а автоматные очереди казались негромким потрескиванием.

Город горел, дома его рушились, вздымая к небу тучи кирпичной и известковой пыли. Но город не только горел и рушился, он еще и яростно дрался с врагом.

Вот, сначала чуть дрогнув, наклонилась стена дома, нависла над улицей и, словно выждав удобный момент, рухнула на мостовую. Не успело поредеть облако кирпичной пыли, а за грудой камней уже улеглись солдаты и вы-

сматривают врага. Пыль ложится на плечи и головы солдат, на их оружие. И кажется фашистам, что сами камни поверженного дома ведут по ним яростный огонь.

В роте теперь только четырнадцать человек. Они — весь гарнизон дома на Рабоче-Крестьянской улице. Дом большой, до бомбежки, похоже, имел четыре или пять этажей. Сейчас — два с половиной. Но и теперь окон только на первом этаже в несколько раз больше, чем солдат в роте. А ведь есть еще и двери подъездов, есть и просто проломы в стенах.

Вот и обороняй дом, как знаешь...

Третьи сутки рота держит оборону в этом доме. Ни командир, ни политрук, иногда заглядывавший сюда, не говорили солдатам ничего о необходимости стоять здесь насмерть, и без слов все понимали это: ведь Волга — за спиной, ее хорошо видно, если по битым кирпичам вскарабкаться до окон третьего этажа.

Два дня фашисты бомбили и обстреливали дом, а сегодня их автоматчики подкрались к дому так близко, что бомбежку и обстрел прекратили. Зато стоило кому-нибудь неосторожно шевельнуться у оконного проема — немедленно зацокают пули по стенам и мелкое кирпичное крошево осыплет всех.

Одна из многих пуль, залетевших через оконные проемы, попала в грудь командира роты. Он зажал рану платком, некоторое время еще силился командовать, но скоро опустил на пол, просипев:

— Держаться...

Не стало командира роты, но бойцы продержались еще двое суток. Как продержались — и сами, кто выжил, потом не могли понять: фашистские автоматчики чуть попятись, и на дом снова посыпались бомбы, по его стенам снова забарабанили снаряды и мины. Так дружно, так неистово забарабанили, что камни стен и балки перекрытий не выдержали и дом враз осел до первого этажа. А вот солдаты — ничего, выдюжили.

Правда, когда они собрались вместе, теперь их было только четверо. Все обросшие густой щетиной, все с ввалившимися глазами и разводами пороховой копоти на лицах.

И все рядовые.

— Что мы имеем для душевной радости? — сам себя спросил Дорофей и выложил на шинель две полные обоймы и еще два патрона. — Да еще магазин полный у моей

винтовки, — пояснил он и добавил к патронам гранату. — Чехла к ней нет, значит, считаем хлопущкой.

Так же неторопливо, но молча выложили на шинель свои запасы и остальные. Оказалось, что весь их арсенал — три неполных автоматных диска, семнадцать патронов к винтовке Дорофея и семь гранат (одна — «лимонка»).

Увидели все это, пересчитали и еще больше посуровели, поняли: фашисты будут очень скоро радостно гоготать и в этих развалинах.

— А у тех? — спросил Дорофей.

— Чисто, — ответил кто-то.

— Значит, и у павших не поживимся... Что ж, этого маловато на четырех, — словно думая вслух, начал Дорофей и замолчал: шальная пуля куснула в висок еще одного, и тот, не протонав, сполз по стене на битый кирпич.

— Может, отойдем? — предложил Никита — основной подшефный Дорофея.

— Светает, — ответил Дорофей.

На черные развалины домов действительно уже струился рассвет. И был он необычайно нежен и тих. Будто в тысячи глаз не следили фашисты за развалинами, будто враз все люди здесь забыли о том, что у них есть оружие.

Как стало уже привычно, ровно в шесть фашисты свинцовым венником стеганули по дому, в котором сидели в обороне Дорофей с товарищами. Минут десять нещадно стегали и вдруг замолчали.

— А ну, товсь, деточки, — только и сказал Дорофей, занимая свое место у пролома в стене. Моментально рядом примостились и остальные двое: решили держаться вместе, кучкой.

Дорофей ожидал атаки, может быть, последней для гарнизона дома вражеской атаки. Но из пролома в стене дома, в котором скопились фашисты, свесился белый флаг — приглашение на переговоры. Это было так невероятно, что в первые секунды все трое не верили своим глазам. Потом Дорофей деловито достал из сидора чистую портянку и высунул ее из окна.

Из дома напротив вышел солдат и прокричал:

— Гауптман фон Фишер желает вести переговоры с командиром вашей части!

— Что ж, можем и поговорить, нам спешить некуда, — проворчал Дорофей.

— Может, мне пойти? — предложил Никита. Он счи-

тал, что фашисты обязательно попытаются убить Дорофея как командира гарнизона дома.

Но Дорофей полой шинели потер сапоги, распушил мелочки усов и молодецкато сдвинул каску на правый висок.

— Слышь, Дорофей, набрось на плечи мою плащ-палатку. Для маскировки своего звания набрось. На, держи ее, — заторопился Никита. — Ты — в годах, за большого начальника сойдешь.

Дорофей набросил плащ-палатку на свои покатые плечи, начал было завязывать на груди тесемки и вдруг посуровел, снял ее и протянул Никите, сказав:

— Не, пушай видит, что рядовой я. Может, крепче прошибет.

И добавил уже с улицы:

— Вы тут того...

Товарищи поняли, что он завещает им, если с ним что-то случится, и оборону дома, и вообще все, что должен был и не успел сделать он, Дорофей.

Фашистский офицер и солдат Дорофей встретились примерно на середине улицы. Козырнули друг другу и заговорили. О чем говорили они — никто не слышал, но столько достоинства было в стойке и жестах Дорофея, что у Никиты вырвалось:

— Блюдет пропорцию!

Дорофей, хотя ему в спину и пялились многие фашистские автоматы, возвращался степенно, без торопливости.

— Ну, что он балакал? — набросился Никита, едва Дорофей влез к ним.

— Обыкновенно говорил, — повел плечами Дорофей, достал из кармана гимнастерки тряпочку и стал протирать затвор винтовки. — Велел сдаваться. А я ему как положено вежливо отвечаю: «А дулю не хочешь?» Он мне: «Мы вас уничтожим!» Я ему соответственно: «На-ко, выкуси...» Без хулиганства, по-хорошему говорю... Напоследок он сказал, что они больше наш дом атаковать не будут, голодом нас заморят. Вот так-то деточки... Я ответил ему: «Валяй»...

И еще четверо суток Дорофей с двумя товарищами держали оборону в развалинах дома. От голода, казалось, кишки ссохлись, но они изредка постреливали по неосторожным фашистам: патроны берегли для последнего боя. А то, что он обязательно будет, точно знали: фашисты сейчас-то в обход дома пробираются, долго ли их командование этакое терпеть будет?

Но особенно невыносимой была жажда. С надеждой смотрели на каждое облачко. Безрезультатно.

Силы, казалось, были на исходе, казалось, еще сутки, нет, только еще один день, и они сами бросятся на врага, чтобы принять смерть в бою. Эта мысль стала навязчивой. Они уже не могли прогнать ее. И вдруг ночью, когда двое дремали в тяжком забытьи, а Дорофей дежурил у пролома в стене, левый берег Волги породил хвостатые молнии. Они кровавыми дугами прорезали черное небо и упали где-то между рекой и их домом. Клубы огня взметнулись там. А молнии рождались одна за другой, рождались часто и яростно. И каждая из них неизменно втыкалась в город; грохот их взрывов неумолимо полз к дому, где держали оборону три советских солдата.

За грохотом боя они не слышали криков «ура!» и поэтому с удивлением таращили глаза на наших солдат, которые вдруг хлынули в окна и проломы их дома. Человек пятьдесят сразу ворвались. И больше половины из них — в новеньком обмундировании. Пополнение!

А еще через сколько-то минут Дорофея с товарищами проводили на командный пункт полка. В подвале былолюдно, но командира полка Дорофей узнал сразу. И еще — увидел большой зеленый чайник, что стоял около майора. Дорофей, как того и требовал устав, вскинул руку к каске, а вот взглянуть на майора не смог: глаза будто приклеились к чайнику.

Майор заметил этот жадный взгляд, протянул чайник и сказал строго, тоном приказа:

— Пей, сержант.

Дорофей прямо из чайника сделал несколько торопливых и жадных глотков и передал его Никите, проследил, чтобы тот не забыл товарища, и лишь тогда заговорил:

— Разрешите доложить, товарищ майор?

— Не разрешаю, — будто сердясь, ответил тот. — Сутки отдыха. Всем троим.

И устало опустил на табуретку.

Сержанта Дорофея и двух его товарищей отвели в подвал соседнего дома, для них освободили там лучший угол и принесли три котелка с кашей. Словом, проявили настоящую солдатскую заботу. Все шло нормально, Дорофей уже достал из-за голенища ложку, завернутую в тряпицу, и тут кто-то сказал, искренне радуясь:

— Вот это подфартило так подфартило: и сержанта

вмиг схлопотал, и орден отхватил! Не меньше Красного Знамени!

Дорофей будто окаменел на несколько секунд, потом сунул ложку за голенище и вышел из подвала. За ним метнулись его товарищи. И молча прошагали по разрушенному городу к Волге, сели там на обуглившееся бревно. Долго сидели и молчали. Потом Дорофей повернулся к Никите и спросил:

— За что он меня так, а? Разве мы из-за награды?

Вот и все, что я знаю о Дорофее. Единственное, что еще сохранила память, — родом он из Прикамья. А откуда точно? Как его фамилия? Все это тогда прошло мимо меня.

В свое оправдание только и скажу: за всю войну лишь один раз с ним дорожки скрестились.

«Казенный человек»

Он не понравился командиру дивизиона катеров-тральщиков капитан-лейтенанту Мухину Василию Васильевичу. С первого взгляда. С того самого момента, когда подошел, козырнул и равнодушно доложил:

— Старший лейтенант Тименко прибыл для дальнейшего прохождения службы.

Доложил, козырнул еще раз и протянул направление, подписанное кадровиком флотилии. Самое обыкновенное направление, каких командиру дивизиона, хотя он и был недавно в этой должности, довелось повидать предостаточно: война не разбирается, рядовой ты, старшина или офицер, расположено к тебе начальство или нет, она с теми и другими порой обходится одинаково безжалостно. В этом направлении говорилось, что старший лейтенант Тименко Петр Лукич назначается в дивизион командиром четвертого отряда катеров-тральщиков. Того самого, который был еще в стадии формирования, того самого, куда Мухин просил направить Бориса Елисеева — однокашника по училищу, волевого командира, умелого организатора, в

совместных боях не счесть сколько раз проверенного. А прислали этого Тименко...

Мухин — среднего роста, самого обыкновенного телосложения, а Тименко был ему только по плечо, зато ботинки — размер сорок третий, не меньше; широкоплечий, даже без самого малого намека на талию и поэтому похожий на цилиндр, к которому шутки ради приделали все прочее — голову, руки и ноги; лицо — почти правильный круг, в центре которого нелепо торчала краснущая картошка носа; равнодушные голубые глаза и над ними — козырек строго уставной фуражки.

Вот таким Мухин увидел Тименко. А главное, что больше всего настроило его против старшего лейтенанта, — его абсолютное равнодушие ко всему окружающему! Во всяком случае, именно так считал тогда капитан-лейтенант Мухин.

Мухину было двадцать четыре года, он только в марте прошлого, сорок первого, года окончил Высшее военноморское училище имени Фрунзе, а сегодня — уже капитан-лейтенант, уже командир дивизиона! Поэтому был несколько скор на выводы, искренне считал себя командиром, который любого человека враз и безошибочно распознает. А Тименко, получив от него официальное «добро», словно нарочно еще подлил масла в огонь, спросив:

— Товарищ капитан-лейтенант, смогу я в ближайшее время получить брюки и китель? Срок носки моих истек на той неделе.

«Еще и крохобор!» — подумал Мухин, но, сдержав себя, ответил, что Тименко все получит обязательно, если... оно есть на базе: нельзя забывать, что Волжская флотилия только создается, что брюки и китель, разумеется, нужны, но не они сейчас главное, решающее.

— Что ж, я — человек казенный, я просто обязан ждать, — отпарировал Тименко, еще раз козырнул и ушел на свои катера.

Было это в конце июля 1942 года, в тот самый момент, когда фашисты активно минировали Волгу. Поэтому и подбегали катера-тральщики к штабу дивизиона лишь по вызову начальства, за продуктами, боезапасом или еще чем, без чего нельзя было продолжать работу на плесе. Так что Тименко не имел возможности еще раз напомнить о брюках и кителе, а у Мухина и других, во много раз более важных, вопросов было предостаточно.

Нет, Сталинградская битва тогда еще не началась (во

всяком случае, моряки об этом ничего не знали), но приближение чего-то небывало грозного чувствовалось ошутимо; и сводки Совинформбюро явно не всю правду сообщали (ведь по Волге шли и пароходы, ставшие госпиталями, значит, сведения о делах на фронте от раненых получали исправно), и фашистские самолеты теперь почти каждую ночь утюжили небо над Волгой. Едва верхний край солнца прятался за прибрежным курганом — появлялись они и безжалостно бомбили все суда, какие им удавалось увидеть, обстреливали из пушек и пулеметов домики бакенщиков и просто берега; самое же поганое — тайком ставили морские неконтактные мины, преимущественно магнитные.

До самого рассвета бесчинствовали фашистские самолеты!

Так что, как говорили матросы, работы было — успевай вертеться.

Самым главным врагом катеров-тральщиков, разумеется, были те проклятущие мины. Именно с помощью их гитлеровцы хотели уничтожить судоходство на Волге. Чтобы сорвать этот замысел, и елозили катера-тральщики по минным полям, елозили, в душе ни на секунду не забывая, что мина может взорваться и под катером. Тогда... Да что говорить про катера-тральщики: большие пассажирские пароходы, если мина взрывалась под ними, переламывались с такой легкостью, как карандаш в руке взрослого человека.

В эту чрезвычайно напряженную пору Тименко опять вызвал неудовольствие Мухина! Он, когда его катера работали порознь, почти всегда обосновывался на каком-нибудь матросском посту наблюдения и связи и оттуда, используя телефоны и радиостанцию поста, переговаривался со своими катерами и штабом дивизиона. А на дивизионе уже сложилась традиция: здесь стало правилом, что во время траления все командиры обязательно находились на катерах-тральщиках, так сказать, вместе с матросами и жизнью рисковали, и радовались, когда удавалось взорвать мину. Даже на командира дивизиона распространялось это неписаное правило.

И, уловив Тименко на одном из постов наблюдения и связи, Мухин в спокойных тонах, но прямо сказал старшему лейтенанту, что до его появления трусов в дивизионе не было и доброе имя дивизиона требует того, чтобы их не стало.

Тименко вроде бы равнодушно выслушал более чем прозрачный намек и ответил без малейшего признака обиды или возмущения:

— Вас понял. Я, так сказать, человек казенный, от приказов других зависящий... Только, как мне кажется, при такой постановке вопроса не командиром отряда, а дублером командира катера-тральщика я становлюсь. Много ли я увижу, если буду сидеть невылазно на одном катере? Однако повторяю: я — человек казенный, а вы — комдив, и если прикажете...

Мухин не приказал: в душе он одобрил командирские рассуждения Тименко. Действительно, разумно ли, например, ему, комдиву, уходить на траление, допустим, с двумя катерами, все прочие заботы взвалив на начальника штаба? Не является ли это пустой бравадой, своеобразным мальчишеством?

Иными словами, для себя Мухин сделал правильные выводы, да и мнение о Тименко у него чуть-чуть изменилось: оценил его командирскую хватку.

Но Тименко будто не хотел, чтобы мнение комдива о нем изменилось к лучшему! Когда началась битва в самом Сталинграде и катерам-тральщикам капитан-лейтенанта Мухина выпало работать на переправах, до командира дивизиона дошел слухок, что Тименко своим матросам перед выходом на задание запрещает переодеваться в парадное: дескать, мы с вами люди казенные и казенное имущество обязаны беречь, дескать, оно казной на вполне определенный срок нам выдано, а вы за считанные недели готовы его в такое состояние привести, что глянуть на вас стыдно будет.

Вроде бы правильно рассуждал Тименко, но душа Мухина взбунтовалась: надо же командиру считаться и с настроением личного состава, и с вековыми традициями русского военно-морского флота! Кроме того, как утверждают медики, чистое белье уменьшает вероятность заражения раны.

И опять состоялся разговор. Со стороны Мухина — гневный, приказным тоном. А Тименко только несколько раз сказал равнодушным голосом:

— Вас понял, будет исполнено.

В силу своего характера комдив простил бы Тименко даже пререкания, возможно — резкие слова, оброненные в споре, но этот бесцветный голос, эти невозмутимые голубые глаза, смотрившие на него как на стену, случайно ока-

завшуюся на пути, были невыносимы, и Мухин твердо решил, что ему с Тименко никогда не сработаться, значит, надо искать причину, которая дала бы возможность избавиться от этого «казенного человека». И стал искать ее.

Однако все задания, которые давались отряду, неизменно выполнялись добросовестно и в указанный срок. Да и матросы относились к Тименко более чем уважительно, прозвали его: «Наш Фурманов». Понимай — за неизменные спокойствие и справедливость.

Мухин просмотрел, можно сказать — изучил, его личное дело. В нем и обнаружил, что в свое время Тименко проходил службу матросом на Черноморском флоте, а война застала его уже в командирском звании и в Днепровской флотилии, где он был командиром отряда бывших польских бронекатеров.

То, что Тименко вышел в командиры из матросов и участвовал в боях с первых дней войны, на какое-то время чуть поколебало решение Мухина. Однако скоро он все поставил на прежние места, выдвинув довод: если верить историкам, прославленный адмирал Ушаков однажды сказал, что его морской сундучок вместе с ним участвовал во всех баталиях, но так сундучком и остался.

Мыслями своими Мухин, конечно, поделился с комиссаром, ждал одобрения, но тот, терпеливо выслушав, ответил: — Может, спешишь с выводами? Матросы шепчутся, что он представлен к ордену.

— В личном деле об этом ни слова, — возразил Мухин.

— В личном деле ни слова, — передразнил его комиссар и больше ничего не добавил.

Да и излишним это было: Мухин уже сообразил, что представлен к правительственной награде — еще не значит, что ты обязательно получишь ее, а следовательно, и не должно быть в личном деле сведений об этом.

И тогда, борясь сам с собой, Мухин выдвинул, как ему казалось, последний и самый весомый довод:

— Одно его излюбленное выражение «Я — человек казенный» чего стоит. Или ты не знаешь, что сейчас и многие матросы чуть что эти же слова повторяют?

— Не в словах дело, Василий Васильевич, не в словах.

Как показалось Мухину, комиссар заметил его душевные колебания, но на помощь не поспешил, только посоветовал получше приглядеться к Тименко и его деятельности, еще раз все основательно обдумать. Дескать, в отряде вполне достаточно коммунистов — надежнейших ребят, они

никому не позволят сделать что-то во вред работе и дисциплине. Это была сущая правда. Самое же весомое — верил Василий Васильевич своему комиссару. Его совести, его большому жизненному опыту: ведь тот стал коммунистом еще в годы гражданской войны, а последняя его должность при мирной жизни — секретарь райкома партии. Согласитесь, одно это говорит о многом.

Может быть, Мухин все же и нашел бы причину, которая позволила бы ему избавиться от Тименко, но битва за Сталинград стала столь масштабной, яростной и кровавой, что Василий Васильевич просто забыл о своей неприязни к старшему лейтенанту. Теперь, когда потери в личном составе стали чрезвычайно ощутимыми, был дорог каждый человек. Да и вообще в те дни все защитники города позабыли о личном, это мелкое напрочь закрыла общая огромная тревога за исход битвы, за судьбу всей Родины. Ведь все защитники Сталинграда каждой клеточкой тела знали, что за Волгой для них земли нет.

В самый разгар боев за Сталинград Мухину вдруг позвонили из штаба армии и приказали представить к правительственным наградам весь личный состав катера-тральщика № 225, который вчера ночью доставил боезапас защитникам города. «Доставил боезапас защитникам города», — это было обыденно, этим все катера-тральщики не только его дивизиона занимались почти повседневно (повсенощно?), и Мухин спросил, за что конкретно представлять к наградам.

— Разве они не доложили вам? Ну и орлы! — как показалось Мухину, даже с восхищением ответили ему, а потом рассказали, что тому катеру-тральщику для выгрузки боезапаса ошибочно дали точку, где отмель не позволяла подойти к берегу; вот и сел он на пески в нескольких десятках метров от берега. Фашисты, конечно, немедленно открыли по нему яростный огонь из пушек, минометов и даже пулеметов; в такой обстановке для катера и его личного состава самым разумным было бы — поскорее сняться с мели и полным ходом в ночь, туда, где гитлеровцы не могут расстрелять тебя, но два матроса, где вброд, где вплавь, добрались до берега, нашли лодку-завозню и, сделав на ней несколько рейсов, весь боезапас переправили с катера на берег, ну а там его и похватили солдаты.

С удовольствием выслушав все это, Мухин заверил, что с наградными листами с его стороны задержки не будет. Действительно, уже к вечеру он подписал наградные лис-

ты, подготовленные Тименко; кому же и оформлять документы, если тот катер-тральщик входит в его отряд? Удивился, что только три наградных листа пришлось подписывать, но, почему так, спрашивать не стал: у Тименко, как у командира отряда, могли быть и свои соображения, которые и вынудили кого-то обойти наградой. С огромным удовольствием подписал те наградные листы и немедленно с нарочным отправил по назначению. И снова в бой, снова на переправу. А под утро, когда все-таки посчастливилось вернуться в свой штаб, получил устный выговор от командующего флотилией. За то получил, что не представил к награде... Тименко! Оказывается, в ту ночь он был сам четвертым на том катере-тральщике, оказывается, потому только два матроса на лодке-завозне и перевозили на берег боезапас, что Тименко оставался в рубке, а моторист — в машинном отсеке. На всякий случай оставались...

Сначала Мухина захлестнула с головой обида на Тименко за то, что тот, докладывая о выполнении задания, умолчал об этих существенных деталях, хотя подвиги матросов описал хорошо: с такими подробностями, которые, сидя за письменным столом и вдали от боя, не выдумаешь. А потом, поостыв, вдруг подумал, что Тименко поступил исключительно правильно: это отвратительно, когда человек сам себя восхваляет, выпячивает!

Наградной лист на Тименко, разумеется, немедленно написал и отправил. Самое же удивительное — подписал наградной лист и с изумлением заметил, что нет у него какой-либо неприязни к Петру Лукичу. Слово и не было никогда!

Тименко и матросы награды получили скоро, может через неделю или около того. Правда, не ордена, как просил Мухин, а медали «За отвагу». Все четверо. Но и это было высочайшим счастьем. Настолько огромным и общим, что на вручение медалей прибыл сам командующий флотилией контр-адмирал Рогачев, ранее командовавший погибшей в боях Днепровской флотилией. Он и сказал, вручив Тименко медаль:

— Сверли еще одну дырку на кителе: вот-вот и за Днепр награду получишь.

Ничто не дрогнуло на лице Тименко, самой малой искорки радости не мелькнуло в глазах! Он ответил строго по уставу:

— Служу Советскому Союзу!

Мухин был готов поклясться чем угодно, что Петр Лу-

кич лишь огромным усилием воли сдерживал, подавлял радость, распиравшую его.

Значит, всегдашняя его невозмутимость — лишь умелая маскировка?!

Это открытие воодушевило Мухина: выходит, любого человека можно разгадать, если повнимательнее присмотреться к нему, если не поддаваться первому впечатлению! И, чтобы знать о Петре Лукиче (теперь он мысленно только так и называл его) все-все, он, воспользовавшись тем, что сегодня у всех было праздничное настроение, подошел к одному из знакомых командиров, который на Волгу попал с Днепра, и спросил: на что намекнул контр-адмирал, за какие такие боевые заслуги Петру Лукичу выпала еще одна правительственная награда? И тот восторженно рассказал...

О том, что началась война, Тименко никто не говорил, не объявлял. Просто на рассвете 22 июня фашистские бомбардировщики вдруг повисли над канонерскими лодками Днепровской флотилии и сбросили десятки грохочущих бомб. На отряд бронекатеров, которым тогда командовал он, Петр Лукич Тименко, гитлеровские летчики внимания не обратили, справедливо посчитали их мелочью. Действительно, весь отряд — два катеришки, каждый размером с лодку-завозню, одетые противопульной броней и имеющие на вооружении лишь по одному самому обыкновенному пулемету.

Еще вступая в командование этим отрядом трофейных бронекатеров, Петр Лукич твердо знал, что их боевая мощь близка к нулю. Панской Польше они были нужны лишь для счета боевых единиц флота и карательных налетов на недовольные, бунтующие села, деревни и хутора; особенно в период весеннего половодья, когда Припять, Пина, Ясельда и десятки других речушек выплескивались из своего русла и морем разливались по болотам и лесам.

Фашистские самолеты бомбили наши канонерские лодки, те вели по ним огонь, а бронекатера Тименко свидетелями стояли под ивовыми кусточками, нависшими над ленивой водой Пины. Взволнованными, очень заинтересованными. Тогда в душе у многих матросов еще теплилась слабая надежда, что это лишь пограничный инцидент, но все равно невероятно хотелось, чтобы был сбит хотя бы один фашистский самолет. Однако канонерские лодки своими снарядами и пулеметными очередями продырявили только

безоблачное голубое небо, отливающее нежной зеленью. Правда, и фашистские самолеты не поразили ни одной цели, зря десятки бомб израсходовали.

А еще через несколько дней корабли Днепровской флотилии были вынуждены оставить Пинск, они, огрызаясь из пушек и пулеметов, пошли вниз по Припяти, все время подгоняемые угрозой возможного окружения.

Отряд Тименко, хотя ему первому и было приказано начать отход для соединения с главными силами флотилии, скоро безнадежно отстал: и машины у других кораблей были во много раз мощнее, чем у трофейных бронекатеров, и волны, которые бежали за канонерскими лодками и настоящими бронекатерами, были смертельно опасны для малюток Тименко; поэтому, чтобы не оказаться перевернутыми, они и спешили убежать с пути настоящих боевых кораблей, теряли часы, отстаиваясь в тихих заводях. Короче говоря, и сами точно не заметили, когда вдруг оказались одни и меж берегов, где уже хозяйничали фашисты. Тогда Тименко принял единственно правильное в его положении решение: ясной ночью, когда воздух звенел от писка комариных туч, оба бронекатера были затоплены в глухой старице, заросшей лилиями и кувшинками; без пулеметов, с испорченными машинами затоплены.

Несколько минут молча постояли на берегу, обнажив головы, и пошли на восток. Весь личный состав отряда, все одиннадцать человек.

Легло между ними и затопленными бронекатерами километров пять — Тименко вдруг остановился, подождал, пока вокруг него сгрудились товарищи, и сказал просто, обыденно, но с командирскими нотками в голосе:

— Как мне думается, мы должны не просто пробираться к своим, мы обязаны еще и воевать. Не бездумно на фашистов бросаться, а посильное ломать. Другие мнения есть? Прошу высказывать.

Ему ответили молчанием одобрения. Тогда он еще вопрос подкинул:

— А что для этого позарез нужно?

У них на всех было лишь два карабина и пистолет. Поэтому один из матросов ответил без промедления:

— Оружие.

— Правильно! — словно обрадовался Тименко его догадливости. — Отсюда вытекает и мой приказ: всем вооружиться за счет фашистов. Вооружиться — как можно быстрее и лучше.

Потом, поспорив немного, решили, что в морской форме далеко не уйдешь, что следует обязательно позаботиться и о собственной маскировке.

Приняли два этих решения — пошли вдоль тракта, где почти непрерывно надсадно гудели моторами многие немецкие грузовики. И к исходу второго дня пути трофейными автоматами обзавелись все. Теперь, когда основательно вооружились, заглянули в одну из деревенок, которую война пока миновала, и сменяли фланелевки и шикарные клеши на самую обыкновенную одежду местных селян — рубахи из домотканого полотна и основательно поношенные штаны и пиджаки.

После этого шли почти две недели. И все это время военное счастье сопутствовало им: ни разу фашисты их не засекли, ни разу в огненные клещи не схватили. Но теперь с Тименко шли только восемь человек: те, фамилии которых накрепко запомнили, но вслух не произносили, осели в деревушках, спрятались от войны за бабьими подолами.

Остальные упрямо шли на восток. Изголодавшиеся, оборвавшиеся, усталые до невозможности, но шли, обмениваясь только самыми необходимыми словами, чтобы зря не транжирить остатки сил. И вдруг в полдень, когда даже в лесу, казалось, нечем было дышать, вышли к опушке большой поляны, дальней кромкой своей упиравшейся в Припять. Еще только приближались к поляне — услышали человеческие голоса. Веселые, беззаботные.

Ползком подобрались к кустам ивняка, обступившим поляну, продрались меж тонких и частых стволов — увидели фашистов. Может, тысячу с довеском. Не на марше, не в строю, а на отдыхе. Колдующих у маленьких костров, вокруг которых было бело от куриных, утиных и гусиных перьев, беззаботно плещущихся в реке или блаженно-просто валяющихся на траве, пестрой от множества цветов.

Самое же обидное, возмущающее до самой дальней клеточки — фашисты считали себя в полнейшей безопасности: ни один не имел при себе оружия, ни один из них даже взгляда настороженного не бросил в сторону леса, обступившего поляну, стеной стоявшего на том берегу Припяти.

А господа офицеры даже во время отдыха не хотели смешиваться с солдатней: их обмундирование аккуратными кучками лежало в тени большой одинокой березы, сами они неспешно плескались повыше солдат.

Нападать на такую ораву — себе немедленную смерть

схлопотать. Но и уйти просто так, даже самого малого вреда не причинив, сил не было. И тут кто-то из матросов шепнул:

— Глянь, командир, на березу. Под которой офицерские шмотки валяются.

Под березой, где в тени прятались две легковушки, торчал солдат. Единственный из этого скопища — в полной форме. Даже с каской на голове. Но и его заразила общая уверенность в своей силе, в том, что здесь им ничего не угрожает: свой автомат он прислонил к стволу березы, пестрому от множества черных наростов.

Почему же он торчит здесь? Да еще в полной форме?

И тут глаза сами вцепились в черное древко, верхняя часть которого нырнула в чехол.

Знамя! Знамя части!

Как показалось матросам, Тименко бесконечно долго смотрел на это знамя, укутанное в чехол и прислоненное к стволу березы; его, это знамя, и охранял солдат.

Знамя фашистской части... Тименко прекрасно понимал, что только исчезнет оно — все эти сейчас так беззаботно гогочущие гитлеровцы и многие другие немедленно оцепят ближайшие к поляне леса, все в них перевернут, перероят, ни одного самого трухлявого пня не оставят без внимания. И все равно, поймав вопрошающие нетерпеливые взгляды товарищей, двум из них он сказал:

— Пошел!

И они пошли, вернее — поползли, стараясь вжаться в землю, стремясь двигаться так, чтобы не качнулась ни одна ромашка.

Остальные, только кося глазом в их сторону, направили автоматы туда, где больше всего грудилось гитлеровцев; все восемь моряков точно знали, что это их минуты, что сейчас они как один погибнут, в неизбежном бою или...

«Или» — нет, не о личной славе думали они в тот момент, не о том, что совершают подвиг. Каждый из этих восьми парней, еще мгновение назад считавший, что они песчинка, которую военная буря швыряет куда хочет, вдруг осознал, что они — сила, что, если им сейчас повезет, эта часть, эти сотни вражеских солдат не скоро дойдут до фронта. Не дойдут они до фронта в ближайшие дни — разве это не действенная помощь родной армии, которая направляет все силы, чтобы сдерживать натиск врага?

Два матроса подползли к березе. Вот они разом встали во весь рост, встали за спиной гитлеровца и тотчас вместе

с ним упали на землю. А еще через мгновение скользнуло к некошенной этим летом траве и знамя, укутанное в чехол.

В кусты ивняка, где ожидали товарищи, те двое притащили и знамя, и труп часового.

— Спрячем в болоте, авось на него первое подозрение падет, — торопливо доложил один из них.

Так и сделали. А знамя оторвали от древка, которое разломали на кусочки, и так запрятали в лесу, чтобы фашисты не смогли их найти; не здесь, вблизи поляны, а за многие километры от нее запрятали.

Само полотнище знамени даже не рассматривали: вот-вот спохватятся те вояки, и тогда тут такое начнется!

Полотнище знамени Тименко, сложив в узкую полосу, обернул вокруг живота, спрятал под простенькими мужицкими рубахой и пиджаком. Нет, он и не помышлял себе присвоить общую славу, знамя взял исключительно потому, что, попадись с ним здесь, на захваченной врагами земле, немедленная и мучительная смерть обеспечена; а он — командир, он обязан самое тяжкое брать на себя.

Отошли от поляны километра на два или три — сзади вспыхнула пальба. Она гремела, ярилась, а восемь моряков все шли и шли, стремясь как можно дальше уйти от нее. Впереди, палкой прощупывая тропинку (не заминирована ли?), — Тименко...

Теперь Мухин уже не замечал, что у Тименко не по росту большой размер ботинок, а лицо округлое, как шакежка. Человек как человек, даже симпатичный.

Этими своими мыслями Василий Васильевич поспешил поделиться с комиссаром. Тот, как обычно, терпеливо выслушал его откровения и спросил неожиданное:

— Между прочим, не знаешь, как они потом, с фашистским знаменем, шли? Что на их долю выпало?

— У кого ни спрашивал, все отвечают: дескать, из Тименко только и выжали, что нормально.

— Нормально... К твоему сведению: через линию фронта их из восьми перешло только трое... А сказали тебе, что уже на нашей территории Петр Лукич то проклятое знамя немедленно передал одному из матросов? Тяжело раненному. Жить которому оставались считанные часы. Тот матрос и вручил эту тряпку нашему командованию, его для истории и запечатлел фотограф.

Выложил это комиссар и ушел, оставив комдива один на один со своими мыслями, размышлениями о жизни во-

обще и о сложности человеческой души, о том, что каждый человек — задача с невероятным множеством неизвестных.

А еще через два дня Мухин вызвал командира базы и спросил будто между прочим:

— Помнится, у Тименко вышел срок носки кителя и брюк. Надеюсь, выдали ему новые?

— Такому разве не выдашь? Он же почти кричал: «Я — человек казенный, мне положено!»

В душе Мухина зародилось даже что-то похожее на одобрение настойчивости Тименко. Дескать, только так и надо на вас, снабженцев, наступать, если вы нормального слова не понимаете!

Командир базы не разгадал настроения комдива, он продолжил и вовсе с неподдельным возмущением:

— Самое обидное — только получил те китель и брюки, немедленно упаковал их и оформил посылочкой. Куда, спрашивается, пошло казенное имущество, в котором у нас такая острая нужда?

Командир базы говорил еще что-то, но Мухин уже не слушал его: он точно знал, куда и кому Петр Лукич адресовал посылку; Тименко и свой денежный аттестат выправил на тот же адрес — семье того самого матроса, который умер, вручив нашему командованию знамя фашистской части; у того осталось сиротами трое детей, старшему едва исполнилось пять лет.

Командиру базы Мухин ничего этого не сказал. Только кивнул, разрешая уйти.

Пошло по Волге сало, затянуло почти всю ее — корабли Волжской флотилии из-под Сталинграда ушли на зимовку в затоны. Чтобы по-настоящему заделать многие пробойны, получить и обучить пополнение, освоить новую боевую технику.

До первых чисел апреля 1943 года находились в заторах. Месяцы вне боев промелькнули; значит, было время для боевой подготовки, бурных комсомольских собраний, смотров художественной самодеятельности и просто разговоров около распахнутой дверцы печурки, в которой резвилось сейчас безобидное, такое ласкающее пламя. Не случалось за эти месяцы, что Мухин сидел рядом с Тименко, вел с ним самые обыкновенные разговоры. Не командир дивизиона, а просто человек вел. Однако Тименко будто не замечал этих попыток душевного сближения: на вопросы отвечал односложно, старательно выбирая слова, при малейшей возможности тактично подчеркивал, что место

свое знает и на большее не претендует. И Мухин пришел к выводу, что Тименко испытывает к нему антипатию. Возможно, еще большую, чем та, во власти которой он сам был недавно. Пришел к этому выводу — перестал искать пути сближения с Петром Лукичом, решив, что насильно мил не будешь, что ему с Тименко ребят не крестить, а воевать с фашистами, громить их — и при теперешних взаимоотношениях очень даже можно.

В первых числах апреля, подчиняясь приказу командования, катера-тральщики вновь выбежали на волжские плесы и перекаты, вновь поставили тралы и включились в свою опасную, но столь необходимую работу. Без раскочки, с полным напряжением всех сил включились: фашисты, еще надеясь на что-то, с невероятной яростью бомбили все суда, буквально каждую ночь ставили мины. Так много их понабросали, что судоходство стало возможно лишь по извилистым и узким фарватерам.

Да, от берегов Волги война отступила на запад, на сотни километров отступила. Приказом Верховного Главнокомандования Волжская военная флотилия была выведена из состава действующих частей. Но и здесь ночами гремели пушечные выстрелы, рокотали пулеметные очереди, и здесь погибали люди, и здесь, случалось, взрывались пассажирские пароходы, ставшие госпиталями, или вдруг жарким пламенем вспыхивала какая-нибудь баржа-нефтянка, и тогда снова, как и год назад, Волга несла к Каспию огненные струи, жадно пожиравшие все на своем пути.

К середине мая напряженность минной войны на Волге стала столь велика, что все поняли: вот-вот, еще чуть-чуть и кто-то не выдержит. Не выдержали гитлеровцы. Мухин понимал, что было много причин, которые заставили сдать именно их. В том числе — и невероятное упорство, с которым все советские люди защищали Волгу, оберегали судоходство на ней.

Стала угасать активность фашистских самолетов-минносцев — был получен приказ Государственного Комитета Обороны, в котором четко говорилось, что уже к осени 1943 года Волга должна быть полностью очищена от фашистских мин. Еще тонюсенькая ниточка фарватера, непрерывно виляющего между многих минных полей, связывала низовья Волги с городами промышленного центра России, еще невесть сколько коварных фашистских мин, затаившись, лежало на дне великой русской реки, казалось —

еще вчера судоходство здесь могло прекратиться, а сегодня пришел этот приказ. Крайне нужный, вселяющий уверенность в то, что наверняка посылно сделать вроде бы невозможное.

И с еще большей яростью катера-тральщики набросились на вражеские минные поля и банки, работали от зари до зари, ночью охраняя от фашистских самолетов караваны судов с нефтью и другими грузами, столь необходимыми фронту; спали когда и где придется, но не роптали. Больше того — были горды, что выстояли, победили в Сталинградской битве, а сейчас выполняют столь ответственное задание.

Отряд Тименко к этому времени зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Надежностью в работе, упорством в достижении цели, хорошей и смелой инициативой. Поэтому, когда возникла такая необходимость, Мухин без малейших колебаний для работы отправил его к самой дальней границе своего боевого участка: искренне верил, что Петр Лукич прекрасно обойдется и без постоянного контроля с его стороны и штаба дивизиона. Да и стоит ли рядом с собой насильно держать человека, который на тебя волком смотрит?

Четверо суток, если верить докладам, у Тименко все шло прекрасно: каждый вечер он передавал сводки, в которых сообщал, сколько тральных галсов и где сделано, каковы их результаты. Мухин предполагал, что еще суток трое напряженнейшей работы — и можно будет уверенно доложить командованию о снятии и этого минного поля. Искренне так считал. И вдруг ночью разыгрался ветер-низовик. Взлохматил Волгу, ее ласковые волны превратил в бешеные пенные валы, которые, обрушиваясь на обрывистый берег, легко отрывали от него глыбы земли, безжалостно крушили лодки, норовили катера-тральщики и даже большие пассажирские пароходы выбросить на пески; они были настолько свирепы, что перевернули один каспийский сейнер, капитан которого самонадеянно посчитал, что уж со штормом-то на реке он, кадровый моряк, играючи справится.

Отбушевав ночь, ветер угомонился, и, когда над лысым курганом поднялось солнце, умытое ливнем, лишь деревья, упавшие в Волгу вместе с глыбами яра, напоминали о его недавнем неистовстве.

Прежде всего нужно было знать, все ли благополучно в отрядах, и Мухин обосновался у телефонов. Все коман-

диры отрядов на вызов отозвались без промедления и доложили: повреждений от шторма не имеем, уже приступили к тралению точно по графику. Все командиры отрядов так ответили. Спокойно, уверенно. И Петр Лукич таким же тоном отвечал. Правда, о шторме и словом не обмолвился. Может быть, потому, что не слышал вопросов? Несколько раз повторил, что траление надеется закончить в срок, а потом стал дуть в трубку, тихонько чертыхаться и в заключение разговора почти прокричал:

— Не слышу вас, товарищ комдив, не слышу!

Мухин, обрадованный, успокоенный общими докладами, не придавал значения этой технической неполадке, бросил трубку на аппарат, подумав, что после такого шторма от линейной связи любых фокусов ожидать можно; да и, как ему казалось, главное он, Мухин, услышал: траление продолжается строго по графику.

Промелькнуло еще трое суток. Напряженных, казалось, до предела. А в начале четвертых, когда Мухин только пришел в каюту и прилег на койку, чтобы хоть немного отойти от недавней вражеской бомбежки, ему доложили, что идут все четыре катера-тральщика, которые с Тименко работали на том дальнем минном поле. Василий Васильевич про себя отметил, что они опередили график на шесть часов, захотел поблагодарить за самоотверженную работу и, одевшись, вышел на верхнюю палубу. Действительно, разрезая форштевнями волжскую воду, шли катера Тименко. Кильватерной колонной, не вылезая из следа головного и точно выдерживая дистанцию. Словно не с боевого задания возвращались, а на параде шли. Подумалось, что сейчас Петр Лукич, как того требовал устав, спросит разрешения подойти к берегу.

Тименко не спросил разрешения. Он, будто и не заметив родного дивизиона, пробежал мимо.

Это было столь невероятно, что Мухин на какие-то минуты растерялся и гневно приказал с некоторым опозданием:

— Полуглиссер к борту!

И уже комиссару, который оказался рядом:

— Догоню, поверну обратно, а этого разгильдяя Тименко немедленно отстраню от командования отрядом. На кой черт мне такие помощники?!

Комиссар по обыкновению ответил спокойно:

— Нервы надо сдерживать, Василий Васильевич... Да и зачем догонять их? Не дальше Камышина сходят. А по-

том, когда вернутся, нужно будет и спросить по всей строгости уставов.

Действительно, в Камышине — штаб бригады, оперативный дежурный обязательно позвонит сюда и спросит его, Мухина, куда он послал свои катера. Или на собственном боевом участке закончил траление, вот и спешит на помощь соседу? Если так, то почему без разрешения штаба бригады?

Может быть, и не этими словами, но в таком духе спросит. Это яснее ясного. Но зачем, почему Тименко поступил так?

Сколько ни ломал голову, ответа не нашел. И, чтобы не показать подчиненным, что все это волнует и возмущает его, он ушел в каюту, но сна как не бывало. Тогда присел к столу, обложился различными циркулярами, распоряжениями и указаниями, полученными только за последние дни, вроде бы и внимательно вчитывался в них, однако многого не понимал.

Здесь, когда он сидел за маленьким столиком, заваленным деловыми бумагами, дежурный по дивизиону и доложил ему, что катера Тименко бегут с верховьев и просят разрешения подойти к берегу. Ответил вроде бы спокойно: — Передайте «добро».

Неспешно проверил, все ли пуговицы кителя застегнуты, убрал бумаги в железный ящик, заменявший сейф, надел фуражку и с самым равнодушным видом вышел на палубу.

Здесь были только комиссар и вахтенный матрос; остальные — чувствовалось — предпочли не показываться на глаза разгневанному начальству.

Катера пришвартовались быстро, слаженно, без излишней суеты. И, не потеряв ни одной лишней минуты, Тименко подбежал к Мухину, доложил самым обыкновенным голосом, что траление окончено, все документы на снятие минного поля готовы. И ни слова о том, почему несколько часов назад пробежал мимо дивизиона! Словно и не было самовольного похода до Камышина! Или уже успел забыть об этом? Зато капитан-лейтенант Мухин все помнил отчетливо, за эти часы основательно обдумал свою обличающую речь и теперь без промедления высказал все, что думал о Тименко, о его самоуправстве. Без крика или ругани, но с самыми уничтожающими выводами высказал. Тименко, казалось, равнодушно выслушал обидные слова. Он заговорил лишь тогда, когда комдив окончательно замолчал, и сказал вовсе не то, чего тот ждал от него:

— Товарищ капитан-лейтенант, прошу для личной беседы принять меня в вашей каюте. Чтобы, кроме комиссара и вас, никого не было.

Мухин еще колебался, нужно ли для разговора уходить в каюту, но комиссар коснулся рукой его локтя и тем самым снял все сомнения.

В каюте, хотя и было предложено, Тименко сесть отказался, остался стоять у двери. Стоя «смирно», и начал разговор:

— Штормом у меня со швартовых сорвало трал-баржу. Выбросило на пески. На двадцать семь метров от уреза воды...

Да это же настоящее чепе!

—...Пришлось рыть канальчик, для чего мною и было привлечено население двух ближайших деревень. Исключительно в добровольном порядке. Пассажирские пароходы еще не ходят по Волге, вот и пообещал желающих сам доставить до Камышина.

Теперь ясно, почему твои катера проскочили мимо дивизиона: перевозка пассажиров — грубейшее нарушение устава...

Молчание было долгим, тягостным. Потом у Мухина вырвалось:

— И как ты, Петр Лукич, пошел на такое?

— На какое — такое? — немедленно отозвался тот, и Мухин впервые за месяцы совместной службы увидел, что он может волноваться, даже очень. — Я о пользе дела думал, а вы... Хорошо, допустим, я не соврал бы вам про плохую связь, допустим, доложил бы про трал-баржу. И что вышло бы из этого? Вы сообщили бы в штаб бригады, те — флотилии, а кому докладывать обязан командующий? Той самой тройке, которая здесь представляет Государственный Комитет Обороны! Или забыли про нее?

Нет, про нее, если и захочешь, не забудешь. Огромные права даны командирам дивизионов катеров-тральщиков и командирам бригад траления. Зато о всех чепе у них и докладывается этой тройке, которая вольна казнить и милловать.

А Тименко продолжал, горячась еще больше:

— Думаете, за себя испугался? Если хотите знать, сейчас, доложив вам задним числом, я большую на себя ответственность взял, сейчас я виновен не только в чепе, но и в сокрытии его!.. Не доложил своевременно лишь по одной причине... Вы, товарищ комдив, узнав о моей беде, явились

бы ко мне или нет? Чтобы советом и властью своей помочь? Явились бы немедленно. Или я вашего характера не знаю? А если бы нагрянуло еще и бригадное, флотильское начальство?

Мухин представил, что в этом случае творилось бы около злополучной трал-баржи, и непроизвольно поморщился.

— То-то и оно. Столпотворение вавилонское! Все лезли бы с советами, подсказками, вываливали бы предложения, обсуждали их. А мне время было дорого...

Большая правда в словах Тименко, жизнью доказанная. Это с одной стороны. А с другой...

— Почему ты все это нам сейчас рассказываешь? Не проще ли было молчать и дальше? — прервал молчание комиссар.

— Конечно, во много раз проще, — без колебаний согласился Тименко. — И матросы именно на это подговаривали... Только я не хочу, чтобы меня хвалили, когда наказание заслужил. А вы небось за досрочное снятие минного поля меня в пример другим поставили бы?

И опять правда! Столько было ее, настоящей, но противоречивой правды, что Мухин растерялся. Казалось, что он может принять только одно из двух решений: похоронить в себе сказанное Тименко или о случившемся немедленно доложить своему непосредственному начальству. Первое противоречило его характеру, душевному настрою и убеждениям. А второе... Но ведь Петр Лукич хотел сделать как лучше. И сделал!..

— Да, Петр Лукич, крутую ты кашу заварил, крутую, — сказал комиссар, вставая и потягиваясь. — Как, с какого конца ее расхлебывать — ума не приложу. А придется.

— Не я варил, она сама такая заварилась, — вот и все, что сказал Тименко в свое оправдание.

Теперь встал и Мухин, он уже решил, что о случившемся обязательно доложит командиру бригады, но не письменно, а лично, чтобы иметь возможность привести все доводы в защиту Тименко. Если потребуется, то и до командующего дойдет, до представителей Государственного Комитета Обороны. Решение принял твердое, окончательное, а сказал:

— Если я помню распорядок дня, если верить подсказкам моего желудка, то сейчас время обеда. Петр Лукич, приглашаю тебя к нашему столу.

Судьбы солдатские

Сержант Трофим Сидорович Сорокин за два долгих года войны привык все делать степенно, обстоятельно. Конечно, кроме тех минут, когда шел в атаку или находился в рукопашном бою: тут жизнь за долю секунды потерять можно, значит, если намерен ее уберечь, самого малого мгновения не смей потерять.

Он навечно запомнил первый год войны, когда отступить выпадало зачастую с пустыми подсумками, а фашисты наседали со всех сторон, ничего не жалели, чтобы уничтожить и полк, и его, Трофима Сорокина. Тогда порой становилось вроде бы вовсе неумоготу, однако он терпел, пересиливал себя: твердо знал, что обязательно погибнет, если хоть на ничтожное мгновение поддастся безмерной усталости или отчаянию, холодящему душу.

В то, что фашисты будут в порошок стерты, — в это непоколебимо верил даже в, казалось бы, самые беспроблемные минуты.

Изведал и радость больших побед, хотя сам к ним вроде бы и не имел отношения. Это уже глубокой осенью сорок второго, весной сорок третьего и совсем недавно, когда Красная Армия разгромила фашистов под Курском, Белгородом и Орлом. И ни разу не позавидовал тем, кому выпало покрыть себя вечной славой в тех сражениях: советский солдат — надежнейший и вернейший защитник своего народа, куда его командование пошлет, там ему и действовать надлежит. Умело, решительно, сноровисто и не жалея себя. Словом, как того требуют совесть и присяга.

И товарищи в роте — под стать Трофиму: настоящие солдаты-фронтовики, которых уже ничем не удивишь, уже ничем не испугаешь; чувствовали они свою большую силу, непоколебимо верили, что вместе любое задание осилят.

Все сержант Трофим Сидорович Сорокин делал степенно и обстоятельно, поэтому и сегодня, проснувшись, не сунулся из землянки, а лишь спросил, даже не шевельнувшись:

— Слышь, кто на улицу выглядывал, как там?

Был тот утренний час, когда многие солдаты уже проснулись по привычке, выработанной за годы военной служ-

бы, но старались не порушить последние минуты сна других, хотя и хотелось поговорить о самом разном. Поэтому один немедленно ответил, чуть глуша голос:

— Черт бы побрал ее, эту погоду!

Значит, опять ни облачка, значит, опять весь день жди, что вот-вот нагрянут фашистские самолеты...

Зато можно постирать бельишко: на солнце оно мигом и хорошо просохнет. А судьба солдатская всем известна: сейчас в землянке бока отлеживаешь, временем можешь по своему усмотрению распорядиться, а потом вдруг грянет приказ — и марш-марш на передовую, может быть, в такое пекло, какое в мирное время никому и не снилось.

Трофим еще решал, с чего начать стирку, но тут, откинув плащ-палатку, заменявшую дверь, в землянку заглянул посыльный командира роты и рывкнул в темноту:

— Сидорович! Тебя Флегонт Иванович кличут. Немедля!

Вот он, первый сегодня приказ, и сержант Сорокин ловко соскользнул с нар, быстренько умылся, в раздумье провел ладонью по щекам и подбородку, убеждаясь, что побриться следовало бы, схватил автомат и вышел из землянки.

Был Трофим Сорокин высок, широкоплеч. Настолько могуч телосложением, что не было в полку человека сильнее его, что за четыре года военной службы и с самыми разными товарищами неизменно стоял на правом фланге роты.

Командир роты — ниже среднего роста и такой тощий, будто его никогда не кармливали досыта. Но Трофим и его товарищи знали, что старший лейтенант в середине тридцатых годов был чемпионом Советского Союза по бегу на лыжах на десять километров; может быть, и задержался бы в чемпионах (они в это верили), но попал в крушение на железной дороге, где его так крепко поломало, что врачи сначала высказали сомнение: а сможет ли он вообще вернуться в армию? Однако Флегонт Иванович упорством своим заставил их ошибиться. Чемпионство, конечно, осталось только строкой в биографии, но за здоровьем своим он следил; случалось, даже на передовой, где от взрывов снарядов, мин и бомб солнце меркло, вдруг то руками начнет по-научному размахивать, то приседать пустится. И силенкой он не был обижен. Конечно, с Трофимом не мог тягаться, но с остальными, когда до борьбы дело доходило, даже со многими справлялся.

Уважали солдаты своего командира за бывшее чемпионство, за то, что не сдался, когда беда на него навалилась, но больше всего — за всегдашнее спокойствие, справедливость и человечность, за умение в самом тяжелом бою найти нужное командирское решение.

С Трофимом и некоторыми другими солдатами он службу нес с довоенного времени. Правда, сейчас во всей роте только человек десять таких знакомцев наберется, но, если вдуматься, разве это мало по теперешней войне, когда по тебе из пушек и минометов всех калибров долбят, из пулеметов и автоматов пуляют, танковыми гусеницами норуют в клочья разорвать, авиационными бомбами в землю вбить?

Настолько командир роты и его солдаты привыкли друг к другу, сроднились с батальоном и полком, пока имевшим только трехзначный номер, что после излечения в госпитале обязательно просились в свою часть; а однажды ефрейтор, просьбу которого оставили без внимания, даже самовольно убежал в родную роту, так сказать, пошел против закона, своеобразным дезертиром стал. Но на защиту его встало даже полковое командование, дивизионное подключилось и, конечно, отстояли.

Командир роты уже поджидал Трофима, прохаживаясь около своей землянки; похоже, особо не торопился, но и задерживаться не намеревался. Во всяком случае, выслушав устный доклад о том, что сержант Сорокин по вызову прибыл, ни слова не сказав, исчез в землянке, чтобы через две или три минуты появиться с безопасной бритвой, куском хозяйственного мыла, пахнущего одновременно керосином, селедкой и еще чем-то, и с кружкой тепловатой воды.

Только теперь и обронил:

— Пополнение принимать идем, а ты в таком виде.

Трофим не только тщательно побрился, но и достал из заветного мешочка две медали «За отвагу», любовно протер их чистой тряпочкой и прикрепил к гимнастерке точно там, где полагалось, — чуть повыше сердца.

Старший лейтенант Нечаев еще раз бегло глянул на него и сразу размашисто зашагал в ту сторону, где размещался штаб полка, зашагал и замурлыкал себе под нос: «Когда б имел золотые горы...» Любил командир роты слушать песни, но сам музыкальным слухом был одарен не так, чтобы очень, и поэтому никогда не пытался вплести в хор свой голос, единственное, что позволял себе, — ти-

хонько и в одиночестве мурлыкать две песни: эту — при хорошем настроении, а когда глаза лучше бы никого и ничего не видели — «Среди долины ровныя». Не очень верно, зато предельно душевно эти мелодии выводил.

И еще одна особенность была у старшего лейтенанта Нечаева: он требовал, чтобы старые солдаты, с которыми он не менее полугода в боях всякого хлебал, в неофициальной обстановке величали его не по званию, а по имени-отчеству. Сейчас обстановка была именно такая, и Трофим спросил, словно не с командиром, а с хорошим товарищем шел:

— Слышь, Флегонт Иванович, а много нам дают того пополнения?

— Шесть штыков выделить обещали.

Всего шесть солдатиков... Молоденьких, с тонкими шеями, которым окажутся слишком просторны воротники солдатских гимнастеров...

В роте всегда с нетерпением и одновременно взволнованно-болезненно ждали пополнения: с одной стороны, оно силы добавит, может быть, из родных мест самые последние новости принесет, а с другой... Много ли они, молодые, знают о войне, о том, как надо вести себя в том или ином бою?

Порой бывало и так, что только получишь пополнение, не успеешь передать ему и половины того, что сам собственной шкурой уже узнал, — немедленно в горячие бои. Случилось это — вот и считай, что было да сплыло то пополнение. Сердце каждый раз безмолвным криком исходило, когда в братской могиле хоронили парней, у которых на верхней губе пушок бритвой еще не тронут...

А сейчас обстановка на фронте именно такая; что боевой приказ в любую минуту прийти может: с середины августа в наступление перешел и их родной Юго-Западный фронт; настолько упорные и кровавые бои начались, что уже через неделю от роты почти половина осталась; вот и отвели весь полк на отдых, вернее, оставили в тех окопах, которые они у фашистов отбили, а вперед другой полк выдвинули. Долго ли отдыхать позволят? Это уже не солдатского ума дело: командованию виднее, что и когда сделать надлежит.

Ничего этого Трофим не высказал командиру роты, спросил о другом:

— К сколько часам нам-то прибыть надо?

— Перед самым обедом. Чтобы привести в роту пополнение и сразу накормить.

У Трофима чуть было не сорвался вопрос: а зачем мы в такую рань идем, но вовремя догадался — командир роты хочет не просто получить пополнение, он вознамерился познакомиться с ним и, если удастся, отобрать для роты лучшее. Конечно, в ходе одного короткого разговора трудно, почти невозможно в душе солдата разобраться, но кое-что уловить все же можно. И Трофим мысленно одобрил намерения командира.

Пришли с большим запасом времени, но и другие командиры рот тоже не проспали своего часа, они уже кружили около пополнения, щедро распахивали свои кисеты с ядреной махоркой.

— И когда они налететь успели? Ночевали здесь, что ли? — беззлобно, даже с доброй завистью проворчал командир роты.

Трофим тактично промолчал и побежал глазами по лицам пополнения. Так и есть, зеленый молодняк! Только три солдата, видать, войну уже нюхнули. Но заполучить этих и думать нечего: около них прочно уже обосновались командиры первого и третьего батальонов; похоже, командиры рот их как тяжелую артиллерию на подмогу себе вызвали.

И вдруг сердце сладостно и тревожно забилося. А еще через мгновение Трофим осторожно тронул за локоть командира роты и прошептал, не тая волнения:

— Слышь, Флегонт Иванович, возьми к нам вон того ушастого головастика. Вокруг которого никто не вьется.

Старший лейтенант глазами сразу же нашел того молодого солдата, за которого молвил слово Трофим, подошел к нему и спросил:

— Фамилия, имя, отчество?

— Солдат Сорокин Дмитрий Сидорович! — отрапортовал тот, вытянувшись и глядя не на офицера, обратившего к нему с вопросом, а на Трофима, невозмутимо стоявшего чуть в сторонке.

— Ну, подходили к тебе «купцы», твоим согласием заручились? — продолжал Нечаев, словно и не понял, что случилось редчайшее — братья на фронтовых дорогах встретились, что они, если он того добьется, с сегодняшнего дня рядом к победе или смерти пойдут.

Хотя хорошо это или плохо, что братья вместе будут? Одни считают, что подобная семейственность на боеспо-

способность части очень даже положительно влияет, а другие, не отрицая этого, упор на другом делают: дескать, легко ли одному из братьев будет, если другого пуля или осколок навечно искалечат, смертельно приглубят?

— Ко мне не подходили, слабаком считают, — с обидой ответил молодой солдат.

Действительно, младший Сорокин и ростом не вышел, и в плечах несколько узковат. Вот поэтому его голова, утонувшая в каске, и казалась непропорционально большой. Головастик, одним словом, как точно подметил Трофим.

Однако Нечаев увидел и широкие натруженные кисти рук, торчащие из рукавов несколько широковатой гимнастерки, и то, что не было даже намека на робость в глазах молодого солдата.

Чтобы проверить себя, все же спросил:

— Успел поработать или прямо из-за школьной парты сюда?

— Работал два года. Токарем. На том самом станке, за которым до службы в армии Троша стоял...

— Я тебе, головастик, такого Трошу пропишу, что неделю сидеть не сможешь! — немедленно отозвался старший брат. — Или уже забыл, что в действующую армию прибыл? И здесь я тебе не Троша, а сержант, кавалер двух медалей «За отвагу»!

Вроде бы и сурово все это высказал Трофим, но командир роты почувствовал за всем этим братскую нежность и решил, что обязательно выпросит Дмитрия Сорокина к себе в роту. С этим решением и зашагал к начальству, в душе надеясь, что теперь-то, оставшись одни, братья обнимутся, изольют друг другу словами накопившееся на душе, но Трофим, погрозив брату пальцем, немедленно и молча зашагал за своим командиром.

— Может, для начала его ко мне ординарцем определить? Пока привыкнет, освоится? — предложил старший лейтенант, когда младший Сорокин уже не мог их слышать.

— Не, сразу к нам во взвод. Ежели доверяете, ко мне в отделение, — без малейшего колебания возразил Трофим. — Пусть с первого дня фронтовой жизни из солдатского котелка ест Ординарец. он что? Конечно, и у него обязанности имеются, конечно, и ему в боях, случается, и горькое перепадает. Но все равно он, как и прочая обслуга, настоящей солдатской службы и не нюхивал. А Митька — наших кровей, сорокинских.

Дмитрий был зачислен в отделение Трофима, и тот привел его в свою землянку, сказал, кивнув на свободное место на нарах у самой плащ-палатки, заменявшей дверь:

— У нас в отделении такой порядок заведен, что новичков, пока они себя в деле не проявят, для жительства всегда здесь определяем. Ежели он боец стоящий, то вскорости и на другое место передвигается. Считаю, на повышение идет.

Младшего Сорокина сказанное братом будто нисколечко не задело, он положил на указанное ему место вещевого мешок, шинельную скатку и каску, повернулся лицом к солдатам, которые лишь угадывались в густом полумраке, лихо вздернул руку к пилотке и в меру громко доложил:

— Солдат Сорокин. Младший... Дмитрий, значит.

Его словно не услышали. Но он каждой клеточкой тела чувствовал: все, пытливо разглядывая его, стараются разгадать, каков он, младший брат Трофима, окажется он настоящим солдатом или чуркой с глазами (бывало и такое), от которой всегда и везде толку мало.

Обедали около землянки. Молча. Время от времени озабоченно поглядывая на небо, где не курчавилось даже самого малого облачка, вслушиваясь в грохот залпов своих батарей. А рядом — рукой подать! — зеленела дубовая рощица. Дубки — все почти одного возраста, с густыми развесистыми кронами, прямыми и крепкими стволами; невольно думалось, что только таким и жить сотни лет.

Однако будто мертвой была рощица. Ни птичьего гомона, ни шелеста листьев. И вообще, если бы не выстрелы пушек, если не брать во внимание их роту, то здесь некая мертвая зона.

Это Дмитрий и сказал брату, когда они — наконец-то! — остались одни.

— А с чего и чему здесь быть живому, если всего три дня назад такое творилось, что солнце от страха жмурилось... Глянь на то поле, что прямо перед нами распласталось.

— Чего глядеть, если на той пустоши, кроме бурьяна, ничего не растет.

— Вот и врешь, братец, по молодости своей, выходит, ты не заметил самого главного... Там, среди бурьяна, и пшеничка прорастает. Значит, еще недавно не пустошь здесь лежала, а поле пшеничное колосилось. Война пыта-

лась и его уничтожить... И дубки эти, на которые ты пялишься как на диковинку, потому что нет их в нашем родном краю, крепко от войны пострадали. Только в этом месте они вроде бы целехоньки. А чуть пройдешь подальше — все посечено и поломано снарядами и бомбами...

Почти до ужина братья просидели в одиночестве. И все говорили, говорили. Трофим о доме расспрашивал, о том, вся ли родня жива-здорова да что вообще нового в их городке, в самой Губахе; особо интересовался, не перевелись ли в горных речках хариусы и ленки, не сгубили ли их эвакуированные неумелой или жадной рыбалкой.

Торопливо и успокаивающе ответил Дмитрий на все вопросы брата, умолчав, что в деревнях почти вовсе нет мужиков — позабирали на войну, вот одни бабы, старики и детвора, которой по малости лет еще в бабки играть бы, и тянут все сельские работы, слезы смахивая; что на их заводике, где до войны работали люди солидные и авторитетные, теперь полно пацанов лет четырнадцати, что, стоя у станков, они не просто время убивают, а план более чем на сто процентов из месяца в месяц дают.

Когда Трофим замолчал, исчерпав свои вопросы и узнав все, что его интересовало, Дмитрий попросил:

— Троша, дай твои медали посмотреть.

Медали уже давно лежали в заветном мешочке, но Трофим достал их, протянул брату.

Тот каждую из них подержал в руках, то поднося к глазам, то разглядывая на расстоянии. Потом спросил:

— За что тебе их пожаловали?

— Одну за «языка», вгору за то, что танк подбил.

— За танк, конечно, могли бы и орден дать.

Сказав это, Дмитрий хотел похвалить брата, но тот вдруг нахмурился, почти вырвал у него из рук медали, укрыв в заветном мешочке и лишь тогда заявил непреклонно:

— Если хочешь знать, то иной «язык» во много раз подороже любого танка будет... И вообще: любая награда — всегда награда. И не солдатское это дело обсуждать, мала или велика она.

Какое-то время помолчали: один — давая улечься раздражению, другой — раскаиваясь в сказанном. Дмитрий даже подумал, что так, молча, Трофим и поднимется: уйдет к своим фронтовым товарищам, но тот заговорил, чувствовалось — о наблевшем, о чем давно и, может быть сто раз передумано:

— Грамоты общей у меня маловато, потому, может, и не очень складно скажу, но ты, Митька, постарайся саму суть схватить... Наш солдат, он кто? Воин, который за родной народ в любой момент и жизнь свою отдать может. А на пехоту-матушку, если хочешь знать, все самое тяжелое возложено. Так и сам Флегонт Иванович считает, а у него мозги — не чета нашим... Помнишь, мы всей родней нашему Матвею дом рубили? Каждый, как только мог, с полной отдачей сил трудился, как только мог, ему порученное хорошо делал. Так вот, и солдат на фронте — вроде бы того семейного дела участник. Пусть его работа иной раз со стороны вроде бы и не очень видна кое-кому, только без нее нашему народу никак не обойтись. Возьмем, к примеру, наш полк. Нет у него ни звания почетного, ни орденов на знамени. Почему так? Видать, еще не пришел час его большой боевой славы. Но командование и сейчас силу его знает, беда как высоко ценит. Потому и посылает на такие участки фронта, где другой, поди, и дрогнет, самую малую слабину допустит... Возьми нашего Егорыча, что на нарах рядом со мной лежит. Пожилой такой, усы сосульками свисают... Он гражданскую прошел, этой войны уже третий год разменивает, а на грудь нацепить только и может значки ГСО и ПВХО. Вот так-то, а ты говоришь — мне орден положен... Приглядишься к Егорычу, крепко приглядишься и тогда обязательно увидишь, что дело ратное он куда как добро знает, исполняет его — можно ли лучше?.. Вот я и мыслю, что это самое главное для любого нашего солдата. Так-то, Митенька...

Высказался брат несколько путано, однако Дмитрий понял и запомнил: солдату воевать, а не о наградах думать надо; наиглавнейшая солдатская задача — точно выполнить любой приказ своего командира.

— И еще одно, Митька, тебе сказать я просто обязан, — неожиданно продолжил Трофим, вставая. — В первом бою на тебя обязательно страх навалится. Может, еще и перед боем, может, во втором и даже третьем объявится. И спорить со мной не моги: я и мои братья-фронтовики уже прошли через это. Навалится на тебя страх, а ты в ответ — на него, да еще большей силой!.. И думать не смей, чтобы ему хотя бы и самую малость уступить: засосет с головой... Я-то рядом буду с тобой, так что и поддержку в любой момент окажу, и в ухо могу заехать. По-братски. Если большего не схлопочешь.

Поздним вечером, наговорившись и накурившись вдо-

воль, стали укладываться на ночлег. Тут Егорыч, тот самый усач, про которого Трофим упоминал днем, вдруг чертыхнулся и сказал, словно отрубил:

— Духотища в этом закутке — дохнуть человеку невозможно. Эй, Митрий, кочуй сюда, а я поближе к воздуху обоснуюсь.

Перебрался Дмитрий к брату, нечаянно коснулся рукой его плеча — будто в детство окунулся, когда они, все три брата, спали рядом и на полу...

Трофим скоро стал тихонько похрапывать. И вообще все в землянке, казалось, спали спокойно. Будто не в прифронтовой полосе, а в доме отдыха находились!

А вот у Дмитрия сна ни в одном глазу. Неужели потому, что напряженно вслушивается в каждый артиллерийский залп, стараясь не упустить тот момент, когда они начнут приближаться?

Уснул только под утро, прижавшись к спине Трофима и окончательно решив, что пусть кровь из носа ручьями хлещет, но он, Дмитрий, обязательно осилит свой страх, если тот заявится.

Орудия с короткими паузами всю ночь долбили фашистские позиции. И наблюдатели, торчащие в окопах, безошибочно определили, что завтра наши опять попрут вперед, что сегодняшняя ночь, очень даже возможно, и последняя, которая дана полку на отдых.

3

День прошел в обычных занятиях по боевой подготовке, а едва стемнело, роту подняли по боевой тревоге, и через считанные минуты, превратившись в короткие людские цепочки, она, вроде бы и не очень торопливо, пошла на запад, туда, где с раннего утра особенно яростно грохотали пушки.

Дмитрий замыкал цепочку отделения. Перед его глазами все время маячила спина Егорыча. Такая обычная, мужицкая. Только в вылинявшей от многих стирок гимнастерке и перерезанная шинельной скаткой.

Слева и справа, спереди и сзади тоже шли отделения, из которых слагались взводы, роты, батальоны и полк. Лишь изредка слышался неспешный спокойный говор. И Дмитрия крайне удивило, что в голосах людей, во всем этом движении массы солдат, приказом посланных в скорый бой, не улавливалось и малой тревоги; невольно вспом-

нилось, что так же деловито вели себя его земляки, когда он в их потоке шел к проходной заводика.

— Эй, Митрий, пока шагай со мной рядом, — вдруг сказал Егорыч буднично, словно скучая без собеседника.

Поравняться с ним — два шага побыстрее сделать.

— Кури. — И Егорыч протянул свой кисет.

— А можно? — усомнился Дмитрий, однако потянулся за махоркой и только сейчас заметил, какие непослушные, дрожащие у него пальцы.

— До настоящей передовой еще километров пятнадцать, значит, почти два часа ходу. Да и задержки в пути обязательно будут. По приказу или так, от случая зависящие. Вот и должен солдат пользоваться этими часами. Для расслабления души.

Как и предсказывал Егорыч, были одна запланированная и две случайные остановки. Последняя — буквально в двух или чуть более километрах от окопов, которые надо было занять, сменив товарищей. Теперь наша тяжелая артиллерия была уже из-за спины Дмитрия и его однополчан: снаряды, угрожающе урча, пронеслись высоко в небе, чтобы ударить в землю где-то там, за линией фронта, которую довольно точно обозначили трассирующие очереди пулеметов и автоматов и разноцветные ракеты; эти, как догадался Дмитрий, пускали исключительно фашисты. И сделал правильный вывод: нервничают, можно сказать, здорово психуют. Сделал это открытие — приободрился, почувствовал себя несколько увереннее.

Зато позднее, когда, стараясь не издать даже незначительного шума, побежали в окопы по ходу сообщения, когда над головой стали противно повизгивать фашистские пули, а мины рваться в угрожающей близости, вдруг родилось чувство собственной незащитности. И мерзкий холодок заполз под потную гимнастерку.

Оказавшись в окопе и на том самом месте, которое было ему указано, Дмитрий немедленно почти упал на дно окопа и решил, что ни за что не встанет до приказа. Лежал на подрагивающей земле и настороженно ловил посвист каждой пули, каждую приближающуюся мину считал своей, нацеленной именно в него, Дмитрия Сорокина.

Жалость к себе, казалось, вот-вот захлестнет его окончательно. В это время рядом и возник Трофим. Он стоял почти во весь рост, лишь чуточку пригнул голову, чтобы она не возвышалась над бруствером. Лежать, когда стоял старший брат, было недопустимо, и Дмитрий встал, как

можно больше втянув голову в плечи. Чувствовалось, Трофим хотел сказать что-то резкое, может быть, и обидное, но Егорыч опередил:

— А ты, сержант, прикажи молодому солдату сейчас, пока не рассвело, очистить окоп от завалов.

Сказал буднично, словно не на фронте, а в глубоком своем тылу посоветовал послать за дровами или еще чем.

— Почему сам не прикажешь? Или тебе как бывалому солдату не дано такого права? — зло оборвал его Трофим, махнул рукой и побежал куда-то.

— Вот и мне, старому, попало из-за тебя, телка́, — проворчал Егорыч несколько удивленно. И уже Дмитрию — строго, начальственно: — Слышал, что сказано? Бери лопатку и шуруй.

Дмитрий не посмел послушаться и пошел к ближайшей кучке земли, которую вражеский снаряд совсем недавно обрушил в окоп. Боязливо вонзил в нее лопатку (вдруг ТАМ услышат, что он роет), с откровенным страхом выбросил первую порцию земли. И замер. Фашисты не отреагировали. Все равно с опаской сделал еще несколько бросков. Все ждал, что фашисты услышат его работу и обрушат шквальный огонь. Те молчали. А кучек земли было предостаточно, и все надлежало ликвидировать до рассвета. И он, чтобы успеть к сроку, стал работать живее, потом увлекся настолько, что и посвист пуль, и пофыркивание приближающихся мин отошли на задний план. Больше того — он почему-то вдруг стал безошибочно определять, что эта мина полыхнет огнем далеко от него, а вот этой следует остерегаться.

Выкинул из окопа последнюю лопатку земли — вернулся на свое место, опять обосновался рядом с Егорычем. Но не опустился на дно окопа, где дремал тот, а встал на земляную приступочку — уж очень хотелось взглянуть в сторону фашистов.

— Не дури, Митрий, — немедленно окликнул его Егорыч. — Солдатская наука, она простая: от смерти не бегай, но и ее не ищи... Дойдет твой черед — тогда и валяй, выглядывай. А сейчас лучше пристраивайся рядком да храпанем спаренно, пока начальство позволяет.

Нет, спать Дмитрию несколько не хотелось: ведь он совсем недавно поверил, что может быть солдатом! Очень желал поделиться этой радостью с Трофимом и побрел по окопу, разыскивая брата.

И еще одно открытие: все товарищи отдыхали! По сво-

ему росту подогнали приступочки, стоя на которых будут вести стрельбу, в специальные ниши, выдолбленные в передней стенке окопа, аккуратно уложили противотанковые гранаты и бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью и дремали, сидя и даже лежа на дне окопа; все, как и Егорыч, влезли в шинели с поднятыми воротниками да еще и пилотки натянули на уши.

Дмитрий, хотя и нашел брата, не стал тревожить его дрему. Просто постоял, тепло глядя на него, и побрел обратно, пристроился рядом с Егорычем и тоже в шинели, почувствовав прохладу приближающегося утра.

4

Казалось, только поддался сну, казалось, только на мгновение забыл о том, что находится на передовой, — покой разметал предупреждающий возглас:

— Воздух!

Дмитрий вскочил, бездумно метнулся к тому месту, откуда ему надлежало вести огонь по врагу. Скорее всего, и изготовился бы к стрельбе; возможно, и стеганул бы в небо длинной нервной очередью. Помешал Егорыч, который проворчал добродушно:

— Не мельтеши перед глазами. Первым делом каску напяль, а потом садись на дно окопа, сожмись в комок и жди... Самое поганое для солдата время, когда его самолеты атакуют.

На пункте подготовки молодых солдат, где Дмитрий пробыл около месяца, старшина самозабвенно и не раз рассказывал о том, что какой-то взвод однажды огнем из своего стрелкового оружия сбил фашистский самолет. И Дмитрий сделал вывод: только так впредь и надо поступать при налете вражеской авиации — лупи по фашистским самолетам из всего, что стрелять может! А здесь и Егорыч, и все другие бывалые солдаты — даже Трофим! — просто сидели в окопе и вроде бы равнодушно дымили махрой. Будто их не волновало: а куда грохнет следующая бомба.

Дмитрий тоже сел на дно окопа, тоже закурил.

В это время и появился командир роты, которого сопровождал их взводный — ровесник Дмитрия и, судя по всему, впервые участвующий в бою: и с лица спал, и пальцами правой руки непрерывно дергал себя за поясной ремень, словно проверял, по-уставному ли он затянут.

Флегонт Иванович шел спокойно, будто и не видел и

не слышал фашистских бомбардировщиков, которые уже начали заваливаться на крыло, чтобы, спикировав, обрушить бомбы на окопы, где в молчаливом ожидании сидели солдаты.

Около Егорыча командир роты остановился и спросил вполне доброжелательно:

— Как жизнь, солдат? Опять на излом проверяет?

— Или впервой нам? — без промедления ответил Егорыч, намереваясь встать, но Флегонт Иванович положил ему на плечо свою руку, как бы прижимая к земле.

— Что о нашем новом товарище скажешь?

— Характер имеется.

Эти двое говорили спокойно, вроде бы с легкой усмешечкой, а бомбы уже впились в землю, рвали ее, сотрясали так, что порой она была готова выскользнуть из-под ног.

Сквозь грохот взрывов прорвался чей-то крик:

— Носилки сюда!

И снова только взрывы бомб, снова комья земли барабнят по каске, плечам и спине.

Дмитрий не сразу заметил, что в небе появились советские истребители и без промедления набросились на фашистские бомбардировщики; прозевал даже тот момент, когда сбили одного фашиста; увидел и услышал только взрыв на склоне небольшого кургана, в который самолет врезался со страшной силой.

Так начался этот день, в течение которого фашисты еще раз и еще менее удачно бомбили окопы их полка, неоднократно обрушивали на них многие десятки снарядов и мин. Всего этого для Дмитрия было столь много, что ощущение смертельной опасности несколько притупилось, как бы отошло на задний план, уступив первое место навязчивой мысли: что еще предпримут гитлеровцы, чтобы убить его, солдата Дмитрия Сорокина, убить всех его товарищей?

Наконец фашисты решились атаковать. Прикрылись завесой из разрывов мин и снарядов и бросились в атаку. Кричали они что-то или бежали молча — этого Дмитрий не мог утверждать: все тонуло в грохоте взрывов и стоне пуль, которые стаями проносились над головой; и столько было этих пуль, что оторваться от земли или высунуть голову из окопа казалось невозможным.

Но Егорыч встал на приступочку, деловито изготовился к стрельбе. Помедлив, занял свое место и Дмитрий, впервые глянул в сторону окопов фашистов. Ничего особенного: земля как земля, и по ней, ощерившись в безумном крике,

бегут гитлеровцы, бегут на Дмитрия и его товарищей. Чтобы убить, бегут, строча из автоматов.

Фашистских солдат, как показалось Дмитрию, было невероятно много, хотелось убить всех сразу, чтобы сохранить жизнь себе, и он дал длинную очередь, поведя стволом автомата, веером бросив пули. Попал или нет в кого — этого с уверенностью сказать не осмелился бы: рядом короткими очередями били товарищи, ровно и могуче рокотали станковые и ручные пулеметы, да и разрывы наших снарядов и мин то и дело вспыхивали среди атакующих.

Самое же радостное и удивительное — только начал стрелять по фашистам, как почти перестал слышать стоны многих пуль, пронсящих около головы.

Вскоре над окопами, прижимая к земле ревом моторов, пронесли наши штурмовики, хлестнули по фашистам из пушек и пулеметов.

— Атакуем по зеленой ракете! — от солдата к солдату пролетел чей-то приказ.

Никогда не думал Дмитрий, что столь тягостно, даже мучительно ожидание начала собственной атаки...

Наконец над окопами взвилась зеленая ракета, изогнув дымный след в сторону фашистов, уже изо всех сил спешивших убежать с нейтральной полосы.

Взвилась зеленая ракета — командир взвода метнулся из окопа, но Трофим, все время боя стоявший рядом, ухватил его за поясной ремень, осадил назад. Отсюда младший лейтенант и прокричал:

— Взвод! В атаку, за мной!

Егорычу, как показалось Дмитрию, было трудноато выбраться из окопа, и он подсадил, почти вытолкнул его на бруствер. И в ту же секунду оказался рядом, даже рванулся вперед, к своему удивлению вопя что-то несуразное, дикое.

Кругом стреляли и что-то вопили товарищи, но Дмитрий все же услышал глуховатый голос Егорыча:

— Куда попер, телок? Не ломай цепь!

Почти ничего толком не видел, не запомнил Дмитрий из того, что было за минуты этой быстротечной атаки. Какие-то вроде бы разрозненные отрывки. Вот Егорыч кричит, что справа у фашистов пулемет и кому-то надо обойти, подавить его. Это запомнилось, а обошел ли кто-то тот пулемет и уничтожил его, расправилась с ним артиллерия или они просто поперли напролом — этого не знал.

И еще в памяти засела спина какого-то фашистского

солдата. Она была вроде бы ничем не примечательна, но именно в нее он старательно целился и не попал: спрыгнул тот в свой окоп.

Дмитрий думал, что, захватив вражескую линию обороны, они остановятся, чтобы хоть немного передохнуть, однако Флегонт Иванович, вдруг появившийся перед ротой, поднял над головой автомат и крикнул:

— Вперед!

И снова бросок на пределе сил. До тех пор вперед бежали и даже шли, пока огонь фашистов не стал убийственно плотен, настолько убийствен, что за считанные минуты только в их отделении трех бойцов вывел из строя.

Окапывались быстро, умело. Сначала каждый для себя вырыл ячейку, и лишь после этого соединили их ходами сообщений. И все это под огнем фашистов, которые, мстя за свое недавнее отступление, не жалели ни мин, ни снарядов.

Работу закончили почти к полуночи. И лишь теперь, с наслаждением закурив, Дмитрий вспомнил, что за весь день не едал ничего. Рука сама потянулась к вещевому мешку, где хранились ржаные сухари, но Егорыч остановил:

— Потерпи, вот-вот обед и ужин сразу принесут. — Помолчал, глядя на звездное небо, и добавил: — Ты, Митрий, если тебя не просят, человека из окопа не выпихивай. За такую самостоятельность и пулю запросто схлопотать можно.

— Пулю? За то, что помог товарищу?

— Вовсе не каждый, кого ты выпихнешь, сразу поймет, что ты ему помощь оказываешь, иной в горячке боя и до самого плохого додуматься сможет. Будто ты его, как мишень, под вражеские пули подсовываешь. Чтобы себе участь облегчить. Или, считаешь, сладко одному под огнем врага во весь рост торчать?.. Тут за секунду малую человек запросто может жизни лишиться.

Сразу вспомнилось, как Трофим схватил за поясной ремень командира взвода и тем самым заставил из окопа отдать приказ к началу атаки. Значит, оберегал Трофим жизнь командира, может быть, и уберег...

— Выходит, он опять подвиг совершил? Выходит, его опять к награде представлять надо?

— Кого его-то?

— Трофима. — И Дмитрий торопливо рассказал то, что видел собственными глазами.

Егорыч молчал сравнительно долго, потом заговорил неторопливо и с легким упреком:

— Дурак ты, а не лечишься. Или мне тоже награда полагается? За то, что тебя, телка, уму-разуму учу? Может, и ты ее заслужил? Ведь помог мне выбраться из окопа?.. Не подвиги это, Митрий, а сама жизнь. Фронтовая. Какая она есть. — И тут же обрадованно засуетился, доставая из-за голенища ложку, протирая ее тряпицей: — Что я говорил? Вот и обед пожаловал!

5

Промелькнуло в непрерывных боях еще несколько дней — Дмитрий перестал раскланиваться с пулями, пролетавшими рядом с его головой; научился по звуку полета безошибочно определять, куда нацелены эти снаряды или мины; по тому, как заходили на бомбежку фашистские самолеты, почти всегда точно угадывал и тот участок окопов, где упадут бомбы. Теперь, когда угасал бой, он мог рассказать о нем уже не вообще, теперь в любом бою он видел и правильно оценивал и действия своих товарищей. Иными словами, за считанные дни он приобрел многое из того, что незыблемо знал каждый фронтовик. Правда, Егорыч, рядом с которым Дмитрий был неизменно, частенько покалывал его самолюбие советами и замечаниями. Хотя теперь они касались уже не азов, а тонкостей того или иного боя, но все равно было немного обидно, все равно они не позволяли ни на минуту забыть, что он, Дмитрий, пока всего лишь молодой солдат, которому познавать и познавать войну.

Неудержимо шли вперед войска Юго-Западного фронта, ежедневно очищая от фашистов все новые и новые города, села и деревни. А боевой путь полка, в котором несли свою солдатскую службу братья Сорокины, словно нарочно был проложен в обход их. Поэтому солдаты в минуты короткого отдыха даже шутили с горькой обидой, что, видать, в штабе фронта есть специальный человек, все обязанности которого — только за этим и следить. Шутить-то шутили, вроде бы и добродушно подтрунивали над своей судьбой, но все равно было обидно: или они хуже других? Или им не хочется потом, после окончания войны, словно между прочим, вернуть при беседе с родичами или хорошими знакомыми, что это именно их полк упомянут в приказе Верховного от такого-то числа?

Шли вроде бы и не в направлении главного удара, однако потери в личном составе имели. Такие, что теперь Флегонт Иванович почти каждый вечер бормотал себе под нос: «Среди долины ровныя...»

Тоскливо было солдатам часами слышать это нытье. А тут еще и погода резко изменилась: вместо отупляющей жары хлынули ливни — стена воды, низвергающаяся с неба. Естественно, чернозем, тучностью которого еще недавно искренне восхищались, превратился в вязкое месиво, такое вязкое, что ноги из него еле выдирали, а машины и пушки и вовсе бы встали намертво, если бы их всем миром не волокли вперед.

И вдруг однажды, когда в отделении бойцов оставалось всего ничего, а очередной ливень уже прошумел над ними, Егорыч, прислушиваясь, облегченно сказал:

— Наш-то сменил пластинку.

Теперь вслушались в ночь и остальные. Точно, Флегонт Иванович уже восхвалял золотые горы и все прочее, что прилагалось к ним.

С чего бы это?

Разгадку принес полковой писарь-земляк, с которым Егорыч встретился случайно. Он, писарь, понизив голос до невероятного шепота, поведал, что полк останавливается для отдыха и приема пополнения, чтобы потом в числе первых начать форсирование Днестра.

Форсировать Днестр?! Это, пожалуй, поважнее, поответственнее и потруднее, чем освободить от фашистов иной огромный город: широк и глубок он, батюшка древний Славутич, а правый возвышенный берег его, как доносила разведка, укреплен гитлеровцами так, что вроде бы лучше, надежнее невозможно.

Выходит, и их полку военное счастье наконец-то улыбаться начинает...

Конечно, словам писаря можно было бы и не поверить; конечно, остановка полка на отдых и прибытие пополнения — тоже еще не доказательство того, что писарь сказал правду. Даже и то, что Флегонт Иванович дотошно выспрашивал у каждого солдата роты: не вырос ли он на берегу большой реки, не умеет ли держать в руках весло или вязать плотики, — даже это еще не вносило полной ясности.

Поверили словам писаря лишь тогда, когда увидели, сколько наших сил стягивается в этот район. Пехоты, артиллерии, танков. Только по ночам и старательно маски-

руя свое движение шли войска, а прибыв на место, будто сквозь землю проваливались.

Много наших сил скопилось и затаилось в этом районе, ожидая приказа. А его, как Дмитрию казалось, не было чрезвычайно долго. Так долго, что невольно полезло в голову: будет ли он вообще?

В одну из таких ночей мучительного ожидания к маленькому костру, около которого сидели Егорыч, Дмитрий и солдат Волков — все, к тому времени уцелевшие в отделении, — привычно подошел Трофим, сел на свое излюбленное место и сказал, сворачивая сигарку:

— Завтра принимаем пополнение... А теперь о том, что тебя, Дмитрий, касается. Сейчас Флегонт Иванович обмолвился, что хватит тебе в рядовых ходить, что надо бы тебе звание ефрейтора присвоить. Я ему в ответ, что категорически против. Так и сказал: «Молод он, чтобы в звании с Егорычем сравняться».

Ефрейтор — всего лишь одна лычка на погоне. Но все же не рядовой, все же хотя и малое, но продвижение по службе...

— Что молчишь? Обиделся?

Обиделся? Пожалуй, нет, не обиделся. Но что по самолюбию Трофим царапнул — это уж точно.

А Трофим рубит, крушит дальше:

— И вообще, если намерен по военной линии в гору идти, просись у Флегонта Ивановича в другое отделение. А пока у меня будешь, дальше теперешнего не шагнешь. В смысле звания, конечно. Чтобы никто и подумать не мог, будто я тебя своей спиной прикрываю.

Уйти из отделения? Уйти от родного брата и Егорыча?!

И Дмитрий ответил честно:

— Конечно, товарищ сержант, вам с горы виднее, только уходить из отделения — на такое моего согласия нет. И не будет.

Вроде бы дрогнуло что-то в глазах Трофима, вроде бы радостно заерзал Егорыч, переглянувшись с Волковым. Но продолжил Трофим по-прежнему деловито, даже официально:

— А вот Егорычу ходить при тебе в няньках — это время миновало. Как получим пополнение, так и дам тебе одного молодого. Чтобы ты передал ему то, что от Егорыча и других дружков-фронтовиков получить успел.

Такое решение Трофим принял поздним вечером, но утро все поломало: пополнение — все солдаты бывалые, за-

кончившие лечение в госпиталях. И остался Дмитрий без ученика, по-прежнему обосновался рядом с Егорычем.

Приказ, хотя его и ждали с нетерпением, пришел все же неожиданно и сразу породил некоторую нервозность. Не только у него, Дмитрия, но и у таких бывалых солдат, какими он считал Трофима и Егорыча. Даже Флегонт Иванович, про которого говорили, что он отродясь не ругался матерно, вдруг, когда один из взводов роты несколько замешкался, такого матюка пустил, что Егорыч хмыкнул не то удивленно, не то одобрительно.

К Днепру подошли около полуночи. Лодок, как и предсказывал Егорыч, не оказалось. Ни одной. Зато в прибрежной рощице, где почти все деревья под корень были срезаны вражескими снарядами и бомбами, нашли два приземистых штабеля бревен и бревнышек разной толщины, судя по всему, недавно заготовленных саперами. Из них и стали вязать плотики. Небольшие. По два на каждое отделение: Флегонт Иванович сказал, что такими и управлять легче, и потери в личном составе, если в какой из них врежется снаряд или мина, окажутся меньше.

А по небу быстро плыли рваные тучи. В просветы между ними глядели яркие и будто настороженные звезды.

Почти бесшумно работали все, вроде бы ни одного бряка-стука не должно было долететь до правого берега Днепра, на высоких горбах которого затаились фашисты. Но там — на самой левой кромке горизонта — вдруг вскарабкалась под тучи белая ракета. Погасла она — вспыхнула другая и уже чуть правее первой. Одна за другой рождались и умирали ракеты. Все ближе, ближе...

Когда мертвенно-белым светом разродилась ракета, выпущенная почти напротив той рощицы, где затаилась их рота, Дмитрий на какие-то доли секунды увидел и кручи правого берега, которые вот-вот предстояло штурмовать, и угрюмую рябь волн, покрывшую реку от берега до берега.

Сползли ракеты на север — Флегонт Иванович, взглянув на часы, шепотом скомандовал: «Спустить плотики!»

Несколько секунд излишней нервозности, но вот все уже разместились на плотиках, уперлись в песчаную отмель шестью и грубо отесанными веслами.

Наконец и новый приказ, теперь уже, возможно, и от командования полка:

— Начать движение!

Поступил этот приказ — без промедления все плотики двинулись навстречу волнам. С этой минуты, когда был сде-

лан первый шаг к правому берегу Днепра, каждый сердцем понял, что только быстрота и внезапность действий оставляют ему какие-то шансы уцелеть в бою, который может вспыхнуть с минуты на минуту, и все гребли изо всех сил; не только веслами, но и шестами, просто палками и обломками досок рвали воду, казавшуюся вязкой, тягучей.

Дружно все плотики отошли от песчаной отмели левого берега, еще какое-то время старались держаться кучно, чтобы сохранить свой взвод, свою роту, однако потом, когда вышли на стрежень, когда Днепр показал силу своего течения, одни плотики стали отставать, другие течение немолимо сваливало влево. И рассыпались роты, даже взводы. Но все равно плотики упрямо шли вперед: солдаты, находившиеся на каждом из них, искренне верили, что, стоит им зацепиться за тот берег, отвоевать у фашистов хотя бы несколько десятков квадратных метров земли, помощь обязательно придет.

А фашисты уже обнаружили их. Теперь осветительные ракеты почти непрерывно висели над рекой. И ударили гитлеровские пушки и минометы; снаряды и мины рвались в воде, одаривая зазубренными осколками, или разбивали лодки, плотики; случалось такое — летели к небу обломки досок и бревен, падали в воду убитые или израненные солдаты. Обломки нескольких плотиков уже видел Дмитрий. А когда с береговых круч длинными очередями полоснули многие пулеметы, когда на реку легла искрящаяся паутина из трассирующих пуль, невольно подумалось, что вот она, сама смерть...

6

Не все плотики дошли до правого берега Днепра. Их — дошел. Едва он коснулся земли — все метнулись с него, не позволив себе даже самого малого промедления. Почувствовали под ногами не зыбкие бревнышки плотика, а привычную землю — стали карабкаться на обрывистый яр. Чтобы поскорее увидеть фашистов: когда видишь ненавистного врага, когда и сам можешь смертельно ударить его — во много раз легче на душе.

Недавние ливни обильно смочили и правый берег, поэтому солдаты еле одолели кручу. Подталкивали, подсаживали, вытягивали друг друга, но одолели. В самое время — в неровном мерцающем свете многих ракет увидели

около взвода гитлеровцев, которые во весь рост, не таясь, бежали именно сюда, чтобы убить их, тех, кто уже оставил за спиной Днепр.

Этот фашистский взвод за считанные секунды срезали автоматными и пулеметными очередями. Правда, один из фашистов было метнулся обратно в непроглядную темноту, но Егорыч одиночным выстрелом оборвал его бег.

Теперь, когда стало несколько спокойнее, огляделись: где же родной полк? Растянувшись вдоль берега метров на пятьсот, ярились наши автоматы и пулеметы. Не сплошной линией, а отдельными очагами. Два из них угасли буквально за считанные минуты, зато остальные слились в один, дружно оцетинившийся в сторону врага огненными трассами.

— Где Флегонт Иванович? И взводного нашего никто не видел? — спросил Трофим, яростно работая лопаткой: оборудовал для себя огневую позицию.

— Еще там, на середке Днепра, в их плотик мина угодила, — ответил какой-то незнакомый солдат.

Дмитрий считал, что сейчас Трофим просто обязан во весь голос заявить, что он, как старший по званию, берет командование на себя, но брат только и сказал:

— Слышь, кто пошустрее, доложи, сколько нас и каким, в каком количестве боезапасом располагаем.

Лишь позднее, когда ему было доложено, что на этом ничтожно малом клочке земли заняли оборону всего двенадцать бойцов при трех станковых пулеметах, а боезапаса — патронов и гранат — на день хорошего боя, когда каждому из бойцов стало ясно, в каком секторе он ведет наблюдение за врагом, у Трофима произвольно вырвалось:

— Значит, отвоевался наш Флегонт Иванович...

Да и времени не оставалось на большее: гитлеровцы, опомнившись и немного разобравшись в обстановке, подтянули сюда силы, пока не атаковали, но огонь открыли плотный, заставляющий вжиматься в землю. И все-таки здесь было еще сравнительно спокойно: севернее, где высадились остальные, бой гремел во всю силу, там в полный голос говорили не только фашистские пушки и минометы, но туда прицельно били наши дальнобойные орудия и «кастюши», стоявшие на левом берегу Днепра.

— Может, до своих начнем пробиваться? — робко предложил кто-то.

До своих, кто уже сейчас по-настоящему в полную силу

бился с фашистами, всего метров триста. Или чуть побольше. Конечно, вроде бы и можно попытаться ползком проскользнуть к ним. Что ни говорите, когда народу побольше, и биться с врагом лучше, и смерть не так страшна: не в одиночестве, а при людях ее примешь.

Однако Трофим решает иначе:

— Не соображаешь или только прикидываешься? Здесь мы левый фланг наших собой прикрываем. Три станка да мы все — сила!.. Уйдем — гитлеровцы тут снова обоснуются, значит, и по нашим, и по переправе фланговый огонь вести смогут. Или не знаешь, каково приходится, если с фланга косят?.. Да и не дадут фашисты нам соединиться со своим, не дадут. Глянь, что кругом творится.

Действительно, мерцающая дуга разрывов снарядов и мин плотно опоясала тот пяточок земли, который вырвали у фашистов главные силы полка; казалось, не было такого мгновения, чтобы она сникла, угасла. И вся береговая полоса искрилась взрывами, и на Днестре, едва успевали осесть одни столбы воды, немедленно вставали другие, еще гуще, еще непроходимее. А в бой вступали все новые и новые как фашистские, так и наши артиллерийские батареи; грохот от невероятного множества разрывов и одновременных выстрелов стоял такой, что даже здесь, переговариваясь, они должны были голос поднимать до крика. Казалось бы — куда уж больше, но они твердо знали: с рассветом в эту заваруху включится и авиация. Наша и фашистская. Бомбардировщики, штурмовики, истребители.

Конец разговору положил Егорыч, заявив:

— Солдатская наука беда какая простая: от смерти не бегай, но и ее не ищи...

Первая фашистская мина, противно подвывая, прилетела к ним и рванула минут через пять после этого короткого разговора. Потом вражеские мины посыпались так густо, что наши солдаты со счета сбились. Просто сидели каждый в своей ячейке и, бессильные что-либо предпринять в ответ, терпеливо ждали, тайно надеясь, что и эта приближающаяся мина рванет только землю, только в нее вонзят свои зазубренные осколки.

До самого рассвета били фашисты из минометов по их клочку заднепровской земли, ни одного прямого попадания в окопы вроде бы и не наблюдалось, но к восходу солнца их было только шестнадцать здоровых и двое раненых, жить которым, судя по всему, осталось всего ничего. А того, что предлагал пробраться к своим, осколок мины

ударил в лоб, точно под нижний обрез каски. Вот и не стало еще одного солдата. Лишь тело его, прикрытое плащ-палаткой, костенело на дне окопчика.

У раненых, чтобы не лишить их последней призрачной надежды, оружия не тронули. Зато станковый пулемет, первым номером которого был убитый, Трофим велел взять Дмитрию, подобрать себе напарника и занять соответствующую огневую позицию. Только зачем подбирать кого-то, если Егорыч всегда рядом?

Полдня фашисты глушили их минами и снарядами, так глушили, что не было возможности посмотреть вокруг, хотя бы для того, чтобы узнать, какая местность перед тобой — степь ровная или есть и овраги, холмики, рощицы. А вот фашистские самолеты будто вовсе не замечали их, косяками шли и шли к пятаку, захваченному полком, и к переправе, которая с каждым часом все дальше и дальше тянула цепочку своих понтонов. Над тем пятакком заднепровской земли и возводимой переправой освобождались фашистские бомбардировщики от своего груза; и там на подходах встречали их наши истребители; в голубом небе, по которому были разбросаны рваные облака с темной серединой, то и дело завязывались схватки, быстротечные и заканчивающиеся обязательно гибелью одного из противников.

К этому моменту в их группе стало еще на два бойца меньше; теперь их оставалось только четырнадцать.

А после обеда, едва Трофим и его товарищи успели сжевать по одному ржаному сухарю, фашисты пошли в атаку. Психическую, как определил Трофим. Было их сотни две или три. Пьяные, оружие что-то невразумительное, они сначала не бежали, а шли. Держали автоматы прикладом у живота, строчили из них и шли, словно не замечая, что пулеметы и автоматы валят их десятками.

Дмитрий, в прорезь прицела своего пулемета увидев это скопище, посчитал, что вот и подошла последняя минута его жизни, что волна атакующих просто раздавит, захлестнет их; действительно, что такое четырнадцать бойцов, пусть даже с тремя пулеметами, если на них прут сотни гитлеровцев?

Однако и с пятакка, где вел бой родной полк, и с того, левого, берега Днепра по атакующим дружно ударили пушки и минометы, даже штурмовики проутюжили их цепи. И захлебнулась вражеская атака. Только многие трупы в мундирах мышиного цвета и стоны раненых напоми-

нали о ней. Недолго напоминали: фашисты вновь открыли минометный и орудейный огонь, вновь грохот многих взрывов оглушил и ослепил на время.

До заката солнца их то яростно обстреливали, то атаковали. Еще четыре раза атаковали. Безрезультатно. Хотя последнюю атаку отразили только двумя уцелевшими станками и пятью автоматами.

Поугомонились фашисты, Трофим даже сказал, что, видать, сейчас можно будет и передохнуть, что, поскольку закат красный, будто кровавый, быть завтра дождю. С последними его словами и появился еще один косяк «юнкеров». Шли они бомбить переправу, которая была готова вот-вот уцепиться и за правый берег Днепра. Но еще на подходах к переправе их перехватили наши истребители, в такой оборот взяли, что бомбардировщики — врассыпную. Один из них, удирая от нашего истребителя, и освободился от бомб, как от лишней тяжести. Освободился, не бомбил прицельно, а угодил бомбами точнехонько на тот клочок земли, который теперь обороняли лишь семь советских солдат.

Последнее, что слышал и видел Дмитрий, — душераздирающий вой многих бомб, падавших, казалось, точно ему на голову, и ослепительнейшее пламя, вспыхнувшее недопустимо близко.

7

Очнулся Дмитрий от пронзительной тишины. Открыл глаза и напряженно вслушался в облепившее его безмолвие. Ни единого даже винтовочного выстрела. С чего бы так?

И только теперь почувствовал тошноту, боль, разламывающую голову, и во рту солоноватый привкус крови. Еще через секунду понял, что она натекла из разбитого носа. Сплюнул ее, убедился, что нос уже не кровоточит, и осторожно выглянул из своего окопа. Убедился, что ночь еще не упала на землю, и глянул в сторону фашистов, которые весь день атаковали именно их. Глянул в тот момент, когда метрах в тридцати от него, почему-то бесшумно, взорвались сразу три мины, осыпав его земляным крошевом.

А над переправой опять круговерть наших и фашистских самолетов, опять около понтонов множество разрывов снарядов и мин. И все тоже беззвучные.

Только теперь окончательно понял, что контужен и по-

терял слух. Навсегда или на короткое время — над этим не задумался. Сейчас, как никогда раньше, он был зол на фашистов и стал искать глазами свой пулемет. Нашел сразу: он, завалившись на бок, лежал в окопе. Даже понял, что именно о его затыльник разбил нос. Важно было узнать, исправен он или нет. Поэтому установил пулемет на прежнее место и для пробы дал в сторону фашистов длинную и злую очередь.

Оказалось исправным его главное оружие — решил окликнуть Трофима, Егорыча. И окликнул. Ни звука в ответ. Крикнул так громко, как только мог. Тут же чертыхнулся, вспомнив, что пока должен надеяться лишь на глаза.

Сколько ни смотрел, не нашел ячейки Егорыча. Вместо нее увидел огромную воронку.

Почему-то сразу и спокойно осознал, что Егорыча больше нет и никогда не будет. Зато острой болью резанула мысль о брате. Неужели погиб и Троша?!

Забыв, что гитлеровцы могут запросто подстрелить его, пополз от ячейки к ячейке, от воронки к воронке. Ни одного живого...

Трофима нашел на самом левом фланге. Он, сидя на дне окопчика, бинтовал свою ногу. Поверх штанины, темной от крови.

— Троша! Здорово тебя цапнуло или как? — обрадованно выпалил Дмитрий.

По движению губ и жестам понял: он, Дмитрий, должен немедленно вернуться к пулемету.

Все прекрасно понял, однако упрямо сдвинул белесые брови и перевязал раненую ногу брата. Не поверх штанины, а по-нормальному, как положено. Во время перевязки убедился, что кость не повреждена, значит, страшное произошло стороной, и поспешил к пулемету.

Трофим сам приполз к нему с наступлением полной темноты. Заботливо заглянул в глаза и жестами объяснил, что Дмитрию надо полежать, попытаться уснуть, а он, Трофим, подежурит за него.

Дмитрий наотрез отказался. Он чувствовал, что не сможет уснуть: перед его глазами время от времени всплывал Егорыч; не в бою, когда учил его уму-разуму, а на коротком привале, как протягивал свой котелок с кашей; лишь потому протягивал, что он, Дмитрий, со своей порцией расправился мигом.

Да и голова вовсе разболелась. И почти непрерывно подташнивало.

Всю ночь они с Трофимом пролежали у пулемета, готовые открыть огонь в любое мгновение. Зорко по сторонам смотрели. И под утро увидели, что пятачок заднепровской земли, опоясанный сплошной лентой взрывов и выстрелов, вдруг двинулся вперед, стал расползаться вширь.

Нет, они не засмеялись радостно, когда первые наши солдаты бросились к ним, стали обнимать, ободряюще и даже восторженно похлопывать по плечам, щедро предлагать свои кисеты. Усталость была столь велика, что братья на пределе сил заставили себя встать, когда в сопровождении группы офицеров к ним подошел генерал-майор — командир дивизии.

Это уже в медсанбате Трофим рассказал брату, что генерал хвалил и благодарил их. А тогда Дмитрий только и видел, как, подчиняясь требовательному жесту командира дивизии, один из сопровождавших его офицеров протянул две медали. Их, эти две медали, командир и прикрепил к пропотевшим, грязным и рваным гимнастеркам Трофима и его, Дмитрия.

«За отвагу» — оповещали всех буквы на тех медалях.

Еще Трофим рассказывал потом, будто адъютант спросил у генерала: а за что конкретно награждаются эти солдаты? И тот будто бы ответил:

— За службу солдатскую. Мало тебе? Тогда добавлю: верную, надежную.

Нервы шалят...

Выражение «Мертвые сраму не имут» я услышал еще школьником и сразу воспринял как аксиому. Мертвые сраму не имут... Но в августе 1941 года, когда наш батальон морской пехоты прикрывал подступы к Ленинграду, главный старшина Григорий Осипович Нифонтов заставил меня задуматься над этими словами, увидеть за ними то, чего не замечал ранее.

Мы уже четвертые сутки держали оборону под деревней, название которой начисто стерлось в памяти. Мы — наш батальон, насчитывающий к тому времени восемьде-

сят два бойца, и дивизия народного ополчения, вернее — сотен пять вчера еще сугубо гражданских людей, работавших преимущественно на ленинградском Кировском заводе. Не помню какая, но одна из многих танковых атак чуть было не завершилась успехом: четыре бронированные коробки все же домчались до наших окопов, начали яростно утюжить их, норовя разорвать нас в клочья гусеницами, навечно пригвоздить к земле бесконечно длинными пулеметными очередями и горячими снарядами осколками.

Поверьте, это не очень просто — вылежать на дне окопа, когда над тобой, закрывая небо и обдавая тебя вонючей гарью, ревет мотором многотонная громадина. И два матроса не выдержали, выскочили из окопа, побежали в деревню. Но пули быстрее любого человека, пристрелили их фашистские танкисты...

Когда мы бутылками с горючей смесью все же подожгли те танки и бой вошел в привычное для нас русло, кто-то из матросов и сказал, глядя на тех двух, которых страх выбросил из окопа:

— Мертвые сраму не имут.

Я промолчал, а вот главный старшина Нифонтов ответил:

— Не имут, говоришь?.. Ты так до самой смерти проживи, чтобы темного пятнышка на твоей совести не оказалось, и только тогда становись под теми словами.

Никто не возразил главному старшине. Промолчал и я, вдумываясь в его слова. Действительно, не ко всем павшим на полях сражений можно с чистой совестью отнести те слова. К великому сожалению, не ко всем. А мы, случилось, кривили душой. К примеру, что мне написать родным двух этих парней? Что они пали смертью храбрых? Вроде бы — нельзя. Что же тогда? Правду? Какую правду? Сегодняшнюю? Или общую, большую? И тут я понял, что не смогу написать сегодняшнюю правду. По нескольким причинам не смогу. В том числе и потому, что во всех прошлых боях эти матросы вели себя вполне достойно. А сегодня... Сегодня их подвели нервы.

До тех пор мы держали оборону под той деревней, пока фашисты не окружили нас, отрезав даже от ополченцев. Оказались в окружении — единогласно решили: надо прорываться к своим. И сравнительно удачно выскользнули из вражеского кольца, лесами и болотами пошли к линии фронта. Не знаю, сколько километров прошагали по качающимся под ногами кочкам, меж которых чернела болотная

вода, и вдруг выбрались на маленький взгорок, где под ногами была сухая земля, обильно усыпанная иглами настоящих корабельных сосен, а не тех чахлах сосенок, которые столько часов укрывали нас от вражеских самолетов, беспрестанно сновавших в безоблачном небе. Здесь, на взгорке, в яме, оставшейся от корней вывороченной ветром сосны, мы и обнаружили парнишку лет двенадцати — чумазого, голодного.

Конечно, подкормили его, конечно, спросили, каким ветром занесло сюда. Оказывается, скрывается от гитлеровцев. Вернее — пока скрывается: он в душе давно решил, что обязательно присоединится к нашим солдатам, выходящим из окружения; и теперь сбылось его желание, теперь он пойдет с нами.

Кто-то из матросов, выслушав это столь категоричное заявление, сказал: нам, мол, нет никакого резона брать с собой мальчишку — мы воевать будем, а тебе за мамкиной юбкой прятаться еще надо. Шутливо, чтобы подзавести, так сказал. А парнишка заревел. В голос. Сначала мы растерялись, потом стали успокаивать как могли. И тогда сквозь всхлипывания мальчишка сказал, что отец его служит в армии, а маму убили фашисты. Нет, не расстреляли, а именно убили. Когда из пушек и минометов обстреливали деревню.

А позднее, окончательно успокоившись, мальчишка такое нам выдал:

— Нет, дяденьки моряки, вы обязательно возьмете меня с собой. Потому как по уставу не имеете права оставлять ребенка на голодную смерть... — Помолчал и неожиданно выпалил, хитровато глянув на меня: — А вдруг меня сцапают фашисты? Вдруг я выдам им, когда и в какую сторону вы пошли?

В уставе, разумеется, ничего подобного о мальчишках не говорилось, но нам понравилась боевая настырность парнишки, его умение мыслить логически. Ну и прихватили его с собой. Не просто позволили идти с нами, но и показали, как бросать гранаты, как стрелять из винтовки и автомата, перезаряжать их. Даже настоящий автомат дали. Правда, несколько позднее. После того, как прикончили фашистский патруль, который беспечно отдыхал у дороги, прорезавшей лес. Короче говоря, суток не прошло, как он стал полноправным бойцом нашего батальона. Двадцать четвертым. Да, почти за месяц боев ровно столько осталось нас от батальона. Но мы считали, что нам еще по-

везло: ведь мы с кровавыми боями отступали почти от Таллинна...

А звали парнишку, как он представился нам, Филиппом Филипповичем Филипповым. Настолько серьезно и солидно представился, что матросы моментально дали ему прозвище — Три Филиппа.

После взгорка было опять болото. Длиннющее. И все мы почувствовали огромное облегчение, когда под ногами перестала хлюпать зловонная болотная вода. Шли мелким, но густым осинником. Таким густым, что неба, в котором ревели моторы наших и фашистских самолетов, не было видно; редко-редко уловишь глазом его голубой клочок. И еще — здесь, в осиннике, стояла невероятная тишина. Словно и не было в этом лесу ни птиц, ни единого даже зверька; только осины, дрожащие каждым листочком, грибы-красноголовики, еле приподнявшие прелые листья или уже ставшие похожими на ржавые вагонные буфера, и мы — двадцать три моряка и пацан, молча шагавший в нашей цепочке. Он, Три Филиппа, вдруг прошептал сдавленно:

— Парашютист!

Действительно, огромное белое полотнище полностью скрыло от наших глаз очередной клочок голубого неба. А еще через какие-то мгновения затрещали ломающиеся осинки и метрах в десяти от нас на землю опустился человек. Был он в летном комбинезоне, но тогда по комбинезону мы еще не могли определить, наш этот летчик или вражеский, поэтому, не давая ему опомниться, матросы набросились на него, вырвали из лямок парашюта и, крепко придерживая за руки, подвели ко мне. Было ему около двадцати трех лет. Среднего роста, плотно сбитый. Вопреки ожиданию, он не пытался вырваться из матросских рук, только и сказал дерзко, с вызовом, глядя мне в глаза:

— Чего лапаете? Я вам не девчонка.

Так начался наш с ним первый разговор, из которого мы узнали, что «мессеры» над этим лесочком подожгли его «ишачка», вот он и выбросился с парашютом; по званию — старший лейтенант; имеет ордена Красного Знамени и Красной Звезды, которые получил за бои на Халхин-Голе и во время вооруженного конфликта с Финляндией; не счесть, сколько раз враги решетили его самолет, а вот подожгли впервые...

В подтверждение сказанного показал нам и ордена, и орденскую книжку, и свое командирское удостоверение.

Сначала я немного растерялся: гоже ли мне, лейтенанту, в числе подчиненных иметь старшего по званию? Успокоил себя тем, что на фронте лейтенанты порой командовали батальонами, а капитаны у них только в ротных ходили. Но решения еще не принял, а матросы уже загалдели: требовали, чтобы я этого летчика — Серафима Ивановича Манкевича — назначил ротным командиром именно к ним. Напомню, что к тому времени нас от батальона осталось всего ничего и шли мы единой группой. Однако бойцы, выходит, не забыли своих рот. И потеплело на душе, уже уверенно я заявил:

— Старшего лейтенанта назначаю своим помощником.

Возражений не последовало. Единственное, что позволили себе матросы, — немедленно «закодировали» моего помощника, прочно закрепив за ним кличку — Крылатый Серафим.

И мы снова пошли к фронту, который теперь явственно грохотал километрах в пяти и точно по направлению нашего движения.

Как нам показалось тогда, до фронта оставалось километров пять, но мы пробирались к нему почти неделю. Были и бесконечно долгие дни, когда мы шли по заболоченным лесам, были и ночевки в лесной чащобе, во время которых даже небольшого костра не разжигали, чтобы не выдать фашистам своего присутствия. Голодные, холодные и вообще невероятно неудобные ночевки. Во время одной из них, когда мы с Серафимом сидели спиной к спине, пытаюсь таким способом отдать друг другу хотя бы самую ничтожную частицу своего тепла, я и спросил: почему он, Серафим, во время переходов почти все время жметя ко мне. Ответ последовал мгновенно и откровенный:

— Понимаешь, трушу... Мне все время кажется, что из-за деревьев на меня фашисты пялятся.

Это чистосердечное признание не явилось для меня неожиданностью. Еще недавно и я, за годы службы привыкший к морской шире, очень неуверенно чувствовал себя на сухопутье, где сама природа создала все условия для того, чтобы враг мог спрятаться, затаиться для внезапного удара.

Признаюсь, этот откровенный ответ укрепил мое уважение к Серафиму: терпеть не могу, когда кто-то врет, будто в двадцать лет ему вовсе не было страшно подвергать свою жизнь смертельной опасности! И подлинная смелость для меня заключается в том, что человек преодоле-

вает неизбежное чувство страха за свою жизнь, преодолевает во имя того, чтобы быть вместе с товарищами, идущими в бой не личной наживы ради, а высочайшей цели.

Кроме того, трус никогда не признается в том, что ему страшно, он обязательно выдумает какую-нибудь причину, оправдывающую или объясняющую его поведение. В этом я не раз имел возможность убедиться.

А потом случилось так, что однажды ночью наши разведчики доложили о фашистах, которые осмелились заночевать не в деревне под защитой местного гарнизона, а на полянке около тракта. Они разожгли кострище и, глотнув щнапса, попиливав на губных гармошках, улеглись спать, кто в кузове машины, кто у догоравшего костра. И было тех гитлеровцев всего восемь.

Мы просто не имели права упустить такой случай.

Пока я, затаившись за деревом, осматривал полянку, машину и все прочее, пока прикидывал, как сподручнее и вернее напасть, матросы таились в лесу, даже нетерпеливым вздохом не выдав себя. Начать, конечно, следовало с часового. Был у них и таковой. Похоже, больше потому был выставлен, что этого требовал устав: он не зыркал глазами в сторону хмурого леса, обступившего полянку с трех сторон, он, положив автомат рядом с собой, смотрел только на угли костра, мерцавшие синими огоньками, да изредка бросал на них маленькие веточки.

Снять часового я поручил разведчикам, а всем остальным приказал стрелять в фашистов по моему сигналу. Лишь Серафиму дал особое задание: придерживать Филиппа, чтобы он по молодости, по глупости своей не сотворил чего во вред нашему делу, чтобы ненароком не подставил себя под пулю или удар какого шального гитлеровца. Эту предосторожность принять надо было еще и потому, что в кузов машины, где спали несколько вражеских солдат, мы решили для надежности бросить пару гранат-«лимонки», которые, как известно всем фронтовикам, щедро разбрасывают убойные осколки на довольно приличное расстояние.

Все свершилось точно так, как и было задумано: почти одновременно прозвучали взрывы гранат и автоматные очереди, а еще немного погодя, когда было собрано вражеское оружие и продукты, какими они располагали, — сухие хлебцы, несколько банок мясных и рыбных консервов и две наспех сваренные курицы, — жарким костром запы-

лала машина, даже на скаты которой мы не пожалели бензина.

Все произошло настолько привычно-нормально, что, скорее всего, этот случай и стерся бы в моей памяти, если бы... Они, Серафим и Три Филиппа, даже носа не сунули на ту полянку! Ни в момент нашего быстротечного, но яростного нападения, ни потом, когда собирали трофеи. Только в лесу мы увидели их вновь. И меня как-то больно кольнуло, что Серафим, по-прежнему пристроившийся около меня, даже словом не обмолвился: мол, из-за твоего приказа мне пришлось в кустах отсиживаться, когда вы фашистов крушили.

Нет, я не подозревал его в трусости. Однако какой-то неприятный осадок остался на душе. Настолько неприятный, что, когда мы все же проскользнули к своим, я без сожаления расстался и с Серафимом и с Тремя Филиппами. Первого немедленно отправили в его часть, а парнишку он сам взял с собой: дескать, наши наземные службы человека из него наверняка сделают.

Довольно холодно мы простились. Взаимно холодно. Даже адресами не обменялись.

А потом опять пошли бои, бои. Многие. Упорные, кровавые. Из них слагались недели, месяцы и годы войны. Куда только не бросала меня военная судьба! И под Москву, и за Полярный круг, и на берега Волги... Она же, военная судьба, в первых числах июня 1944 года забросила меня на Березину, о которой до этого только и знал, что в ней потонуло порядочно солдат Наполеона, когда он бежал от Москвы. Командиром дивизиона катеров-тральщиков был я в Днепровской флотилии.

Тогда мы еще не знали, что нам выпадет высокая честь стать участниками грандиозного наступления Белорусских фронтов. Однако понимали, что не зря в здешних лесах затаились и матушка-пехота, и множество артиллерийских стволов, танков и даже самолетов — штурмовиков, истребителей, бомбардировщиков; да и появление на Березине нашей Днепровской флотилии тоже никак нельзя было считать случайностью.

Почти в полной боевой готовности мы коротали дни в ожидании боевого приказа. Неприятном ожидании. Хотя бы даже потому, что на войне были далеко не новичками и точно знали, что в грядущих боях кто-то из нас будет ранен, может быть, искалечен, а кто-то и убит.

Но мы, пока позволяли обстановка и время, старались

жить нормальной человеческой жизнью: среди матросов обнаружили и сапожники, и портные, и грибники, и любители рыбалки не с толовой шашкой или гранатой, а обыкновенной поплавковой удочкой. А я для отдыха облюбовал поляну в лесу буквально метрах в ста от стоянки катеров. Ее пересекал ручеек чистой воды, неслышно бежавший меж чуть заболоченных берегов, где над голубым покрывалом незабудок словно дремали плакучие ивы, бессильно опустив к воде свои ветви.

На самой кромке голубого покрывала я и сживал, навалившись спиной на ствол ивы. И пусть километрах в шести непрерывно и напряженно дышал фронт, и пусть в небе надо мной вдруг вспыхивала яростная схватка, все равно здесь я чувствовал себя не солдатом, которого вот-вот бросят в новые бои, а просто человеком, имеющим право на самый обыкновенный душевный отдых.

Матросы, заметив, что я порой ищу уединения, почувствовав, что эта полянка почему-то мне особенно по душе, здесь не тревожили меня различными вопросами. Да и сами, как мне кажется, не посещали ее даже в мое отсутствие. Или вели себя так, что я ни разу не обнаружил следов чьего-то пребывания?

Эта полянка с общего молчаливого согласия стала только моей; я привык к этому.

И вдруг однажды, едва вышел на полянку, увидел, что мое излюбленное место занято армейским летчиком, капитаном.

Остановился в нерешительности. Согласитесь, я не имел ни малейшего права на то, чтобы попросить капитана уйти. Но и делить с ним полянку не хотелось.

А летчик уже почувствовал мое молчаливое присутствие, повернулся лицом в мою сторону. Прежде всего я увидел багровый рубец шрама, наискось пересекающий его лоб. И, как замороженный, смотрел на этот шрам, еще не успевший окрепнуть.

Какое-то время мы молча разглядывали друг друга. Потом летчик неоправданно живо встал, шагнул ко мне и остановился шагах в двух. Он явно ждал чего-то, а я смотрел то на шрам, пересекавший его лоб, то на ордена и медали, покрывавшие его грудь.

— Значит, так и запишем: не узнаешь. Или зазнался? — наконец сказал летчик, улыбнувшись, не осуждая, а сожалея.

Этот голос все поставил на свои места; мне и раньше

казалось, что я знавал этого человека, а теперь вырвалось непроизвольно, уверенно:

— Серафим! Крылатый Серафим!

Конечно, мы искренне обнялись, конечно, рядом уселись на моем излюбленном месте. Сначала по-фронтально скуповато поведали друг другу, что было у нас после того, как расстались в кровавом сорок первом году. По-фронтально — значит, перечислили, где воевали, сколько раз были ранены да в каких госпиталях лечились.

Когда улеглось первое волнение, Серафим и сказал, улыбаясь лучистыми глазами:

— А ведь я на тебя тогда зол был — словами не передать.

— Когда — тогда? — не понял я.

— Когда! — добродушно передразнил Серафим. — Уже запомнил, как в няньку при Филе определил?

Нет, я помнил и это, и то, что тогда он, Серафим, отсиделся в кустах, чем и воздвиг между нами стену неприязни.

О неприязни я умолчал, спросил о другом:

— Где сейчас он, Три Филиппа?

— В суворовском. Понимаешь, парень башковитый, а больше все на троечках едет, — без промедления ответил Серафим, и я уловил в его голосе искренние отцовские недоумение и сожаление.

Спросив о Филиппе, я нечаянно задел самое наиболее ценное, самое дорогое. Рассказывая о нем, Серафим забыл о том, что сказал мне в начале этого разговора, потребовал, чтобы я немедленно пошел с ним в их «хозяйство», где он и покажет мне последнюю фотокарточку Филиппа. Весной этого года снимался! В полной форме суворовца!

Свободное время у меня было, и мы, заглянув на катера и сказав дежурному, где меня искать, если возникнет необходимость, зашагали по тропочке, которая, оказывается, вела точнехонько к аэродрому. До него было километра три, не больше: истребители, взлетающие по нескольку раз в день, ревом своих моторов давно открыли нам место своего базирования. Мы знали уже и то, что здесь они около года и примелькались фашистским наблюдателям и разведчикам.

Шагая лесом, мы и вернулись к тому вопросу, который, похоже, больно покалывал Серафима все эти годы: почему именно ему в тот раз я приказал приглядывать за Филиппом? Посчитал, что он, Серафим, на большее не способен?

Я ответил честно, что трусом его никогда не считал, но... Много ли толку от бойца, если он не ощущает уверенности в себе?

С этого дня наши встречи стали частыми. На моей полянке, на катерах, но чаще — в их «хозяйстве»; случилось, если самолет Серафима находился в готовности, лежали рядом под его крылом.

О многом и самом разном переговорили за те часы. И что больше всего меня поразило — Серафим, каждый день и не раз поднимавшийся в небо для боя с фашистами, убежденно говорил, что в мире чудовищно много невероятно интересного и было бы просто расчудесно, если бы после войны довелось прикоснуться к нему по-настоящему, не бегло и поверхностно, как сейчас, а основательно, до насыщения души. Вот кончится война, вот дадут ему отпуск не по ранению, а нормальный очередной — половину его проведет в Эрмитаже, неделю — в Третьяковке, а остальное время... А черт знает, куда его еще занесет! Но обязательно в какую-нибудь подобную же сокровищницу!

Единственное, о чем не говорили, так это о том, что смерть постоянно рядом, что она способна в мгновение сокрушить любые планы, превратить в прах самые радужные мечты. Мы были тертыми фронтовиками, так стоило ли мусолить азбучную истину?

Однако в душе оба считали, что просто обязаны дожить до победы, если в мире есть хоть капля справедливости: ведь мы через такое прошли, такое перетерпели, вынесли...

В тот день, как стало привычным, сразу после обеда я пришел к летчикам. Там меня уже прекрасно знали и беспрепятственно пропускали и к штабным землянкам, и даже к самолетам, маскировавшимся под деревьями на кромке летного поля.

Пришел в тот момент, когда истребители садились, вернувшись с очередного боевого задания. «Семерку» Серафима сразу нашел глазами: она замыкала цепочку машин, спешивших соприкоснуться с родной землей, чтобы залатать пробоины от пуль и снарядных осколков, заправиться горючим, пополнить боезапас и снова ждать приказа на вылет.

Все шло, казалось, нормально. И вдруг из-за гряды белоснежных облаков стремительно вырвался вражеский истребитель.

— «Мессер»! — вырвалось у кого-то.

Я — не летчик, но и мне было известно, что нет ничего

опаснее, страшнее атаки врага во время твоей посадки. Поэтому понял и разделил общее волнение, с надеждой взглянул на «семерку». Она, задрав нос, уже лезла в бездонную голубизну, она, защищая садящихся товарищей, пошла на перехват фашистского истребителя.

Я не силен в фигурах пилотажа (да разве и запомнит неспециалист их последовательность, если они мелькали с невероятной быстротой?) и не буду описывать бой, свидетелем которого стал невольно. Меня поразило одно: раза два истребитель Серафима оказывался на хвосте вражеского, казалось бы — самое время для меткой пушечно-пулеметной очереди, но...

И вдруг я понял, вдруг до меня дошло самое страшное: у Серафима не было ни снарядов, ни патронов; он израсходовал их в недавнем бою.

А на опушке уже взрели моторами два дежурных истребителя. Они не взлетали только потому, что селись товарищи.

Стал мне понятен и замысел командира полка: пока «мессершмитт» связан боем, поднять в воздух эту пару. Но не поздно ли будет? Не опоздают ли они? Ведь Серафим — без единого снаряда, без единого патрона — пока одинешенек в таком невероятно большом небе...

Фашистский летчик, видимо, тоже догадался, почему молчали пушки и пулеметы Серафима, и решил поиграть с ним; он нарочно позволил нашему самолету зайти себе в хвост, на предельно малой дистанции позволил. И тут случилось невероятное для меня: истребитель Серафима будто прыгнул вперед и своим винтом рубанул по хвосту фашистской машины.

— Таран! — как вздох вырвалось почти у всех, с кем я стоял рядом.

Я во все глаза смотрел на самолет Серафима. К. моей радости, он вроде бы не пострадал, он вроде бы нормально пошел на посадку.

Заглушили моторы летчики, намеревавшиеся взлететь.

Мне казалось, что все, кто в это время был на аэродроме, бросились навстречу «семерке», пылившей к своему постоянному месту стоянки. Вместе со всеми бежал и я, вопя что-то несуразное, но радостное.

Когда нам до самолета оставалось пробежать считанные метры, Серафим сдвинул колпак, прикрывавший кабину, и сказал спокойно, леденяще:

— Дальше — ни шагу. Стреляю без предупреждения.

И направил в нашу сторону пистолет.

Мы поверили, что он обязательно выстрелит.

Кто-то несмело сказал, что у Серафима от тарана, видать, сотрясение мозгов случилось, вот и не соображает, что сделать хочет. Не знаю, поверили летчики этой версии или нет, но дальше ни один не шагнул. Стояли на том же месте и уговаривали, увещевали Серафима. Не помогло: он по-прежнему смотрел на нас зло, решительно.

Тогда, обругав его как только позволила фантазия, все разошлись, занялись своими делами. Однако сомневаюсь, чтобы кто-то из них смог сейчас полностью отдалиться работе. Да и я отошел к штабным землянкам и сел на скамеечку, где обычно блаженствовали курящие. Вроде бы скучал от безделья. А вот уйти от Серафима, уйти на катера — не мог.

Минут десять или пятнадцать я просидел тут, а Серафим — в кабине самолета. Потом он вылез и, спрятав пистолет, ушел в лес. Никто будто и не заметил этого, кроме техников, которые немедленно бросились к самолету, стали осматривать, ощупывать его.

Выждав еще немного и нарочно не спеша, пошел в лес и я: мне было точно известно, где следовало искать Серафима.

Как и предполагал, он сидел на нашем месте и, сжав руками виски, невидящими глазами смотрел на незабудки, доверчиво тянувшиеся к солнцу.

На мое появление Серафим отреагировал так, словно ничего особенного недавно и не случилось. Даже чуть сдвинулся, приглашая сесть рядом. А еще через несколько минут и сказал, бессильный подавить легкую дрожь голоса:

— Понимаешь, подойди вы ко мне тогда — разревелся бы. Может, еще и истерику закатил... Как тебе это глянется: истерика и боевой летчик?.. Да, брат, шалят нервы, шалят...

Да, нервы шалили. Не у одного Серафима. У всех нас, фронтовиков, они порой такое отчебучивали, что потом мы диву давались. А что сегодня разыграли и у Серафима, во все немудрено: огромное напряжение во время недавнего воздушного боя, в котором он сбил фашистского «фоку» (об этом я узнал еще на аэродроме), расслабление, когда целыми вернулись домой, пошли на посадку, и... все сначала! Мгновенно! С еще большим нервным накалом!

Я прекрасно понял, что творилось в душе Серафима,

когда, совершив таран, он посадил свой самолет на родной аэродром, когда отрулил его к тем березкам, с которыми запросто мог бы и не увидеться, если бы...

На войне всегда невероятно много этих «если бы».

И еще — я проникся к Серафиму искренним и огромным уважением. За его волю, которая переборола страх. За верность почетному званию воина. За то, что он больше жизни берег свое доброе имя.

С час просидели мы с Серафимом, глядя на незабудки. Молча. Каждый думая по-своему, но об одном. Во всяком случае, мне так кажется.

Потом я проводил его до аэродрома. Там, попрощавшись, условились обязательно встретиться завтра. Но завтра на рассвете началось то, ради чего не только нас, днепровцев, но и пехоту, артиллеристов, танкистов и летчиков скрытно стянули сюда, прятали в здешних заболоченных лесах. Началось историческое наступление Белорусских фронтов. И военная служба навсегда оторвала меня от полянки с голубым покрывалом незабудок, навсегда разлучила с Серафимом Ивановичем Манкевичем.

Да и только ли с ним?

Один день блокады

1

У каждого человека есть мечта. Большая или маленькая, на всю жизнь или только на ближайшее время, но есть; без нее мертв человек.

Была мечта и у Ивана Белогрудова. Самая человеческая: посмотреть Ленинград, хоть разочек пройтись по тем самым улицам, где хаживал Ленин.

Она, эта мечта, зрела подспудно, когда он еще учился в школе, была робкой и почти сказочно несбыточной: от сибирской деревни Тишайшая, где он жил тогда, до Ленинграда пролегла не одна тысяча верст, билет-то на такое расстояние, если даже в общем вагоне ехать, поди, стольт-

ко стоит, что семье простого колхозника всю жизнь копить и не накопить.

И вдруг в 1940 году Ивана призвали в армию, для прохождения службы направили в Прибалтийский военный округ. Иван прекрасно понимал, что Прибалтика — еще не Ленинград, но мечта сразу осмелела, стала все чаще и чаще задавать один неизменный вопрос: скоро ли?

Когда началась война, Иван служил под Таллинном. Оттуда и отступал с боями. Так долго отступал, что однажды, глянув на восток и увидев горящий золотом купол Исаакиевского собора, охнул от ужаса: до самого Ленинграда немцев за собой довел!

Но это был особый ужас, не тот, от которого подкашивались ноги, а совсем другой. Вместе с ним будто силы добавилось, а уж злости — это точно. Злости на гитлеровцев за то, что до самого Ленинграда дотопали и теперь без биноклей его разглядывают, и бомбят, и обстреливают нещадно; на себя — что допустил такое.

Не один Иван Белогрудов, а все солдаты, оборонявшие город, пусть по-разному, но думали об одном, и будто увязли ноги немцев в земле пригородов Ленинграда, и фронт «стабилизировался», как сказал командир батареи.

По-научному, может, и так, но Иван Белогрудов считал, что фашисты просто с пупа сдернули.

В октябре сорок первого впервые увидел он купол Исаакья, а сейчас уже февраль сорок второго. Почти треть года прошла, а он так и не побывал в городе: сначала бои мешали, жестокие, кровавые, потом — блокада силу набрала.

Это ж надо додуматься до такого, чтобы огромный город, где народу побольше, чем в ином государстве, обречь на голодную смерть. Не только солдат, что его обороняли, но и женщин, детишек малых!

Замкнули немцы кольцо блокады вокруг города, вот и бомбят его нещадно, вот и обстреливают из пушек. Не военные объекты бомбят и обстреливают, а дома, где люди еще живы.

По самым различным делам службы не раз бывал Иван Белогрудов в городе. Не в центре, куда с детства влекло, а здесь, на западной окраине, поблизости от родной зенитной батареи, которая за последние месяцы не раз и по вражеским танкам стреляла. И его уже не удивишь ни трамваем, что, занесенный снегом, стоит на перекрестке

улиц, ни обледеневшими сугробами почти у каждого дома.

И к трупам он привык. К трупам не на передовой, а здесь, на улицах города: голод, он ведь косит, где уловит, там и свалит. И получается, что люди, не зная о своем смертном часе, пойдут за водой или хлебом, а смерть их и подкараулит.

У живых нет сил убирать мертвых: сто двадцать пять граммов хлеба — весь паек; с него в любом человеке жизнь только теплится.

Привык Иван Белогрудов к трупам на улицах города и поэтому равнодушно прошел мимо женщины, сидевшей у стены; посчитал ее мертвой. Даже не взглянул, молода она или уже в годах. Прошел, лишь покосившись на ее высокую грудь. До того высокую, что подумалось: а не подушку ли она туда для тепла сунула?

Шага на два или три отошел от трупа женщины и вдруг услышал то ли вскрик, то ли всхлип. Очень слабый, еле различимый.

Может быть, и не умерла та женщина вовсе? Может быть, оставили ее силы, может, она крикнуть толком не способна, но еще жива?

Мелькнула эта догадка, и солдат Иван Белогрудов вернулся к женщине, для верности коснулся рукой ее лица. Оно было уже каменным и холодным, как все вокруг.

Тогда он, боясь своей догадки, осторожно засунул руку под байковое одеяло, что окутывало грудь женщины.

Так и есть, ребенок! Он, несмышлениш, и пищал, требуя материнскую грудь. Пусть пустую, пусть иссохшую от голода, но только ее. Пищал слабо, еле слышно, однако Ивану почудились в его пiske и властные нотки. Почудились — и он не удивился, он даже обрадовался им: в Тишайшей все считали, что дите — главное в семье, оно — продолжение рода человеческого, и чем настойчивее о себе напоминает, тем крепче по жизни шагать будет.

Нежность нахлынула на Ивана, он осторожно, будто братишку или сестренку, взял малыша с окоченевшей груди матери, укутал в одеяло, которое бесцеремонно сдернул с умершей, прижал к груди неумело, но надежно, как раньше нашивал дрова, и вдруг остановился в полной растерянности: а теперь что делать с этой находкой?

Ночь только легла на землю. Тихая зимняя ночь, каких уже было и еще будет много. Щербатая луна равнодушно смотрела меж туч на израненный город, и от гро-

мад домов на заснеженную улицу легли густые тени. Ни одного человека не видно. Ни один огонек не мерцает в темных глазницах окон. Будто только и есть здесь живых — солдат Иван Белогрудов и его находка.

Или это кажется Ивану, но малышка все требовательнее, из последних сил пищит.

И тогда солдат Иван Белогрудов решительно поворачивает к родной батарее: там товарищи-друзи, там командир с комиссаром, они наверняка помогут. И Ивану, и человеку, который в такое тяжкое время начал жить.

2

Только войдя в землянку и осторожно положив на стол свою находку, Иван почувствовал, как затекли руки от этой легкой и очень дорогой ноши.

— Вот значит, принес, — только и сказал он, вытирая рукавом шинели пот, выступивший на лбу.

— А разрешите узнать, товарищ Белогрудов, что вы принесли? Если тряпки какие, мы этим не интересуемся. Может, у вас в одеяле заблудившийся поросенок? Хотя я, сугубо между нами, согласен даже на бобика, — как всегда балагурия, зачастил Прохор Сгиньбеда, лениво и вразвалку подходя к столу.

Но Иван не принял шутку, сказал сурово:

— Дите у меня.

Так сказал, что Прохор сразу посерьезнел, а товарищи повставали с нар, сгрудились вокруг стола.

Несколько секунд только и было слышно, как потрескивал фитиль в гильзе снаряда, а потом Кузьмич — старшина батареи — усомнился:

— А живое оно у тебя? Голоса-то не слышать.

В это время из одеяла и раздался тот самый писк, который так взволновал Ивана там, на безлюдной улице.

И сразу осклабился в улыбке Прохор, радостно заговорили другие, а Кузьмич приказал:

— Печку. И живо!

Будто из землянки враз пикировали сто «лапотников», так стремительно вылетели из нее все. Кроме Ивана Белогрудова. В нем зарождалось какое-то неизвестное ему ранее чувство, которое остановило его около стола и заставило ревниво следить за желтыми от махорки пальцами старшины. Они, эти пальцы, сейчас осторожно разбирались в складках байкового одеяла.

Наконец показалось и личико ребенка. Оно было маленькое, казалось с кулак, не больше. И все изрезанное морщинами.

— Парень, — ворчливо, но с удовольствием сказал старшина. — Ишь, как брови свел! Девки, они так не могут.

Иван не осмелился спорить: это был первый грудной ребенок, которого ему на руках держать довелось.

А Кузьмич деловито уже засеменил в свой угол, грозно предупредив Ивана:

— Приглядывай за ним. Чтобы не скатился.

Малыш и не думал катиться. Он только пищал, кривя беззубый ротик.

Да и смог ли бы он скатиться, этот будущий человек, который со дня рождения, похоже, еще не едал досыта?

Кузьмич вернулся к столу с кусочком хлеба. С маленьким кусочком хлеба, который, скорее всего, берег на ужин.

Искрошив хлеб в кружку с теплой водой, он достал из кармана чистую тряпицу, сдул с нее табачные крошки.

— Сейчас, орелик, мы тебя накормим, потерпи малость... И брось ты эту бабью привычку реветь. Мужики материться положено. Хотя рано тебе и это, — ворчал он, собирая в тряпицу намокший хлеб. — Вот «ненька» и готова, — закончил он, сунув в рот мальчонки тряпицу с хлебом.

Писк мгновенно оборвался. Мальчонка так яростно сосал тряпицу, что щеки его напоминали втянутые внутрь воронки.

Иван посмотрел на Кузьмича. Тот понял его и ответил до страшного спокойно:

— Изголодался.

А дверь землянки хлопает, хлопает. Это возвращаются товарищи. С топливом в городе очень плохо, грабеж брошенных квартир строжайше запрещен, но сейчас каждый несет что-то. А Прохор приволок почти метровый огрызок телеграфного столба.

— Ты уж, Кузьмич, когда получишь, за эту щепочку отдай из нашей пайки прожектористам осьминку махорки, — только и сказал он.

И Кузьмич, тот самый Кузьмич, который за самую малую крупицу батарейного добра, казалось, был готов удавиться, сегодня смолчал. Будто не расслышал слов Прохора. Но и тот, и другие по лицу Кузьмича поняли, что махра будет обязательно отдана прожектористам.

Железная печурка-буржуйка раскалилась быстро, уже розовеют ее бока и по землянке плывет банное тепло. Сейчас бы только нежиться в такой благодати, но все толпятся у стола, смотрят на маленького человека, вцепившегося в тряпицу с хлебом беззубыми деснами. И молчат.

О чем они думают? Иван, например, о том, что прикажи ему сейчас кто-то руку или ногу отдать, чтобы жил малыш, — он не задумываясь лег бы под топор.

И вдруг Прохор метнулся к двери, бросив с порога:

— К Зинке-прачке сбегая, она грудастая.

Зинку-прачку знали все. Пристав к батарее где-то под Копорьем, она вместе с ней дошла до сегодняшних позиций и даже поселилась поблизости. Баба она была смазливая, разбитная и так умело использовала свои достоинства, что даже в блокаде, похоже, особого голода не испытывала. Во всяком случае, ходила грудью вперед.

Но все это — предположения, догадки: со своими батареями она сохранила прежние только дружеские отношения, окончательно превратившись для них в Зинку-прачку.

К ней и побежал Прохор. Никто его не остановил окриком, почему-то никто не спросил, зачем ее тащить сюда. Все ухватили главное из слов Прохора: еще один человек скоро придет сюда, чтобы помочь малышу.

А малыш, зажмурив глаза, без усталости трудится над тряпичей.

— Слышь, старшина, ты дай мне сейчас завтрашнюю пайку, — просит Иван, впервые обратившись к Кузьмичу на «ты». И тот не осаживает его. Будто какие-то родственные нити возникли и окрепли между ними за те минуты, когда они только вдвоем стояли над ребенком.

— Ему и этого хватит, — помолчав, ответил старшина.

А в землянке уже полно солдат. Неизвестно как, но о мальчонке уже узнали многие, пришли даже командир с комиссаром. Они, как и другие, только взглянули на малыша и отошли к нарам, уселись там, молчат.

Малыш вытолкнул языком «неньку» и заплакал. Как показалось Ивану, заплакал резвее, чем раньше. Это обрадовало.

— В таком возрасте у мальцов канализация запросто течь дает, — доверительно пояснил Кузьмич, распеленывая мальчика. — Так оно и есть! — радостно сообщил он немного погодя.

— Слышь, Кузьмич, а во что мы его пеленать-то будем? — забеспокоился Иван, все время стоявший у стола.

— У меня портянки лишние есть, — с готовностью отозвался кто-то.

— Скажешь тоже, дите — и в портянки! — возмутился другой.

— Да они новехонькие, ни разу не одеванные.

— Тогда другое дело. А то — портянки...

В землянку вваливается Прохор и еще с порога радостно покрикивает:

— Расступись, народ! Скорая помощь пришла!

Все до невозможности вжимаются друг в друга, освобождая Зинке-прачке проход к столу, где пищит малыш. Но она, скинув форсистую шубейку кому-то на руки, сначала подходит к розовой печурке и стирает над ней свои красные руки. Зинка-прачка даже не взглянула в сторону ребенка. Почему? Может быть, боялась, что, увидев его, забудет сначала обогреться?

Наконец она подходит к столу, и вот ребенок уже окончательно распеленат. Но он не сучит ножками. Не тянет кулачки в рот. У него нет для этого сил.

Красные руки Зинки-прачки необыкновенно ловко и нежно пеленают мальчонку в солдатскую портянку. Они успели даже осторожно похлопать его по тощим ягодицам.

Малыш, то ли от усталости, то ли от ласки Зинкиных рук, вдруг замолкает и впервые открывает глазенки.

А Зинка уже единолично командует в землянке:

— Эй, борода, а ну, марш отсюда со своей самокруткой!

— Да я в печку...

— Кому сказано?

«Борода» тушит недокуренную сигарку, прячет ее за козырек шапки.

— А ты, Проша, лети в мои хоромы. Там под кроватью чемодан. Тащи его сюда.

— Я, Зинуша, мигом слетаю, — стелется ей под ноги Прохор. — Только ты его накорми, накорми... Если стесняешься, то мужики выйдут. Мы ведь тоже с понятием.

Только теперь Иван понимает, почему Прохор бегал за Зинкой-прачкой, понял и с надеждой смотрит на ее высокую грудь.

Но Зинка не расстегивает на груди кофточку, а будто подрубленная садится на нары и тихонько воеет, как по покойнику, закрыв лицо руками. Сквозь ее всхлипывания прорываются слова, и из них Иван узнает, что все мужи-

ки.— глупее некуда: им невдомек, что ребенку не грудь, а молоко нужно; а разве все время баба его имеет?

Под эти причитания Прохор выскальзывает из землянки. Он бежит и от недобрых взглядов товарищей, и от Зинкиного плача, в котором звучит бабья злость на свою беспомощность.

Оборвались всхлипывания внезапно. Зинка просто вдруг встала, даже не смахнула слезу, повисшую на подбородке, осмотрелась и сказала тоном приказа:

— Вот здесь я с ним и лягу.

Не бывало еще такого, чтобы женщина ночевала в солдатской землянке, но ни комиссар, ни командир батареи не возразили Зинке, молча согласились на столь грубое нарушение устава.

Потом, это ведь всего на одну ночь...

Едва Прохор принес чемодан, как Зинка-прачка достала из него чистую простыню, одну половину ее немедленно распластала на пеленки, а вторую постелила на нары. Еще через несколько минут она уже улеглась на облюбованном месте, прижимая к себе малыша, который опять жадно сосал «неньку».

От ласково улыбающейся Зинки и малыша, тихонько посапывающего на чистой простыне, казалось, исходило почти забытое домашнее тепло, тепло далекого детства, и все притихли, боясь неосторожным словом или движением враз разрушить сегодняшнее счастье.

— Что дальше делать будем, товарищи? — спрашивает комиссар. Он бородат и поэтому кажется старше своих тридцати лет. — Парнишке молоко и прочее надо, а мы что имеем?.. Как бы нам не сгубить его.

Об этом тайком уже успел подумать каждый, и солдаты молчат. Даже Зинка, на которую с надеждой смотрит Иван, лишь тяжело вздыхает.

За всех ответил Кузьмич:

— Но дите без помощи бросить — это мне совесть не позволяет.

Вздых шелестит по землянке. В нем и одобрение смелости Кузьмича, и тревога за малыша.

— Я, старшина, любого уважать перестану, если только узнаю, что он подумал такое, — по-прежнему спокойно говорит комиссар. — Мы с командиром считаем, что завтра утречком или днем, когда ни обстрела, ни бомбежки не будет, парнишку нужно отнести в детский приемник. Там ему лучше будет... А мы с вами... Мы же солдаты?

Посидев еще немного, командир и комиссар встают, у самых дверей надевают шапки, застегивают крючки полушубков.

— Дежурную смену, старшина, направь к орудиям. Вот-вот летать начнут, — говорит командир батареи.

Солдаты быстро и бесшумно собираются. Вместе со всеми — и Иван Белогрудов. К нему подходит Прохор Сгиньбеда и говорит, глядя на старшину:

— Ты с ним сиди, я за тебя отстою.

Но Иван Белогрудов сейчас никак не может оставаться в землянке, ему чудится, что задержись он здесь — обязательно проворонят что-то у пушек, и он отвечает:

— Не, я сам.

Прохор не спорит. Только протягивает рукавицы на меху. Те самые, которые на хлеб выменял.

3

Разбушевалась метелица, зверем лютым бросается на угрюмые дома, на одинокого прохожего, так и норовит швырнуть его в сугроб и сразу же понадежнее укутать саваном.

Ту женщину, которая еще вчера была матерью, сегодня от людских глаз спрятал сугроб. Лишь из его основания чуть видны ее ноги. Не в валенках, как вчера, а в тонких нитяных чулках.

— Ой, так бы и взвыла на луну, как та собака, — вырывается у Зинки.

Она шагает рядом с Иваном Белогрудовым. Шагает из детского приемника, куда отнесли мальчонку.

Некоторое время опять шли молча.

Но на перекрестке улиц Зинка-прачка остановилась и сказала:

— Здесь, второй дом от угла, гад живет, богатеет на народной беде. У него всегда водка есть. Зайдем?

— Чем платить-то? У меня, кроме запасной обоймы, капиталу нету.

— Я зову, мне и расплачиваться, — горько усмехнулась Зинка-прачка. — Так пойдешь или нет?

Хотелось утопить обиду в вине, ой как хотелось, но он отрицательно помотал головой. Сам не знал, почему отказался от выпивки.

Зинка-прачка одна свернула в улицу, одну Зинку-прачку проглотила черная арка ворот.

А Иван Белогрудов пошел на батарею. Лицо у него было не столько хмурое, сколько растерянное, недоумевающее. Словно силился он что-то понять и не мог. Товарищи не уловили этого оттенка, но сразу почувствовали, что случилось что-то, если и не страшное, то уж неприятное для всех — это точно.

Железная печурка, у которой вчера вечер и ночь розовели бока, сегодня холодна, и в ее утробе стонет, плачется на свою судьбу ветер.

Холодно. Тоскливо в землянке.

Кузьмич осторожно присел в ногах Ивана Белогрудова, который, войдя в землянку, сразу лег на нары и притих там.

— Приемник-то нашли? — спрашивает Кузьмич.

— А куда он денется? Нашли, — как из гроба, отвечает Иван.

— Ну, как там?

Вопрос задан словно между прочим, но и за обыденными словами, и за скучающим тоном — большое беспокойство о мальчонке: что сказал врач, когда осмотрел его? Выживет ли после такой голодухи? Когда и куда его теперь направить думают?

Все эти вопросы угадал Иван, но ответил вовсе непонятное, не то, чего от него ждали:

— Февраль он.

До тошноты противно воеет ветер в трубе печурки. И еще слышно, как скрипит снег под чьими-то торопливыми шагами; кто-то спускается в землянку.

Это старшина прожектористов. Потирая руки над холодной печуркой, он игриво начинает:

— Если за осьминку, то мы согласны еще дровишек подкинуть.

Кузьмич, не глядя ни на кого, лезет в свой угол, и немного погодя оттуда в старшину прожектористов летит осьминка махорки; она ударяется ему в грудь, он немного растерянно и в то же время ловко ловит ее и удивляется:

— Он у вас еще вчера или только сегодня взбеленился?

И недавняя тревога, которую породило непонятное поведение Ивана Белогрудова, нашла выход: все закричали разом, закричали, что прожектористы — шкуры, что такой сволочи, как они, в мире больше нет, что их немедля без суда и следствия расстреливать надо: дите замерзало, настоящие люди для его спасения жизнь свою с радостью

отдали бы, а прожектористы — трухлявое полено за осьминку махры продали! И кому?!

Прохор Сгиньбеда до того разъярился, что схватил старшину прожектористов за шиворот и попытался вытолкнуть за дверь. Но тот был силен да еще разозлился и поэтому, отшвырнув Прохора, заорал во всю мочь:

— Ша, побесновались и хватит! Орать — это любой дурак может, а толком все объяснить товарищу — не всякому дано такое!

Потом, заметив несколько щепочек, он сунул их в печурку, кресалом высек огонь, и печурка сразу радостно заурчала. Красноватые языки пламени весело заскользили с одной щепочки на другую, порой — сталкивались и дальше неслись уже вместе, разрастаясь и наливаясь силой.

— Что касается табака, то за ним особо не гоняемся, сами на такой же терпимой норме сидим... А что таитесь от товарищей — пусть на вашу совесть ляжет. — И старшина прожектористов положил осьминку на стол, случайно на то самое место положил, где еще вчера пищал мальчонка.

Тепло быстро расплзается от печурки, весело гудящее пламя действует успокаивающе, и солдаты-зенитчики уже начали понимать, что погорячились, наговорили много несправедливого и даже глупого. Осознают это, но еще не настолько, чтобы признаться в ошибке, вот Кузьмич и возобновляет разговор с Иваном Белогрудовым:

— Растолкуй, февраль-то к чему?

— А его так назвали.

— Кого его?

— Мальчонку... Так и записали в книге: Февраль Иванович Зенитчиков.

Недоуменная тишина повисла в землянке, повисла тяжелой грозовой тучей, которая обязательно ударит во что-то своими сокрушающими молниями.

— Февраль?.. Зенитчиков? — переспросил Кузьмич, наливаясь злобой. — Христианского-то имени не вспомнили?

— Гады бездушные!

— Душа у них, у бюрократов треклятых, уже заледенела, вот и изгаляются над дитем!

— А ты, сука, куда смотрел? — гневно редела землянка. И все заглушая, все подминая под себя:

— Комиссара! Комиссара сюда!! Комиссара!!!

За комиссаром сбежал Прохор.

Комиссар подсел к печурке. Просто пришел и сел у печурки, которая уже начала остывать.

Постепенно стихли самые горластые. Тогда он спросил:

— А ты, Белогрудов, не узнавал там, почему его так называли?

— Да у меня, товарищ политрук, язык онемел от такого неслыханного зверства!

— Язык онемел от такого неслыханного зверства... А мы с командиром еще вчера знали, что его так назовут... Кто даст табачку?

Несколько солдат протянули ему свои кисеты, но он взял осьминку со стола:

— А это чья?

— Да ваша, зенитчиков, — поспешно заверил старшина прожектористов.

Прикурив от уголька, комиссар продолжил с большой внутренней болью, которую не смог скрыть:

— Много сейчас ребят поступают в приемники. Таких, что и говорить не умеют... А вдруг их потом родители или родственники разыскивать будут? Хоть какая-то примета должна быть у ребенка? Чтобы потом розыск вести? Вот и называют их Январями и Январинами, Февралями и Февралинами... А фамилию — по тому, кто нашел: Саперов, Прохожев, Зенитчиков... Февраль Иванович Зенитчиков... Так как решим, бездушье это отдельных работников приемников или крайняя необходимость?

Тихо в землянке. Нет слов, чтобы выразить думы: ведь, выходит, война не только жизнь и счастье отнимает, не просто крадет детство у малышей, но даже имени, простого человеческого имени их лишает!

Сколько она этих Январей и Январин, Февралей и Февралин уже породила? А сколько еще породит?

Что ж, со временем ребенок повзрослеет, самостоятельно зашагает по жизни и, может быть, даже имя сменит.

Но разве все это хоть в какой-то мере возместит то, чего его лишили враги? Да никогда!

— А ведь на поясной бляхе у них «Бог с нами!» выбито, — проворчал Кузьмич, достал из кобуры пистолет и стал чистить его. Медленно, очень старательно чистить. Рядом с ним разбирал винтовку Иван Белогрудов, дальше — другие солдаты.

Лишь комиссар по-прежнему сидел у холодной печурки, да Прохор недоуменно смотрел на товарищей.

— И с чего вы за личные пушки взялись? — наконец спросил он.

— А ты все еще не понял? — огрызнулся старшина прожектористов. — Разрешите идти, товарищ комиссар?

С днем рождения, минер!

«Минер ошибается в жизни только раз», — это известно, пожалуй, всякому. И некоторые даже любят щеголять этой жизненной правдой, будто сами принадлежат к племени минеров.

А задумывались ли вы над тем, сколько раз мог ошибиться минер, но не ошибся?

У летчиков точно фиксируется каждый боевой вылет. Накопилось их положенное число — сверли дырку на кителе или гимнастерке, жди награду. А минеры? Их очень ценят, уважают, про некоторых из них говорят: «Талант!» Иногда даже к награде представляют.

Лишь сами минеры (да и то не всегда) полушутливо говорят товарищу, осилившему очень сложное задание: «С днем рождения!»

Минер Александр Николаевич Варзин по основной гражданской специальности — инженер. Призвали его в войну на флот, присвоили звание техника-лейтенанта и задумались, куда и кем назначить: военного образования — ноль без палочки, даже козырнуть толком не умеет.

Пока думали и прикидывали, фашисты возьми и сбрось мины в Волгу. Да не простые мины, к борьбе с которыми мы были готовы, а настоящие морские — неконтактные, то есть такие, что взрываются от магнитного поля или шума винтов корабля, боя колес парохода.

Не было у Волжской флотилии средств борьбы с этими минами, вот и собрались у командира бригады траления все его штабные специалисты, чтобы сообща найти выход из создавшегося критического положения.

В самый разгар споров, когда иной командир и мимо кабинета комбрига пройти остерегался, чтобы ненароком гнев начальства не вызвать, вдруг распахивается завет-

ная дверь и входит техник-лейтенант Варзин. Худощавый, лицо продолговатое, и с него на всех ласково и чуть виновато смотрят голубые глаза. Во внешности его не было ни силы физической, ни командирской представительности. Даже голос тихий, в разговоре все время будто виноватость звучит: «извините», «прошу прощения», «если вы не возражаете». Словно дипломат какой, а не командир с тобой разговаривает.

— Извините, пожалуйста, я, конечно, помешал, но мне пришла, как кажется, довольно интересная мысль, — журчит он и прямо к столу комбрига шествует, да не к уголку, а с той стороны, где сам комбриг сидит. — А что, если нам на обыкновенный трал подвесить намагниченные стальные тросы? Мне кажется, они создадут то магнитное поле, которое позволит нам взрывать вражеские мины. — И добавил, положив перед комбригом два листа бумаги: — Тут чертеж и кое-какие расчеты, прошу проверить.

Так родился «хвостовой трал». Правда, коротка была его жизнь, но роль свою он сыграл, именно с ним мы и бросились в первую схватку с вражескими минами. Он же, этот трал-недомерок, натолкнул начальство на мысль назначить Варзина в минно-испытательную партию. Комбриг так и сказал:

— В МИП его, в МИП!

С этого момента, как добродушно подначивали остряки флотилии, Варзин «резво и семимильными шагами устремился к адмиральским высотам». Действительно, после того совещания, о котором конечно же было доложено самому командующему флотилией, адмирал стал только за руку здороваться с техником-лейтенантом, а позднее, когда фашистские самолеты-миноносцы развили максимальную активность, в его личное распоряжение были выделены два катера-тральщика, полуглиссер и даже полуторка.

Все у Варзина шло нормально, если это слово применимо к человеку, находящемуся в районе активных боевых действий, и вдруг новость, которой не хотелось верить: техник-лейтенант Варзин напился почти до полной потери сознания и в таком состоянии носился по Волге на полуглиссере и из пулемета расстрелял все фонари на бакенах, створных знаках и перевальных столбах, расстрелял на том самом участке реки, где фашисты каждую ночь особенно активно ставили мины!

Откровенно говоря, ужаснулись мы содеянному. Ведь время-то какое было? Фашистские полчища в двух местах

к Волге вышли, самого главного порой для фронта не хватало, а тут фонари на знаках речной обстановки уничтожены, значит, на этом участке по ночам теперь не будет судоходства. Ну, чем не вредительство, не прямое пособничество смертельному врагу?

Командир бригады траления немедленно затребовал к себе Варзина. Ответили, что явиться тот никак не может «по случаю пребывания в сильном алкогольном опьянении».

Выходит, Варзин — алкоголик? Тот самый Варзин, который и свои-то законные сто граммов отдавал матросам?!

Комбриг умел не только приказывать, но и ждать, поэтому было передано приказание, которое помню дословно и сегодня: «Как только этот пьяница протрезвится, пусть сразу же явится ко мне».

Если верить сообщениям, поступавшим в штаб, трое суток беспробудно пьянствовал Варзин. И все эти трое суток мы волновались за Варзина, но не потеряли способности и вести наблюдение, кое-какие выводы делать. А они, наблюдения, свидетельствовали, что на том участке Волги, где Варзин побил все фонари на знаках речной обстановки, фашисты прекратили минные постановки. Почему прекратили? Вывод напрашивался только один: там судовой ход не был обозначен, вот фашистские летчики, покружив над затемненной Волгой, и улетали туда, где огни бакенов точно указывали фарватер, на него и ставили мины.

Вывод свой мы, конечно, довели до сведения командования, и оно, подумав, приказало впредь на ночь не зажигать огней, обозначающих судовой ход. Командование отдало такой приказ, а нам невольно подумалось: зачем до этого горели все те огоньки? Ведь судоходства на Волге ночами давно не было?!

А тут и у Варзина «запой» кончился и явился он к командиру бригады, но тот разговаривать с ним не стал, сразу переадресовал его к командующему флотилией. Тогда штаб нашей флотилии располагался уже на левом берегу Волги, располагался в землянках и палатках, от вражеских самолетов прятавшихся под курчавыми дубками. Я случайно оказался у палатки командующего, когда туда вошел Варзин. А стенки палатки небось и сами знаете какие? Вот и слышал каждое слово их разговора.

Сначала адмирал криком кричал, ругал Варзина за то, что он побил фонари; где теперь цветные стекла возьмешь, если они вдруг понадобятся?

Потом голос командующего стал нормальным по громкости, тогда и было сказано:

— И вообще пора бы знать, что на военной службе подобный анархизм недопустим. Родилась у вас идея? Прекрасно! В письменной форме изложите ее и отдайте своему непосредственному начальнику.

— Простите, а если он бессилён решить вопрос, который я ставлю? — впервые прозвучал в палатке командующего голос Варзина.

— Он передаст высшему начальнику, — бодро начал командующий, вдруг неопределенно хмыкнул и уже совсем другим тоном, не поучающим, а несколько удивленным и одобряющим: — Оказывается, ты не так прост, как кажешься... Ускорил продвижение своей идеи?.. Мог бы и матроса поставить к пулемету...

— Извините, товарищ адмирал, но именно этого я позволить себе не мог. И вы сами прекрасно знаете, почему...

— Молчать! — опять взвился до крика голос командующего. — И чтобы впредь ничего подобного не было! Сам за тобой теперь доглядывать буду!..

Прошло еще какое-то время, и мы заметили, что Варзин перестал без вызова врываться к командиру бригады, что теперь, когда даже вызывали, он садился у самого выхода и рта не раскрывал, только пометки в блокноте делал, как примерный школяр. Одни из нас решили, что до него наконец-то дошли основы воинской службы, но кое-кто высказал мысль, что после такого разговора с командующим он стал побаиваться начальства. В эту же строку приплели и то, что даже на своих подчиненных матросов он ни разу голоса не повысил. Правда, отметили — просьбы Варзина выполнялись матросами быстрее, чем иное приказание, отданное громовым голосом и с соблюдением всех уставных формальностей. А почему так — не задумывались, война ежечасно поважнее задачи ставила.

Летом сорок третьего года произошел такой случай.

Мы уже ученые были и теперь по ночам не обозначали судовой ход огнями бакенов, створов и перевальных столбов. А Волга — широка, особенно в весеннее половодье. В ином месте судовой ход под самым правым берегом, а она километра на два размахнулась. Вот и получалось частенько так, что немцы бросали мины на затопленные пески. Естественно, когда вода спала, обсохли некоторые их гостинцы.

Битва за Волгу уже к победному концу подошла, ну и

зачастили к нам различные поверяющие. Среди них попадались и такие, которые хотели непременно участвовать хоть в какой-то боевой операции.

Очередной поверяющий — капитан первого ранга, — узнав, что на обсохших песках лежит мина и ее будут разоружать, заявил тоном, исключаящим отказ:

— Думаю, мне будет предоставлена возможность проверить работу ваших минеров?

И командир бригады дал поверяющему один из штабных полуглиссеров.

Ночью бушевала гроза, дождь хлестал, как из пожарного рукава, и к утру, когда он угомонился, в воздухе не было ни пылинки, дубки прибрежные — все умытые, ветром причесанные, а Волга — без единой гневной морщинки. До того все красиво и мирно было, что даже волны, поднятые катерами, отбежав от них немного, казалось, поспешно вплетались в струи основного течения.

Самое вроде мирное утро было, а на выбеленных солнцем песках лежал металлический цилиндр более метра длиной. В нем таилась смерть: без малого тонна взрывчатки. Она только и ждала оплошки минера, чтобы разнести в клочья и его, и эту нежную тишину пробуждающего дня.

На войне человек постоянно слышит грохот взрывов, рев множества моторов. На войне человек очень хорошо узнает смерть и поэтому проникается особым почтением ко всему земному, начинает уважать и ценить то, чего, бывало, не замечал раньше. Вот и матросы-минеры, готовя Варзина к работе, перебрасывались лишь самыми необходимыми словами и то шепотом, чтобы не помешать другому услышать и шелест помолодевшей листвы, и пение жаворонков в бездонной синеве; познавший близость смерти невероятно любит все это.

И вдруг в этот мир тишины и покоя грохотом барабана врывается голос поверяющего, прыгнувшего с полуглиссера:

— Ну, долго еще копать будете? Не пора ли начинать?

Капитан первого ранга стоял около сидящих матросов, и кое-кто из них попытался встать, но Варзин сказал:

— Прошу вас, товарищи, продолжать подготовку. — И уже поверяющему: — Извините, с кем имею честь?

— Разве вам мало того, что я — капитан первого ранга?

— Я бы очень попросил вас, если не трудно, предъявить документы, — стоял на своем Варзин, протирая тряпочкой ключи, которыми ему предстояло работать у мины.

Поверяющий был умен, он понял, что под вежливой просьбой пряталась настойчивость, уверенность в своей правоте. Сразу понял и всю несуразность своих претензий быть здесь старшим. Он был настоящий кадровый военный и поэтому, поняв все, без дальнейших пререканий предъявил свои документы и даже попросил у техника-лейтенанта разрешения присутствовать при разоружении мины. Тот ответил:

— Буду только рад, но находиться прошу вместе с матросами... Сами понимаете, такая у меня служба...

И поверяющий, пока Варзин колдовал над миной, сидел с матросами в блиндаже, так же, как они, в узкую смотровую щель наблюдал за вроде бы неторопливыми движениями техника-лейтенанта, который сейчас один пытался перехитрить свою смерть.

Вот написал: «Пока Варзин колдовал над миной», — и задумался: а знаете ли вы, что кроется за этими обыденными словами? Конечно, не знаете, даже не подозреваете...

Каждая подобная мина — загадка со множеством неизвестных. И разоружить ее — безошибочно разгадать их. Все. До единой!

Случалось, минеры гибли. В самом начале работы или тогда, когда уже казалось, что все самое страшное позади.

Поэтому каждый минер, подошедший к такой мине, был своеобразным первопроходцем, он, зная, что может погибнуть в любое мгновение, делал все посильное, чтобы последователи, подойдя к мине, не допустили его ошибки. Вот еще до начала работы и рисовал ее со всем тем, что видел, обмерял с точностью до миллиметра и лишь после этого, основательно подумав, делал запись: «Начинаю вывертывать винт номер такой-то».

Делал подобную запись и все свои бумаги относил от мины на такое расстояние, чтобы взрывом, если он все же гроыхнет, их не повредило, прятал в обусловленном месте и лишь тогда возвращался к мине, брался именно за тот винт, о котором сделал запись.

Вывернет его — наметит следующий. И опять пойдет к своему тайнику, дополнит свой отчет о разоружении мины.

Сколько раз будет прикасаться к чему-либо или увидит что-то новое, столько раз и записи делать будет!

Чтобы, если смерть все же уловит его, товарищ не прикасался к тому, на что указывала последняя запись.

Многие часы минер один на один работает с миной, стараясь обмануть, перехитрить саму смерть...

Уже потом, вернувшись в штаб бригады, поверяющий сказал:

— Ну и глазищи у этого техника-лейтенанта. Серые, холодные, властные... Такие адмиралу в самый раз.

Нет, глаза у Александра Николаевича были голубые. Серыми они становились только в минуты гнева, но гневался он редко, и поэтому матросы давно прозвали его Голубоглазым.

После этого случая с поверяющим и последние наши скептики поняли, что Варзин никакого начальства не боится, что молчание и вежливость его — не от трусости.

А время знай себе шагало и шагало. И к концу войны на личном счету теперь уже капитана Варзина скопилось более сотни авиабомб, четыреста двадцать три сухопутных и тридцать семь фашистских морских мин, которые он обезвредил или уничтожил собственными руками.

Отгремели залпы Победы, кое-кто из нас, офицеров-фронтовиков, по различным причинам покинул флот, хотя когда-то и намеревался навсегда связать с ним свою судьбу. А вот Варзин — сугубо гражданский инженер — остался на службе. Сначала для того, чтобы разминировать уцелевшие дома, пашни и просто землю, побывавшую под пятой фашизма. Думал, что справится с этой работой за год или два (ведь не один он, а сотни, может, тысячи минеров работали одновременно!), но не тут-то было: то вдруг обнаружится склад фашистских снарядов, мин или авиабомб, хитро скрытый в земле, то поступал сигнал, будто фашисты, отступая, заминировали весь такой-то порт или несколько его причалов. И Варзин опять берет в руку маленький чемоданчик со своим инструментом, опять едет куда-то, чтобы снова (в какой уже раз!) уничтожить смерть, подстерегающую людей.

В такой переплет загнала его жизнь, что только в 1959 году, когда кое-кто уже начал забывать о минувшей войне, наконец-то осмелился жениться. Желю выбрал под свои внешность и характер: не броской красоты, тихую, спокойную. Иногда он, надев парадный мундир и прикрепив к нему все свои боевые награды — орден Красной Звезды и медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», — осторожно поддерживая жену под ло-

коть, вел ее в порт, где они подолгу стояли у кромки воды и о чем-то разговаривали.

Все шло нормально, и вдруг однажды, когда молодожены сумерничали вдвоем, раздался телефонный звонок. Длинный звонок, требовательный.

Александр Николаевич снял трубку и бросил в нее привычное:

— Майор Варзин слушает.

Жена притихла и внимательно следила за лицом мужа. Оно, как всегда, было спокойно. Разве только голубизны в глазах стало меньше.

— Ясно, товарищ адмирал... Сейчас выхожу.

— Куда, Саша? — с тревогой спросила жена, пытливо заглядывая в его глаза.

— Адмирал для уточнения кое-каких мелочей вызывает, — беспечно и немного раздраженно ответил он, потом привлек к себе жену, нежно поцеловал. — Извини, Люсенок, но мне придется отлучиться.

Она только спросила, на мгновение прижавшись к нему в прихожей:

— Надолго?

— Не больше чем на часок, — ответил он и вышел.

Почему стали серыми его глаза? Очень зол был майор. Зол на фашистов, поставивших мину в такой большой гавани. Не будь этой мины — сидел бы он сейчас рядом с Люсей, осторожно сжимал ее пальцы; не будь мины — не соврал бы любимой.

А сказать правду тоже нельзя: зачем волновать самого дорогого человека? Ведь Люся отлично знает, что каждая фашистская мина — загадка. Загадка, несущая смерть. Да, только смерть: в самой малой морской неконтактной мине около пятисот килограммов взрывчатки. Ошибся минер — и нет его, и хоронить нечего.

Десятки людей так погибли.

Вот и порт. Здесь все знакомо: плавучий док, каменные стенки причалов, у которых стоят корабли, краны, обычно скрежещущие, обычно спешащие расправиться с грузами.

Сегодня все вроде бы на месте, но в то же время и чего-то недостает...

Майор Варзин остановился на горке. Отсюда порт виден как на ладони. Вон и землечерпалка. Это она, углубляя канал, вместе с илом подняла фашистскую мину, которая сейчас лежит в ее ковше...

Нашел, чего недостает! Жизни недостает порту!

И корабли, и краны будто застыли. Словно не в порт, а на корабельное кладбище пришел он, майор Варзин. Даже стука молотков не слышно. И это закономерно: только специалист скажет, какая это мина — магнитная, взрывающаяся от присутствия железа, или акустическая. Вот и замер порт, притаился: если мина акустическая, не взорвется она в тишине, будет смирнехонько лежать на своем металлическом ложе, дождется минера.

Однако сколько ни стой, а к мине идти нужно...

Майор взял чемоданчик, стоявший у ног, и степенно пошел к шлюпке, поджидавшей его у берега. Теперь от его недавней торопливости не осталось и следа. Не потому, что он хотел порисоваться перед людьми, которые с тревогой и уважением смотрели на него. Просто Александр Николаевич знал, что к мине нельзя подходить взволнованным: минер во время работы должен быть всегда спокоен, наблюдателен и расчетлив. Даже то, что он бежал по городу в порт, а не приехал сюда на машине, подчинено этой же цели: бег поглотил излишнюю нервозность.

Когда шлюпка отошла от землечерпалки, майор Варзин склонился над миной. Чуть короче человека, но зато толще его, она лежала в ковше, вся облепленная илом, покрытая ракушками и водорослями. Утешало лишь то, что та часть мины, где смонтированы все приборы, находилась вверху.

Прежде всего нужно узнать, какая это мина...

Александр Николаевич принес воды и смыл зеленоватый ил. Конечно, это мог бы сделать помощник, если бы он был. Но нет помощника: зачем подвергать смертельной опасности двух человек? Да и людей, умеющих разоружать подобные мины, не сотни: очень многое должен знать человек и, кроме того, иметь особое чутье на вражеские ловушки. Ведь мина — маленький и очень хитрый завод, где есть самые различные механизмы. Одни из них приводят мину в опасное положение, другие — настраивают на момент взрыва. Дело в том, что не под первым кораблем, прошедшим над ней, взрывается мина. Есть в ней специальное устройство, которое позволяет заранее решить, когда и под каким по счету кораблем должно это произойти.

А страшнее всего в мине — ловушки, которые должны уничтожить и мину, и минера, если он не сможет проникнуть в их тайну. Начнешь доставать запал — замкнется электрическая цепь и... нет тебя больше; коснешься любого

прибора — так и жди: последует взрыв. Даже простого винта без осторожности вывернуть нельзя: проникнет в отверстие свет, сработает фотоэлемент, спрятанный в mine, и опять неизбежный грохот взрыва!

Все эти особенности фашистских неконтактных мин, все ловушки, устанавливаемые в них, знал майор Варзин. Вот поэтому его и послали на разоружение опасной находки.

Только все ли ловушки знал он? Конечно, нет: в любой mine враги могли установить новинку. Задача майора — обнаружить ее, разгадать, устранить и лишь потом разоружить мину.

Не стало ила, смысл его майор Варзин — увидел маркировку. Теперь ясно: мина акустическая. Не прекрати свое временно работы в порту — давно бы, возможно, взлетела на воздух землечерпалка. Да только ли она одна?

И, как бывало уже не раз, захотелось покурить перед началом работы, захотелось еще хоть несколько минут побыть человеком, от которого смерть пока еще далека.

Он сидит, курит и думает. Не о жизни, не о жене. Все мысли — как подобраться к «жалу» этой мины, как вырвать его? Фашисты чаще всего ставили мины с таким расчетом, чтобы они взрывались под вторым кораблем, прошедшим над ними. Значит, нужно исходить из того, что тот, первый, корабль уже прошел, что сейчас может быть только взрыв. Иными словами, сейчас мина должна взорваться от любого звука, если он будет продолжаться больше трех секунд; всего две секунды в твоем распоряжении, минер!

Две секунды: ноль — раз, ноль — два... Стоит мысленно сказать: «Ноль — три», — уже взрыв. Смерть.

Из этого вывод: ключами работать нельзя. Остается одно — ножом резать эбонитовую прокладку.

Решение принято, и майор Варзин встает, подходит к mine. Его пальцы стискивают рукоятку ножа. Кожа побелела на суставах.

Начали!

Нож касается эбонита. Майор Варзин нажимает на него и считает:

— Ноль — раз, ноль — два!

Счет быстрый, чтобы не ошибиться.

Минутная пауза, и снова нож делает глубокую бороздку на прокладке.

Постепенно Александр Николаевич увлекся, чуть при- тупил ощущение постоянной опасности. Ему казалось, что

дело спорится, что скоро с миной будет покончено. И тут нож чуть дольше положенного времени задержался на эбоните. Акустический уловитель сработал: слышно тиканье часов.

Три секунды до взрыва! А что за них сделаешь? Куда убежишь? И Александр Николаевич остался у мины.

Но часы вдруг остановились!

Пошатываясь, отошел Александр Николаевич в сторону от мины, сел на кнехт. Полез в карман за папиросой. С трудом достал ее: так сильно дрожали пальцы. Ведь он лучше других знал, что могло произойти после того, как заработали часы.

Только через несколько минут окончательно поверил в свое счастье: у мины в запасе был еще один корабль! Значит, еще можно бороться, значит, есть еще шанс вернуться домой!

Но теперь работать нужно как никогда спокойно и внимательно, внимательно и спокойно. Нельзя два раза подряд испытывать судьбу.

Александр Николаевич взглянул на часы. Ого! Уже без двадцати минут двенадцать... Пришел сюда в семь. Выходит, почти пять часов бьется над этой миной...

Замерил прорезанную щель. Только три сантиметра.

На порт коршуном упала ночь, накрыла его черными крыльями. В домах постепенно гаснут огни.

А минер режет эбонит.

— Ноль — раз, ноль — два, — шепчут его пересохшие губы.

Город утонул во мраке. Светится огонек только около шлюпки, на которой матросы ждут майора Варзина. Правда, в городе есть еще и окно, где сейчас наверняка тоже горит свет, но его не видно с землечерпалки. Это огонек в его собственной квартире. Там сидит Люся. Сидит одна. Стиснула ладони коленями и сидит. Ждет...

— Ноль — раз, ноль — два, — хрипит майор, прижимаясь лбом к холодной мине.

Наконец нож выпадает из его пальцев, сведенных судорогой. Все... Больше минер не может работать...

Как так — не может?! А кто тогда может? Или и завтра царить в порту тишине? Или и завтра людям с тревогой смотреть на землечерпалку, ежесекундно ожидая чудовищного взрыва?

Майор Варзин снова подошел к мине. Сжал нож непослушными пальцами.

— Ноль — раз, ноль — два...

Утро наступило как-то неожиданно. Просто Александр Николаевич вдруг заметил, что видит не только темный контур мины, но и ракушки, зеленые водоросли, узкую прорезанную щель.

Но как много еще резать...

И тут мелькнула дерзкая мысль: а что, если?..

Александр Николаевич даже растерялся от неожиданности: ведь так просто можно все решить!

Спокойнее, Александр, спокойнее. Семь раз отмерь...

Пожалуй, все правильно... Всунуть нож в щель, нажать на него... Эбонит хрустнет, отломится... В образовавшуюся дыру сунуть руку и вынуть запал...

А не взорвется мина?.. Не должна: звук ломающегося эбонита будет меньше трех секунд.

Майор поднялся, посмотрел на просыпающийся город. Потом вставил нож в прорезанную щель. С силой нажал на рукоятку...

Эбонит не поддавался.

Тогда он всей тяжестью тела повис на ноже...

Раздался громкий, но короткий треск.

Минер вытер рукавом пот, застилавший глаза, и посмотрел на прокладку. Она отогнулась. Теперь рука пролезет в щель...

Вот и разоружена еще одна мина, таившаяся со времен Великой Отечественной войны. Приборы мины лежат на палубе землечерпалки. Теперь мина лишь металлический футляр, набитый взрывчаткой, а не хитрая машина. Теперь можно вызывать и шлюпку, можно дать сигнал, что работа окончена.

Он помахал фуражкой. И тотчас раздался первый гудок. Это буксир пошел к лесовозу, стоявшему на рейде. А еще через несколько секунд шевельнулась стрела одного крана, другого, требовательно засигналил какой-то шофер.

Матросы бережно обмыли исцарапанные в кровь руки майора, перебинтовали их.

— Вас проводить, товарищ майор? — предложил один из них, когда шлюпка подошла к стенке.

— Нет, спасибо, я сам, — ответил он. — Разве вот только чемоданчик с инструментом... Занесите его днем и незаметно поставьте в прихожей... Жена у меня, — будто извиняясь, закончил он.

Матросы поняли, что майор не хочет волновать жену, намеревается скрыть от нее свою ночную работу. Да разве скроешь правду? Со вчерашнего вечера весь город знает, что майор Варзин пошел на мину.

Жена открыла ему сразу, как только он вставил ключ в замок. Открыла дверь и припала к его груди. Он провел забинтованной рукой по ее мокрой щеке.

— Не надо, Люсенок... Все в порядке...

Она еще крепче прижалась к нему.

Место в жизни

Вечером, когда солнцу до кромки горизонта оставалось пройти совсем немного и с моря потянул прохладный ветерок, я остановился на гранитной набережной канала. Откровенно говоря, со дня приезда в этот портовый город набережная стала моим любимым местом отдыха. Почему? Море, родное Балтийское море — вот оно, рукой подать. То гневно рокошет за молом, то чуть слышно бьет о него волнами. Как бы зеркальна ни была вода в гавани, а море все равно напоминает о себе, если и не шумом волн, то запахом йода и свежестью, которую не сравнить ни с чем.

Сегодня я сначала полюбовался горящим на солнце морем. А потом мои глаза остановились на боевых кораблях, которые в этот тихий вечерний час смиренхонько стояли у стенки.

Человек, видимо, уж так устроен: встретившись с тем, что было ему родным когда-то, он почему-то обязательно хочет с гордостью заявить: «А в наше время...» Я не исключение из общего правила, я тоже искал это неизвестное что-то, которое позволило бы мне восторженно отозваться о моем прошлом. С первого дня приезда искал. Не нашел. И приподнятые носы, и скошенные назад трубы кораблей, и зачехленные пушки и ракеты — все говорило о затаенной мощи и силе стремительного броска, который обязательно будет после приказа: «К бою!»

— Да, коробочки славные, — услышал я голос, несущий

щийся, казалось, с зеленоватой воды гавани. Осмотрелся, шагнул ближе к краю стенки. На каменных ступеньках сидел человек. Одет он был, как и большинство мужчин этого приморского городка: флотские брюки, потертый на локтях китель и до того старая мичманка, что от многих дождей, прополоскавших ее, некоторые нити верха стали серыми, выцвели. Лицо тоже обычное. Бурое от постоянных ветров и солнца.

Около ног неизвестного лежали два бамбуковых удища и стояла баночка с червями.

Настроение у меня было бодрое, к этому времени я еще не поддался воспоминаниям и поэтому ответил, не тая радости:

— Хороши!

Ответил и замолчал. О чем еще говорить? Еще по прошлой службе помнил, что расспрашивать незнакомого человека о кораблях — наверняка неприятность наживешь.

Может быть, так и не состоялась бы наша беседа, да выручил окунишко. Он неожиданно и нахально утопил поплавок, человек в кителе сделал подсечку, и рыбка, длинной с мизинец, скрылась в широкой ладони рыбака. А еще через несколько секунд он осторожно опустил ее в воду.

— Что так? — спросил я.

— Мала. Пусть еще годика два поживет, ума и мяса поднаберется.

Так началась наша беседа, а еще немного погодя мы уже разговаривали как старые и хорошие знакомые. Вернее — говорил он, а я слушал.

— Вот вы спрашиваете, кто я? — неторопливо басил рыбак. — Отвечу прямо: моряк я, военный моряк. Мичман... А вы кто будете? — вдруг выстрелил он вопросом и требовательно посмотрел на меня. Его серые глаза были спокойны, но смотрели так открыто, так честно, что уклоняться от ответа было невозможно, и я назвалса.

— Так, офицер запаса, значит, — пробасил мичман. — В гости к нам? Что ж, одобряю... Только — не обижайтесь, если грубовато скажу, — пораньше заглянуть надо было. Флот — он, как живой человек, любит внимание, уважение. Отошел иной человек от флота — глянь, и тот отвернулся от него, закрыл для него свое сердце... Небось смотрите сейчас на корабли, а они души своей вам не раскрывают? А для меня их броня будто стеклянная: до кия все вижу... Гоже ли офицеру столько лет родного флота избегать?

Я смолчал. Да и что можно было сказать в свое оправдание? Сваливать на военкомат? На командование? Или на извивы текущей жизни? Все это были лишь отговорки, я понимал их неубедительность, даже фальшивость и потому молчал.

Некоторое время, притворяясь, будто ждет поклевки, молчал и мичман. Тактично молчал. И так долго, словно я обидел его. Уже подумалось: а не уйти ли? И тут он заговорил:

— А я четырнадцатый год служу. Флот для меня — и дом, и семья. По гражданской специальности — тракторист. Попал на корабль, глянул на машины его, и руки опустились: нешто освоишь такую махину?.. Ничего, осилил... А как только осилил, стал хозяином над ней — тоска по дому пропала. Будто и родился где-то здесь, в корабельном трюме или еще где... А тоска по дому, по родным местам — она иного врага страшнее, и зубы у нее хотя и невидимые, но острые, въедливые. Попади матрос под ее власть, не подмогни ему в те минуты — запросто в нарушители дисциплины укатится. Опять же почему? Все ему опостылело в тот момент: и море, и корабль, и даже приказ. А разве можно в армии без приказа, по настроению матросскому жить? Да шагу ступить нельзя! Взять, к примеру, такой случай... Хотя зачем вас примерами глушить? Сами, поди, не один привести можете... Оседлал механизмы — пропала тоска, жизнь сначала замечать, а потом — и любить начал. Даже на сверхсрочную остался. И знаете, что меня привлекло? Не деньги, не форма красивая. — Мичман снял с крючка очередного красноперого окунька, сменил насадку и продолжал, глядя на поплавки, застывшие на отшлифованной воде: — Уж очень радостно охранять от беды свой народ. Стою я, скажем, на вахте, а душа так и поет: сунься кто непрошенный — живо рога обломаем!

Есть такие люди, что говорят: «Вот уже и старость подходит, не заметил, как жизнь мелькнула». Начал я на эту старость! Не будет ее у меня! И опять же почему? — Мичман гневно смотрел на меня, будто я произнес те слова о старости, будто я спорил с ним. — Сколько человек в люди вывел я за эти четырнадцать лет? Сколько сейчас моих учеников на кораблях служит? Почти на каждом есть мой человек. Не дадут они мне состариться!

Что, к примеру, меня сейчас здесь держит? Окуньки? Да нешто это рыба? Головастики! Надо будет хорошей — перейду вон туда, где гостиница, и угрей тягать буду!.. Что

же меня якорем держит, да еще на этом безрыбном месте? Видите вон тот тральщик? На нем Иван Лукашин служит. Тоже мой ученик. — В глазах мичмана зажглись теплые огоньки, и все лицо сразу стало мягче, исчезли гневные складки на лбу. — Недавно учения были, так он наколбасил малость. Вот и придется с него стружку снимать.

Мичман опять нахмурился. Несколько минут мы сидели молча. Потом мичман достал папиросу, закурил и продолжал уже спокойно:

— Пять лет назад прибыл к нам на корабль Ваня Лукашин. Прямо скажу, комплекцией не обижен. Ростом без малого два метра, в плечах — половина того. Весь такой угловатый, вроде бы неповоротливый. И что меня больше всего злило — молчит окаянный! Ты ему объясняешь, показываешь — молчит. Спросишь, понял ли он, — кивнет и опять ни слова, если не на занятиях. Только на вечерней поверке, когда его фамилию выкрикивали, ответит: «Есть». Почему ответит? Устав велит.

Не выдержал я и как-то сказал своему командиру: «Ну и трудного человека вы в подчиненные мне дали». Не знаю, как это случилось, но скоро все на корабле стали звать его так. Только, бывало, и слышишь: «Трудный, тебя мичман кличет». Или еще что... А Иван не обижается. И что интересно — память у него оказалась зверская: раз покажешь и объяснишь, что к чему, — слова не скажет, а все запомнит!.. Скоро стал Иван самостоятельно вахту нести. Хорошо, добросовестно нести, так, что комар носа не подточит.

Прошло, может, месяца три — и вдруг новость: Трудный заговорил! А что сказал, сказал без принуждения, по собственной инициативе? «Сапожничать могу. Кому нужно — тащите ботки».

Чуете, куда гнет? Частная инициатива! Кустарь-одиночка на корабле объявился!.. Уязвило это нас всех, и решили мы его проучить: натаскали обуви — на месяц работы. Натаскали, а сами мыслью тешимся: «Починишь всю обувь, деньги сдерешь, а потом мы и дадим тебе жизни. Будешь впредь знать, как своего брата матроса обирать!»

Мичман несколько минут смотрел на поплавки, потом улыбнулся и продолжил:

— Все чоботы починил окаянный! И денег ни копейки не взял! Тут уж мы опешили: выходит, зря над человеком

измывались? Ведь кое-кто ему для ремонта такие обутки принес, что и носить больше не собирался, а теперь в них хоть на параде вышагивай!

Окружили мы Ивана, прижали вопросом к переборке кубрика: «Почему вызвался обувь чинить?» Он молчал сначала, потом выдавил из себя, словно жернов свернул: «Сапожничать могу, что не каждому дано». Ну, каков говорун? А понимать его надо так: дело он знает, время свободное для товарищей тоже найдет, так почему не помочь?

После этого случая все мы другими глазами на Ивана смотреть стали, но кличка та — Трудный — к нему накрепко прилипла... А вскоре и такое произошло... Замполит у нас тогда молодой, горячий был... Он проводил у нас собрание по вопросу сдачи экзамена на классность. Почти все выступили и одно твердили: дело хорошее, нужное. Только Иван отмалчивался. Замполит и навалился на него: «Выскажитесь и вы, товарищ Лукашин». Тот сначала отмалчивался, а потом возьми и брякни: «Я — не кочет». Что тут поднялось! — Мичман зажмурил глаза и покачал головой. — И замполит, и мы — все навалом на Ивана. Это мы-то кочеты?! — Мичман смеется, смеется радостно. — Дней десять обходили Ивана, будто и не было его на корабле вовсе. А он — ничего, спокоен, словно так и быть должно. Может, и дальше играли бы в молчанки, да собрание опять подошло. Вот на нем и выступил один из наших, во весь голос сказал, что есть еще трудные люди и у нас на корабле, что их еще воспитывать и воспитывать надо, чтобы хотя бы к дверям коммунистического общества подпустить. Фамилию не называет, но мы-то знаем, в чей огород камень брошен. Тут и подымается Иван, басит: «У нас в деревне кочеты завсегда друг за другом орут. А мы — люди. Зачем друг дружку перепевать? Шум один... Я с народом согласный». Сказал это и сел. И тихо так в кубрике стало — сравнить не знаю с чем. Сижу и думаю: «Вот уел так уел, черт таежный!»

Матросы молчали, молчали да как грохнут хохотом. Только Иван и не смеялся...

Теперь уж и вовсе стали звать его Трудным. Конечно, в том смысле, что не сразу его разгадаешь... А вскоре в комсомол стал вступать Иван. Вылез из угла, встал посреди кубрика, голову на грудь валит, чтобы о бимсы ею не стукнуться. Ну, думаем, сейчас ты заговоришь: биографию-то за тебя кто рассказывать станет?.. Только и узнали, что жил он где-то на севере, охотником был... Приняли его в

комсомол, конечно. Уж больно он к тому времени полюбился нам.

Прошло еще несколько лет, пора Ивану демобилизоваться подошла. Уже приказ соответствующий зачитан, народ чемоданы покупает, а Иван к командиру: «Прошу демобилизовать в последнюю очередь». Тот спрашивает: «Почему? Замечаний у вас по службе нет, домой имеете право одним из первых отправиться». «Не готов я к демобилизации», — отвечает Иван.

Бился, бился командир и рукой махнул: нешто эту глыбичу прошибешь обыкновенными словами?

Осенние месяцы, сами знаете, хлопоты сплошные: учения разные, старички уходят, а молодняк обучать надо. И зима не за горами. Короче говоря, забыли про Лукашина. Сам напомнил о себе. Опять приходит к командиру и докладывает: «Свои механизмы, товарищ командир, я перебрал и отремонтировал. Теперь года полтора их вскрывать не надо. Так и передайте сменщику, который вместо меня будет».

Каков, а? Молчком большущее дело провернул! Другие в это время о доме слюни пускали, а он о корабле думал!

Командир, разумеется, пожимает его руку и так, с подходцем, крючок закидывает: «Спасибо, товарищ Лукашин, от лица службы спасибо. А не жаль вам расставаться с кораблем? Нам, например, жаль, что вы уходите». Иван, как рассказывал вестовой, от радости кровью налил, достал из кармана бумагу, протянул ее командиру и сказал: «Если оставите, то тятя разрешил». Оказывается, Иван домой бате с месяц назад письмо написал, в котором спрашивал: а можно ли ему здесь, у нас, остаться? Дескать, обойдетесь ли в хозяйстве без моих рук... Оставили его на корабле, с радостью оставили... Вот так он и нашел свое место в жизни.

Место в жизни... Я уже далеко не восторженный юноша и теперь точно знаю, что значит для любого человека найти собственное — единственное! — место в жизни. Многие мои фронтовые друзья нашли его: забубенная головушка, наш разведчик Н. Волков, который, казалось, только и просыпался тогда, когда видел гитлеровца, — ныне заслуженный учитель РСФСР; лихой командир бронекатера Г. Прокус после окончания Великой Отечественной войны ушел на рыболовецкий флот, где и стал Героем Социалистического Труда.

Я мог бы и дальше продолжить этот перечень, но нужно

ли? Ведь для меня сейчас главное другое: а нашел ли я свое место в жизни? Не допустил ли промашки, выбирая его? Похоже, допустил. Хотя бы потому, что мне и сегодня кажется, будто я был бы полезнее на флоте, будто там моя жизнь была бы полнокровнее. Жаль, непоправимо жаль, если действительно произошло такое...

В канале плещется рыба. На кораблях бьют склянки, и звук потревоженной меди плывет над сонной водой. Солнце уже легло нижним краем на воду и окончательно подпалило ее по кромке горизонта. Все точно так, как было в дни моей молодости. Время не коснулось, не состарило, не лишило силы то, что мне по-прежнему дорого...

Мичман курит молча, торопливо. А я смотрю на его лицо и думаю о том, что этот человек тоже нашел свое место в жизни. Раз и навсегда нашел. И не вырвать мичмана с этого места: крепкие у него корни и глубоко ушли.

Только не слишком ли он самоуверен? Придет ли к нему для неприятного разговора Лукашин?

Если судить по рассказу, тот человек гордый. Да и мичман теперь ему не начальник.

— Ползет, каракатица, — прошептал мичман.

Я посмотрел в сторону тральщика. От него шел главный старшина. Большой, даже громоздкий, как когда-то наш Ксенофонтыч, он шел решительно, но на лице его не было радости. Я понял, что учителю и ученику лучше побеседовать наедине, попрощался с мичманом и ушел. Не к себе в номер гостиницы, а на улицы этого небольшого городка, где каждый второй мужчина — военный моряк. Шел аллеей каштанов, шел мимо влюбленных парочек, что шептались на скамеечках. Шептались доверчиво и нежно, как это умеет только счастливая молодость. Я завидовал их счастью: ведь мы в их годы уже воевали, в их годы мы уже познали близость смерти. Что ж, каждому свое.

Хотя почему каждому свое? Не только свое, но и наше счастье — настоящее, большое и несостоявшееся счастье многих павших — пусть вбирают они без остатка. Ведь жизнь так прекрасна!

Это мы, те, кто воевал, очень хорошо прочувствовали.

Может быть, другими словами, но об этом я думал, проходя аллеей каштанов, торопясь и не желая покинуть владения влюбленных. И солнце не хотело покидать их. Оно все еще цеплялось за зыбкий горизонт, и его лучи заливали золотом распахнутые окна, ласково перебирали густую листву каштанов.

1

Все было точно так, как и всегда: и темная ночь, спрятавшая переправу от вражеских самолетов, и матросы и солдаты, грузившие на катера ящики со снарядами, минами и патронами. Даже командиры связи и различные порученцы точно так же, как и вчера, спешили куда-то, задавали самые нелепые и ненужные сейчас вопросы, вроде:

— Получена или нет махорка для личного состава?

Еще вчера командир дивизиона катеров-тральщиков капитан третьего ранга Первушин более или менее спокойно отвечал на подобные вопросы, а сегодня не может. Сегодня его все злит. Поэтому он хмурится, на вопросы отвечает односложно и нетерпеливо поглядывает на ручные часы.

Первушин высок, широк в плечах. Он не в шинели, как все другие командиры, а в полушубке с поднятым воротником, отчего кажется выше и сильнее всех. Невольно думается, что он даже имеет право на эти лаконичные ответы, звучавшие отрывисто, даже с откровенной неприязнью. И командиры связи и порученцы стараются побыстрее отойти от него. Наконец оборвались цепочки людей с ящиками и мешками на спине, и на мостки взбежал молоденький лейтенант, козырнул и отпрапортовал:

— Погрузка закончена, товарищ комдив!

— Окончена, говоришь, — сказал Первушин и посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, так ли это, не забыли ли чего.

Ночь была темная, без единой звездочки, и командир дивизиона мог видеть лишь людей, стоявших около него, но этот взгляд по сторонам — привычка; в эти секунды комдив мысленно проверяет, все ли необходимые приказы отданы, все ли сделано, без чего потом, в бою, взвоешь.

И вдруг глаза задержались на старшем политруке. Он появился здесь минут... Командир дивизиона взглянул на часы и мысленно отметил, что сегодня от боевого задания погрузка боезапаса и продовольствия для солдат, держащих оборону в городе, украла только двадцать минут. А старший политрук пришел, когда она только началась. Значит, он здесь минут пятнадцать или восемнадцать. Вспомнил и короткий разговор с ним...

— Разрешите обратиться? — спросил старший политрук.

— Позднее, — ответил он и пояснил: — Занят...

С тех пор и ждет старший политрук. «Видать, дисциплинированный, в споры с начальством предпочитает не ввязываться», — подумал Первушин с неприязнью. Кроме того, ему стыдно за свою забывчивость, и он сказал, не скрывая раздражения:

— Слушаю вас, товарищ старший политрук.

— Прибыл...

— Вижу.

Показалось или действительно усмехнулся старший политрук? Однако продолжил он по-прежнему спокойно:

— ...на должность вашего заместителя по политической части.

Утром умер от ран Павел, а сейчас на его место уже явился этот!

И командир дивизиона, с трудом сдерживая себя, говорит с откровенной неприязнью:

— Считайте, что вступили в должность... Сейчас идем в бой, значит, разговоры придется отложить. — И тут не смог сдержать раздражения: — Быстро же вас прислали.

— Разве это плохо? — будто не заметив настроения комдива, спросил старший политрук.

Командир дивизиона круто повернулся и зашагал по мосточкам, поскрипывающим и прогибающимся под его тяжестью. Когда перешагивал через леера, заметил, что старший политрук прыгнул на соседний катер. Это понравилось, но он откинул воротник полушубка и постарался не думать ни о смерти Павла, с которым бок о бок воевал полтора года, ни о новом своем заместителе. Иначе и нельзя: впереди ночь работы на переправе через Волгу, впереди много рейсов в осажденный город, над которым висят осветительные бомбы, на подходах к которому враг встретит дивизион снарядами, минами и пулеметными очередями. Главное сейчас — выполнить задание, а личное... Эх, Павел, Павел... Что ж, возможно, придется извиниться за грубоватый прием, если этот обиделся...

А произнес спокойно и властно, как всегда:

— Дивизиону сниматься со швартовых.

2

Командир катера-тральщика видел, как незнакомый старший политрук прыгнул на катер. Однако не окликнул его, не вышел из рубки, чтобы проверить документы: когда

корабль отходит от берега, вся его команда стоит на своих боевых постах, а его личный пост — в рубке, рядом с рулевым. Кроме того, тот старший политрук только что разговаривал с комдивом, значит, начальство в курсе: военный корабль — не трамвай, куда запросто всякий прыгнуть может. Конечно, документы проверить надо будет, но это успеется и чуть позже, когда катер отойдет от берега.

Однако старший политрук сам вошел в рубку, протянул раскрытое удостоверение и сказал:

— Старший политрук Векшин. Новый заместитель комдива по политчасти.

Голос у него спокойный, чуть бархатистый.

Мичман включил фонарик, прочел удостоверение, потом перевел луч на лицо старшего политрука. Точно, как фотокарточка: зачесанные назад с висков волосы, серые глаза и круглые, налитые щеки. Только ямочек сейчас на них нет, как на фотокарточке. Видать, хорошее настроение было, когда фотографировался.

— Мичман Ткаченко, — в свою очередь представился командир катера. — Особые приказания будут?

Векшин сейчас не намеревался вмешиваться во что-либо, он искренне считал, — ничто так не вредит любому делу, как обилие начальников; в этом имел возможность убедиться, когда сам еще был матросом. И потому ответил:

— Действуйте так, будто меня здесь нет.

— Слушаюсь, — козырнул мичман и нахмурился. Он двенадцать лет прослужил на флоте, всякого начальства насмотрелся и терпеть не мог, когда кто-то из начальства стоял за его спиной: простачком иной такой человек, заявивший, что будет просто пассажиром, прикидывается, вроде бы и в стороне он, а советами так и сыплет! Успевай собирать. Или, что и того хуже, вдруг разразится серией приказов, хотя отдавать их здесь имеют право лишь он, мичман, и его непосредственные начальники.

А этот хитер, притворяется, будто рассматривает рубку! А чего ее разглядывать? Что в ней мудреного? Фанерная будка с большим смотровым окном спереди!

— Почему лобовое стекло не поднято?

Ишь, уже вцепился!

Но ответил мичман спокойно:

— Нам оно не мешает.

— Разобьется — вас же осколками поранит, — и неожиданно ловко старший политрук поднял стекло, прицепил к козырьку рубки.

Командиру катера и рулевому стало ясно, что замполит морское дело не по учебнику знает. Это обрадовало: значит, должен быть с пониманием к морской службе.

Командир катера даже намеревался спросить, где он служил, но катер уже вынырнул из-за островка и сразу вблизи звонко разорвалась мина, свидетельствуя, что фашисты заметили катер. Тут уж не до разговоров: только успевай следить за столбами воды, вздымающимися на реке, только успевай от них отворачивать.

Катер то стопорил ход, то так бросался вперед, будто хотел выскочить из воды. Или вовсе неожиданно круто ложился на борт. Тогда волжская вода пенилась почти вровень с палубой.

Наконец рулевой взволнованно доложил:

— Вижу сигнальный огонь!

Мичман тоже видит короткие вспышки. Это солдаты сообщают, что к приему груза готовы и просят пристать здесь.

Вот он, город, в котором почти два месяца идет непрерывный бой. Нет домов. На береговом обрыве торчат только их дырявые стены. Нет и улиц, прямых, просторных. Их перегородили перевернутые трамвайные вагоны и развалины зданий.

Берег, куда приткнулся катер, изрыт воронками от бомб и снарядов. Кажется, здесь так много упало металла, что не должно уцелеть ни единого человека. Но люди есть. Они пережили неистовые многочасовые бомбежки, артиллерийские обстрелы, от которых подрагивала земля даже на левом берегу Волги, отразили танковые атаки и цепко держатся за эту землю. Вот они, эти люди, вылезают из щелей, канализационных колодцев, из-под развалин домов и бегут к катеру.

С носа катера сброшен узенький трап. Он прогибается, кажется, потрескивает, но солдаты и матросы будто не замечают этого. Они торопливо избегают по нему на катер и, взвалив на спину ящик с боезапасом или мешок с крупой, осторожно сходят на берег. Непрерывно движется вереница людей, хотя мины то и дело рвутся рядом, хотя их осколки предательски вкрадчиво и подло все время шуршат в воздухе.

В этой веренице людей и старший политрук Векшин. Он ничего никому не приказывал, он просто работал наравне со всеми, но мичман, который сейчас один стоял в рубке, видел, как ему уступали дорогу, как осторожно

клали на спину очередной ящик или мешок. Это было уважение к старшему, который мог бы не прийти, но пришел на помощь.

Утащили на берег последний ящик с патронами — медленно, прижимая к груди перебитую руку, пошел по трапу раненый. За ним второй, третий...

Раненые идут, идут. Будто рождает их ночь. Они не просят, не умоляют перевезти их на левый берег Волги. Лишь изредка услышишь стон. Или заскрежещет кто зубами. Но вот впереди снова только темень ночи. Старшему политруку сначала подумалось, что их катер один режет носом волны в этом районе. Только подумалось так — какой-то катер проскочил мимо. Его не видели, его почувствовали, его угадали по крутой волне, которая неожиданно и задорно стукнула в борт.

Часто налетают волны и всегда неожиданно.

3

Во время второго рейса, чтобы не мешать мичману советами, старший политрук поднялся на крышу машинного отделения, где торчал крупнокалиберный пулемет.

— Матрос Азанов! — представляется пулеметчик.

По голосу ясно, что настроение у матроса нормальное. А ты, замполит, думал, что неуютно этому матросу одиноко торчать на площадке, открытой для всех пуль и осколков.

Старший политрук осторожно коснулся пальцем дульного среза ствола пулемета.

— Не бойтесь, он не кусается.

— Так я же не зубы проверяю, а смотрю, нет ли загычки от сырости. Некоторые товарищи любят такие штучки.

И оба засмеялись, довольные собой и друг другом.

— Значит, настроение подходящее?

— Как положено по уставу... У вас газетки не найдется?

— Темно же, строчки не прочтешь...

— Уж больно курить охота.

— Курить? На посту?

— У нас, товарищ старший политрук, устав особый, каждый его параграф кровью пишется. Да и на посту другой раз мы сутками стоим, так все это время и не курить?.. Загнешься! Не от пули фашистской, а без курева загнешься!

Старший политрук сам был заядлым курильщиком и после этого разговора он так захотел курить, что достал из кармана кiset и спросил с усмешкой:

— Курить в рукав умеешь?

— Детский вопрос!

Сидели на коробках с пулеметными лентами, курили тайком — от кого? — и молчали. Наконец старший политрук сказал:

— Загляну, пожалуй, к мотористам.

— Туда следует, там запросто обалдеть можно.

Захлопнулась за старшим политруком крышка люка машинного отделения — в глаза ударил яркий свет электрической лампочки. Пришлось ненадолго зажмуриться.

Очень жарко. Давно ли здесь, а по телу уже бегут струйки пота. Пахнет разогретым машинным маслом и бензином. И мотор так тарахтит, что уши ломит.

А когда открыл глаза, увидел мотористов. Они стояли у муфты сцепления. Оба в синих комбинезонах, оба с темными от масла и железа руками. Но один из них — белобрысый, веснушчатый — смотрел с любопытством и настроенно, словно ждал, что старший политрук, как и большинство различных поверяющих, вот-вот задаст какой-нибудь каверзный вопрос.

Зато второй, черный, как жук, держался спокойно и независимо. Как хозяин, которому ничего показать не стыдно.

— Командир отделения мотористов старшина второй статьи Фельдман! — прокричал тот. — А вы — новый комиссар?

— Замполит.

— Ну это от человека зависит, кем он станет.

Старший политрук не был уверен, что полностью правильно понял, что хотел сказать Фельдман, но обстановка не располагала к философской беседе, и он перевел разговор на то, что сразу бросилось в глаза:

— Почему стоите во весь рост?

— Устав, — пожал плечами Фельдман и добавил: — И не трусы.

— Ссылка на устав — от лени придумана... У нас мотористы, когда я еще срочную служил, во время длинных переходов сидя работали... А ведь вы еще и в бою.

Фельдман несколько секунд удивленно смотрел на замполита, потом рукой показал своему помощнику — присядь! Тот опустил на корточки. Сам Фельдман присел

с другой стороны мотора, осмотрелся. Даже дотянулся до регулировки газа. После этого встал, выдвинул из угла ящик с инструментом, опустился на него, еще раз осмотрелся и, широко улыбаясь, поднял вверх оттопыренный большой палец.

Невольно улыбнулся и старший политрук. Через силу улыбнулся: мутило от паров бензина, духоты и грохота мотора. И он поспешил выбраться на палубу.

На обратном пути фашисты накрыли катер минами. Осколком одной из них ранило рулевого. И пришлось старшему политруку перевязывать его раны. Он же и сдал его санитарам, когда подошли к левому берегу.

Рулевого унесли. Именно тогда в рубку протиснулись мотористы с железными листами палубного настила из машинного отделения.

— Куда прете? Ошалели? — набросился на них мичман.

И Фельдман, приставив оба листа к фанерной стенке рубки так, чтобы они стали вроде бы ее повторением, затараторил:

— Мичман, ты меня знаешь? Разве Фельдман трепач? Он всегда, если иначе нельзя, говорит только правду!.. Что такое осколок? Мой папа сказал бы — презренный кусочек металла: А я, его сын, отвечаю: осколок — ранение или смерть...

— Ближе к делу, — нахмурился мичман.

— А я разве уклонился? Назаров, что ты ждешь? Или считаешь, что и этих двух листов хватит на всю рубку? Мы с тобой растянем их? Они резиновые?

К приходу старшего политрука вдоль всех стенок рубки, как броня, стояли листы палубного настила машинного отделения. Между ними и фанерными стенками рубки лежали пробковые спасательные пояса.

Сделай все это раньше, может, и уцелел бы рулевой?

4

Еще три рейса закончили благополучно. Если, конечно, не считать за чепе разбитые осколками фонари клотика и сорванный гафель. А сейчас, едва выскочили из-за острова, фашисты обрушили на катер не только огонь пушек, минометов и пулеметов, но и авиацию. Самолеты повисли над Волгой, прицепили к черному небу люстры — осветительные бомбы. Светло так, что видно каждую заклепочку. Мичман покосился на старшего политрука, который вместо

рулевого стоял у штурвала. Ничего, справляется. Гольцов, конечно, вел катер лучше, но и этот ничего.

Несколько раз звякнули листы палубного настила. Те самые, которые мотористы поставили вдоль стенок рубки.

Пулеметные очереди с самолетов дырявили палубу, мины и снаряды тоже старались впиться в него, а он по-прежнему рвался вперед, проскальзывал меж столбов воды или нырял от самолетов в дымовую завесу, поставленную каким-то бронекатером.

С каждой минутой бой становился все слышнее. Сомнений не могло быть: наши перешли в наступление! И поэтому никто не удивился, что едва катер ткнулся носом в берег, его сразу облепили солдаты, вошли даже в холодную воду и все это лишь для того, чтобы сподручнее было работать.

По трапу идут раненые. Их необычайно много — с осунувшимися лицами, обмотанных белоснежными бинтами, обрывками белья и просто тряпками.

Наконец старший политрук сказал:

— Все, катер перегружен.

Оборвался поток раненых. Взыл мотор, винтом поднял со дна ил. А катер даже не шелохнулся. Будто вмерз в дно Волги.

Несколько раз мичман переложил руль с борта на борт, резко менял ход с полного вперед на полный назад. Не помогло. Тогда мичман вышел на палубу и сказал, стыдясь своих слов:

— Может, сгрузим часть?.. Катер сразу облегчится...

Все катера дивизиона сегодня работают на переправе. Все они ходят по одному маршруту. Только с интервалом. Может, действительно несколько раненых оставить другому катеру?

— Нельзя, мичман, — за всех матросов катера ответил старший политрук. — Для раненого минута ожидания...

Замолчал старший политрук. И так всем ясно, что пока подойдет следующий катер, окончательно ослабеет кто-то из этих раненых. Может быть, до безнадежности ослабеет.

И психику человека учитывать надо. Легко ли ждать? Минуты покажутся часами.

А Фельдман уже кричит:

— Кому жарко — прошу за мной!

Он прыгает в воду, упирается плечом в борт. Одному нечего и думать сдвинуть катер, но рядом уже багровеют

от натуги товарищи и незнакомые солдаты, прибежавшие с берега.

Неистово завывает мотор. Из-под винта вырывается взбешенная вода. Люди напряглись — больше невозможно...

Катер дрогнул!

Чуть шевельнулся катер и вдруг сразу рванулся от берега. Так стремительно рванулся, что кое-кто не удержался на ногах и окунулся с головой. А ведь октябрь не июль, и Волга — не Черное море. Однако никто не жалуется.

5

Разрывы снарядов и мин окружили катер. Осколками в нескольких местах пробиты и спасательные пояса, и листы палубного настила. Непрерывно строчит пулемет: Азанов расстреливает осветительные бомбы, висящие над рекой. Но только рассыплется желтыми слезами одна — вспыхивают несколько других.

Все небо исчерчено трассами, оно искрится от взрывов зенитных снарядов. А самолеты все ходят, ходят. Иногда спускаются так низко, что видны их силуэты. Самолетам не страшен огонь с катеров: мало на катерах крупнокалиберных пулеметов, а скорострельных пушек и вовсе нет.

Стеной встают разрывы перед носом катера, однако он не отворачивает, словно не видит их ни старший политрук, ни мичман. Нет, они прекрасно видят все. Но что им остается делать? Разрывов такое множество, что не знаешь, как и куда маневрировать. Одна надежда на спасение — густая дымовая завеса, поставленная каким-то бронекатером. Только дотянуть бы до нее!

За несколько последних минут старший политрук осунулся, спал с лица. Мичман заметил даже и то, что он навалился на штурвал — «брюхом рулит», как подначивали моряки. И все же сейчас в этом он не видит ничего позорного: с любым человеком, попавшим в такую передрагу, конфуз может случиться. Кроме того, это тебе не парад, где выправка и внешний вид — главное всего. Здесь война, здесь смертный бой.

Вдруг катер будто зарылся носом в волны, завяз в черной воде. Лишь зыбь покачивает его. Да за рубкой ярится пулемет Азанова.

— В машине! Что случилось? — кричит мичман в переговорную трубу.

— Вода заливает! Страсть как хлещет!

Отвечает Назаров. Где же Фельдман?

Но спрашивать об этом некогда: из кубрика уже лезут раненые. Наиважнейшее сейчас — пресечь панику, и мичман орет:

— Обратно! Кто сюда сунется — морду в кровь ислещу!

Раненые еще недавно не были трусами. Но катер для них место новое, непривычное. Вот и боязно. А тут еще и вода из-под сланей пошла. Разве усидишь? Когда ты ранен, когда твоя жизнь в опасности — жить во много раз больше хочется...

А вообще-то — спасибо мичману, успокоил: раз сам стоит в рубке, да еще грозитя в морду дать — значит, ничего страшного близко не маячит. А что вода вдруг пошла... Может, так и полагается в это время?

— Сходи, мичман, в кубрик, успокой людей, распорядись, — говорит старший политрук.

— Вам сподручнее...

— Я не прошу, а приказываю.

Мичман ныряет в кубрик, а старший политрук достает носовой платок и вытирает лоб, покрытый нехорошей липкой испариной. В это время рубку заволакивает дымом. Неужели проскочили в завесу? Только подумал так — в рубку ввалился Фельдман. Он сначала откашлялся и лишь потом сказал:

— Катер как решето моей бабушки... Я сбросил дымовую шашку, может, обманем гадов, проскочим... Вы, товарищ комиссар, сейчас держите чуточку правее, а потом все прямо, прямо!.. Сейчас врублю мотор.

Буроватые клубы дыма обтекают рубку и не поймешь — то ли сам движешься или ветер несет дым мимо тебя.

Еще правее или уже прямо?..

Попросить дать полный ход, чтобы хоть что-нибудь увидеть? Нельзя: при большой скорости и вовсе не справятся с откачкой воды. И сейчас раненые ведрами, касками, котелками и даже кружками вычерпывают ее. Ишь, как скребут...

Все сейчас борются за жизнь катера. Только он и Назаров на боевых постах. Назаров следит за мотором, а он ведет катер. Куда ведет? Кажется, прямо, кажется, к левому берегу...

Наконец дым начал редеть. Впереди и вдоль левого

борта — темная полоска берега. Выходит, он так забрал вправо, что катер идет почти по течению.

Старший политрук перекладывает руль левее и выбирает место, куда пристать. И сразу находит глазами песчаную косу. На нее можно выбрасываться спокойно: здесь катер не затонет и в том случае, если своими силами не удастся заделать пробоины.

— Правильное решение, — одобрил мичман, когда вылез из кубрика и осмотрелся.

— Дай бинт, — просит старший политрук.

Мичман вскидывает на него глаза. Так вот почему ты, комиссар, так осунулся!.. Так вот почему ты в кубрик к раненым не сам пошел, а меня послал!..

— Комиссара ранило! — кричит мичман, распахнув дверь рубки.

Первым в рубку ворвался Азанов. Он закинул руку старшего политрука себе на шею и спросил:

— Шагать сможете?

— Куда ему шагать, если ранен в обе ноги. Говори спасибо, что еще стоит, — ворчит мичман, который бесцеремонно уже распорол одну штанину и накладывает тугой жгут на ногу комиссара.

На одеяле вынесли старшего политрука на берег, прислонили спиной к молодому дубку. Здесь мичман более основательно и занялся ранами старшего политрука, а остальные — Азанов, Фельдман, Назаров и некоторые раненые солдаты — понимающе переглядывались и говорили совсем не то, что думали:

— Царапины!.. Недели через две плясать будет...

Старший политрук понимал, что это самая наглая ложь: он уже убедился, что одна нога вообще перебита, а вторая даже очень основательно задета двумя другими осколками. Но он был благодарен матросам и солдатам за их слова: ведь они врали лишь для его успокоения.

Потом был общий перекур. Сидели и лежали на сырой земле, решали, что делать теперь. До тракта — километров пять, а лежачих раненых столько, что четырех из них придется на какое-то время оставить здесь. Это если решиться идти к тракту. И еще одного здорового. Чтобы охранял костер и за ранеными доглядывал.

Еще немного поспорили, но так и решили: идти к тракту и не медля ни минуты.

— Азанов, останешься ты, — распорядился мичман. — А кому из раненых здесь куковать, это сами решайте.

Не хочет мичман называть тех раненых, которым придется на какое-то время задержаться здесь. Конечно, есть среди них и такие, что и сейчас без сознания, эти возражать не станут. Но в любом человеке имеется и самая обыкновенная жалость. Вот и хочет мичман, чтобы другие приняли за него это жестокое решение. Однако и у тех нет желания брать ответственность на себя. До тех пор спорили, пока не пришли к выводу, что все надо поручить жребию. Пришли к этому единому решению — старший политрук и сказал, что с роковой пометкой должно быть лишь три бумажки, что четвертым раненым, который на время задержится здесь, будет он сам.

Короткая пауза, и Фельдмана прорвало:

— Вы слышали? Он думает, что сказал что-то умное!

— Разговорчики, — чуть повысил голос старший политрук.

— А чего, ребята, с ним говорить? Забираем комиссара, и точка! — разозлился Азанов.

Старший политрук достал пистолет, снял с предохранителя:

— За невыполнение приказа могу и застрелить.

Сказал так спокойно, что ему поверили. Убедившись, что победил, он добавил:

— Сам себя уважать перестану, если поступлю иначе...

6

Старший политрук сидит, навалившись спиной на молодой дубок. Рядом еще трое раненых. Светает. Над рекой медленно плывет туман. Густой и низкий. Высок ли здесь берег, а он, Векшин, уже над туманом. И флаг катера тоже. Будто над облаками реет флаг.

Ноги начали сильно болеть. Там, на катере, боль была какая-то тупая, как от сильного ушиба. А сейчас...

Жаль, что придется покинуть этот дивизион: народ здесь подобрался хороший, с ним работать можно. И комдив хорош, с характером, а не флюгер...

А здорово он любит своего бывшего замполита. Так и врезал: «Быстро же вас прислали!»

Это очень хорошо, когда человек уже умер, а люди по-прежнему любят его, не спешат расстаться с ним. Значит, он правильно, достойно вел себя при жизни... А вот он, Векшин, в этом дивизионе фигура эпизодическая: вечером пришел, утром не стало... Что ж, не повезло...

Интересно, почему листья дольше всего держатся на

вершинах деревьев? Им бы, кажется, первым облетать, а они держатся... Обязательно нужно спросить у специалиста, может, позднее и его кто спросит...

Сколько же времени минуло с тех пор, как ушли матросы? Жаль, что по часам не заметил... Сейчас раненые, наверное, уже в госпитале, их перевязывают... Нет, скорее всего, матросы еще только подходят к тракту. Пока поймают машину, пока доедут до госпиталя и сдадут раненых, а потом и сюда вернуться — уйма времени уйдет.

Только бы не больше четырех часов! За четыре часа, говорят, нога мертвоет под жгутом. Если же омертвоет...

В лесочке стрекочут сороки. Рвутся бомбы в городе... Хотя... Теперь явственно слышно, что гудит машина.

— Наши! Честное слово, наши! — ликует Азанов.

А вот и машина, обыкновенная полуторка. Она вывалилась из леса и несется по поляне. В ее кузове, облапив ручищами кабину, стоит командир дивизиона. Он по-прежнему в полушубке.

— Ты что же, комиссар, подводишь дивизион, а? — оглушает басом комдив. — Только пришел, только узнали твое нутро, а ты сразу и в госпиталь?

— Вы же знаете, не нарочно...

— Не «выкай». Зови меня Федором Григорьевичем или просто Федей. Договорились? А как тебя навеличить?

— Александром... Сашей...

— При матросах Сашкой звать не буду. Отчество?

— Петрович.

— Так вот, Александр Петрович, как поправишься — полным ходом в мой дивизион. Так и запомни: жду тебя комиссаром!

— Сам знаешь, нет теперь комиссаров.

— Вот и врешь! Это институт комиссаров упразднили, а комиссаров... Называй ты их замами, помами или еще как — достойного политработника матросы все равно комиссаром величать будут. Понимаешь меня?.. Ты не подумай, что я болтун. Тороплюсь, вот и стреляю очередями. Сам понимаешь — дивизион! Тут глаз и глаз нужен... Значит, договорились? Значит, вернешься?

Рядом стояли Азанов и приехавшие с комдивом Ткаченко и Фельдман. Они тоже ждали ответа.

— Ладно.

— Порядочек! — Первушин ткнулся подбородком ему в щеку. — Ну, быстрее поправляйся, комиссар Сашка...

Содержание

ПОВЕСТИ

БУДНИ ВОЙНЫ	6
ЖИЗНЬ, ОНА И ЕСТЬ ЖИЗНЬ...	240

РАССКАЗЫ

Я С ТОБОЙ, ТОВАРИЩ...	300
ДОРОФЕЙ	323
«КАЗЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»	331
СУДЬБЫ СОЛДАТСКИЕ	350
НЕРВЫ ШАЛЯТ...	376
ОДИН ДЕНЬ БЛОКАДЫ	388
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МИНЕР!	400
МЕСТО В ЖИЗНИ	412
САМАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ	419

Литературно-художественное издание

**Селянкин
Олег Константинович**

БУДНИ ВОЙНЫ
Повести и рассказы

Редактор А. Лукашин
Младший редактор Л. Рубцова
Фото В. Сердитых
Художественный редактор Т. Ключарева
Технический редактор В. Чувашов
Корректор Г. Борсук

ИБ № 1866

Сдано в набор 25.07.89. Подписано в печать 30.01.90. ЛБ02039. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отг. 23,10. Уч.-изд. л. 25,15. Тираж 20 000 экз. Заказ № 497. Цена 1 р. 90 к.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.